

Вологда • XXI век

КРАСНОЕ СТАНОВЬЕ

*Сборник произведений
тарногских авторов*

Вологда
«Полиграф-Периодика»
2019

УДК
ББК

Редакторы:
А. А. Цыганов
В. Н. Бараков

В коллективный сборник «Красное становье» вошли творческие работы авторов Тарногского Городка и Тарногского района Вологодской области. Любовь к Родине, к русскому слову, к своим землякам – главное, что объединяет всех авторов этого самобытного литературно-художественного издания. Издание предназначено для широкого круга любителей словесности.

УДК
ББК

ISBN

© Вологодская писательская организация,
2019
© Оформление. ООО ПФ «Полиграф-
Периодика», 2019

КРАСОТА НАШЕГО КРАЯ

Слово о Тарноге



«Многое связывает человека с местом, где он родился и вырос. Родной край, его люди становятся частью человеческой судьбы. Где бы мы ни жили, на каком бы языке не говорили, Россия – наша общая, большая, единственная Отчизна. У каждого из нас есть свой «милый сердцу уголок» земли, где он сделал первые шаги. Это наша малая родина. Приобщение к

духовно-культурным ценностям малой родины самым тесным образом связано с открытием литературы родного края, которая помогает познать край, а край – познать литературу тех, кто создаёт её: писателей и поэтов», – писал Д. С. Лихачев.

В нашей огромной стране под красивым названием Россия у каждого из нас есть своя маленькая родина: отчий дом, который нам так близок и дорог. Вся красота Тарногской земли у местных поэтов, прозаиков превращается в стихи, песни, рассказы, полные любви к родной земле.

С давних времён Тарногская (Кокшенгская) земля притягивала к себе переселенцев своими просторами, богатством, красотой, загадочностью, окружающим миром, полным неведомого и непознанного. Об этом писали наши краеведы В. Е. Величутин, А. А. Угрюмов. Дело их продолжают наши юные исследователи истории края. Ежегодно на «Угрюмовских чтениях» они представляют новые интересные исследовательские работы по истории и культуре Тарногской земли. Красоту нашего края, самобытность людей, живущих на этой земле, воспевали в своих работах художники В. И. Силинский, В. У. Едемский, Д. Т. Тутунджан.

Тарножане – особый народ. Люди, живущие здесь, отличаются трудолюбием, широкой и открытой душой, они готовы стойко и мужественно переносить все лихолетья, неизбежно хранить жизненные, нравственные заповеди своих предков, любить

природу, жизнь, верить в светлое будущее своих детей и внуков. Мы не умеем быть равнодушными, нам можно верить, мы способны принимать самые правильные решения.

Именно поэтому жители края сделали район таким, какой он есть сейчас: сохранившим культурные традиции своих предков. Может быть, именно потому край наш богат на таланты. Десятки поэтов и прозаиков, самодеятельных композиторов и художников, да просто одаренных людей подарила родине Тарногская земля.

Сборник «Красное становье» – это не только памятный подарок авторам, но и будущим поколениям. Идея издания литературно-художественного сборника тарногских авторов возникла на районном литературном семинаре, который провели известные вологодские писатели Михаил Карачёв, Виктор Бараков, Александр Цыганов. Книга, как домашняя реликвия, будет отныне храниться в семьях, и перечитывать ее будут дети и внуки нынешних авторов.

Сергей Михайлович ГУСЕВ,
Глава Тарногского муниципального района



ЗАСТАВА РУССКОГО ДУХА

(Вместо предисловия)

Село Тарногский Городок давно и с успехом носит высокое звание «районный центр». Но неужели только административное значение мы вкладываем в это понятие?

Оказывается, не только. Живут здесь ещё и талантливые люди, способные литературным творчеством одухотворить нашу жизнь. Поэтому и решили они опубликовать свои творения под одной обложкой.

Самый известный из авторов сборника – писатель общероссийского масштаба Станислав Мишнев. Он видит русского человека насквозь, со всеми его пороками и достоинствами; не идеализирует, не заблуждается на его счёт, но твердо знает: Россия всегда стояла, и будет стоять за справедливость. Если надо – умрёт, но за либеральную чечевичную похлёбку первородство своё не отдаст. Вот что пишет литературовед, доктор филологических наук Людмила Яцкевич: «Писатель Станислав Мишнев в своём творчестве продолжает традиции тех праведников, которые «особенно остро ощущали зло и грех, разлитый в мире...».

Александр Силинский, краевед и журналист, посвятил свои очерки родному краю и его истории: «Город Кокшенгский», «Как отбирали хлеб». Но его прозаические и поэтические произведения тоже достойны внимания (рассказ «Поселенец» и стихотворения).

Виталий Ламов, лауреат Межрайонной литературной премии имени Н. В. Груздевой «Твоё имя», в лирических зарисовках, раскрывающих вечную красоту природы, размышляет о судьбе современной деревни: «Каждая деревня была маленькой крепостью, устоем, коренной основой русской жизни. Заставой русского духа. Велики города, но пустые. Не крепости. Пуста земля без деревушек, без людей» («Побудка»).

Надежда Юрова подходит к изображению деревенской жизни иначе, с «сердечной» стороны. Драматические и даже трагические женские истории о первой любви («Вставай и иди»), об опасностях, связанных с ней («На всё воля Божия»), о предательстве близких («Не прошу никогда») запоминаются и впечатляют своей правдивостью.

Воспоминаниями о детстве делится Светлана Сухарева («Время собирать»), но её опыт, несмотря на ностальгическую ауру, воспринимается и сейчас.

Нина Ступникова в рассказе для детей «Василёк» использует трогательную сказочную интонацию: «И вот, сколько себя помнил, жил на этом поле Василёк. Каждый раз, просыпаясь весной, он был счастлив и весел, потому что каждую весну это поле засевали семенами льна. А лён для Василька был самым верным и надёжным другом».

Гораздо объёмнее представлено в сборнике поэтическое творчество. Так, стихи Веры Едемской наполнены тонкими психологическими переживаниями («душевные раны») и экспрессией:

Закрой глаза на миг.
Замри.
Теперь открой.
Все так же солнце светит,
Плывут куда-то облака,
Кусты тревожит вольный ветер.
И гомон птиц среди ветвей,
Земля застыла в предвкушенье снега.
И тянет холодом с пустых полей,
И звуки чьих-то голосов и смеха.
Теперь представь,
Что нет меня.
Не страшно?
А мне вот очень страшно,
Когда представляю мир, в котором нет тебя...
(«Страшно...»)

Похожим путём идёт и Галина Истомина (стихотворения «Женщина милая...» и «Пришла любовь негаданно...»). А вот её тёзка, Галина Ленц, поднимает темы иные – философские, боговдохновенные («Ангелу на Дворцовой», «Благовещенье»). Её стремление постичь тайны русского языка можно только приветствовать:

Высокое косноязычье,
Мне не доступное пока,
Я обрету, познав величье
Родного языка.

Поняв его седую древность,
Поняв значение строгих мер,
Его волшебную напевность
И поэтический размер.
(«Родной язык»)

Сложные отношения с поэтикой у Дениса и Елены Сквородиных (стихотворения «Закат», «Печально дни мои проходят...»), у Павла Ступникова («Через что я прошёл, чтобы здесь оказаться...») и Тамары Лесуковой («За что нас миловать?..», «Два деда»), но их поэтические опыты достойны уважения. Открыть двери к «высшим тайнам» пытается и Любовь Пешкова:

Не бойся одиночества и лжи,
Не дай прорваться суетным мечтаньям.
Ты знаешь, свой напев у тишины...
Он открывает двери к высшим тайнам.
(«Не нам решать: что можно, что нельзя...»)

Неожиданные тексты предложили читателям Владимир Кириллов («А в зимовке светло...» и «В дремучем веке тоже люди жили...») и Андрей Пешков («Пусть говорят, что стих мой прост...», «Для себя мерилом...», «Предъявлю именную визитку...»). Их стихи отличаются детской непосредственностью и неутраченной способностью восхищаться.

«Радостней и резче» бьётся сердце у лирической героини Эльвиры Некрасовой:

И сердце бьётся радостней и резче,
Любовь, как дар, с небес к тебе сойдёт.
Она сама тебе назначит встречу,
Увидит – и торжественно замрёт.
(«Ещё ночами стынут ветки...»)

Любовь как дар – вот и нашлось слово-ключ, открывающее волшебным поворотом дверь в бесконечное пространство художественного творчества. Любовь к Родине, к русскому слову, к землякам объединяет авторов сборника «Красное становье». И это единение – залог великого будущего, которое, даст Бог, ожидает нас впереди.

Виктор Бараков,
литературный критик,
член Союза писателей России



Александр Силинский

Силинский Александр Всеволодович родился в 1957 году в дер. Александровская (Костылиха) Тарногского района Вологодской области, образование высшее. С 1981 года работает в районной газете. В настоящее время – главный редактор газеты «Кокшеньга» Тарногского муниципального района Вологодской области. Увлекается краеведением, фотографией, пишет стихи. Публиковался в сборнике «В начале было слово». Член Союза журналистов России. Член Союза писателей-краеведов.

ГОРОД КОКШЕНГСКИЙ

(Краеведческая зарисовка)

Первое упоминание в исторических документах о нашем Городке относится к середине 15 века, к временам «феодальных» кровавых распрей на Руси. Следует вкратце рассказать об этом, прежде чем перейти к событиям, непосредственно связанным с историей Тарногского Городка.

Отечественная история, на мой взгляд, преподавалась и преподаётся в общеобразовательных школах довольно поверхностно. Чтобы читателям хоть как-то представить то время, о котором пойдет речь, следует обратиться к событию или исторической личности, которые более-менее известны из школьных учебников. Возьмём за точку отсчёта знаменитую Куликовскую битву (1380 год), когда русские дружины под предводительством великого князя Дмитрия Ивановича (Донского) впервые за сто с лишним лет татарского ига нанесли ощутимый удар войскам ордынцев.

1. ЗА ВЕЛИКОКНЯЖЕСКИЙ СТОЛ

Дмитрий Донской многое сделал для собирания удельных княжеств в единое государство для укрепления великокняжеской власти. Москва стала бесспорным центром Русской земли. Но система княжеских уделов не претерпела серьёзных изменений, и междоусобная борьба за великокняжеский стол продолжалась и после смерти героя Куликовской битвы между двумя линиями потомков Дмитрия Донского. Умирая, он назначил своим сыновьям крупные уделы в великом княжестве, что практически делало их независимыми от старшего брата – Василия Дмитриевича, унаследовавшего великокняжеский московский стол. Феодалная раздробленность, как выражаются историки, не была ликвидирована великим князем Дмитрием (Донским).

После смерти Василия Дмитриевича (1425 г.) наследником великокняжеского стола остался его десятилетний сын (внук Дм. Донского) Василий Васильевич (Тёмный). Тут-то и предъявил свои права на великокняжескую власть его дядя Юрий Дмитриевич. Началась кровавая распря. В 1434 году Юрий скоропостижно умер. Но огонь войны не погас, а разгорелся с новой силой между внуками Дмитрия Донского Василием Васильевичем (Тёмным) и Дмитрием Юрьевичем (Шемяка). «Русские князья воюются и секутся о княжении великом на Русской земле», – сокрушался летописец о первых десятилетиях 15 века. И даже угроза перед общими врагами не примирила князей.

Трагические события развернулись летом 1445 года на восточных рубежах Русской земли. В начале лета на Москву пришла весть, что Хан Углу-Муххамед – создатель нового самостоятельного Казанского ханства, послал в поход на Русь войско под предводительством своих сыновей Мамутяка и Якуба. Против них двинулся князь Василий Васильевич (Тёмный) со своим войском. Близ Суздаля великий князь сделал смотр своим войскам –

не оказалось и тысячи воинов. Ждали подкреплений, но когда татары начали переходить реку Нерль, русские войска по приказу князя бросились вперёд, стремясь ударить по врагам на переправе. Василий Васильевич не стал ждать сбора всех полков, да не все князья их и прислали. «А князь Дмитрий Шемяка и не пришёл, ни полков своих не прислал», – констатирует летописец. Угличский князь Дмитрий Шемяка, самый сильный из внуков Донского, не захотел пролить кровь за общее Отечество.

Войска великого князя Василия были разбиты, а сам он захвачен в полон. Страшная беда пришла на Русскую землю. Дело не только в том, что победители «много избища и изграбища, а сёла пожгаша, люди иссекоша, а иных в полон поведоша». Самое страшное – в руках врагов оказался великий князь – глава всей структуры Русской земли. Такого не было даже при Батые.

Этой ситуацией не преминул воспользоваться Дмитрий Шемяка. Чтобы помешать своему двоюродному брату вернуться на великокняжеский стол, он готов был заключить соглашение с ханом Углу-Мухаммедом. Это была бы петля на русскую землю ещё одного ига – казанского.

Великий князь Василий Васильевич сумел оценить обстановку. Он был вынужден согласиться на «окуп сколько может» – плата за свободу. С этим он был и отпущен из плена 1 октября 1445 года в день праздника Покрова. Для обеспечения «окупа» (выкупа) с ним отправились в русские земли ханские послы – целое войско. В самый день отъезда Василия Тёмного из татарского плена, под утро, как свидетельствует летопись: «потрясется град Москва, Кремль и посад весь и храмы поколебашася». Московское землетрясение стало предвестием новых бед. Тяжёлое время предстояло Русской земле. К обычному ордынскому «выходу» (хотя Русь и одержала победу на Куликовом поле, она по-прежнему платила дань татарам) теперь добавились огромные платежи казанскому хану, которые всей тяжестью легли на плечи крестьян и посадских людей, кормильцев и строителей Русской земли.

Пленение и «окуп» не могли не нанести удар по личному авторитету великого князя Василия. Поражение и унижение великого князя развязало руки его соперникам. Шемяка начал плести сеть интриг.

2. ПОХОД НА СЕВЕР

После поражения под Суздаlem и пленения авторитет великого князя Василия Васильевича (Тёмного) сильно пошатнулся. Цена освобождения из плена была огромной – 200 тысяч рублей, по тем временам сумма фантастическая. Для сбора выкупа на Русь были отправлены татарские мурзы с отрядами воинов. Многие из них поступили «в службу» к великому князю. Не бесплатно, естественно. Расчёт Василия Тёмного был дальновиден – поступление на русскую службу татар усиливало Москву и ослабляло Орду. Но не все это русским людям было по сердцу. Недовольство нарастало. Этим и воспользовался Дмитрий Шемяка.

В один из отъездов Василия Васильевича на богомолье в Троицкий монастырь Шемяка со своими сторонниками неожиданно захватил Москву и пленил жену и мать великого князя. Затем двинулся к Троице. Великий князь Василий был схвачен и, несмотря на мольбу о милосердии и обещание постричься в монахи, был на простых санях отвезён в Москву и ослеплён (отсюда и прозвище князя – Тёмный, слепой, незрячий). Слеплого брата Дмитрий Шемяка сослал в свой удельный Углич, а сам сел на Московский стол.

Но власть его была непрочной. В своё кратковременное княжение в Москве он заслужил ненависть народа и бояр. В истории сохранилось выражение «шемякин суд», как синоним вопиющего беззакония. Недовольство росло и дело шло к открытому восстанию. Шемяка был вынужден освободить ослеплённого Василия Васильевича и заключить с ним мир на крестном целовании. В качестве

вотчины слепому князю была назначена Вологда. Но такое «милосердие» не могло удовлетворить Василия Тёмного.

Князь не сломлен был морально. Пребывание его в Вологде было недолгим. Вскоре он со своими сторонниками отправился на Белоозеро, которое стало центром, куда со всех сторон собирались люди, поддерживающие слепого князя.

17 февраля 1447 года Василий вновь занял великокняжеский стол. В 1450 году Шемяка был выбит из Галича и бежал в Новгород – центр оппозиции великому князю Василию. В кровавой войне между братьями произошёл крутой перелом, но до мира было ещё далеко. Лишившись своего удельного княжества, Шемяка не хотел мира с братом. Летом 1450 года со своими сторонниками он захватил богатый город Устюг и, закрепившись там, напал на другие земли, находящиеся под властью Москвы.

Василий Тёмный в последний раз решил выступить походом против своего брата. С ним отправился и его двенадцатилетний сын Иван Васильевич (Иван третий), при жизни назначенный отцом соправителем. События этого похода описаны в различных документах, в том числе «Устюжской летописи». В них впервые упоминается и наш Тарногский Городок. Правда, у разных исследователей истории нашего государства этого периода год и дата похода Василия Тёмного названы по-разному.

3. КОГДА КНЯЗЬ ИВАН «ВОЕВАЛ ГОРОД КОКШЕНСКИЙ»

Тарногский краевед А. А. Угрюмов определяет год похода Василия Тёмного (вместе со своим сыном Иваном) на Шемяку – 1453. Другие исследователи, например, автор книги, посвященной Ивану третьему «Государь всея Руси» Ю. Г. Алексеев называет 1452 г. («1 января 1452 г. Василий Васильевич последний раз выступил в поход против своего недруга»). Как и В. А. Никонов («Словарь русских

фамилий». М., 1993), он пишет: «Так по всему русскому Северу рассеяна фамилия Кокшаровых – эхо трагической судьбы маленького городка на реке Кокшеньге в Важской земле, уничтоженного в 1452 году». Эти исследователи ссылаются в своём повествовании не только на «Устюжскую летопись», а и на другие источники, например, на так называемые «духовные грамоты князя». Автор этих заметок имел возможность ознакомиться лишь с «Устюжским летописным сводом» (архангелогородский летописец), изд. 1950 г., М., под редакцией К. Н. Серебрянной.

Древний летописец сообщает: «В лето 6961. Князь великий Иван Васильевич в великое говение поиде//ратью на Устюг на князя Дмитрия Юрьевича Шемяку. И приде весть на Устюг ко князю Дмитрию Шемяке, что князь великий Иван Васильевич уже в галиче. Он же, оставя Устюг, побеже к Двине слышав, что князь Дмитрией Шемяка побегл, и князь великий послал за ним воевод в погоню с силою Югом мимо Устюг.. А князь великий Иван с Ондреевых селищ и с з Галичины пошел на Городишную, да на Сухону реку, да на Саленгу на Кокшеньгу, воюючи, а город Кокшенгский взял, и кокшаров секл множество, а с Кокшеньги на Вологду...»

Записано это летописцем под 6961 годом. Дело в том, что до 1700 года на Руси летоисчисление велось от «сотворения мира» (по христианской традиции 5508 лет до рождения Христова). Для определения года в современном летоисчислении необходимо из года, указанного в летописи, вычесть 5508 (если событие произошло в январе – августе), или 5509 (если в сентябре – декабре).

Месяцы необходимо учитывать, так как новый год на Руси начинался с марта. Летописец сообщает, что «князь великий Иван Васильевич в говение поиде ратью на Устюг». Великое говенье (великий пост) наступает у православных за семь недель до Пасхи. Пасха – праздник «переходящий», но не выходит за временные рамки марта – апреля. Великое говенье падает на февраль – март. Значит, из 6961 вычитаем 5508, получается, что поход на северные

«городки» великим князем был совершён около февраля (марта) 1453 года, согласно «Устюжской летописи». Правда, при этом почему-то не учитывается тот факт, что лишь в 1492 году великий князь Иван третий, тот самый, что двенадцатилетним воевал «город Кокшенгский», сын Василия Тёмного, утвердил: считать за начало церковного и гражданского года 1 сентября. До этого летоисчисление велось с марта, реже со дня Пасхи.

4. ТАРНАЖСКАЯ ОСАДА

Итак, первое упоминание о Тарногском Городке связано с походом московского князя Василия Тёмного и его сына Ивана Васильевича (Ивана третьего – будущего первого государя всея Руси) против мятежного брата и дяди, удельного князя Дмитрия Шемяки в конце зимы 1453 (по «Устюжской летописи»). Дойдя до Ярославля, Василий Тёмный «отпусти сына своего, великого князя Иоанна... противу князя Дмитрея», а сам двинулся к Костроме.

Узнав о наступлении великокняжеских войск, Шемяка «остави Устюг и побежа к Двине». Великий князь Иван отправил воевод «с силою» мимо Устюга, по реке Юг в погоню за Шемякой. А ратники, руководимые молодым князем Иваном, пошли на Сухону и далее на Кокшеньгу, стараясь перекрыть кратчайший путь отступления Шемяки к Новгороду. Но догнать его не удалось.

Нелёгко был зимний поход – первый боевой поход князя Ивана, и последний в междоусобной войне русских князей. Многие сотни вёрст прошёл он со своим войском по суровому северному краю. Увидел всю жестокость кровавых схваток. Великий князь Иван «воюючи город Кокшенский взял, а кокшаров секл множество».

Земли по рекам Ваге, Кокшеньге в то время принадлежали господину Великому Новгороду. Ещё за несколько веков до описываемых событий ватаги новгородских «ушкуйников» пробирались на лёгких лодках «ушкуях»

по рекам, осваивали край «Заволочский». Торговые люди скупали земли у местных вождей «чуди заволочской». Где миром, где силой селились среди местных народов (чуди, мери, веси). Ставили погосты, рубили «города» для защиты от лихих людей, от посягательств удельных князей. По некоторым свидетельствам историков где-то в районе верхней Кокшеньги проходила «ростовская межа» – граница между землями, принадлежащими Новгороду и Ростову Великому (к 15 веку уже находившемуся под властью Москвы).

Кокшенгский (Тарногский) Городок был одним из южных форпостов новгородских земель на Севере. Кокшары поддерживали мятежного Шемяку, поэтому город Кокшенгский и был взят на «щит» войском Ивана.

Осада «городка» происходила в конце зимы, рвы с водой и река Тарнога, защищавшие Городок со всех сторон, замёрзли и были завалены снегом, что облегчило штурм крепостных стен. К тому же войска князя превосходили по вооружению защитников «городка».

Как свидетельствуют документы и легенды, местные жители, укрывшись в «городке», оборонялись подручными средствами: рогатинами, брёвнами и камнями. Городок пал. Победители не церемонились с побежденными: «в храме Николая Чудотворца и Преподобного Семеона Столопника церковную казну грабили и ящики с письмами поимали...», – свидетельствуют документы.

С той поры за городком Кокшенгским закрепилось ещё одно название – «Тарнажская осада». Оно упоминается в документах 16–17 веков.

Иван Васильевич в том походе взял не только город Кокшенский, а и целый ряд более мелких кокшенгских городков-крепостей.

Не поймав Шемяку в Поважье, московские отряды вернулись в столицу. Шемяка укрылся в Новгороде. По свидетельству «Устюженской летописи» он умер в том же 1453 году, летом (у других авторов, того же Ю.Г. Алексеева, смерть произошла в 1452 г.).

После взятия войсками князя Ивана и разграбления кокшенгской крепости, наш Городок не исчез с лица земли окончательно. В летописи фиксируется ещё ряд нашествий на земли Поважья. В 60-х годах 15 века вновь упоминается «город Кокшенский». «В лето 6974 (1466 г. – А. С.) по всея земли Русской хлеб призяби... Того же лета на зиме, великое говение... вятчане ратью прошли мимо Устюга на Кокшеньгу, а назад шли Вагою вниз», – сообщается в летописи.

Уже в те времена Кокшеньга (земли по одноименной реке) слыла «житницей» всей Важской земли и не раз ещё подвергалась набегам. По мнению тарногского краеведа А. А. Угрюмова, «город Кокшенгский» – Тарногский Городок, восстанавливался после каждого разорения, и вплоть до 17 века играл роль военного укрепления, защищавшего Кокшеньгу.

«ГОРОДОК РУБЛЕННОЙ... О ДВУХ СТЕНАХ»

Точное время возникновения Тарногского Городка установить, наверное, невозможно. Можно предположить, что к 1453 году, когда он впервые упоминается в документах, городок существовал несколько десятков лет.

Некоторые исследователи утверждают, что «город Кокшенский» был построен на рубеже 14–15 веков, когда обострилась междоусобица Новгорода Великого с Ростовом и Москвой. Но ещё раньше, в 12–13 веках, когда новгородцы осваивали богатые пушным зверем северные земли, они, чтобы оградить свои поселения от набегов «черной чуди», строили на берегах реки Кокшеньги и её притоков укрепления, названные историками «кокшенгскими городками». К ним относятся: два укрепления на р. Уфтюге (притоку р. Кокшеньга) – Ваймешевское и Ромашевское. И пять на реке Кокшеньге: Ивасский Городок (он же Никольский), Спасский (Богородицкий), Новгородский (смыт рекой), Кремлёвский и Тарногский (в устье

р. Тарноги – левому притоку р. Кокшеньга). Известны и исследуются в Тарногском районе и так называемые «чудские городища», места, где стояли укрепления тех племён, что жили в бассейне реки Кокшеньги до прихода славян. Одно из них почти напротив «города Кокшенгского». Местечко (угор) в народе называют «Колокольней».

По мнению автора этого очерка, места, где были первые поселения русских людей, можно обнаружить и в других исторически сложившихся «кустах» деревень района. К примеру, Верхнекокшенгский Погост. Первоначально он находился выше по течению реки Кокшеньги, на небольшой возвышенности. В древности река огибала её с севера (сохранилось староречье). С юга возвышенность была окружена болотом (Сипеньгское болото), с востока также омывалась водами реки, а с запада был прокопан искусственный ров – ручей Копалка, в речи местных жителей – Копавка. Сам гидроним говорит о том, что ручей искусственного происхождения. Он был прокопан первыми поселенцами и соединял болото с рекой для защиты погоста с запада. Возможно, поселение-погост было защищено «городком» – ограда (тын) из прочных брёвен. (Следует сказать, что изначальное понятие «городок-город» – это и есть не что иное, как ограждение, ограда).

На стратегических же направлениях строились более мощные укрепления. К ним относится и «город Кокшенгский» – Тарногский Городок.

Что он из себя представлял? В широкую пойму реки Тарноги вдаётся вытянутый с востока на запад высокий мыс. Река омывала его с трёх сторон: с юга, запада и севера. На мысу возвышался «город», окружённый земляным валом. «Мера тому земляному валу двести тридцать три сажени. Да в том же земляном валу был городок рубленой деревяной о двух стенах», – говорится в дошедших до нас документах. С восточной стороны «город Кокшенгский» был отрезан от окружающей местности двумя глубокими искусственными рвами.

Сохранилось предание (А. А. Угрюмов) о том, что «в работе по копанию рвов принимали участие жители семи волостей кокшенгских, услышав о неприятеле и желая защититься от него». Через оба рва были перекинuty легкие убирающиеся мосты. Над двойными рублеными стенами возвышалось несколько башен – угловые и воротная башня. В воротной башне на железных крючках висели массивные ворота, окованные железом, с мощными запорами. Башни по углам назывались ещё «наугольными», посредине – «средними», с воротами – «проезжими».

По древним описаниям строительства «городов» в их облике было много общего. Везде были «тайнинские» башни поблизости к реке, из них делали ходы к воде со срубами от 6 до 10 саженой. Был такой тайный ход, возможно, и в нашем Городке. Башни назывались по урочищам местности или их назначению. Одна из башен «города Кокшенгского» носила название Шевденицкой. Внутри «города» стояла церковь и несколько изб и амбаров.

Часто стены «городов» были двойными, тройными и даже четверными. У нашего древнего «городка» были двойные рубленые стены. Пространство между ними засыпалось землёй или было соединено поперечными бревнами, на которые укладывался деревянный настил. Над стенами обычно делалась кровля из тёса или решатин.

Постройка «городов» в 14–16 веках была одной из первых забот княжества, а потом и государства. А «городовое дело» – важнейшей повинностью всего народа. Когда в старинных актах говорится о постройке «городов», то под этим разумеется возведение и устройство укреплений. (Повторюсь: само слово «город» в те времена означало ограду). «Городная повинность» была повсеместной на Руси. В пространной «Русской правде (14–15 вв.)» устанавливаются «уроки» (нормы оплаты) городникам: «А се закладываючи город» городник получает одну «куну» при закладке и одну «почату» при окончании устройства «городка» – городской стены. («Куна» и «почата» – деньги тех времён. «Куна» равнялась 1/25 гривны). Ему («город-

нику») идет пищевое довольствие (мясо, рыба, солод для варки пива), а также овёс на четырёх коней. Всё это «городник» получает, пока не будут закончены городские укрепления («доколе город срубять»).

5. УПАДОК И ВОЗРОЖДЕНИЕ

Тарногский Городок («город Кокшенгский») после разорения войском великого князя Ивана вновь отстроился и ещё десяток лет служил крепостью, оберегая южные границы новгородского Поважья. Лишь через восемнадцать лет похода малолетнего князя на Кокшеньгу Иван Васильевич (Иван третий) подчинил себе Новгород Великий, и все новгородские земли вошли в состав единого Московского государства. Вся Кокшеньга была приписана к землям Большого Дворца – стала личной собственностью князя (позднее – русских царей-императоров).

В 16 веке «город Кокшенгский» охранял Кокшеньгский край от поздних набегов татар, а в 17 веке – от «ляхов». В городке имелся склад с оружием. В «смутное время» он пригодился Москве. Летом 1607 года по поручению князя Василия Шуйского в Тарногский Городок прибыл с отрядом стрельцов некто Яков Корсаков. Сохранившаяся в архивах «отпись» (расписка), данная им «выборным судейкам» Семейке Исакову и Пятому Ушакову, свидетельствует, что Корсаков увёз из городка «государев наряд: 7 пищалей (небольших крепостных пушек), 3 ружницы (ружья, из которых стреляли с руки), да 1980 ядер железных, да 600 пулек свинцовых, да зелья (пороху) «полчетверта пуда» (около 50 кг). Всё это было увезено в Москву, которая готовилась в то время к защите от нападения войск Лжедмитрия 2-го, известного в истории как «Тушинский вор». В Смутное время разбойничьи шайки «ляхов» рыскали по всей русской земле. (Пожгли Вологду и зверствовали там). Появлялись они и на Кокшеньге. И не раз оглашал округу «всполошный» (набатный) колокол

Тарногского (Кокшенгского) городка, приглашая жителей окрестных деревень под защиту своих стен.

К 17-му веку Городок утратил своё военное значение, обветшал, стены сгнили, башни обвалились. Он превратился в заштатный церковный погост. Два века жизнь в нём едва тлела. Многолюдно в Городке было лишь в дни ежегодных Крещенских ярмарок.

Возрождение Тарногского Городка началось в 90-е годы 19-го века, когда сюда было переведено из д. Игуновской правление Шевденицкой волости.

В различные периоды в архивных документах наш Городок носил различные имена. В Летописи он упоминается как «город Кокшенгский», затем встречается с названием «Тарнажская осада». В источниках 17 века он именуется «Тарногский Городок на р. Тарноге», второе название – «Шевденицы». В Писцовой книге за 1678 год (Ю. Чайкина. «Словарь географических названий Вологодской области») сообщается, что Тарногский Городок окружен земляным валом, внутри для торговли устроено 28 лавок и 5 амбаров. В документах 18 века название Городка приводится в искаженном виде: «Тарнянский Городок в Кокшенгской четверти, а в нём ярмарка». Или: «ярмарка бывает в Тарманском Городке».

В 19-м веке Городок становится селом с официальным названием «Шевденицкий-Богоявленский Погост», а не официальным – Тарногский Городок. В тот период на погосте проживало всего лишь 28 жителей, и состоял он из 4-х дворов.

К началу 20 века в Тарногском Городке появилась первая улица двухэтажных деревянных домов. Постепенно из волостного села Городок превратился в центр всего кокшенгского края. В 1929 году он был официальным центром Кокшенгского района Северного края. А с 1935 года стал центром Тарногского района.

В своём названии он сохранил изначальное предназначение «города» – городка – укрепления – крепости.

КАК ОТБИРАЛИ ХЛЕБ

Очерк наших дней

В декабре 2018 года исполнилось 100 лет со дня трагических событий в истории нашего края: во время проведения большевистским правительством в декабре 1918 года так называемой «хлебной монополии» на территории Верхнекокишеньгской волости были убиты 15 продотрядовцев, а затем по постановлению ЧК расстреляно 17 крестьян волости. Этим событиям и посвящены заметки «Как отбирали хлеб». Автор опирается в них на архивные документы.

1. Продовольственный кризис. Создание продотрядов и продармии

В 1915 году по причине разрухи и нарушения хозяйственных связей в ходе первой мировой войны в России разразился продовольственный кризис. Назревала реальная угроза голода в промышленных городах страны.

Продразверстка традиционно ассоциируется с первыми годами советской власти и чрезвычайными условиями Гражданской войны, однако в России она появилась еще при императорском правительстве задолго до большевиков.

С началом первой мировой войны в России подорожали предметы первой необходимости, цены на которые к 1916 г. выросли в два-три раза. Запрет губернаторов на вывоз продовольствия из губерний, введение твердых цен, распространение карточек и закупок местными органами не улучшили ситуацию. Города жестоко страдали от продовольственного дефицита и дороговизны. Положение требовало радикальной экономической централизации и привлечения к работе всех общественных организаций.

В конце 1916 г. власти ограничили планом массовой реквизиции зерна. Вольная покупка хлеба заменялась

продразверсткой между производителями. Величина наряда устанавливалась председателем особого совещания в соответствии с урожаем и размерами запасов, а также нормами потреблений губернии. Ответственность за сбор хлеба была возложена на губернские и уездные земские управы. Путем местных обследований было необходимо выяснить нужное количество хлеба, вычесть его из общего на уезд наряда и остаток разверстать между волостями, которые должны были довести величину наряда до каждого сельского общества. Распределение нарядов по уездам управы должны были провести, разработать наряды для волостей, для сельских обществ, и о своем наряде должен был знать каждый домохозяин. Изъятие возлагалось на земские органы совместно с уполномоченными по заготовке продовольствия.

После падения царского дома Романовых Временное правительство тоже пыталось разрешить эту проблему. Было принято ряд мер, но они оказались слишком либеральными и не привели к желаемому результату.

Придя к власти, большевики пошли более решительным путем. «После взятия Зимнего в октябре 1917 года и низложения Временного правительства, посланные Смольным, матросы перешерстили весь Петроград и обнаружили лишь 80 тысяч пудов муки, 50 тыс. пудов сахара, 30 тыс. пудов капусты» («Аргументы и факты», 1993 г.). Для привлечения на свою сторону широких рабочих масс этого явно было маловато. Тогда тысячи рабочих и матросов, получив реквизиционные книжки, вооружившись винтовками и револьверами, прихватив большие мешки, отправились по деревням и станицам хлебных губерний. Так появились первые продотряды, получившие широкое распространение как органы по изъятию «хлебных излишков» у крестьян.

Советское правительство взялось разрешить продовольственный кризис с помощью чрезвычайных мер. Декретом Совета народных комиссаров от 9 мая 1918 года в стране вводится хлебная монополия и продовольствен-

ная диктатура. С конца мая началось массовое создание продотрядов и одновременно принято постановление Совнаркома о введении по всей стране военного положения и мобилизации всех надежных частей армии **«для систематических военных действий по завоеванию, отвоеванию, сбору и свозу хлеба и топлива»**. «Борьба за хлеб,— указывал Ленин,— это борьба за социализм». Хлеб был нужен, оказывается, не только новой российской власти. Увлеченный идеей всемирной революции, Ленин в октябре 1918 года писал Свердлову: «Международная революция приблизилась за неделю на такое расстояние, что с ней надо считаться. Все умрем, чтобы помочь немецким рабочим. **Вдесятеро большие усилия на добычу хлеба для нас и немецких рабочих**» (?!). И эти усилия были предприняты.

К ноябрю 1918 года в стране полностью запрещена частная торговля и введено плановое распределение продовольствия по нормам военного времени. Введена продразверстка — обязательная сдача крестьянами всех хлебных излишков. Очень скоро продразверстка распространилась не только на хлеб, а и на фураж, картофель, другую продукцию крестьянских хозяйств.

Продовольственная диктатура осуществлялась с помощью Наркомпрода, который имел, по сути, военную структуру и неограниченные права. Наркомат продовольствия (Наркомпрод) был образован декретом 2-го съезда Советов 26 октября (18 ноября) 1917 года. На местах создавались губернские и уездные продкомитеты. Им подчинялись созданные Декретом от 11 июля 1918 года Комитеты бедноты (Комбеды) и местные продотряды (Декретом ВЦИК от 27 мая 1918 года продотряды создавались не только при центральных, но и местных органах Наркомпрода). С этого же Декрета началось формирование Продовольственной реквизиционной армии Наркомпрода (Продармии). Из продотрядов формировались продбатальоны, продполки по военному типу. Продармейцы находились на положении красноармейцев. Они давали

торжественное обещание (клятву), проходили ускоренное военное обучение, им выдавалось солдатское обмундирование и оружие.

Из воспоминаний участника первого Вологодского реквизиционного продотряда: «Продотряд был обмундирован в солдатскую форму, вооружен винтовками, револьверами, тремя пулеметами «максим», для организации конников отряду выделили 46 лошадей с седлами. Вступающим в ряды продармейцев гарантировались определенные льготы. «Все участники продотрядов пользуются правом на получение вознаграждения на месяц вперед в размере обычного среднего заработка с готовым содержанием. Причем семьи продовольственников, если таковые имеются, обеспечиваются продовольствием в первую очередь».

Вербовка в продотряды велась в основном среди молодежи. По архивным сведениям вологодские продотряды на 85% состояли из лиц в возрасте от 18 до 22 лет. Какие задачи ставились перед ними? Приведу выдержку из характерного для того времени документа – воззвания Белозерского уездного комиссариата по военным делам к крестьянам-беднякам и рабочим уезда от 1 августа 1918 года: «Товарищи! Откликнитесь на этот благородный призыв Советской власти. Она формирует специальную продовольственную реквизиционную армию... Цель и задача этой армии – беспощадная, не останавливающаяся перед самыми суровыми мерами борьба с жадными, укрывающими хлебные излишки, и с деревенскими кулаками-богатеями. Это единственное средство вырвать хлеб из (их) цепких рук и прожить с наименьшим страданием оставшиеся до нового урожая полтора – два месяца.

В борьбе за хлеб с деревенской буржуазией Советская власть не остановится перед применением к своим упорствующим врагам кулакам и богатым открытого насилия, отнюдь не скрывая и от других, что деятельность продовольственных отрядов в деревнях, благодаря проникновению в их состав несознательных, развращенных навыком

старого режима элементов, подчас больно ударяет и по среднему трудовому крестьянству... Идите записываться в местные Советы, где вы узнаете и условия службы».

Этот документ примечателен тем, что в нем недвусмысленно говорится, что «штыки» продармии были направлены не только против кулаков-богатеев, а против всех «жадных» (термин можно применить к любому), укрывающих свой хлеб, в том числе и «среднякам». Хотя и оправдывается это вроде бы проникновением в ряды продармейцев «несознательных элементов».

К ноябрю 1918 года численность официальных продотрядов составляла в стране 72 тысячи бойцов. Продармии – 29 тысяч (к ноябрю 1920 года в продармии было уже 77550 бойцов). Кроме того, на местах «отчуждением хлеба» занимались многочисленные уборочно-реквизиционные, заградительные, карательные отряды и другие «самоинициативные» объединения реквизиторов.

Их «нетактичное поведение» служило поводом для крестьянских восстаний под лозунгом: «Да здравствует свободный труд, свобода торговли. Да здравствует истинная народная власть, а не именующая себя рабоче-крестьянской, ставшая нашим поработителем и кровопийцей».

В стране не было ни одного крестьянского уезда, который бы не оказал совнаркомовской продразверстке и реквизиторам упорного сопротивления. Апогеем этой борьбы стал так называемый «Кронштадтский мятеж» 1921 года. Те самые матросы, которые брали Зимний и у которых в случае провала восстания (1917 г.) хотел найти убежище Ленин, восстали против политики большевистского Кремля. Мятеж был жестоко подавлен. Постановлением Совета Труда и Оборона от 2 марта 1921 года все участники кронштадтских событий были объявлены вне закона. И, по сути дела, только лишь указом Президента России от 10 января 1994 года были реабилитированы.

В советской истории этот мятеж преподносился как белогвардейский. На самом деле он явился следствием

праведного гнева народа против несправедливости и насилия советской власти и, в первую очередь, по отношению к крестьянам. Все эти события заставили Ленина перейти, в конце концов, к НЭПу. Но об этом разговор особый. Вернемся к продотрядам восемнадцатого года.

Первый Вологодский продовольственно-реквизиционный отряд был создан в сентябре 1918 года и вошел в состав продармии, но с подчинением в оперативном отношении штабу 6-й Армии Северного фронта. В его составе было 224 человека. Этот отряд совместно со 109-й маршевой ротой Московского продовольственного полка занимался «отчуждением хлеба» в Никольском уезде Вологодской губернии и вошел в историю тем, что «за большую работу по учету и изъятию хлебных излишков, скота и фуража для нужд Северного фронта» получил благодарность Ленина. Всего в 1918 году в ряды продармейцев записалось свыше пяти тысяч вологжан.

В Тотемском уезде, в который входила и территория современного Тарногского района, действовал продотряд из 120 человек, сформированный из вологодских и сухонских рабочих в октябре 1918 года. Возглавлял отряд член президиума губисполкома Г. М. Шаршавин.

Такой мощный десант реквизиционеров в эти два вологодских уезда был неслучайным. К весне и лету 1918 года хлебные территории Поволжья, Урала, Украины, Сибири не были подконтрольны Советской власти. Взоры Наркомпрода обратились к северным губерниям. Но, по отчетам губпродорганов, Вологодская губерния сама являлась потребляющей, а не производящей хлеб. И только Никольский уезд обходился собственным хлебом, да более-менее благополучным считался Тотемский уезд, на территории которого и разыгралась одна из жутких трагедий времен «военного коммунизма».

Но прежде хотелось бы ответить на такой вопрос: были ли в наших краях «кулаки» в классическом значении этого слова? «Кулак» – богатый крестьянин-собственник, эксплуатирующий бедняков, батраков. (Словарь С. И. Ожегова).

Нет. На мой взгляд, было искусственное разделение деревни на антагонистические группы. Богатые крестьяне на севере, в условиях хозяйствования на бедной земле и в суровом климате, были редкостью. Судя по архивным данным и рассказам старожилов, хозяйства, державшие по 4 лошади, по 8–12 коров были редким исключением и до революции. А потом, когда начались все эти «притеснения» тех, кто богаче, такого количества скота уже не встречалось ни в одном хозяйстве. А если задуматься, были ли люди с 4 лошадьми и 12 коровами богатыми? Ведь в те времена существовали в деревнях большие патриархальные семьи. Глава семейства препятствовал выделению из хозяйства женатых сыновей. Это было невыгодно. Под одной крышей, случалось, жили по три-четыре сына с женами и детьми. За обеденный стол садилось до двадцати, а то и более человек. Чтобы прокормить такую большую семью, неизбежно нужно было держать несколько коров. А для обработки надела земли, который в рассматриваемый период нарезался «по едокам», нужна была не одна лошадь. Такая семья не нуждалась в наемной силе. Разве что в уборочную страду на жатве применялся наем, и то в виде так называемой «помочи». Хозяин варил пиво, хозяйка пекла пироги, и тем рассчитывались с теми, кто по собственному желанию приходил в работники.

А вот как «эксплуатировал», например, своих земляков «кулак» с Илезы А. Г. Демидов. Он приводил какого-нибудь праздношатающегося парня на надел, заросший кустами, ставил перед ним гармонь и говорил: «Вот выкорчуешь столько-то сажений – и гармонь твоя». (Из воспоминаний моего деда А. Ф. Дуракова). Какая же тут эксплуатация?

Списки «кулаков» для реквизиторов хлеба составляли деревенские комитеты бедноты (комбеды), в которые записывались в основном бездельники (лодыри) да выпивохи. Ими двигали исключительно чувство зависти да личной мести.

После НЭПа в число кулаков попадали, например, крестьяне, ранее считавшиеся бедными, но сумевшие в этот короткий период экономической свободы своим умением, трудом и смекалкой поправить свое хозяйство. А потом уже записывали всех, кто имел лишнюю курицу, поросянка, плуг, а также по навету, по доносу недоброжелателей.

Практику искусственного раскола деревни успешно применяли и продотрядовцы. Вот что говорил политкомиссар 1-го Вологодского продотряда Шекун на заседании комитета большевиков г. Никольска: «Для успешной работы отряда на местах необходимо сейчас же приступить к организации деревни: расколоть ее на два лагеря путем повсеместной организации комитетов бедноты, так как только они могут успешно содействовать скорейшему учету и изъятию хлеба». Комбеды при поддержке власти занимались самым беззастенчивым грабежом своих соседей по деревне. А не стали теми революционными органами, как замышлял пролетарский вождь Ленин. Многочисленные письма, ходоки с жалобами уходили в Москву. А на места высылались циркуляры за подписью Ульянова (Ленина) и комиссара по продовольствию Цюрупы такого содержания: «Лозунг организации бедноты во многих местах неправильно истолкован в том смысле, что беднота должна быть противопоставлена остальному крестьянскому населению... комитеты бедноты должны быть революционными органами всего крестьянства против бывших помещиков, кулаков, купцов и попов, а не органами одних лишь пролетариев против остального деревенского мира».

Циркуляры циркулярами, но на местах были свои «вожди» и «вождики» со своим представлением «революционного момента». И хотя, не просуществовав и года, комбеды упразднены декретом сверху (реорганизованы в волостные и сельские Советы), но они сыграли свою роковую роль в расколе деревни, уничтожении веками складывающегося деревенского мира. «Комбедовская

практика» существовала на местах долго, а «комбедовская психология» дает о себе знать и до сих пор.

2. Реквизиторы на Кокшеньге

Продовольственный отряд Шаршавина в количестве 120 человек прибыл в уездный город Тотьму в начале ноября 1918 года. В задачу его входило: изъятие хлебных излишек, сбор чрезвычайного революционного налога с крестьян в уезде. В конце лета 1918 года Советское правительство приняло декрет о десяти миллиардном чрезвычайном налоге. На Тотемский уезд его было начислено 7,5 миллионов рублей.

По прибытии в Тотьму продотряд Шаршавина был разделен на несколько мелких отрядов. Один из них в количестве примерно 60-ти человек (командир Федоров) направился в Кокшеньгские волости. В передовой статье «Известий Вологодского губернского продовольственного комитета» от 19 июля 1918 года говорилось: «Значительные излишки хлеба, безусловно, есть в районе Кокшеньги. Конечно, значительное количество этого хлеба вывезено за зиму мешочниками, но так или иначе тысяч 20–30 пудов этого хлеба в названном районе есть, и весь вопрос заключается в умении его взять». Сколько должен был «взять» продотряд хлеба на Кокшеньге? Точной цифры в архивах обнаружить не удалось. Но есть свидетельства, что уже к декабрю (за месяц) отряд Шаршавина сумел «взять» в целом по уезду 40 тысяч пудов хлеба. По сведениям тарногского краеведа В. Е. Величутина: «...в зиму 1918-1919 гг. только у крестьян Заборской волости было изъято 35 тысяч пудов хлеба, не меньше в Шведеницкой, Спасской, Шебеньгской волостях». (?!).

По отчету Вологодского губпродкома, с августа 1918 года по 20 июня 1919 года в Тотемском уезде было изъято 121253 пудов 5,5 фунта хлеба.

После прибытия на Кокшеньгу местом дислокации был избран Спасский погост, где и разместился штаб отряда.

Для оперативной работы по волостям он был разделен на более мелкие подразделения. В Верхнекокшенинскую волость (Верхнекокшенин, Илеза) был откомандирован отряд в количестве 15-ти бойцов (командир Киселев, комиссар Губин).

Что представляла из себя волость в то время? Вот краткая характеристика: «Верхнекокшенинская волость. До губернского города 330 верст, до уездного – 125 верст; два сельских общества, 45 деревень, 3662 человека населения, в том числе мужчин – 1121 человек, женщин – 1246 человек, детей до 16 лет – 1280; в волости 12458 десятин земли. Потребительские лавки: Верхнекокшенинская – 600 человек, Илезская – 250 человек, Епифановская – 59 человек; 1 фельдшер. Волисполком возник 1 апреля 1917 года, волостной совет – 8 февраля 1918 года (на момент описываемых событий его еще не было, были комбеды – А. С.), волостное земство 2 сентября 1917 года (видимо, перестало функционировать – А. С.). Председатель волисполкома И. С. Суворов».

О задании на заготовку хлеба продотрядом Киселева в этой волости документальных свидетельств найти не удалось. Писатель А. Петухов в своей повести «Просим выдать оружие» (1966 г.), в которой говорится художественным словом об этих событиях, называет такие цифры: «6943 пуда овса и 5246 пудов продовольственного зерна». В повести также звучит в устах комиссара продотряда такая фраза: «В наличии хлеба у населения оказалось меньше».

И продотрядовцы с революционным рвением стали изымать не только излишки, а и семенное зерно. А еще был «революционный налог». Сколько денег нужно было «изъять» с «крестьян-кулаков» Верхнекокшенинской волости? Свидетельств на этот счет нет. А вот в личном архиве есть выписка из протокола Озерецкого волисполкома (соседняя волость, в 12-ти км от Верхнекокшенинской): «От 3 декабря 1918 года... на Озерецкую волость на 71 человека наложен революционный налог общей суммой 109000 рублей». (!)

Раскладка всех этих – и хлебных, и денежных – поборов велась комбедами. Заседания комитетов бедноты, начиная с середины ноября, собирались почти ежедневно. Когда просматриваешь протоколы этих заседаний, то и за скудными строками документа улавливаешь кипение страстей того времени. Деревню резали «по живому», сосед доносил на соседа, лодырь и неудачник – на более предприимчивого и работающего земляка...

Крестьянин-собственник принял Советскую власть, но, как писал поэт, «с крестьянским уклоном». Лозунг «Земля – крестьянам» и программа по земельному вопросу, кстати, «умыкнутая» большевиками у эсеров, действовали притягивающе. И вот эта-то «своя власть» с оружием в руках пришла отбирать самое дорогое – хлеб.

Естественно, реквизиторов в деревнях встречали «недружелюбно», да и они к тому давали повод. «4 декабря 1918 года в Озерках кулаки стучали об пол деревянными винтовками и не выплачивали налог», – говорится в одном донесении Озерецкого волисполкома по поводу волнений в ходе проведения хлебной монополии. (В то время в рамках всеобуча изучалось военное дело под руководством волостных военкомов. Для выполнения боевых приемов «новобранцам» выдавались деревянные винтовки. Ими-то и стучали озерецкие крестьяне об пол волисполкома, тем самым выражая протест против грабительских действий продотрядовцев).

В Верхнекокшенигскую волость продотряд Киселева прибыл в первых числах декабря 1918 года, по воспоминаниям старожилов, – на Введенские праздники, т.е. 10 декабря.

По воспоминаниям моего деда А. Ф. Дуракова, где-то за неделю до прибытия в волость продотрядовцев здесь был убит отпускник красноармеец-артиллерист П. А. Шубин. Продотрядовцы даже сделали салют из винтовок над его могилой. В ноябре 1918 года в г. Тотье формировалась «образцовая часть» Красной армии из бывших артиллеристов – жителей уезда. Но из-за «контрреволюционных

волнений» в Ярославле и Вологде произошла задержка отправки ее на фронт. Съехавшиеся в Тотьму из разных уголков уезда новобранцы-крестьяне принесли с собой настроение недовольства действиями в уезде продотрядовцев. Назревали серьезные волнения и в Тотьме. Уездные советские власти распустили мобилизованных артиллеристов по домам во временные отпуска, от греха подальше. Были приняты и более суровые меры: введено чрезвычайное положение в г. Тотьме, а затем и во всем уезде. П. А. Шубин и был одним из тех отпускников-артиллеристов.

Квартировал отряд Киселева в волости двумя группами: 8 бойцов в д. Александровская (Верхкокшеньга) и 7 – в д. Якинская (Илеза).

Тактикой изъятия хлеба был выбран подворный обход крестьянских хозяйств по спискам, составленным комбедом. Командир Киселев пошел на хитрость: пройдя один раз по дворам и амбарам жителей волости, меньше чем через неделю продотрядовцы внезапно начали повторный «шмон», чем усугубили и без того напряженную атмосферу взаимоотношений с крестьянами.

3. «Восстание»

Недовольство действиями продотрядовцев зрело среди жителей волости с первых дней появления реквизиторов в этих краях. «Они ведь шибко пошаливали», – рассказывал один из старожилков Илезы. А попросту говоря, «мародёрничали». Как уже отмечалось, в ряды продбойцов записывалась в основном молодежь, на биографию при этом вряд ли обращалось внимание.

Могли ли удержаться молодые люди, получившие в руки оружие и поддержку власти, от соблазна побравировать своим превосходством над деревенскими мужиками? Был при этом и материальный интерес: половина изъятого хлеба оставалась в организации, пославшей продотряд,

члены продотряда и их семьи обеспечивались хлебом в первую очередь. С другой стороны, и среди деревенских жителей «нравы были крутые». Выяснение отношений с помощью кольев, поленьев было обычным явлением в деревнях.

После того, как продотрядовцы начали повторный обход крестьянских хозяйств, по деревням волости поползли тревожные слухи: «Продотрядовцы идут отбирать семенное зерно!» Недовольство нарастало.

16 декабря 1918 года у здания Верхнекокшеньгского волисполкома (В.-Кокшеньгский Погост) собрался крестьянский сход, который и вылился в кровавую расправу над продотрядовцами. Стихийно собрались люди на сход или организованно – документальных свидетельств нет. Хотя Г. Е. Мырнин в книге «Октябрь на Севере» (1967 г.), например, утверждает: «Руководители продотряда решили созвать волостное собрание крестьян и разъяснить им продовольственные затруднения Советской республики, разоблачить кулацкую пропаганду». А. Петухов в своей повести инициативу созыва схода приписывает «главарям» мятежа, замечая при этом, что уездными властями было объявлено чрезвычайное положение и были запрещены все самочинные сборища. Как бы то ни было, но то, что на этом сходе-собрании присутствовали командир отряда Киселев и комиссар Губин – факт. Вместе с ними была в здании волисполкома и верхнекокшеньгская группа продотрядовцев.

Трудно сказать, что послужило последней каплей, переполнившей чашу народного гнева: то ли неосторожно с вызовом брошенное в толпу резкое слово комиссара отряда, то ли выстрелы в воздух, которыми командир приказал разогнать собравшихся крестьян, то ли подстрекательские выкрики из толпы.

Из воспоминаний моего деда А. Ф. Дуракова (в то время ему было 10 лет, он был учеником школы, которая находилась в одном здании с волисполкомом): «Когда стали стрелять, учительница нам сказала лечь на пол.

А потом началась драка». Деревенские мужики разоружили продотрядовцев и стали избивать. Били жестоко подвернувшимися под руки поленьями, забили насмерть всех восьмерых. На подводах отправились за остальными на Илезу (8 км). Привезли на Верхнекокшеньгский Погост. Всех (семерых) постигла та же участь. «Страшен русский бунт!»

Еще раз зададимся вопросом: был ли он организованным, спланированным, или люди собрались стихийно, возмущенные действиями реквизиторов, и расправились с продотрядовцами? Обратимся к документам. Вот, например, «Анкета о всех случаях кулацких и контрреволюционных выступлениях, анархических вспышках, происшедших в Тотемском уезде (Верхнекокшеньгская волость)». Эта «Анкета» (по существу, донос от уездных начальников) была направлена 13 января 1919 года в Вологодский губернский отдел внутреннего управления. Для краткости изложения вопросы «Анкеты» сокращены и даны в скобках. Ответы – по тексту документа, с соблюдением орфографии оригинала.

1. (Чем вызвано восстание?) Вызвано отчуждением излишков хлеба и неправильным конфискованием продовольствия отрядом Губпродкома.

2. (Участники?) Восстали кулаки, которые вызвали и средних крестьян, а также участвовали мобилизованные артиллеристы, отпущенные домой до востребования военными местными властями.

3. (От кого исходила агитация?) От *народных социалистов, правых, буржуазии и спекулянтов*. (Выделено мной – А. С.)

4. (Связь с другими уездами?) Были разосланы нарочные во все концы других уездов для связи с белогвардейцами, безрезультатно, прилегающие волости арестовали гонцов.

5. (Лозунги, агитация?) Лозунгов никаких не было, пропагандировали, что белогвардейцы хлеб не отберут. (6, 7, 8 пункты в документе отсутствуют – А. С.)

9. (Как все началось?) «Началось днем 14 декабря 1918 года. (На самом деле сход был 16 декабря.— А. С.) При следующих обстоятельствах: местные крестьяне, будучи недовольны отрядом губпродкома и под влиянием агитации кулацких элементов, собрались к волостному исполкому, бросились на отряд Губпродкома в числе 14 красноармейцев и статистика Уездпродкома и всех их убили».

Это, так сказать, официальная версия представителей уездной власти, которые докладывали о событиях в Верхнекокшенинской волости как организованном выступлении **«народных социалистов, правых, буржуазии»**, ну и примазавшихся к ним **«спекулянтов»**.

А вот мнение человека, который занимался расследованием дела по «горячим следам». Привожу документ полностью.

«В революционный Трибунал при Вологодском Губернском Совдепе.

Бывший председатель Уездной Чрезвычайной Комиссии при Тотемском исполкоме Смолин.

28 марта 1919 года. На № 1302.

По поводу заданных вопросов, изложенных в сношении от 19-го сего марта за № 1302, доношу следующее.

Проведение хлебной монополии и одновременно объявленный сбор чрезвычайного налога сильно взбудоражили умы захолустной деревни, да плюс к этому, как нельзя более кстати, подлило масла в огонь местное кулачество.

Все это в совокупности сильно наэлектризовало людей. И достаточно было малейшей оплошности, чтобы получился сильный разряд. В такой-то атмосфере и пришлось проводить продотрядовцам хлебную монополию, поэтому не удивительно, что некоторая нетактичность со стороны последних послужила поводом к самочинному сборищу толпы. Это произошло уже после работы продотрядовцев в Верхнекокшенинском обществе.

Видя большое скопление народа, продотрядовцы вышли к толпе и, вместо того, чтобы подействовать на такую словами увещевания, отдали приказание разойтись, но означенное требование не привело к желаемому результату, а усилило недовольство собравшихся, среди которых послышались выкрики по адресу продотрядовцев. В этот момент из желания ли повлиять угрозой на народ, или из боязни, или просто машинально было произведено несколько выстрелов в воздух.

Означенные выстрелы были роковыми для продотрядовцев, так как в ту же минуту исступленная толпа ринулась на них и зверски растерзала. После этого почти целиком толпа отправилась в соседнее общество, где работали остальные продотрядовцы, там их, обезоружив, засадили в арестантское помещение при исполкоме. Здесь сравнительно уже меньшая кучка хулиганов под руководством местного буржуа Ульяновского произвели гнусное убийство последних, выводя поодиночке.

Донося о вышеизложенном, присовокупляю, что более подробных данных я не имею, остальное же все есть в следственном материале.

Бывший председатель Тотемского Чек. Вр. и. д. Тотемского уездного комиссара по военным делам Смолин».

Председатель уездного Чека, видимо, был склонен события в Верхкокшеньге квалифицировать как уголовные. Не потому ли так быстро он и стал «бывшим» председателем ЧК? Хотя и не обошелся без политической подоплеки в духе того времени.

4. Расстрел. Дело о должностных лицах

Когда весть об убийстве продотрядовцев на Кокшеньге дошла до уездного города, в Верхнекокшеньгскую волость был выслан карательный отряд красноармейцев (командир Колмаков) и комиссия уездной Чека (председатель

Смолин). Волость была объявлена на осадном положении. Сюда же поспешил и продотряд из Спаса (командир Федоров). Для справки: от Тотьмы до Верхкокшеньги 120 км, от Спаса – около 60 км. О том, когда эти отряды прибыли в Верхкокшеньгу, – в документах много противоречий. Так в телеграмме, посланной из Тотьмы в Москву, говорится: «Верхнекокшеньгской волости Тотемского уезда почве продовольствия чрезвычайного налога убито 16 красноармейцев (и здесь противоречие – А. С.) продовольственного отряда на расследование выехала комиссия, 24 декабря. Завотделуправ Губисполкома Костарев».

Г.Е. Мырнин в книге «Октябрь на Севере» пишет, ссылаясь на партархив Архангельского обкома КПСС: «23 декабря отряды Колмакова и Федорова встретились на территории Верхнекокшеньги». А. Петухов в своей повести называет дату 22 декабря 1918 года. В уже упомянутой «Анжете» – официальном документе того времени – говорится: «Особой чрезвычайной комиссией, прибывшей на место 26 декабря с отрядом красноармейцев, ликвидировано восстание и приговорено к расстрелу 17 человек, приговор приведен в исполнение 28 декабря в 6 часов утра».

Автор этих заметок склонен считать, что карательный отряд Колмакова и продотряд из Спаса прибыли в Верхкокшеньгу 26 декабря 1918 года. Об этом свидетельствует и следующий документ: «Список должностных лиц Верхнекокшеньгского волостного исполкома и волостного комиссариата, арестованных 26 декабря 1918 г.».

Следствие по делу об убийстве продотрядовцев (восстании крестьян) было проведено на скорую руку. Руководителям уездной Чека было все «ясно и понятно». Через два дня после опроса свидетелей был вынесен приговор (орфография документа сохранена): «Особая Чрезвычайная комиссия по делу зверского убийства 14 человек красноармейцев Продовольственного отряда и статистика Упродкома Буручака, принимая во внимание осадное положение в уезде, близость белогвардейского фронта,

зверское систематизированное ночное убийство товарищев красноармейцев, Постановила: всех главных виновников как самого факта убийства, так и лиц, ведающих организацией такового, Разстрелять. Приговор привести в исполнение 28-го декабря 1918 года в 10 часов утра в отношении следующих лиц:

1. Ульяновский Павел Иванович.
2. Бабкин Роман Макарович.
3. Ишов Павел Иванович.
4. Вячеславов Антон Северьянович.
5. Силинский Егор Иванович.
6. Кузнецов Александр Михайлович.
7. Демидов Павел Арсеньевич.
8. Вячеславов Михаил Северьянович.
9. Ермолин Арсений Артемьевич.
10. Ульяновский Федор Васильевич.
11. Силинский Василий Михайлович.
12. Попов Андрей Романович.
13. Ишов Яков Петрович.
14. Попов Никифор Евгеньевич.
15. Хомяков Василий Лаврович.
16. Дружининский Максим Федорович.
17. Ульяновский Иван Александрович.

Подписали: председатель Ревсовета и особой Чрезвычайной комиссии Колмаков, члены: Н. Кресталов и Н. Москалев».

Целостного дела об убийстве продотрядовцев в архивах не удалось найти. Некоторые свидетельские показания обвиняемых и текст приговора Чека есть в «Деле об обвинении должностных лиц Верхнекокшенинского волостного волисполкома и Военного комиссариата в бездеятельности власти. Начато 12 марта 1919 г., окончено 18 ноября 1919 года». Это дело обнаружилось в Вологодском отделении КГБ. (В 1994 году автор этих заметок имел возможность прочитать документы этого дела). Дело, вообще-то, весьма любопытное и запутанное и требует отдельного изучения. Ограничусь в этих заметках несколькими документами.

«2 октября 1919 г. Секретно.
Председателю Следственной комиссии
Губернского Трибунала тов. Рихтерс.

Уважаемый товарищ. В ответ на Вашу просьбу от 27 сентября сего года № 1655 сообщаю, что весь следственный материал произведенный карательной экспедицией по делу возстания в Верхнекокшеньгской волости и зверского убийства 14 продотрядовцев и 1 статистика Упродкома был доложен в Пленум исполкома и затем передан в Уездную чрезвычайную комиссию (ныне ликвидированную) для направления по принадлежности. Здесь же в исполкоме никаких сведений о том, кто расстрелян по постановлению карательной экспедиции, нет. Доложить же имена и фамилии не мог, а равно как и Никитинский.

Переходя к вопросу отношения граждан Верхнекокшеньгской волости к Советской власти и ее распоряжениям в настоящее время, могу сказать, что только исключительно принятая своевременно в то время мера расстрела 17 человек и повлияла на население волости, которое в данное время ничего активного против Сов. Власти не проявляет, хотя эта волость является единственной в уезде по своей неблагонадежности, отчасти, быть может, и по своему невежеству...

Получить же сведения от волостного исполкома в составе служащих в то время надежды мало, ибо последний был главным виновником возникновения и даже соучастником такового, который, безусловно, бы должен быть отдан под суд, но, как видно, этого не будет, что значит последнее не понимаю, хотя подозреваю Смолина, как бывшего Председателя Через. комиссии, что вышло это исключительно по его вине, как защищавшего состав волисполкома.

Одновременно же с сим срочно и совершенно секретно запросил волисполком о доставлении списка расстрелянных, каковой тотчас же в получении и пришло.

Пред. Тотем. Уезд. Испол.».
(Подпись неразборчива – А. С.).

Из документа можно сделать вывод, что была попытка привлечь к ответственности и должностных лиц, которые были членами Верхнекокшеньгского исполкома, когда происходила расправа над продотрядовцами.

По части же расстрела крестьян волости – участников тех кровавых событий – сомнений у представителей тогдашней власти не было.

«Выписка из протокола № 153 заседания Исполнительного Комитета Тотемского Совета крестьянских, рабочих и красноармейских депутатов 30 декабря 1918 года.

Постановили: параграф 6... по словам докладчика 17 человек расстреляны на месте. В этом направлении исполнительный комитет действия отряда признает правильными и одобряет».

Из заключения следственной комиссии губернского ревтрибунала от 12.10.19 г.: «...меры, принятые в прошлом году карательным отрядом во главе с Колмаковым, рассматривать как расправу на месте с восстанием и признать таковую революционную расправу правильной.

Член следкома Ревтриба Ю. Рихтерс».

5. Свидетели и обвиняемые о событиях 16 декабря 1918 года

«Выписка из протокола дознания по делу о гражданах Верхнекокшеньгской волости, обвиняемых в контр. Революционном возстании и зверском убийстве четырнадцати красноармейцев и одного статистика Упродкома. Для привлечения к ответственности должностных лиц Верхнекокшеньгского Волостного исполкома и военного комиссариата как не проявивших никаких абсолютно действий к предупреждению самовольно собравшихся толпы кулаков и недопущению этой толпы к открытому возстанию».

Это дознание проводилось 30 января 1919 года следователем Тотемской Чрезвычайной комиссии Одинцовым. Всего было опрошено 23 человека. В этом же деле

имеются показания обвиняемых в мятеже крестьян, к тому времени уже расстрелянных. Опуская показания типа «ничего не знаю, «ничего не видел», приведу выдержки из этих документов. Вот задокументированные свидетельства тех событий:

«Шубин Кузьма Осипов, 35 лет. Заведующий земельным отделом при Верхкокшеньгском Волостном исполкоме: «16 декабря (в понедельник) почти одновременно со мной вошли в отдел красноармейцы: Киселев и Губин и статистик Бурачек, которые обратились к нам с вопросом о причине схода. На что мы ответили: «Не знаем». Побеседовав между собой минут пять, они со словами «Не знаем что тут, сход или митинг, надо разогнать» – вышли на улицу и вошли в середину толпы, числом превышающую двухсот человек...».

Ульяновский Иван Алексеевич, 48 лет. Делопроизводитель земельного отдела Верхкокшеньгского Волисполкома: «Послышался с их стороны (Киселева и Губина – А. С.) крик: «Расходитесь, а то палить будем!» Раздались выстрелы, испугавшись которых я спрятался за стену. Я также не слышал, чтобы в толпе на сходе перед убийством велась агитация в пользу убийства. Также ничего не слышал о посылке агитатора в Озерецкую волость с целью возбудить население к сопротивлению властям».

Попов Петр Иванович, 28 лет. Военный комиссар. По делу показываю следующее: «Об убийстве красноармейцев я сообщил начальнику милиции Попову 17 декабря, а 18-го утром я послал донесение в Тотемский исполком, Чрезвычайную комиссию и Военный комиссариат. 18 декабря на собрании (в д. Комлевской) были принесены винтовки красноармейцев, которые были в тот же день сданы в военный комиссариат следующими лицами (перечисляются фамилии – А. С.).

Что касается причин враждебных отношений населения к продовольственному отряду, по моему мнению, оно заключается: недовольством учета хлеба, каково недовольство подогрего возвратившимися из Тотьмы артиллеристами».

Погожев Александр Петрович, 42 года, гражданин д. Гольчевская: «Служу сторожем Военного Комиссариата, по делу показываю: на этом сходе обсуждался вопрос об организации отряда (среди крестьян – А. С.) из солдат... Ульяновский говорил, что если властей приедет не много, то их можно пересилить».

Другов Иван Иосифович, 34 года: «Проживаю в деревне Карачевской, по делу показываю: 17 декабря утром у исполкома я видел 15 трупов».

Ульяновский Андрей Федорович, 25 лет, писец Военного Комиссариата: «...недовольствие продовольственным отрядом вследствие того, что у некоторых крестьян почти реквизируют весь хлеб. Так, например, у гражданина дер. Володинская требовали 140 пудов. Основанием реквизиции служило несоответствие имевшихся в статистической карточке сведений о количестве хлеба у граждан от наличности хлеба, которая обнаружилась при обыске. Хотя бы этот хлеб и не был спрятан».

Привлекаемый в качестве обвиняемого Павел Иванов Ульяновский, деревни Норушки, 25 лет, грамотный, холост, показал: «В розыске дер. Норушки красноармейца виноватым себя не признаю, хотя и участвовал в розыске не с целью чтобы убить, а только задержать его, но когда привезли к исполкому, то первыми набросились бить Никулин Сергей Иванович деревни Монастыриха, Арсений Артемьев Ермолин дер. Кузьминской, Федор Константинович Силинский деревни Тюрдинской... в вечернем убийстве Киселева и других красноармейцев также не признаю себя виновным... Активное участие в убийстве проявляли следующие лица: Федор Васильевич Ульяновский светил лампой в коридоре. Яков Петров Ишов сопровождал к месту убийства, а били граждане деревни Степановской Федор Никитин Ульяновский, дер. Кузьминской Арсений Артемьевич Ермолин, той же деревни Никифор Петров Ишов сопровождал от карцера к месту расправы, только присутствовали при этом дер. Слободинской Семен Афанасьев Шубин».

Вячеслав Венедикт Григорьевич, 25 лет, деревни Якинской: «На двух подводах мы сопровождали красноармейцев и их вещи до исполкома, мы поместили арестованных в карцер, в котором находился Киселев».

Федор Владимирович Вячеславов, гражданин деревни Якинской, 29 лет: «На сходе в деревне Задней я слышал, что нужно выставить заставу около дер. Норушка, для какой цели я не знаю».

Привлекаемый в качестве обвиняемого гражданин Федор Васильев Ульяновский, дер. Володинской, 31 год от роду, грамотный и обвиняемый Яков Петров Ишов 20-ти лет от роду, холост, малограмотный в показаниях все отрицали и не назвали никаких имен».

Оставляю эти документальные свидетельства без комментариев. Считаю не вправе кого-то осуждать или оправдывать. Такое было время...

6. Сколько их было?

По официальным документам, в первую очередь, «Приговору Чека», за убийство 15 продотрядовцев было расстреляно 17 крестьян Верхкокшенигской волости. Дело об этих событиях периодически просматривалось сотрудниками соответствующих органов, но так и оставалось на хранении в архиве постоянно. Вот, например, в архиве УКГБ по Вологодской области под грифом «сов. секретно» хранится следующий документ:

«Справка (по архивно-следственному делу)
21 декабря 1957 года г. Вологда.

Я, сотрудник учетно-арх. Отдела УКГБ по Вологодской области (фамилия – А. С.), рассмотрев материалы архивно-следственного дела (№) 1919 г. по обвинению:

1. Ульяновского Павла Ивановича, ур. дер. Володинская Тотемского уезда Вологодской губернии.
2. Бабкина Романа Макаровича, дер. Грибовской.

3. Ишова Павла Ивановича, дер. Тюрдинской.
4. Вячеслава Антона Сиверьяновича, дер. Вязутинская.
5. Силинского Егора Ивановича, 1891 г., д. Александровской.
6. Кузнецова Александра Михайловича, д. Ермаковской.
7. Демидова Павла Арсеньевича, д. Гольчевской.
8. Вячеслава Михаила Сиверьяновича, д. Вязутинской.
9. Ермолина Арсентия Артемьевича, д. Кузьминской.
10. Ульяновского Федора Васильевича, 1888 г. р., д. Володинской.
11. Силинского Василия Михайловича, д. Александровской.
12. Попова Андрея Романовича, д. Кузьминской.
13. Ишова Якова Петровича, д. Митрошинской.
14. Попова Никифора Евгеньевича, д. Кузьминской.
15. Хомякова Василия Лаверовича, д. Окуловской.
16. Дружининского Максима Федоровича, д. Вязутинской.
17. Ульяновского Ивана Александровича, д. Володинской.

Перечисленные лица за участие в контр. револ. восстании Военно-полевой ЧК 28 декабря 1918 г. были расстреляны на месте т. е. в Верхнекокшеньгской волости Тотемского уезда Волог. Губернии. 21/12-57 года. (подпись).

Предлагал бы: в соответствии с пунктом 1 Перечня материалов и сроков хранения их в архивах Ком. гос. Безоп. от 12 августа 1954 года дело оставить на хранение в архиве основного фонда постоянно».

Этот список расстрелянных необходимо дополнить, по крайней мере, двумя фамилиями. Во-первых, когда карательный отряд Колмакова спешил в Верхнекокшеньгу, то он останавливался в Озерках и «восстанавливал советскую власть в этой волости», при этом был расстрелян житель Озерок Иван Маслов.

Во-вторых, в архиве Тарногского загса хранится «Метрическая книга за 1919 годъ», где против фамилий есть запись, сделанная рукой священника: «Расстреляны за контрреволюционные выступления по постановлению Чрезвычайной Комиссии». Под порядковым номером 11 значится Павел Артемьевич Погожев из д. Окуловской.

Таким образом, жертвами «борьбы за хлеб» в нашем крае стали, включая продотрядовцев, 34 человека, в основном молодых людей. Помнить бы нам об этом всегда.

* * *

Тела убитых продотрядовцев были перевезены в с. Спасский Погост и похоронены в братской могиле. Над ней установлен памятник с поименным списком убиенных. Под ним в советские времена принимали детишек в пионеры.

Тела расстрелянных крестьян покоятся в расстрельной яме на задворках с. Верхнекокшеньгский Погост. Над ней шумят две вековые ели.

ОКОЛО КОЛА ЗОЛОТАЯ ТРАВА

(«Хмельная» Кокшеньга)

«Пиво, приготовленное в домашних условиях, широко употреблялось на Руси с давних времен. О нем упоминалось в письменных источниках уже в XI веке. В «Домострое», памятнике XVI века, определялось, что в доме любого небогатого горожанина должно быть заготовлено пиво на случай прихода гостей. Мартовское пиво (сваренное в марте) и мед должны быть обязательно припасены, если случится «праздник или именины, или свадьба, или родины, или крестины, или по родителях память»

На «октябрьские» праздники

В XIX в. в европейской части России пиво повсеместно варили на церковные праздники, отмечавшиеся всей деревенской общиной. Оно было обязательным угощением при обрядах жизненного цикла севернорусских крестьян и на различных мероприятиях – новосельях, проводах в рекруты, свадьбах. Пива к праздникам на Кокшеньге варили много: «...бедняк варит на праздник пива ведер 30, более же зажиточный наваривает до 80 и 100 ведер». Особое место пиво занимало на свадьбах. «В местности Кокшеньге Тотемского у. Вологодской губ. родители жениха и невесты начинали приготовления, созывали родню на свадьбу. Период подготовки к свадьбе мог длиться от одной-трех недель до месяца и более. Одним из наиболее важных дел этого этапа была варка пива. Водка в XIX в. еще не имела широкого распространения на Русском Севере. Даже у зажиточных крестьян на свадьбе могли подавать только по две-три рюмки водки. В течение предсвадебной недели в селениях по р. Кокшеньге Тотемского уезда невеста должна была два раза в сопровождении подруг выходить на пивоварню или угор (вершину холма) и причитать. Для каждого из этих мест были разные причеты. В пивоварне невеста обращалась к отцу со словами: «Ты на що жо, мой тятюшко, / Варишь пиво ты пьяное, / Да двоювару-ту хмельную 12? / Да раньше эк не водилосе, / Да некогда не лучилосе». Затем Во это-то времечко / ...Охти, мне да тошнешенько! / Варит-то мой татюшка / Он не пиво-то пьяное, / Не двоювару-ту хмельную / А все розлуку великую невеста брала ковш, зачерпывала воды и старалась залить костер в пивоварне. Иногда невеста подходила к судну (чану для варки пива) и толкала его, но присутствующие были уже наготове и удерживали ее. Подружки, причитая вслед за невестой, уходили вместе с ней домой: «...Видно, разлучит пиво пьяное, / Да и двоювара-та хмельная, / Меня молодёшеньку, / С батюшкой да и с матушкой / Да со всей родней-то сердечною». В последний день перед

свадьбой невеста опять причитала, вспоминая, что отец уже сварил пиво и следовательно свадьба бесповоротна: «...наварил мне-ка батюшко / Много пива-то пьяново, / Да двоевары-то хмельные...». В этот же день невеста шла в сопровождении близких подруг в баню. Они брали с собой туюсок 16 пива. После мытья невеста обливала пивом из туюска лицо, руки и грудь так, чтобы пиво сливалось обратно в него. Потом это пиво ставили в подполье. Затем к нему еще добавляли воду, хлеб и соль, этой смесью невеста, намылившись мылом, умывалась перед выходом к жениху на девичнике. В день свадьбы во время «вывода» невесты этим «пивом» угощали приборян (участников свадебного поезда жениха). Приборяне догадывались о том, что это за пиво, и лишь делали вид, что пьют его, поднося к губам братиюню. В селениях по Верхней, Средней Кокшеньге и Уфтюге в Вологодской губ. знахарка после того как невеста пропарится, вытирала платком с нее пот, капли пота вливали жениху в пиво, «подсахаривали» его. Все это делалось, чтобы «связать молодых нерасторжимой связью», т.е. пиво, смешанное с потом невесты, выполняло функцию объединения молодых».

К 60-м годам двадцатого века все это, конечно, было подзабыто. Тяжелым катком прокатились по вековым устоям революции, войны, коллективизация, репрессии и иные катаклизмы, но еще собиралась деревня всем миром, общиной.

Конец октября. На заливных лугах реки Кокшеньги стоят ершистые островьями зароды сена, посеревшего от осенних дождей. Размусоленная в жидкую грязь тракторами деревенская улица уже взгрудилась, подмерзла. Хотя и не гладко, но надоевшей грязи уже нет. Можно и валенки надеть. Выпал первый снежок, обильно посыпал белым холодным сахаром тесовые крыши домов, посеребрил отаву на наволоках. Небольшие забереги уже припаяли к берегам холодные осенние воды реки. На полях громоздятся величавые, еще золотистые, стога ржаной соломы. Скоро ноябрьские праздники и осенние школьные каникулы.

В памяти ассоциируются они с катанием по замерзшим лужам, лягам по-нашему, и с запахом темного, тягучего, сладкого сула. Деревня готовится к 7 ноября, в календаре красное число. Праздник в ноябре, а у нас его называют – Октябрьские. Понятно, конечно, в честь Октябрьской революции 1917 года, Великого Октября, да и выходных два, а то и три дня. Вот и октябрьские. Да и полевые работы завершены в колхозе, почему бы и не попроядновать, всей деревней (бригадой) собраться на братчину. Для этого выбирали большую избу, ставили там столы. В назначенное время, 7 ноября, начинался собираться деревенский народ: приносили с собой угощения, что сготовили дома. Пирогги, шаньги, студень, блины, кто на что был горазд. Но главным на празднике было пиво. А для его приготовления требовалось время и особый ритуал. В деревне в это время наблюдалось заметное оживление.

В реке уже замочены мешки с рожью, придавленные камнями, чтобы не укатило течением. На берег привезены дрова, кучка камней в два мужицких кулака, какие-то жерди... Деревенские мужики совещаются: как варить пиво. В шестидесятые годы их, мужиков, в деревне было не много: минувшая война изрядно подкосила мужское население. Но традиция еще жива.

А дело это непроятое. Искусство его приготовления передавалось от отца к сыну, из поколения в поколение. Это трудоемкий, требующий большого терпения процесс. Варили пиво обычно на берегу реки. Кострища долго не зарастали травой, так и чернели черными пролысынами среди зеленой приречной растительности. И только зимой пиво варили на задворках деревенского дома.

«Около кола золотая трава»

Главными составляющими для варки пива были хмель и солод. Хмельники были практически у каждого деревенского дома. Хмель, как известно, это повойное

многолетнее растение. Для его выращивания необходимы специальные опоры, по которым бы он вился, поднимаясь вверх по ним. Такими опорами служили еловые тычины (колья), освобожденные (ошкуренные) от коры. Их заготавливали обычно летом, когда деревца были в соку, чтобы кора легко сдиралась. Комлевой конец тычин заострялся, и они втыкались в землю, там, где по весне пробивались нежно-зеленватые побеги хмеля. После сбора урожая тычины убирали под навес, они служили десятки лет. В старину говаривали: «Еловый кол да осиновая жердь – огrodu износу нет». То есть, еловая, хорошо просушенная древесина медленно поддавалась гниению, даже при соприкосновении с влажной почвой.

Плоды растения – шишки нежно-золотистого цвета – созревали к августу-сентябрю. Ножом или топором плети хмеля перерезались у основания, тычины выдергивались из земли, и растения вместе с листьями, стеблем и подами легко снимались с них по направлению к вершине и раскладывались для просушки. По готовности шишки собирали (щипали) и укладывали в бураки или мешки.

Хмель на Кокшеньге издавна разводили в большом количестве, излишки возили на продажу в города зимним санным путем. Архивные документы свидетельствуют тому. В «Таможенной книге г. Устюга Великого и Устюжского уезда собора головы Филимона Амбросимовича Бестужих со товарищи» за 1676 (7185) год записано: «Генваря в 7 день Верхкокшенской чети Моисей Осиев сын явил кипу хмелю весом 15 пудов и продал на Устюге, цена 7 рублей. С того платил пошрины по 10-ти деньги с рубля». Там же: «Кокшар Василий Алексеев сын Силяных явил 2 кипы хмелю весом двадцать восемь пудов. И тот хмель продал на Устюге, // цена 13 р. 13 алтын. 2 д. С того платил пошрины по 10-ти д. с рубля, итого 22 ал. 2 д.».

«Не учишь пиво варить, а учишь солод водить»

Солод (Словарь Даля) – хлебное зерно, теплом и мокротою пущенное в рост, засушенное и крупно смолотое, в котором образуется сахарное начало.

На Кокшеньге солод водили (изготавливали, растили) из ржи. На пуд солода уходили пуд и десять фунтов чистого зерна ржи. Зерно для солода брали крупное, отборное. Ржи, а также пшеницы, гороху в кокшенгских краях выращивали много. В 17–19 веках Кокшенгский край (земли в бассейне реки Кокшеньги) считался житницей всей Важской земли. Зерно сплавляли по весне на плотках с Кокшеньги по Устью, Ваге, Северной Двине в город Архангельск. 2 февраля 1846 года газета «Вологодские губернские ведомости» сообщала, что в 1845 году в город Архангельск с реки Кокшеньги прибыл 171 плот и 10 паромов. На тех плотках и паромках были доставлены грузы: рожь, ржаная мука, овес, овсяная мука и крупа, солод, толокно, горох, льносемя, лен, смола, сало говяжье – всего на сумму 61029 рублей. Во второй половине 19-го века были годы, когда из кокшенгских волостей уходило с хлебом до 200 и более плотов. В 1913 году с Кокшеньги в Архангельск было доставлено 80000 пудов зерна, в основном – овса. Торговали зерном кокшенгские крестьяне и зимой: возили на лошадях в Великий Устюг, Тотьму. В Таможенной книге Устюга Великого (1676 год) есть, например, такая запись: «Марта в 14 день с Шебеньги Емельян Созонов..., с Верх-Кокшеньги Михайло Яковлев, с Лохты Никифор Устинов..., от Озерок Капон Афонасьев с товарищи продали ячменя, овса, ржи, пшеницы, гороху, семени конопляного, конопля, хмелю, сена, мяса свиного на 10 р., на 20 на 3 ал. на 2 д.».

Процесс «вождения» солода начинался с замачивания. Рожь в нужном количестве засыпали в холстяные мешки и погружали в речную воду, привязывая к специально вбитым в речное дно кольям или нагружая сверху камнями, чтобы мешки не укатило течением. Через трое

суток их везли домой и в теплом помещении распростирали на полу ровным слоем вершка в три-четыре. На четвертые сутки зерно прорастало. Его собирали в кучу, укрывали постилахой (отрезок полотна) или сеном и на него укладывали груз, поленья, например, – солод гнели. Через несколько дней загнетенная куча зерна начинала парить. Тогда зерно брали на пробу, на сладость солода. Если солод стал сладким, кучу раскутывали, снимали груз, постилаху или сено. После этого согревшуюся рожь остужали и отправляли на просушку. Сушили в овинах – гумнах (большие партии) или в русских печах. К этому процессу подходили очень ответственно, доверяя его знающему, опытному человеку. Если солод высушен нормально, то он придавал пиву приятный хлебный вкус и коричневый цвет. Если солод получался пережженным, то пиво горчило, цвет его был темно-бурым, от него пахло горелым зерном. Высушенный солод везли на мельницу или мололи дома на ручных жерновах крупного помола. От качества солода зависело и качество пива. Не зря в старину говорили: «Не учишь пиво варить, а учишь солод водить».

В нашей деревне, при варке пива на Октябрьские праздники, солод разносили по домам и рассыпали наверху (лежанке) русской печи. Духмяный запах его заполнял всю избу. Схватишь его горстью с печи, пока мать не видит, и зоблешь, млея от удовольствия, сладкий, вкусный солодок.

Варка пива

Ну вот и наступал день варки пива. В деревне с утра оживленно, мужики держат совет: у кого более вместительное судно, кто лагуны позаимствует для общего дела, кого из старожилков уговорить на роль главного варца. Одним из них в нашей деревне Александровской (Костылихе) был мой дед по отцовской линии Силинский

Григорий Дементьевич, Гриша Демин, как называли его в деревне.

Наконец все «организационные» вопросы решены. На берег реки Кокшеньги доставляется пивная посуда и другой инвентарь, необходимый в этом деле. Поварня (место, где варят пиво) на некоторое время становится центром притяжения всех жителей деревни.

Первым делом помощники варца обустроивали таган. В землю вбивались два кола с рогатинами, на которые клалась перекладина, на нее на железных крюках подвешивался пивоварный (пивной) котел, железный или медный ведер на десять. В него наливалась речная вода. А под ним разжигали костер. Чуть поодаль на подкладины (два не очень толстых бревна) устанавливали судно (большой деревянный чан, бочка), с расчетом, чтобы под него входило свободно деревянное корыто. Не далеко от судна обустроивали груды, которая представляла кучу камней, сложенных пирамидой и обложенных дровами. В деревянную посуду, которая от длительного «простоя» рассохлась, кадки, лагуны, судно заливали тем временем вскипевшей в котле водой, запаривали. А если позволяло время, то лагуны и кадки замачивали в реке.

В днище судна имелось небольшое квадратное отверстие для спуска сусла. В него вставляли (забивали) штырь – палку (высотой на несколько сантиметров выше судна).

В судно наливали воды под руководством варца, опускали солод. Дело ответственное: перелить или недолить – от этого зависел весь процесс. Обычно качество раствора проверялось соломенной рамкой. Она опускалась в раствор. Там она покрывалась пленкой. Варец вынимал рамку и рассматривал пленку. Если она становилась тонкой и прозрачной, значит, воды в судне достаточно и раствор готов к дальнейшему процессу. Тем временем он сам или его помощник готовили вьюшку. Драночную основу обкладывали соломой и плотно обвязывали льняной бечевкой. При этом внутрь вставляли колышек. Концы

соломы, они были чуть длиннее вьюшки, разгибали веером. Кол вынимали и вьюшку осторожно надевали на штырь в судне и опускали до дна оперением вниз. На вьюшку еще надевали соломенное кольцо и тоже погружали до дна судна. Сверху на вьюшку клали груз, чтобы она не могла всплыть. Все это приспособление служило фильтром для сусла. Наконец варец давал команду поджигать груды.

Зрелище восхитительное! Уже начинало смеркаться. Сухие дрова, которыми была обложена куча камней, занимались жарким пламенем. В осеннее чернеющее небо взлетали снопы искр. Когда дрова прогорали, камни раскалялись до красна. Их подцепляли большими железными клещами и осторожно опускали (садили) в судно. Солодовый раствор при этом вскипал, поднимался. Варец наблюдал за процессом. Когда при опускании очередного горячего камня раствор перестал подниматься, а только бурлил в том месте, где был опущен камень, он давал команду прекратить садить камни. Это означало, что солодовый раствор сварился и стал суслом. Ему давали остыть и отстояться.

**«Где сусло хорошо,
там и пиво дурное не бывает»**

Следующим этапом варки пива был спуск сусла из судна. На края судна клалась доска, в штырь втыкался нож. Варец опирался локтями на доску, брался за рукоятку ножа и осторожно раскачивал штырь, приподнимал его вверх. Сусло, процеживаясь через вьюшку, в образовавшееся отверстие стекало в деревянное корыто, поставленное под днище судна. Его вычерпывали большим пивоваренным ковшом с длинной ручкой и разливали в ушаты и ведра, а из них в пивоваренный котел, висящий на тагане. Ребяташки толпились вокруг судна в надежде, что дадут отведать вкусного сладкого сусла. Часть его выливали в отдельный небольшой лагун, его на празднике подавали

женщинам и детям. К судну подходили жены тех мужчин, кто участвовал в варке пива, им наливали сусло в небольшие бидончики и они уносили их домой.

На дне судна после спуска сусла оставался осадок – слой дробья. Его выбирали и тоже уносили по домам. Высушенные «пирогии» из такого дробья использовали для приготовления кваса.

Перелитое в котел сусло заправляли хмелем и варили над костром. Варец помешивал его деревянным веслом, чтобы оно, вскипев, не переливалось за края котла. Варясь, оно и превращалось в пиво. При этом всем участникам варки желательно громко издавать какие-нибудь звуки или кричать, чтобы пиво получилось крепким и пьяным. Когда пиво хорошо проварилось, а хмель осел на дно котла, его переливали в большие кадки и остужали. Затем его надо было наживить, добавив в него приголовок – жидкие пивные дрожжи или мел, на нем же творили и пироги. Наживленное пиво бродило дня два-три, когда брожение закончилось, пиво успокоилось, его надо было переложить, отделить от хмеля. Для этого бралась широкая лейка, сплетенная из тонких сосновых корешков. На нее ставилось решето и через него пиво разливалось в лагуны через отверстие 5–8 сантиметров, которое затем закрывалось деревянной пробкой. Лагуны увозили в ту избу, где намечался праздник. Ставили их в прохладное место, чтобы пиво не забродило и не скисло, не дай бог.

«Где пировать, тут и пиво наливать»

Ну вот и наступало 7 ноября, Октябрьские. Каждая деревня пировала отдельно. Было не принято посещать чужую братчину. Выбиралась наиболее просторная изба (перед), где расставлялись столы, собранные со всей деревни и деревянные скамейки (лавки). В назначенное время собирался народ. Женщины по поводу праздника одевали модные в то время плюшевые жакеты, головы

повязывали нарядными яркими цветастыми платками. Мужики – парадные пиджаки и начищенные до блеска хромовые или яловые сапоги. На столах громоздилась всякая деревенская снедь: пироги, рыбники, студень (холодец), грибы соленые. Из посуды – граненые (хрущевские) стаканы и братыни (ендовы), в которые наливали пиво, а из них уж разливали в стаканы. Была и водка, но не много, бутылки две-три, мужики в складчину покупали в магазине. Где водка – там и драка. Случалось и такое. Но в основном застолье проходило мирно. Желали добра варцам пива, стряпухам пирогов. А разбуженную хмелем энергию выплескивали в пляску под разудалые переборы гармошки да в застольные песни.

Использованная литература:

1. Этнографическое обозрение. № 1, 2004.
2. А. А. Угрюмов. «Кокшеньга».
3. Таможенные книги Московского государства 17 века. Под редакцией А. И. Яковлева. 1959 г.

ПОСЕЛЕНЕЦ

(Рассказ)

Настроение у Николая Павловича Зуева, прямо сказать, было паршивое. Бессонная ночь в душном купе вагона оставила на его лице заметный след хмурой озлобленности. «Что это за правила установили: продавать билеты в одно купе мужикам и бабам, при этом совершенно не знакомым?» – мысленно возмущался он. Вот сподобило же ему ехать с тремя женщинами. Дамы подобались фигуристые, с пышными, дородными формами. Купе тесное.

Задел он ненароком одну коленом за заднюю округлость, а та и «застреляла» глазками. Конфуз, да и только вышел.

Женщины быстро перезнакомились, и понеслась бабья говорильня без умолку на всю ночь. Николай забрался на верхнюю полку, хотел вздремнуть, да разве уснешь под эту «сорочью трескотню», с ахами да охами на все лады.

Ложку дегтя в его настроение добавил и тот факт, что, как оказалось, автобусного сообщения от железнодорожной станции до райцентра уже года три как не существует. Пришлось нанимать частника, который запросил за услугу две тысячи рублей – почти стоимость железнодорожного билета от Питера до его станции назначения.

Так получилось, что Николай Павлович не был на своей малой родине, где пуповину резали, лет пять. Последний раз приезжал на похороны отца – Павла Флегонтовича, Паши Зуенка, как называли его в деревне. А в позапрошлый год без него спровадили в последний путь и мать, Клавдию Петровну. Сестра звонила, поносила последними словами: «Почему, паршивец неблагодарный, на похороны не приехал?» Пришлось соврать, что, мол, был за границей в то время, от завода посылали. За границей-то он и, правда, был, только никто его туда не посылал. Жена выправила загранпаспорта, да и уговорила слетать на недельку в Турцию. Так что, когда мать помирала, он нежился на белом песочке, грел пузо под ласковым забугорным солнцем. Стыдно и горько. Собирался на сорочины съездить, да в больницу со спиной угодил. Потом как-то все завертелось, закрутилось...

А нынешней зимой Николая Павловича вывели на заслуженный отдых. Пенсию по нынешним временам, по его разумению, положили неплохую. Да и то сказать: без малого сорок годков отпахал сварщиком на судостроительном заводе. По такому случаю в трехкомнатной питерской квартире Зуевых собралась родня: сын с невесткой, дочь с зятем, внучата. Стали уговаривать да отправлять, вместе с женой и внуками, разумеется, в Индию. Говорят: тамошние индусские костоправы чудеса творят, вмиг спину вылечат.

– Ну уж нет! – громогласно рубанул воздух Николай Павлович. – В деревню поедем, на все лето.

– Ни за какие коврижки в твою дыру не поеду, и внуков не пушу! – отрезала жена.

У Николая, как, впрочем, и у всех зуенков, характер был упертый, что задумают – бульдозером не своротишь. Но и у Катьки, жены его, тоже под стать. Спорить с ней, все равно, что воду в ступе толочь.

– Ну, и зуй с вами, уеду один!

– Давай, давай! Хоть насовсем уматывай, да поселяйся в своей деревне! – сказала жена и добавила, как навсегда припечатала. – Ишь, какой поселенец выискался!

– Может, и насовсем, – не вступая в спор, уже спокойно ответил Николай. – Мое дело.

В последние годы в его голове часто вспыхивали как-то ясно и зримо картинки из деревенского детства. То он голоштаным пацаненком бегаёт по теплым после летней грозы лужам, по-деревенски – лягам, то сено обваживает на норовистой, взметной кобыле Вийке, а то помогает отцу бревна корить для сруба под новую баню. И какая-то виновато-ноющая перчинка все жгла изнутри; и, как перелетную птицу, что-то звало, манило туда, к деревенскому крылечку. Двадцатилетним юнцом оторвался он от родительского дома и лишь набегам, наскоками навещал его. Бывало: ведет он сварочный шов по стальному листу корпуса будущего корабля, и вдруг автогенной искоркой залетит мыслишка: «Вот выйду на пенсию. Чего в городе делать? Пиво тянуть с мужиками? В телевизор пялиться? На даче и без него управленцев хватает. А что дача? Тот же городской муравейник: домишко к домишку впритык...». Жене не говорил, но решил почти твердо: остаток дней, сколько отпущено, будет жить в деревне.

Отец учил: «Ты, Миколка, сначала думай, задумал – пробуй, а потом уж совсем решение принимай». Вот и едет Николай Павлович в деревню, чтобы без «почти» решиться на задуманное.

На автобусной остановке райцентра было немногочисленно. Парочка длинноногих девиц прогуливалась по заасфальтированной площадке, смачно пережевывая жвачку и искусно цикая слюной сквозь зубы. Неказистого вида мужичок, куривший на дощатом ящике, угрюмо, но с интересом наблюдал за ними. Да три женщины на единственной скамейке бурно обсуждали нынешние «сумасшедшие» цены, наговориться не могли.

К расположенному неподалеку коммерческому магазину «Фреон» (комку – по современной терминологии) подъезжали иногда на иномарке молодые люди в экипировке, претендующей на одеяние рокеров из американских фильмов. Правда, доморощенная «самостийность» бросалась в глаза сразу, и это их одеяние под западных мальчиков выглядело жалко и глупо, как, впрочем, и размалеванные не в меру лица девиц, и яркая вывеска «комка».

На изуродованной штaketной ограде висел рюкзак внушительных размеров. Его хозяин стоял рядом и разговаривал с белокурым в промасленной куртке парнем. Облик и одежда хозяина рюкзака выдавали в нем городского жителя, возможно, отпускника и уроженца здешних краев. От него тянуло стойким запахом одеколona. И было заметно, как он иногда презрительно морщил свой благородно посаженный над аккуратными усиками нос, когда этот его городской одеколонный запах перебивал другой – налетавший из дощатого туалета. Тутушный туалет, а вернее сказать, грубо сколоченная уборная, представляла, в отличие от обшитого новеньким сайдингом здания автостанции, вид убогий и пугающий. И даже не очень брезгливые сельские жители по необходимости посещали его с опаской.

Николай Павлович зашел внутрь автостанции, но ни кассы, ни какого-либо объявления по поводу автобусов не обнаружил. На одной из дверей висел рекламный плакат «Салон Натали. Стрижём. Бреём. Красим». На второй – «Ритуальные услуги. Быстро. Качественно. Надежно». Вышел наружу, спросил у женщин:

– Ходят ли нынче рейсовые автобусы до Верхнего Погоста?

– Накрылись рейсовые медным тазом, частники нынче извозом занимаются, – сказала одна из них, внимательно глядявываясь в лицо Николая.

– А ты не Паши ли Зуёнка парень?

– Ну, да, Павла Флегонтовича сын, – вызывающе ответил он. Деревенское прозвище отца, произнесенное женщиной, царапнуло его самолюбие.

– Колька, ты чего не узнал меня, что ли? Райка я, на два класса младше в школе училась. А автобус в четыре часа будет...

– Спасибо, – буркнул Николай и пошел к ограде, спиной чувствуя, как бабьи языки изготовились перебирать его косточки. Выбрав место посуше, поставил сумки, облокотился на штакетник.

Апрельское солнышко припекало, распластавшись во всю ширь безоблачных небес. В небольшой лужице на асфальте, весело чирикавая, плескались воробьи. На крыше автостанции таяла прямо на глазах кучка грязного снега. Крупные капли влаги, последний раз преломив солнечные лучи в яркие искорки, падали с крыши в прошлое. В придорожной канаве бурлил ручей, унося следы долгой зимней жизни районного городка.

Легкий ветерок лузгал разбухшие почки привокзальных тополей, кидая на асфальт их клейкую шелуху. На вершинах сосен недалекого бора суматошно горланили грачи, по весне самые крикливые из всех пернатых.

Лоснящаяся влажная земля за оградой парила, как только что вынутый из печки ржаной пирог. Кое-где уже проклюнулись, словно цыплята, цветки мать-и-мачехи. Апрель, пожалуй, самый веселый месяц года: все бурлит, клокочет, пенится, оживает...

К автовокзалу снова подкатила иномарка. Из открытого окна лимузина под бухающие звуки музыки выплеснулось задорно и нахально: «Задеру я Ленке голые колени...».

– Тьфу ты, черт! – чертыхнулся Николай. – Придумают же.

Подъехал автобус, старенький ПАЗик. Николай подошел к дверце водителя, спросил:

– Не на Верхний Погост?

– Ага, – кивнул шофер.

Пассажиров оказалось не много. Кроме него уже знакомая Райка, две молоденьких девчущки и парень в промасленной куртке.

– Все, что ли? – спросил водитель.

– Все, Виталий, все, – ответила за всех пассажиров Райка. – Поехали с богом.

– Ну, поехали, одна морока с вами, никакой выгоды, на бензин и то не хватит, – пробурчал Виталий.

– Так ты, Витенька, накинь маленько, не пообедем, куда же мы без тебя-то, кормилец наш?

– Накинь, накинь... сама же потом и заорешь, что дорогого.

– Не-е, – протянула Райка. – Был бы у меня мужик с машиной... – при этом она обернулась и «стрельнула» глазами в Николая, как та дама в купе вагона. – Так сам знаешь: два года уж как нет моего Мишеньки. – Женщина прослезилась и вытерла кончиком платка глаза.

Только выехали за пределы райцентра, автобус начало подбрасывать и покидывать из стороны в сторону, прямо как на американских горках.

«Да, ничего не изменилось», – подумал Николай. И вспомнил, как ехал на тракторной телеге в военкомат на призывную комиссию. На полпути до райцентра, местечко так и называется – Половинщик, колесник зарылся в густую грязь по самую кабину. Тракторист стал рубить елки, подкладывая их под колеса, но бесполезно. Выручил тогда гусеничный ДТ, предусмотрительно посланный председателем колхоза вдогонку.

– Вот, кажется, и он – Половинщик, – Николай узнал знакомую местность. Автобус остановился.

– Граждане пассажиры, держитесь крепче! – объявил водитель.

Впереди было сплошное месиво из грязи в разводах желто-рыжей пены. Мотор взревел, как застоявшийся бык, выпущенный в коровье стадо. Автобус нырнул в грязевую бездну так, что лобовые стекла захлестнуло серой мутью. С сиденья, где сидела Райка, туго набитая сумка слетела и покатила по проходу.

– Яйца! Яйца! – закричала женщина.

Метров через двадцать, на более-менее ровном участке дороги, автобус остановился.

– Ты чего, Раиса, сбрендила? Какие яйца? Может, чего другое прищемила? – водитель разразился громким смехом.

– Да ну тебя! Две решетки яиц купила, – она стала проверять содержимое сумки.

– Слава богу, целы.

– Тебе чего, в нашем магазине яиц мало или райцентровские вкуснее?

– Свежее, да и по цене дешевле. Ты, давай, езжай, чего встал-то?

– Так из одного птичника-то. Ладно, поехали, курица-наседка! – снова засмеялся Виталий.

Наконец автобус вынырнул с лесной просеки на полевой простор, пробуксовывая, взобрался на горушку, с которой открылся вид на Верхний Погост и деревушки, разбросанные по угорам, казалось, без всякого порядка, словно неведомая рука бросила горстью домишки: какой где упал – тот там и стоит. Вон, за речкой, просигналила на миг отблесками вечерней зари в окнах и его, Николая, родная деревня. В официальных бумагах – Зуевка, а по-народному – Пустошка. Зуевка, понятно, почти каждый житель носил фамилию Зуев. А вот Пустошка? По этому поводу бытовала в деревне такая версия: в давние времена бежала вверх по речке на лодках ватага новгородских ушкуйников с их атаманом именем Зуй, стали они лагерем в этом месте, и больно уж понравился атаману залитый

солнцем, веселый угор, тогда он и сказал: «Не бывать сему месту пусто», вот и Пустошка. Хотя, кто знает: почему так прозвали деревню?

«Пять лет назад семь из двадцати домов были жилые, сейчас и того, наверное, меньше. Пустеют деревни, превращаются в «пустошки», – грустно подумал Николай Павлович и вспомнил недавно прочитанное где-то: «В России каждый месяц исчезает чуть ли не по одной деревне. Постоянно увеличивается количество заброшенных сельских населённых пунктов с небольшим числом жителей. И через сто, а то и меньше, лет наша страна может вообще остаться без деревень. Россия – страна умирающих деревень».

– Все, граждане пассажиры, конечная станция, платим за проезд и всем до свидания! – объявил водитель.

Автобус остановился у магазина. Еще через окно Николай увидел сестру, стоящую на крыльце сельмага в синем фартуке и колпаке, едва державшемся на рыжей копне волос, Нинка работала продавцом и жила с семьей на Погосте в «колхозной» квартире.

– Брательник, родненький! – бросилась обниматься она, как только Николай вышел из автобуса.

– Наконец-то, что ж ты, зараза такой, долго не приезжал-то? Убить тебя мало!

– Ну вот, обласкала, здравствуй, сестренка, – Николай улыбнулся, вытирая ладонью слезы с ее щек.

– Мы бы на машине встретили, да мой-то с утра до ночи в лесу, делянку дорубают, да и дорога: сам видел какая.

– Да ничего, все нормально, Нина, доехал...

– А я избу-то протопила. Ключи над воротами. А может, сегодня у нас заночуешь?

– Не, Нина, я домой.

– Ну, ладно. Белье-то на кровати чистое постелила, если чего – в шкафу найдешь. Из еды в холодильник кое-чего положила, да и в печь загляни.

– Да у меня с собой все есть...

– Ну, чай не на день и приехал, успеешь свое-то и потом. Отдыхай с дороги, завтра уж на кладбище сходим, проведем родителей. Маме я уж и памятник поставила. Баню-то не топи, печь развалилась, да и угол осел. К нам придешь в субботу. А когда суббота-то? Так завтра и есть, – спохватилась сестра.

– Нин, а Нин, запиши чекушку, – несмело подергал за руку сестру мужичок небольшого роста, с синюшным лицом, с табачным и еще каким-то приторно-кислым запахом.

– Отцепись! Ты и так больше тысячи должен. – Нинка отдернула руку. Мужичок покачнулся, заперевирал ногами, но устоял.

– У-у! Алкоголики, достали!

– Нина, ну, я пойду, – сказал Николай Павлович.

– Иди, Коленька. Наволок-то еще не затопило, там вон за склад-то завернешь и по тропинке.

– Да знаю я.

– Да к деду Тимофею зайди, он про тебя много раз спрашивал, родня все-таки.

Нинка пошла в магазин. Следом поплелся мужичок, канюча:

– Нин, ну будь человеком, запиши.

До Зуевки от Верхнего Погоста, если по прямой, через наволок, по лаве – с полкилометра. В обход, через мост, километра полтора.

Река клокотала, выплескивалась из берегов, шумела, растекалась по наволоку, заполняла ложбинки, качала ноздреватую грязно-синюю льдину в старице. Незатопленными оставались небольшие островки суши, по которым бежала тропинка к родной деревне Николая. Вот-вот и вода захлестнет ее.

Прервется, исчезнет связующая нить с «большой землей». Стайка куличков-турухтанчиков справляла у среза воды свою птичью свадьбу. Нарядные «кавалеры», распушив веером воротники, вытанцовывали вокруг «дам» в невзрачном сереньком оперении. Ни к чему им роскошные

наряды: не они, их выбирают. Пигалицы, а клюв воротят, «копаются». Хочешь понравиться – ходи гоголем, изворачивайся, покажи себя. Где-то среди затопленных кустов ивы слышалось призывное кряканье селезня. Над головой парочка чибисов, татарские воронки, по-народному, выписывала неровные воздушные пируэты, окликая: «Чьи вы, чьи вы?».

– Да свои, вроде, тутошние, – усмехнулся Николай.

Наволок этот называется Луковатка. Река огибает его с трех сторон в виде древнерусского лука. Сметливые были предки, виртуозные в определениях.

Название ручья, речки, лесного урочища, прозвище человека прилепят – не убавить, не прибавить, в самую, как говорится, точку.

Николай вспомнил, как пацанёнком обваживал сено на этом наволоке. Запряг он тогда норовистую кобылу Вийку, которая недавно ожеребилась. Тонконогий жеребенок не отставал от матери, все время топтался около неё, тыкался, пока нагружались дровни сеном. А тут как-то оказался на другом берегу старицы, растерялся и голос подал. Вийка взметнулась и понеслась к нему прямо через старицу вплавь. Хорошо дровни были не загружены. Ох и натерпелся он тогда страху...

Заскрипел, закачался под ногами дощатый настил лавы, подвешенный на железные крюки к стальным тросам. Под ним шумел с пугающей силой и мощью речной поток. На середине реки проплывающая огромная коряга цапапнула своими щупальцами доски.

Вот и родительский дом. Николай нащупал ключи, отпер навесной замок. В избе-зимовке было тепло и пахло... пирогами. Закатное солнце заглянуло на прощание воспаленными красными очами в окна, прокатилось зайчиками по домотканым пестрым половикам и исчезло. Николай задернул занавески. Щелкнул выключателем. Прошел на кухню. На шестке печи, на противне, красовался его любимый пирог с брусникой.

– Ах, сестренка, ай да Нинка, а ведь не сказала, сюрприз устроила!

Открыл печную заслонку, снял крышку с закопченного чугунка, из печи потянуло сытным ароматным запахом наваристых мясных щей.

– Ай да сестра!

После последнего его приезда в избе практически ничего не изменилось: старомодный сервант с посудой, шкаф под белье, за занавеской широкая деревянная кровать, стол на резных ножках, лавки вдоль стен, диван у опечек, в закутке, за русской печью, умывальник. На не оклеенных, гладко выструганных стенах портреты родственников в простеньких рамках. Вот мать с отцом... Николай вдруг физически ощутил их пристальные с укором взгляды на себе.

– Прости меня, мама, прости, – не смея взглянуть в глаза матери на портрете, прошептал.

– И ты, батя, прости.

До чего же они похожи с отцом: высокий лоб с глубокими залысинами, сросшиеся брови, нос чуть с горбинкой, оттопыренные уши, тонкие губы, подбородок с ямочкой и кадык. У отца на портрете он прямо вывалился за ворот рубашки, острый, как петушиное колено.

Уже за полночь, а Николаю Павловичу не спится. Деревенская тишина, в отличие от городской сутолоки, аж звенит в ушах. Банально, но верно подмечено. Дом живет своей ночной жизнью: вдруг что-то прошуршит за печкой, скрипнут половицы, охнет что-то на чердаке. Он, как живое существо, то ли сердиться, что потревожили его покой, то ли радуется – дождался хозяина. Дом без хозяина, что телега без лошади. Повесят замок в пробой, заколотят окна досками – осиротеет деревенская изба, два-три года – и поведет половицы, заскрипят жалостливо, угол подсядет, крылечко скособенится, калитка с петель слетит. А уж крапива да чертополох вмиг заполонят огород.

Николай Павлович слушал ночные звуки, и разные мысли толклись в голове, как комары перед дождем, перескакивали с прошлого в настоящее.

Хотел ухватить главное, но оно, как веревка, смазанная солидолом, выскальзывало, не давалось. Он злился

и пытался сосредоточиться, определиться. Решение, принятое в городе, пробуксовывало, как колеса автобуса на размусоленной грязью дороге. Всю жизнь прожил в городской сутолоке. Дети: то лагерь, то секция какая – заняты были в городской повседневности. В деревню раз пять, поди-ко, и съездили. Выросли на асфальте. Пока их на ноги поднимал, работал, – все крутилось с утра до вечера своим чередом. Дом, завод, дача, пьяная компания с друзьями по выходным. Опнуться, поразмыслить не было времени. На судьбу грех жаловаться, неплохо сложилась, все, вроде, ладно. Но где-то внутри нет-нет, да и режет, словно железом по стеклу: как бы повернулась его жизнь, останься он дома, в деревне?

Разбудило Николая Павловича громкое карканье ворон за окном. Глянул на ходики – шесть часов. Накинув старенький ватник, вышел на крыльцо. Карканье доносилось с верхушки пушистого кедра.

– Никак гнездо устраивают, разбойницы?

Этот кедр он самолично сажил, когда учился в восьмом классе, стащив саженец из питомника местного лесничества.

– Эдакий вымахал!

Николай хлопнул в ладоши. Испуганные птицы улетели.

С крыльца открывался вид на реку, над которой одна за другой исчезали небольшие белые заплатки утреннего тумана. Заречный наволок затопила полая вода, лишь два островка земли еще сопротивлялись весеннему потоку. На них копошились чайки и кулики. Стайки уток плавали на широкой речной глади. Дошатый настил лавы почти касался воды.

Щедрое солнце, не встречая преграды, весело гуляло повсюду. Где-то на середине деревни ярко сверкала крытая белым железом крыша дома. Прокричал петух. Тявкнула собака.

От нахлынувшего вдруг беспричинного восторга Николай Павлович, совсем как в детстве, неожиданно крикнул что-то радостное и без лишних раздумий, скоренько наладился на речку умываться.

МОЖЕТ, СЧАСТЬЕ ЕЩЕ ВПЕРЕДИ?..

К маме

Шагаю по стылой дороге.
Один. Только россыпи звезд.
Последний листочек убогий
Задиристый ветер унес.

Дорога: колдобины, ямы,
Мерещатся звери в лесу...
Иду к моей доброй я маме,
Печали и радость несу.

Она все поймет, не осудит...
– Ну, здравствуй,– и в слезы,– сынок!
И долго в окне нашем будет
Гореть тот родной огонек.

Давно я на родине не был...
Рассказов у мамы – на ночь.
О том, сколько собрано хлеба,
Кто помер, родился, про дочь...

Заглянет в глаза, тихо спросит:
– А ты-то, сынок, как живешь?
Все ладно ли, вижу уж проседей...
Вина-то, не много ли пьешь?

Вино – эта чертова сила,
Страшнее заморских врагов.
Проклятая водка сгубила
Немало у нас мужиков.

Про все, что деревню волнует,
О том, что в стране не покой,
Расскажет, мудро растолкует...
Ах, милый «философ» ты мой.

Отвечу: – и хуже живали,
Не стоит об этом тужить.
Зачем нам с тобою печали?
Давай, мама, радостью жить.

* * *

Зацепилась осень паутиной тонкой
За веселый локон рыженькой девчонки.
Что идет аллеей, зонтиком играя,
И поспешно листья, с клёнов облетая,
Красную дорожку стелют ей под ноги,
Голубые ели величаво строги.
А она шагает гордо и беспечно,
И не понимает – время быстротечно..
Улыбнулось солнце ей в оконце-просинь.
Рыжая девчонка – и сама как Осень.

* * *

Ломали древнее строение,
Пилили дружно на дрова.
Слезами многих поколений
Смола блестела по углам.

Вгрызаясь в тело старых сосен,
Натужно взвизгнула пила.
А на дворе стояла осень,
Листовою сыпала ветла.

И не найдя привычной крыши,
Лист долго в воздухе кружил.
И тихий шепот я услышал:
– Здесь человек когда-то жил.

* * *

Последним листом прикрывая
Стыдливо свою наготу,
Березка стоит молодая
Над речкой, у всех на виду.
А ветер-предзимник хлопочет,
Сгибает березовый стан.
И солнышко в небе хохочет:
– Гляди-ко, какой хулиган!
Лишь речка морщинится строго –
Березку ей жалко до слез.
Эх, сколько речная дорога
Знавала кудрявых берез!
Стояли они по обрывам,
Тянулись туда, в синеву.
И в темную воду с надрывом
Роняли невинность свою...

* * *

Тихий ветер по стропилам
Заглянул на огонек.
В доме пусто и уныло.
Из трубы идет дымок.
За окном густая темень,
Можно резать на куски.
Подошло глухое время,
Время печки и тоски.
Отзвенело наше лето,
Отгуляло, отцвело...
Счастье было рядом где-то,
Заплутало, не дошло.
Жарко топятся поленья,
Затихает в сердце грусть.
Все тревоги и волнения

Позабудутся. И пусть
Отзвенело наше лето...
Есть надежда, погоди,
Будут новые рассветы...
Может, счастье впереди?..





Станислав Мишнев

Мишнев Станислав Михайлович родился в 1948 году в дер. Ярыгино Тарногского района Вологодской области. Родители колхозники, оба участники Великой Отечественной войны. После школы и службы в армии заочно окончил Вологодский молочный институт. Публиковался в ряде коллективных сборников прозы, автор многих прозаических книг, вышедших в разных издательствах страны. С. М. Мишневым подготовлен и опубликован с пере-

изданием сборник «Тарногский говор». Трижды лауреат Всероссийской литературной премии им. В. М. Шукшина «Светлые души». Лауреат Международной премии «Филантроп». Лауреат Всероссийской литературной премии им. В. И. Белова «Всё впереди». Награждался Почетными грамотами Законодательного Собрания области, Главы Тарногского района, грамотами Департамента культуры области, удостоен медали имени Н. М. Рубцова. Член Союза писателей России. Живет в дер. Старый двор Тарногского района Вологодской области.

ВЕЩАЯ МОЯ ПЕЧАЛЬ

Снится мне деревня



нна Сергеевна – не дряхлая, но седая от счёта природы. Неотлучное солнце и стужа безрасчетливо расточили на её голову много белой краски. Анна Сергеевна некрасивая старушка, красивой не была даже в юности. Замуж её никто не звал, родила сына, когда ей было почти сорок лет.

Никто в деревне, кроме соседки Вали, не знает, от кого она понесла. А было всё так просто... Душная весна; теплые потоки стекают с небес на землю. В деревне пусто. Идёт сев. Вечер. Уже поднималась короткая ночь, обещающая сон и прохладное дыхание. Стук в дверь. На пороге вырос

солидный, лысый, но моложавый мужчина в заляпанной грязью гимнастёрке. Оказалось – геолог.

Геологи в тот год бурили скважину километрах в двадцати от жилья, искали нефть. Приехали за водкой, а машина забуксовала, вот и ищет геолог трактор, чтоб «выдрать» машину.

– Что ты, родной, да какой у меня трактор? Садись, чайку попей, утро вечера мудренее.

Попили чайку, да и поладили. Открылся геолог: когда-то был женатым, когда-то был военным, повоевал с японцами. У жены были изумительные глаза, полные мольбы и блеска. Постельное ложе занял другой мужчина, толстый, небольшого роста повар. Дышал со свистом. Имел бабье лицо, а сколько искреннего певучего отчаяния и трепета выдавали его толстые губы! Жена выбрала его, несостоявшегося певца с соловьиным голосом. Толстяк обещал ей постоянство. Даже продукты обещался не покупать в магазинах, в его холодильниках «всякой всячины до выгребу». У геологов большие заработки, но деньги тяжелые; что заработает – пропьёт, а не пропьёт – отправляет дочери. Дочь у геолога училась в университете. Успела ли она полюбить случайного мужчину? Нет, не успела. Одно лишь сожаление было живо и печально в ней до сих пор: зря не попросила геолога остаться. А вдруг бы остался?

Двадцать четыре года назад сын Юрик не стал признавать за колхозом цены, точно сила людская происходит из одного сознания, подался в город. Сын с пеленок привык идти впереди других, тихий шаг сзади был для него позором. И двадцать четыре года мать ходит за пять километров на почту, ей постоянно хочется слышать родной голос. Всякий раз заранее готовится к телефонным разговорам. Уговаривает себя, что с Юриком всё в порядке, у Юрика доброе сердце, светлая голова, повторяет в уме нужные вопросы, ждёт уверенные, счастливые ответы. Всякий раз молится: только бы погода постояла хорошая. При сильном ветре, снеге и дожде связь обрывается,

напрасно телефонный начальник кричит в аппаратной комнатке: «Аллё, аллё, дайте Ленинград! Аллё, девушка!». Связь вечно была плохая. Не иначе как бесы играют телефонными проводами. В трубке шебаршит, хрюкает, вмешиваются чужие голоса. Анна Сергеевна осторожно выспрашивает Юрика, не грубит ли он начальникам, не влип ли в какую дурную историю, с кем дружит или, упаси господи, не водится ли с плохими людьми, – её сын ни на что плохое не способен, а вдруг!.. «Юрик! Получил ли мой перевод? Мало, да больше нет. Юрик, береги ноги, не настужай!» Первые годы звала Юрика домой, хоть бы недельку погостить, крышу перекрыть, но сын был постоянно занят.

Пуст почтовый ящик; долго смотрит на фанерную зелёную стенку – как надеясь, что взгляд её вызовет из нутра телеграмму или открытку.

Она жила и годами видела одну и ту же, нарисованную ей картину: весна, черёмухи облиты белым молоком; вечер, от реки идёт статный мужчина в элегантном костюме, в руках большой желтый чемодан. В чемодане всякие подарки для неё. Вот мужчина ставит чемодан на стол, раскрывает его, и то подаёт ей, и другое, а она, вся в счастливых слезах, отнекивается: зачем, зачем потратил на меня столько денег? «А ты носи, мама, носи, не береги ничего! Я опять скоро приеду, опять всего навезу. Только бы ты жила, была здорова!»

Она постоянно напоминала упорному сыну, что надо уметь жить и работать с теми людьми, которые есть на свете: «и позаде, да в том же стаде».

Жизнь не шла и не катилась даже, она переваливалась, как разбитая телега, с одного боку на другой, как течение дыхания неведомого возницы. Один день радовал и беспокоил пребыванием, ощущением новизны, другой день – серый, как продрогший воробей, равнодушно тёк мимо, третий с чувственным стеснением вставал в уме непреодолимой чёрной стеной. Что-то неизвестное по жизни нёс каждый день; как в лампе иссякает керосин, так в

человеке иссякает желание жить; годы – это западающее дыхание невозвратного детства.

Места себе не находила Анна Сергеевна первые годы. Она никогда не бывала в городе, скорее страшилась города, а вот одинокая соседка Валя – признавала только строгую красоту и не находила её ни в ком – отжила в городе тридцать лет и знает, что деревенских парней быстро прибирают к рукам смазливые женщины, особенно разведёнки. К разведёнкам, этим зубастым акулам, Валя питала особую неприязнь. Валя не уважала чужой жалости к себе – её сердце не надеялось хорошо жить в будущем, оно достаточно потрудились на ткацкой фабрике, и мозг не хочет думать о смысле жизни, мозг был много раз обманут то новой квартирой, то клятвами верности одного рыжего моряка. Как-то раз её сильно оскорбил обыкновенный ряженный Дед Мороз. На новогоднем празднике, при великом скоплении веселящегося люда, положил ей на плечи руки, испытующе посмотрел в глаза и закричал: «Никакого блуда! Слышишь?! Не позволю!» А она, молоденькая девчонка, в простеньком платьице, робкая, тонюсенькая, да какой блуд, господи? Как потом Валя узнала, этим Дедом Морозом был председатель профкома, разведёнка Зимина, которую за глаза звали «Кобылой». У Юрика крепкие плечи, широкая спина, офицерская выправка – уж ненаследственные ли гены? – да попади такой парень в поле зрения какой-нибудь Кобылы!.. Он добр, наивен как дитя, а добрый человек всегда всем должен. Не маловажную роль играет квартирный вопрос. Пускай живёт Юрик в общежитии, пускай работает на станкозаводе и учится в вечерней школе, одно дело поздним вечером прийти к готовому столу, другое – к буханке ржаного хлеба и кружке воды.

– Валя, а вот если... – бывало, загадывает Анна Сергеевна. Она мучилась неизвестностью. За стенами её избенки во все стороны раскинулось тоскливое море ожидания, вопрошающая ночь, – как превозмочь забвенье сына, как расшевелить залегший мир, спрятавшийся от неё в

далеком городе? С другого боку зайти, а надо ли трогать в себе истину чужого существования?

– Да перестань ты, – скажет соседка. – Не пропадёт.

Для сна нужен покой, доверие к жизни, а где его взять в сухом сознании потерянности? Дерево в непогоду с тайным стыдом заворачивает свои листья, и Анне Сергеевне было как-то стыдно: её бросил сын, единственный сын, которому она отдала всё! Много деревенских парней и девчат покинули родные пенаты.

– Хоть бы на день приехал... – с жадностью обездоленности, с тоской, копившейся год за годом, говорила Анна Сергеевна.

– Ты о чём-нибудь, кроме как о сыне, думаешь? – спрашивала соседка.

– Не-а... Истомилась я размышлениями всякими. Пишет, что женился, а на ком? Вон Дуся Ягодкина, истинно ягодка налитая! Вот бы пара, дак нет, понесло в этот город, на инженера, сказал, выучусь.

В глазах соседки постоянно стояло некое зверство превосходства, она на вопрос Анны Сергеевны даже отвечает от обозления, потому говорит с медлительной жестокостью:

– Да не всё ли равно?

Анна Сергеевна менялась в лице и чувствовала свою обиженную душу. Порой ей не хотелось говорить с соседкой, даже находиться вблизи её, но мозг, истомлённый думами и своей бессмысленностью, требовал общения.

– Обидно, если... Дуся со всеми приборная, веселая, в конторе сидит, эх!

Через семь лет, осенью, к Анне Сергеевне приворотил председатель колхоза. Без лишних вступительных слов, опустился на лавку, пальцем показывает, чтоб хозяйка села рядом, говорит обиженно:

– Не надо меня райкомом пугать, пуганый я.

– Что ты, родной, кого я пугаю? Живу тихо-мирно, сама всего боюсь, – говорит изумлённая Анна Сергеевна.

– Тихо-мирно... а вот сынок твой ненаглядный топор на меня точит, взывает правление колхоза к долгу и справедливости. Мало, видите ли, мы внимания уделяем ветеранам колхозного строя. Ты вот раскинь умом, Анна Сергеевна, сколько в колхозе тех, кому помогать надо? А разве тебе печь топить нечем, или огород у тебя не вспахан, сена нет, а?

– Да что ты, что ты, Федор Федорович!

Тощ и бледен председатель, при близком соседстве тянет изо рта запахом прошлой жизни. Каждый год ездит лечиться на Кавказ, а толку никакого.

– На то пошло, Анна Сергеевна, много ли твой сынок в колхозе своротил? Мой парень в седьмом классе самостоятельно в лес за дровами ездил, а твой по берегу реки с удой в сенокос ходил. Ходил, поди-ко, от грусти и тоски тщетности своей, ходил по выкошенным наволокам, где пахнет умершей травой и сыростью обнаженных мест, да всё чувствовал себя обездоленным колхозником. Смысл жизни, так сказать, искал. Нашёл, ну живи, не травми других!

– Клянусь тебе, Федор Федорович!.. Уж не знаю, с чего Юрика бросило защиты у колхоза просить для меня?

– С того бросило, что колхоз у него в черепке как мертвое тело. Не знаю, в каких начальниках он ходит, но для меня он – невзрачность, унылость и некультурность.

– Уж я ему... я скажу, ты прости меня, и Юрика прости, не со зла он!

– Тот не со зла, другой не со зла... Мурик твой Юрик! Эдакая котяра гладкошерстная. Ладно, проехали.

Председатель ушёл, она провожала его до калитки, и долго глядела в удаляющуюся фигуру. И всё же радостно билось сердце от истинной радости: её сын думает о ней, заботится о ней. Вот было бы у него время... Жаль, занят. Работает большим начальником на заводе, это, Федор Федорович, не какой-то малюсенький колхоз, завод-то!

Сделала выговор сыну: не гоже поклёп на людей возводить, ничем она не обижена; у колхоза привычно бьётся

сердце, терпеливая спина всегда в поту. И для всех колхоз – это надежное укрытие и покой.

Потом Юрик писал в письмах и говорил по телефону, что ему снится деревня; сын Шурка пошёл в первый класс; дочка Настя катается на деревянной лошадке; голос сына крепчал, стал всё больше меняться в сторону сознания серьёзности жизни, необходимой для достижения вершин положения в обществе.

Сколько ночей пролежала она с открытыми глазами? Зимой и летом она наизусть знала всё: когда соседка Валя затопляет печь; чей в неурочный час взревел трактор; куда может спешить бригадир; отчего смеются проходящие под окнами доярки; чья брешет на другом конце деревни собака; чей петух пробил зарю – и снова в окошко ползёт рассвет, а потом тьма гасит свет, и жмётся к земле всё живое, и день за днём так. Подчас ей думалось, что существует без всякого излишка жизни, опечаленно, бессознательно, ночью одно сердце сберегает силы; утром надо затоплять печь, и если сердце перестанет толкать кровь, и полена не поднять.

Юрик медленно поднимался по служебной лестнице. Там, где выскочки в прыжке одолевали две ступеньки, он долго топтался по инерции самодействующего разума, но когда решался сделать шаг, шаг получался твердым и надежным.

Анна Сергеевна незаметно приобретает ветхость отживающего мира. Домишко её немного скособоилось, нижние венцы пошли в землю, картошки последний год садит ровно ведро. Погреб давно обвалился. Из-под одного из углов избы стал медленно выезжать закладной камень. Анна Сергеевна тыкала батогом землю под стеной и углом, вздыхала: уходит из избы тепло, уходит жизнь, подступает могильный холод. Плакать она давно разучилась. Если бы камень пополз обратно под стену, она согласилась бы ничего не знать и не слышать, даже жить без всякой надежды в вожделинии тщетного ума своего.

Коль избе и той не надо стало опоры, значит, весь смысл жизни потерялся. Ничто ей была жизнь, ничто сын; глаза с удивлённой любовью смотрят на фотокарточку и непонятная сила велит забыть всё на свете,— чей такой ладный парень смотрит на неё? Мучительно вспоминала, чтобы она сказала незнакомому парню, но за эти годы так много хотела сказать, что всё смешалось в памяти. Перед фотокарточкой все слова были тщетны, были одни эмоции. Скорее всего, это был геолог, зашёл попить чайку и оставил на память своё фото.

Семена на посадку ей даёт Дуся Ягодкина. Она же принесёт корзину ягод с болота, рыжиками не покусится. Хочется Анне Сергеевне самой побывать на болоте, а Дуся отговорит: «А чего болото? На нет исходит. Грусть одна. Вода да вороний грай населяют дали».

И много на селе появилось таких домов, таких хозяев печальных, как Анна Сергеевна. Куда подевалась сытость в желудке и семейное счастье в душе? Соберутся селяне ближе к магазину, одни речи, одни рассуждения: «А вот раньше...». «До Бориска Ельцина или до Мишки-комбайнера? Вот и говори конкретно, то: раньше, раньше». «А вот Федор Федорович... Кабы Брежнев ещё пожил... Хвати Америку...». «Уехали наши ребята да и правильно. Что вот сейчас, кому мы нужны, государству? Живём по талончикам, лапу сосём, а в городах...» «Отстань! И в городах одним цветом: очереди, талоны, грабёж, скоро в Москве метро остановят. Говорят, американцам кланяться в Кремле станут, ну как в войну, американцы тоже люди, помогут своей демократией. Кабы не разъехались свои, уперлись лаптями, разве так бы жили? Анна, твой Юрка при Мишке высоко взлетел, Бориско его в Москву не зовёт?». И любо Анне Сергеевне, и обидно: знает народ, что забыл сын мать, а телефонная связь — собака лает, ветер носит. Писем от Юрика нет, открыток поздравительных тоже, телефонная связь прекратилась — упали столбы, ставить стало некому, и незачем. Застывший взор Анны Сергеевны умоляюще пробежится по лицам сельчан.

«Пока я не сумасшедшая и не без глаз», – медленно с обидными нотками в голосе молвит она. «Да ты что? – забасит бывший агроном белотелый Кадушкин. – Кто тебя чем упрекает? Нынче все в одном стремени». Повеселеет Анна Сергеевна, скажет: «Всё, говорит по телефону, снится мне деревня. Должно быть, жалеет, что в город подался. Жалей не жалей, река вспять не побежит».

В брежневские времена, кажется, вся деревня и вся земля, воспрянувшие помышлением отплатить сторицей за любовь к ним, пахли хлебом; зерно сушили на сушилках, зерно мололи на мельницах, зерно ссыпали в склады, зерно отгружали государству, на одну корову выдавали в сутки до четырёх килограммов муки. Задумчивые, бредущие по ветру волны хлебов – вот лучшее на земле зрелище! Солнце и ветер детства поднимали на дорогах пыль, жизнь была не исходящей вечностью среди спешащих, смеющихся, потных людей. Теперь же воздух прощальной памяти стоит не только над кладбищем и домишком Анны Сергеевны, он густо лёг на все дороги, склады, заросшие одичалые поля и обмелевшую речку.

Ушла в мир иной соседка Валя. Умирала тихо, незаметно. Анна Сергеевна держала её руку, а слёзы бежали, бежали и капали на подушку. «Прости меня, Аннушка. Спасибо тебе. Ты самый близкий мне человек. Оплакала меня живую...» – с трудом говорила соседка. Могилу копали нанятые в райцентре мужики. Увы, своих мужиков даже тело из избы вынести не нашлось.

Непрерывно действующее чувство ненужности и забвения доводит Анну Сергеевну до большой печали. У неё давно исчезло сознание своей общественной полезности. Она считает себя нахлебницей у государства. Если позволяет погода, она выходит за деревню, стоит, опёршись на батог у разрушенной пекарни. Ржавые дверные петли, пустые окна, гнилые стены – всё поглощается силой времени; это было грустно, больно. В этой пекарне она начала работать после седьмого класса, время было тяжелое, голодное.

Вспоминает, как на лошади зимой возила из родника воду, как однажды весной Вася-одноклассник набросал ей в распахнутое окошко много цветущей черемухи... Жив ли безвестный усталый геолог, случайно заглянувший на её огонёк? Кажется, вся природа опустошается вместе с ней. Всё постепенно кончается вблизи и вдали. Сколько бы человеку не набегало десятков лет, они бессильны, эти десятки, наполнить лирическое помещение, в которое они залетают за воспоминаньями порознь и кучей.

Разами от холода одиночества ей становилось легко и неслышно внутри, точно доживала последние свои дни; вспоминала лица, года, соседку Валю, события; близкое наслаждение прошедшим путало мысли, побуждало к движению и полному исчезновению. Чем дольше она сидела, лежала, думала в гуще неподвижности, тем больше в области сердца возникала тревога, похожая на боль: Юрик!

Шла зима. Радио работало, – линию к выборам подлатали, в магазине был хлеб, избрали нового депутата.

Радио задыхалось от хвалебных од в адрес товарища Ельцина. Хлеб возили кислый, должно быть, из иностранных отходов. А чего зря добру пропадать, русские всё съедят! Гуманитарную помощь пусть не каждый день, но продавали буханку на человека в сутки. Депутат излагался драчливый, с петушиным сердцем. Он долго терпел издевательства замшелой власти застойных коммунистов, сразу же, заручившись телефоном и секретаршей, оседлал демократического конька. Он обещал много. В первую очередь – повесить коммунистов на столбы вдоль дорог, как это делалось в древнем Риме.

Люди слушали, плевались, а отплевавшись, наполняли словами пустую тоску по счастливым брежневским временам; уместно полезно сидеть на кухне, слушать радио, не слыша слов и варясь в собственном соку.

Жаль, у человека одна голова во всем теле. Эта голова, смирившись общим утомлением, когда-нибудь засыпает, чтоб утром очнуться с остаточнотеплым и родственным чувством, – надо обязательно жить!

В бытность свою мать, царство ей небесное, рассказывала Анне Сергеевне, как конокрад и вор Хрен Дубов стал первым коммунистом волости. До революции был как заочно живущий, после революции смекнул, что для Советской власти выгоднее быть мелким хищником, худшим на вид и бедным до крайности человеком, со зверскими глазами превосходящего ума – издревле нищим везде почет и уважение. Не раз она говорила про этот факт Юрику, а сын только смеялся:

– Я, мама, не Хрен, юродствовать не буду. Я поднимусь наверх!

Юрик сказывал по телефону матери, что Шурка женился.

– Мама, свадьба была в Елизаветинском дворце. Представь себе, сто сорок три человека! Подарки, подарки, Шурку с невестой завалили подарками! Пили-ели из серебряной посуды, музыка, танцы! Невеста – дочь одного богатого еврея. Жаль, мама, ты не видела это! Представляю, как бы ты была рада за меня, за твоего внука Шурку, за внучку Настю!

Сын говорил, захлебываясь от радости. Он уже не простой инженер, он генеральный директор строительной фирмы.

– Мама, вот только появится свободное время!.. Мама, я виноват, ты прости своего непутевого сына!

Сегодня тяжелый горизонт как по обязательству выдавил из-под себя солнце. Лучи слабенько позолотили свисающую со стола бахрому скатерти, хотели перебраться на стену, поманить пасущихся на ковре лосей свежей травкой, но, истратив силы, свалились в отдувающиеся облака.

Пахло снегом. Кричали вороны. По занесенной снегом деревне вилась натопанная тропка к магазину. На вызов бежала молоденькая фельдшерица, длинная тугая коса хлестала девушку по спине. Сегодня участник войны Ипполит Дубов в магазине упал от голодного обморока.

Вечером, когда стало темно, Анна Сергеевна вышла на улицу. Небо опорожнилось от вихрей и туч, звезд

было много, у звезд были лучики. Лучики шарили по охладелым угодыям, стараясь продлить чью-то маленькую жизнь. Лунная чистота, покорный сон всего мира овладели её душой. Она стала размышлять, что жизнь прожила в постоянном труде, подняла на крыло такого сына! ...но неправильно жила, зря не любила город,— раз Юрику некогда, надо было хоть раз самой собраться и съездить в гости. Почему-то жену внука Шурки она представляла себе очень похожей на Дусю Ягодкину, красивую до прелести. Дуся уже пожилая, но всегда веселая, уверенная, мудрая и передовая.

С женой внука стало проще, придав ей знакомый образ, но как накормить-напоить ораву в сто сорок три человека?.. «Это уму непостижимо! В Москве из танков Думу расстреляли, а у сына свадьба буржуйская! Куда Русь наострила дышло?.. Сто сорок три буханки хлеба, а карточки на вино, мясо, масло да сыр, да всё остальное где взять?.. Было бы что хлебать, хлебать можно и деревянными ложками, не серебряными. Высоко-о мой Юрик поднялся, высоко! А останься бы он дома, что бы он дома поимел, с его-то упрямым характером? Да скотный двор! Ну, тракторист бы, или бригадир... а может, сменил бы на посту Федора Федоровича. Надо Юрику пенсию послать, сама как-нибудь проживу. Много ли мне надо-то? Комар больше съест». И с теми мыслями Анна Сергеевна вернулась в избу.

Погладила кошку и спокойно заснула.

Говорило радио. Почему-то у радио был заупокойный от ума и деятельности голос, утомленная физия бредущего созерцателя, страсть похожего на бородатого Карла Маркса. Борода была очень большая и косматая.

Анна Сергеевна всем нутром своим чувствовала, что это вовсе не борода, это горе теперешней жизни. Старушка спала на спине с открытым ртом. Ближе к полночи радио, висевшее на стене световой лужей, принялось тяжело вздыхать, бормотать несуразные мысли вслух; сошло со стены, потрогало спящую за плечо, душевно попросило:

«Пойдём, оба мужика на улице стоят», – и Анна Сергеевна покорно шагнула за ним, норовя не приступить бороду.

Радио шло, как изверившееся счастливой долей живое существо, оглядывалось, манило шелестом веселой музыки; потопталось у дверей и сгнуло.

Соседское дело

Третий день сряду идёт снег. Сырые, напитанные водой тяжелые хлопья устилают студёную землю. Где-то далеко-далеко, там, где земля и небо воедино слились, застрял с обозом дед мороз. Снегу навалило уже много, он рыхлый. Обманчиво беспечны полные грязного месива глубокие колеи, они похожи на ванны с высокими обмятыми краями, ступил человек в такую ванну, и полные сапоги воды. Кругом глушь. Угнетённое тишиной и дикой мощью пространство.

Кругом расквашенное грязно-серое болото. К деревне Ванин Починок петляет еле заметная стежка следов. Это жители деревни бродят за шесть километров в магазин за продуктами. Магазин, а проще сказать продуктовый ларёк, в деревне Коровайхе – единственная, теплящаяся свеча прошлой жизни.

Ни клуба, ни медпункта, ни школы, ни почты во всем бывшем Тестюгинском сельсовете и в помине нет, зато есть «путинский головастик», синий агрегат компании «Ростелеком». Связью пользуются в летнее время приезжающие к дедушкам и бабушкам городские внуки. В Ванинском Починке печи топятся в четырёх домах. Жители – сплошь пенсионеры, их взрослые дети почти забыли, где пуп резан.

Чувство заброшенности, одиночества, ненужности вызывают одичалые поля. Лес подходит к самым окнам. Слава Богу, пока есть электричество.

На улице копошится сумрак. На застеклённом крыльце сидит, давясь табачным дымом, Петрищев Коля по прозвищу Ржавый. В шапке, в валенках, в новой клетчатой

рубaxe, на плечах накинутая фуфайка. Лицо у Коли костлявое, заросшее седой щетиной, губы тонкие. Лет сорок эти губы в сочетании с наглыми и подозрительными глазами источают презрение и недоверие к соседям, к начальству, к газетам, к телевизору, а заодно и к своей жене. Он родился с такими наследственными генами: мать, бывало, всякое слово медленно нежит на зубах, чтоб подать его слушателю с тонким ароматом капризно-оскорбительной небрежности. И чем бы, кажется, козырять, чего нос задирать, с хлеба на воду перебивается, детишек приبلудные мужики строгают, а вот несую голову выше ветру, и поди ты в баню, которой нет.

Зябко. Коля Петрищев кутается в фуфайку. За стеной в избе громко от телевизора. Жена слышит плохо, потому, если мужа нет рядом, включает «ящик» на всю катушку.

Он вытягивает шею, слышит скрип двери, замечая движение у соседей. Сосед выносит ведро с помоями, выливает в мусорный ящик, оглядывается на деревню, неспешно топает обратно.

Скрывать нечего, Коля Петрищев не увидел бы ничего зорного в том, если бы где-то, кто-то вспомнил сегодня о нём. В день рождения у всех нормальных людей бывает некое приподнятое, взволнованное настроение, ожидание некоего чуда, а он утром съел шаньгу, почесал перед зеркалом кадык и побрёл на улицу. Хоть бы сын, хоть бы сноха, внуки, хоть бы кто-нибудь поздравил его: увы! Что жена, и та сунула под нос сковороду с подгорелыми шаньгами, без всякой деликатной чувствительности, хоть бы глянула добрее, чем глядит в обыденные дни, сказала ласковее, то обронила: «Ешь, именинник».

Коля Петрищев был гордецом. Он шаньги принял как насмешку, как оскорбление, как самое наплевательское отношение к нему.

Почему его волнует сей вопрос? Да так, от скуки, должно быть, или годы под гору катятся, или деревня медленно умирает, и когда-то умрёт он... За сорок один год работы только на тракторах можно было бы дать хоть

одну грамоту, какой-нибудь подарок от колхоза или райисполкома – во, фига с маслом! Он эту грамоту за ударный труд назло всей деревне, всем начальникам теперешним и прошлым повесил бы в своём туалете, и всякий раз, направляясь туда, плевал бы на неё. Почему плевал? Отчего такая черная неблагодарность к прошлому? Не от слабости, а всё оттого, что давно осознал он ненужность своего труда, и зря он землю пахал, зря мешками спину ломал, зря в лесу зимами мерз, всё зря! Гнutoго болта от колхоза не осталось, не то, чтобы какие-то паи выплатили. Кругом только гады! Одна радость: телевизор, да и он, гад ползучий, скорее не утешает, а злость разжигает. Послушать, так страну не сегодня-завтра пустят с молотка. Всё грабят, всё тащат, всё делят! Он ли не работал! Тот же сосед, одногодок Шурка Фомин, такой же тракторист... «Такой да не такой! Везде, бывало, свой нос сунет, всё правду искал. Кого в президиум? – Фомина! Жри теперь свою правду, Фомин, вон её сколько лежит кругом! В долларах и евро!»

На крыльце выше оконной рамы кнопкой прижата выцветшая от времени любительская фотокарточка. На ней Колька Петрищев, молодой, после СПТУ отработал на весенней пахоте первую смену, отдыхает, сидя на бревне возле кузницы, лицо от усталости доброе, безвольное, застенчивое и даже милое. Интересно, о чём он загадывал тогда ясным весенним днём? Возможно, представлял, как получит новый трактор, его фотография будет постоянно на Доске почета и так далее, и в том же духе. Только почему-то через месяц небо стало для Кольки набрякшим, тусклым, утрами не бригадир входил в избу с нарядом, в раскрытую дверь как в низину вползал туман, – то коровам копыта ошипывать пошлёт, то со стариками изгородь латать, то с бабами сено загребать. И пошла жизнь тусклая, однообразная, одним словом – день к вечеру.

Следует добавить к выше сказанному, что у Фомина есть свой трактор Т-25, у Коли Петрищева тоже был, да он его выгодно продал. Сын, видите ли, живёт в Москве,

дочку замуж отдаёт, жить негде молодым, выручай, отец родной! Коля Петрищев помог не только своим трактором. Пока другие гадали, как дальше жить без колхоза будем, Коля не дремал, тащил и тащил, и продавал всё, что можно продать. Однажды пришла большая машина, выдрала железобетонные трубы через речку под деревней Ванин Починок, народ бранил всех и вся, а вором-то Коля Петрищев оказался.

Александр Фомин был правдивым человеком, правдивым до крайности, чем причинял соседу серьезные неудобства. Тощий, долговязый, с застенчивым большим лицом, внимательными глазами, вечно какой-то сосредоточенный, Александр спросил укоризненно: «Озолотился?» «Тебя не спросил!» – окрылся Коля Петрищев. Забегали у Коли Петрищева глаза, заблестели холодно и враждебно, тонкие губы вытянула в строчку высокомерная презрительная ухмылка. «Спасибо от всех нас, живых и мертвых. Сволочь ты ржавая, Микола. Всю жизнь из-за косяка выглядываешь, всех-то хитрее, всех-то умнее». «А не вы ли, коммуняки долбанные, нас к разбитому корыту привели? А, и сказать нечего? Где пай, где справедливость?! Где мои деньги?!» Зажимает кулаки Коля Петрищев, так бы и врезал обидчику, да у Александра мускулы вроде сыромятных ремней, крепкие.

Никогда между соседями не было дружелюбия, – ничего, кроме холодной вежливости. Бабы и те здороваются раз в год в Пасху.

Коля Петрищев приусадебный участок пахать весной нанимает мужика из Кововахи. Пускай втрое дороже ему пахота обойдётся, но поклониться кровному врагу – соседу Шурке Фомину!.. Да пускай огород крапивой зарастёт, пускай кроты всю глину наверх поднимут, пускай гуще растёт осот: никогда!

В августе кабаны повадились в деревне картошкой лакомиться. В очередь ночами с фонарём по деревне сторож ходил, Коля Петрищев не вышел. Водокачка отказала, три хозяйства сложились новый насос купить, Коля Петри-

шев рубля не положил. Я, сказал он сам себе, с кружкой на реку буду ходить, но чтобы благодетельствовать для кого-то!...

Слякоть. От холода ломит всё тело.

Стал верстаться вечер, к Фоминым прибежала закутанная шалью Варвара Петрищева:

– Олёксан, беда: Миколай умирает!

Александр сидел на диване, тихо играл на гармонии длинные, печальные вальсы. За стеной в горнице жена смотрела телевизор. Шла какая-то муть, много стреляли, бегали, дрались.

– В правом боку жмёт. Стонет. В больницу надо. Видно, шаньгами объелся.

– Здравствуйте вам, оголодал. У меня и топлива-то нет...

– Ась? – Варвара выпростала ухо, сунулась лицом вперед. – В правом боку страсть как колет.

– Хоть в правом, хоть в левом... Топлива, говорю, нет!

– У нас бочка в гараже полная!

– Ага, бочка у них. Вся грязь, поди-ко, ещё при колхозе со всех цистерн слили. А как насос топливный запорю? Знаешь, сколько топливный насос стоит нынче? Двадцать пять тысяч! Три мои пенсии!

– Не, хороший керосин. Ему зимой мужик, что перед выборами дорогу прочищать приезжал, налил.

– И до свидания вам: дорогу по сельсовету последних лет пять не чистили.

Лицо соседки напряженно-плаксивое. Она боролась с собой, чтобы удержаться от соблазна закричать сейчас на равнодушно внимающего чужую боль соседа. Вроде как рад, ирод, что у них горе!

На шум вышла из горницы жена. Говорит Александру:

– Дело соседское: надо.

– Надо... Случись со мной, он бы тебя за порог не пустил, надо, – тихо сказал Александр.

Не зря жену величают шейей мужчины, – уговорила Александра ехать.

Что переживал Коля Петрищев, вынужденный лезть в чужую кабину? О, слабость пера писателя! Какими словами изобразить ощущение человека, готового поступиться своей независимостью, багажом нажитых привычек? Он весь отвердел, наполнился тоскующей слабостью, защемило под сердцем, страшные душевные муки выдавили из глаз слёзы.

– Ну-у, залезай, давай, – подтолкнула сзади Варвара. – Чего остамел-то?

Согнувшись червяком, забрался Коля Петрищев в кабину. Тесно, на одного водителя рассчитана заводом кабина.

Доехали до того места, где некогда лежали через ручей железобетонные трубы, Коля Петрищев рукой показывает, куда ехать:

– Выше возьми. Выше – крепче берег.

Выше так выше, не поперечил Александр и, поддав газу, напрямик направил трактор по указанному курсу, и угодил в глубокую ямину.

Выезжали долго.

А снег всё шёл и шёл, и облеплял трактор, и бесформенными кусками валился под колеса. Жиденький свет вырывал из тьмы нищенские кусты ив, завернутые в серые лохмотья.

Коля Петрищев сидел на карачках поодаль, как бывалый тракторист видел, что сосед не очень-то торопится добраться до больницы. Лучи света фар только начнут упираться в черное небо и обратно уползают в грязную завесу. Выйдет Александр из кабины, не спеша походит, под трактор посмотрит, под колесами землю попинает сапогом, и опять в кабину. Казалось, всем существом своим он пытается передать трактору плавную осторожность.

– Блокировку! Да что ты, мать твою!.. Развернись на одном тормозе! – кричит с дороги Коля Петрищев.

Выбрался трактор из ямины, теперь, спрашивает Александр, куда ехать прикажешь?

– Ну, Санко! Жив останусь – гад буду, припомню! – ответил сосед глухим, зловещим голосом.

– Его везут как буржуя лыком шитого, он ещё и грозой идёт.

– Мстишь?

– Мсти, не мсти, ты обратно трубы не положишь. Трактор мне ещё надобен будет, чего его рвать зря.

– Это я «зря?!»

– Ты. Всю жизнь мир для тебя, а не ты для мира. Ржавый человек, одним словом. Всяк человек состоит из всего того, что он при жизни сделал доброго людям. Поедешь, или пешком пойдёшь?

Ближе к полночи добрались до больницы.

Хирург с сурово-жестким выражением лица пощупал впалый живот у Коли, готовыте, говорит медсестре с копной рыжих волос на голове, к операции. Потом Коля Петрищев скажет Александру Фомину:

– Воспаление пошло, ещё бы час, – и на приём к ключнику Петру.

– Зря не загнулся. Праздник был бы, – упрямо скажет сосед. – Сын бы твой приехал на дорогой иномарке. Нанял бы гусеничник в райцентре, притащил бы на «пене» машину – надо удивить деревню богатством, нажитым непосильным трудом.

Коля Петрищев насупится, переступит с ноги на ногу, произнесёт скорбно:

– Гад же ты, Санко, гад вредный, но правильный.

Прожит день.

Лютует ветер, поёт смычковыми голосами. Побежали на свежие пастбища, полоня высь, толкаясь и дымясь, сбивались в широченное стадо пахнущие сыростью облака.

Ночью через Ванин Починок ехал в санях дед мороз, чихал, – земля всё сильнее и яростнее пахла сильным и здоровым телом своим, – бросал использованные скомканные белые носовые платки. Народившийся месяц – ребенок с сонным и ликующим выражением лица, улыбался матушке Земле, с любопытством тянул платки к себе один за другим, на одни садился, другими играл, отдувая под самый небесный купол.

В тот день, когда больничную «скорую» для подстраховки сопровождал Александр Фомин в Ванин Починок, злобилась вьюга, сухой, как толчёное стекло, снег заворачивал в белые саваны четыре жилые и сорок четыре заброшенные дома.

Коле Петрищеву было и совестно, и радостно. Радостно, что домой едет, да врач при выписке обронил: «Живучий, долго проживёшь»; совестно потому, что впереди «скорой» тарыхтит на своём тракторе сосед, которому всю жизнь слова доброго не сказал. А ведь они с соседом уже не первой молодости...

Последний мужик

Онучин умер накануне Великого поста. В последнее время он страшно похудел и изменился в лице. У него болело все тело, ломило суставы, но он воображал, что выздоравливает, потому тщательно брился, смотрелся в зеркало, нетерпеливо ворочался в постели. Под конец стал очень разговорчивый, говорил тихо, через силу, тяжело дышал, вспоминал покойную жену Агафью, просил у нее прощения, жалел убитого парнишку, сына бандеровца, обещал наделать бабам к сенокосу грабель.

Горела утренняя заря, над зубчатым лесом медленно поднималось солнце, радостное, изумленное, как дитя малое. Воздух был спокойный, затаенный. Природа вчера, как в последний раз, вдохнула мороз, а под утро выдохнула изморозь – шевельнулась под снежным тулупом мать-земля. Сквозь стекла пали на стол, на тальянку, на лежащего Онучина лучи, окропили позолотой. Кошка, встревоженная непонятными ей переменами, то просилась у дверей на улицу, то сжималась на полу клубочком. Никто не видел, как умирал Онучин. Явился ли к нему ангел и благопристойно попросил следовать за ним, или судорожный дьявол, хохоча, подхватил железным крюком его душу...

Он лежал навзничь на большой деревянной кровати под старым ватным одеялом из синего ситца в пестрой рубахе с расстегнутым воротом, уставив в потолок неподвижные, как бы шальные от изумления глаза. Бритое до синевы лицо, острый нос, скрещенные смиренно руки.

На деревне топились печи, сизый дым поднимался сажень на двадцать ввысь, уходил замысловатыми кружевами на север. Жизнь, простая человеческая жизнь продолжалась в раздумьях и хлопотах.

Пришла Наталья, двоюродная сестра Онучина, прямая и высокая старуха, сняла у порога валенки, полезла на печку за теплыми обутками. Охнула раз-другой, пока их достала, попутно незлобиво отругала кошку, что лезет под руки, разделась, стала затоплять печь.

– Василе-ей, – нараспев сказала она, – седни как, отвалило, не давит грудь? Сердишься? Ну посердись, на сердитых воду возят... Я вот седни сон смешной видела. Помнишь, ты лошадей гонял, когда с Иваном нашим за рекой до войны жали? Народику – ну как наяву, гужом, и девки незамужние, и бабы, всех вижу.

Как бы на Ильин день, по приметам. Сарафаны на всех баские, бабы веселые, так счастливы, будто весть услышали, что война проклятая кончилась... Иван-то в лазоревой рубахе с закатанными рукавами, а мать твоя, покоекка, как бы от реки заходит, из цела, рожью идет. Вот подходит, лошадей останавливает, а у самой в руке пук крапивы с корнями надран. – Васька, – кричит на тебя, – ты чего это, паскудник, за Натахой в бане подглядывал? – И давай тебя по голым ногам крапивой жалить... Васи-ле-ей, спишь, что ли?..

Кольнуло под сердцем Натальи: уж... Подошла торопливо, склонила голову к плечу, охнула. Перекрестилась, прикрыла синие глаза красными рубцами век. Взяла с табурета тальянку, прижала к себе, запричитала:

– Отыграл, Васильюшко-оо...

Страшно ей стало, тоскливо; рушилась жизнь, уходила из деревни. Смерть, безглазая ведьма, прятавшаяся в

пустующих избах, махнула своей косой, как знать, чья теперь очередь.

Осиротела деревня народом: из сорока шести домов в пору былого величия ее только на сенокос выходило до ста человек, а ныне полуживых старух колготится пятеро, Онучин был шестым. Последним мужиком. Бредет Наталья по деревне, так и хочется закричать: «Эй, мужики? Эй, бабы! Куда вы все подевались?.. Выходите на деревню, дорогу протопчем, ведь занесло до крыши! Не аукнется народ, нет его. Старшее поколение на бусле лежит, молодое в городах о машинах хлопочет. Обошла Наталья товарок, донесла им горькую весть. Всем миром пошли к Онучину, как ходили в последние годы по всякой надобности. Осторожно ступали за порог, подходили к кровати, смотрели. Уселись около него, стали думать думать.

Лежал перед ними не дряхлый старик – отдохнуть прилег Васька-гармонист, удалой да пригожий, на жизнь способный. Девок любил страсть как, баб – пуще того. Председателем колхоза был – каждое бревно по нему проехало, везде поспел, ко всякому ключик имел.

Строгий был да отходчивый.

Кажется, сядет сейчас на кровати, обведет шальными глазами всех и каждую наособицу, к тальянке потянется.

Закислились, девки? Что нам тужить, когда не хрен прожить! Запевай, Егоровна!

Себя не обманешь: не вернется молодость весенней птицей, не растянет Васька тальянку. Тугая на ухо Марья обронила, что мужик ее, Иван Прокопьевич, перед смертью два гроба сделал, себе да и ей. Коль Онучин раньше убрался – отдает домовину ему.

Нет к деревне следа, нет проследья. Почтальонка ходит на лыжах, когда ей прикачет. Дунул ветер да спутал провода – сиди при лучине неделю-другую. Нет мужиков, некому могилу выкопать, не на чем на буюе свезти.

– Бабы, стесняться нам друг дружки нечего: соборовать надо. Давай-ко Василья помоем, переоденем в чистое, – сказала Егоровна, самая сильная и решительная из

старух. Егоровна еще держит корову, сама баранов режет. Засуетилась Парасковьюшка, сухой ощепок, достала из-за пазухи псалтырь, прокашлялась, хотела прочесть что-то, да Наталья махнула рукой: не время еще.

Онучин, Онучин... загадывал ли ты когда, что тебя разденут свои же деревенские бабы, с которыми ты жизнь прожил рядом, изучат твоё тело самым бессовестным образом, вымоют, полотенцем оботрут, как беспомощного какого, и оденут, наперекор смерти, в красную молодецкую рубаху?.. Любил Онучин жизнь, ой любил! И пил, и гулял, и дело вел, ненасытный был до жизни. Поговаривали, что жена его, робкая и застенчивая Агафья, через эту любовь в доски ушла раньше времени. Так это или нет, один Бог знает да Наталья немного.

Чужая баба для него была слаще меду, чужой сарафан и пахнет приятнее. Наталья помнит, как, будучи пьяным, бранился и рычал, бросался с кулаками на Агафью, тогда она молила Пресвятую деву, чтобы отняла она у Васьки-гуляки мужскую силу. Прошло время, перебесился Онучин, на могиле жены хлестался, прощения молил, а жизнь-то боком да боком, будто и не жил. Поллюбовник он был скрытный, за что уважаем подружками. Другой мужик и не поймал, да ощипал, а за Онучиным такой славы не водилось. Этим он поселял в некоторых вдовушках ревность, желание отбить его, как навыхвалку...

– Подойди, птичка моя,– говорит Онучин. Стоит у свежесметанного зарода сена, распаленный, кряжистый.– Подойди! – шепчет страстно. Глаза горят, в лицо кровь бросилась.

– Вот еще,– играет с ним Авдотья.

– Ангел ты мой единственный... Век бы тебя на руках носил, голубка сизокрылая,– голос тихий и вместе с тем исполненный какой-то демонической власти.– Ночи через тебя не сплю, как представляю, что ты на моей груди...

Ночи он не спит... а от кого Шурка родилась?

Божится Онучин, клянется всеми святыми. Авдотья как не слышит, подняла гордую головку свою, усмехается.

Лестно ей, что такой мужик перед ней половиком расстилается, лестно и боязно: как да с сенокоса не все ушли, как да кто в кустах стоит, слушает?..

– Зазнобушка, иссушила меня...

Авдотья старается не смотреть на Онучина, ступает мелкими шажками к нему. Привлек к себе, и она, кроткая овечка, задрожала вся, ласки ждет.

Целует в голову, в шею, сжимает в объятиях. Качнулось небо в глазах Авдотьи, зажмурилась в истоме, подогнулись ноги...

Положили Онучина на кровать, смотрят на стены, на пустую божницу, на комод, точно запоминают, где что лежит, где что висит.

– Дожили до тюки: нет ни хлеба, ни муки, – печально говорит Парасковьюшка.

Марья вытягивает лицо: не слышит, о чем речь.

– Девки у него сами уж бабки, разве приедут?.. Телеграммку бы отбить. Испият дом, а жалко... Испият, нынче модно ломать, не строить. Боюсь я, бабы, этого. Будто нутро выворачивают...

– Им что, анкаголикам, – говорит Егоровна, – у Кузьмичовых ломали, так будто Мамай воевал. Одежку из сундуков вывалили, топчут, Катеринины исподки на себя примеряют, гогочут. «Эй, вы, говорю им, собаки!» А тот, рыжий, топором давай посуду бить, рамы пинать, и все на меня оглядывается, похвалы ждет...

– Не заводили, не ставили, душа не сболит. Насколько же народ обурел, по дрова в лес не поедем, лучше пятистенков пилить, – говорит Наталья.

– Почитать, может? – теребит псалтырь Парасковьюшка.

– Ночь-та твоя, начитаешься, – грубо говорит Егоровна. Много хлопот доставил им Онучин. До кладбища – шесть километров, опять к алкоголикам идти на поклон...

– Придется самим, – говорит Егоровна.

– Пустое несешь, – возражает Авдотья, некогда румяная да статная, нынче – яблоко сморщенное. – Ты-то, может, еще и коренник, а какие из нас пристяжные...

Егоровна исподлобья смотрит, шурясь, пренебрежительно говорит:

– Тебе ли скудаться, Овдошка, ты ведь на четыре года меня моложе.

– Моложе, да,– качнула головой Авдотья,– счет не по годам веди, по зубам.

Смеются старухи: у Авдотьи во рту один клык желтый, у Егоровны – железные протезы.

– Полы вымою, приберу, а там как Бог положит. Вот, бабы, что кошка, и та беду чует. Гля, раньше всё в ногах у Василья комалась, теперь под лавку юркнула. Пушка, Пушка, иди ко мне,– говорит Наталья.

– Чего свечу-то не ставите? – спрашивает Марья.– Тяжело он с белым светом расставался.

– А ты почему знаешь? – кричит ей на ухо Егоровна.

– Болел долго,– отвечает печально скромная Марья.

– Поставим-ко, бабы, и свечу, и самовар да чайку попьем, будто и Василей с нами столовается,– предложила Наталья.

– Тогда я за вином сброжу,– говорит Егоровна.– Надо при жизни истребить нажитое, чтобы не тужить на том свете.

– Ой ли,– со страхом сказала Парасковьюшка,– трех ден не прошло, грех.

Домой? – тревожно спрашивает Марья поднявшуюся Егоровну.

– Сиди-сиди,– щелкает себе по горлу.– Помянем!

С уходом Егоровны всем стало не по себе. Егоровна была становой жилой деревни, опорой. Все настолько привыкли, что она будто мать над ними, редкий день кто проведет без нее. Егоровна не боялась никого и ничего, она даже прокурору Силинскому влепила затрещину, когда тот на празднике распустил лапы. Прокурору!

– Тальянку в музей отдадим, один парень приходил и денег давал, и пугал, что украдут,– сказала Наталья.

– Ну, уж нет! – запротестовала Авдотья.– В голова поставим. Захочет Василей растянуть – она под рукой.

Старухи не могли удержаться, заревели. Авдотья стукнулась головой о дужку кровати. Пили какое-то заграничное вино, вкусом – клоп раздавленный, пили, как могли. Кто – по глоточку, кто пригубил только.

Расстегнула Егоровна кофту, поправила тяжелые груди, сказала:

– Ну, дроля, играй, плясать пойду. Споем напоследок нашенскую!

– Как полоску Маша жала, золоты снопы вязала, эе-еех, молода-а!

День-то какой, знамение тебе, Василей,– глянула в окошко Парасковьюшка.

– До чего же ты под старость набожная стала,– хмыкает Егоровна, толкает под бок Марью.– Расскажи-ко, как в ваш колодец Парасковьюшка чурку опустила.

Марья смеется, начинает рассказывать сто раз повторенный рассказ, оборачивается к Онучину, призывая того в свидетели. Молчит Онучин, нет ему дела до бабьих сплетен.

– Ты-то праведница,– поджимает губы Парасковьюшка.– Не с тебя ли Онучин мешок с колосками снял?

– Нашла чем попрекнуть! Да за это я ему в ноги поклонилась потом, что деток сиротами не оставил. Перестань, не со зла я... Расскажи-ко, Овдошка, как с Онучиным сено метали!

– Господи,– изумляется та, беспокойно ерзает,– веком, бабы, не бывало, вот те крест.

Много кой-чего помнят эти старухи, все поведать – жизни не хватит. Вышла на небо луна, огляделась, прихорошилась. Насколько глаз хватает, разлито серебро свадебное, плавают в том серебре легкие тени заборов, деревьев, стогов соломы, блестят крыши черных домов. Бежит лисица, принохивается. Теплится свет в окне Онучиных, стоит в головах покойника большая свеча, дрожит на ней прозрачное копье.

Спит на стуле Парасковьюшка, выпал из рук ее псалтырь, рассыпались почерневшие от времени листы по полу.

Утром провожали в дорогу Егоровну. Лыжня чуть заметна, до жилу брести да брести.

– Ну, подружки, коль дойду – трактор пригоню, нет – на мороз выносите. Когда-нибудь да кто-нибудь вспомнит о нас. Марья! За коровой вникай!

Неловко ступила шаг, оперлась на палки, другой – качнуло малость. Устояла, потыкала снег палками. Пошла...

Холодная кровь

По сельскому кладбищу шалит влажный весенний ветер. Как оттолкнётся от почерневших оград да крестов у подошвы горушки, стремглав выбежит наверх к новеньким, разноцветным оградкам и тяжелым гранитным надгробьям, сосновыми лапами распишется в блюдцах талого снега и замрёт в трепете, весь вжимаясь в солнечный блеск; эх, ветер! Ты молод, ершист, здоров; тебе неведома неизъяснимая грусть, тебе непонятны людские скорби.

Допускаю, что родился ты этим утром от удара полусонного пекаря-месяца в старую сосну. Небо, испещренное звездами, млело в струях нового дня, нельзя сотрясать небесную купель в такую дорогую минуту, нельзя звезд пугать даже слабым скрипом просевшей под тяжестью снега жердины в изгороди, даже мышинным писком, тем паче воззвать умирающему к вечному и непорочному, но не бывать трепетной тишине и неге вожденной в подлунном мире, кто-нибудь, где-нибудь да оступится, согрешит, – виновник попытался скрыться за вершины осеребренного леса, но недовольные звезды, эти разомлевшие барыни, отгрянули эхом в далекую твердь.

Хоронили Ольгу Михайловну. Рак её замолот. Нынче три болезни опустошают русские просторы: рак, безверие и сердечная недостаточность.

Медведь велик, да вша его заедает, – нет от этого рака спасения роду людскому. Последние дни сидела Ольга Михайловна, тихая, грустная, в окно глядела. Спросят

осторожно домашние, может, чего поесть желаешь? Может, подушку подложить?..

– Смерти я не боюсь, все умрём, каждой овощи свой черёд. Мне вот любопытно знать, что после меня будет? Кто бы поведал, что с деревней будет, что с народом... Из этого любопытства и тянусь.

На распорядках стояла средняя дочь покойной Мария Васильевна. Место выбрали загодя: рядом с мужем Василием. Сосну метровой величины между могилами рубить не стали: любил Василий по грибы ходить. Вырастет сосна, сядет на веточку какая ни есть пташка, прочирикает чего на своём птичьём языке, и на том спасибо. Едва гроб с телом поставили на приготовленные козелки рядом с могилой, Мария Васильевна быстро нашла глазами в толпе провожающих Евдокима Валентиновича. Евдоким Валентинович слывёт штатным пастырем на похоронах. В прошлом ходил под партийным седлом, расковался возле ельцинской кузни, стряс атеистические подковы, наловчился речи держать про выдоенные литры, небесные кущи, колхозные соревнования, любовь да верность супругов. Вокруг да около потопчется, не даст усомниться в честности и порядочности, ну и «земля те пухом, спи с миром». Видит Мария Васильевна, в одной руке Валентинович записную книжку держит, другой рукой нос платком давит, а лицо насупленное и дышит каким-то боязливым и безнадежным ожиданием – столько важных шишек приехало из райцентра, ляпнешь ненароком чего-нибудь такое... и объявила, что первым желает сказать прощальное слово заведующий районным департаментом образования господин Широков Максим Авксентьевич. Деревенские, и Валентинович в том числе, против не были: говори, господин хороший. Всё равно кому-то надо говорить. Приятно всё же услышать речь умного человека, новизна, так сказать, мышления.

– Па-азвольте... па-азвольте, – заговорил надменным голосом тучный заведующий департаментом с окладистым лицом, вдруг потупился, откашлялся и как будто пришёл

в себя, заговорил вполголоса.— Чувствовала ли Ольга Михайловна собственную жизнь? Нет, скажу я вам! Жизнь, как звук, становится понятной на самом её краю; сожаление — звук, сострадание к родным — звук, сладкий запах неубранных полей — звук; умирая, осознаёт человек, что вроде как он и не жил, и не любил, и счастья не испытал, и много, много всего не успел. «Не гладок путь от земли к звездам» — сказал как-то Сенека. Ольга Михайловна — это человек от сохи, как говорили раньше. Она не была в своё время членом молодежного парламента, не участвовала в конкурсах красоты...

И понёс в таком духе. Резкий, полный разворот — она родила и воспитала *такую* дочь! Какая спринтерская стометровка от Сенеки до Марии Васильевны! Мария Васильевна стояла рядом в окружении своих взрослых чад. От такой похвалы немного опешила, глубоко вздохнула, на глаза навернулись слезы. И снова легкая поправка Максима Авксентьевича: покойная воспитала трёх *таких* дочерей. Вот старшая — стоит с заплаканными глазами в ногах матери и смотрит в гроб,— оратор к месту привёл слова Пифагора: «Берегите слёзы ваших детей, дабы они могли пролить их на вашей могиле». Вот младшая — как курица-наседка притянула к себе своих детей, уронила глаза к долу, плечи вздрагивают от плача. На похороны старшая дочь и младшая дочь прибыли, как и средняя, со своими детьми.

Деревенские стали лукаво переглядываться: учишь, Валентиныч, красно говорить! Какие коленца говорун выкидывает, наловчился увлекать народ, как вихрь щепку. Тебе бы к Плутарху заглянуть: «Те, кто жадны на похвалу, бедны заслугами», а ты даже в интернете «не шарить», от реформ, указов, новых веяний ядовито скучаешь, плачешься о бедственном положении русской деревни, да кому нужны твои выдоенные литры? А ведь Плутарх завещал: «...основу речи должна составлять честная откровенность, предусмотрительность, разумное понимание и забота...» Красиво плетёт оратор гирлянды из изящных

и увесистых слов, но всё же чем-то отталкивает людей выпирающее аканье. Пусть бы акал на трибуне, тренировался перед изысканной публикой, деревенских это немного коробит.

– Великий русский писатель Лев Толстой завещал: «Вечная тревога, труд, борьба, лишения – это необходимые условия, из которых не должен смочь думать выйти хоть на секунду ни один человек». Уважаемые, поколению наших изработавшихся матерей и бабушек, нынешнее младое поколение по колено будет. Только по колено!

Спасибо, оратор!

Подлез ветер под приготовленные венки и, вздувая исписанными чёрными ленточками и зелененькими листочками, тужился отодрать их от земли и закружить над кладбищем.

Стояла толпа провожающих, большинством женщины, стояли тесно, понурившись, словно ожидая своей очереди на тот свет, и холодели скупые слёзы во вдовьих глазах.

Привалился к сосне высокий худощавый подполковник, военком на четыре района. Муж младшей дочери. Он, как бы дремля, посматривал в направлении своей жены. Жене недавно удалили желчный пузырь. Переминался в пальтишке на рыбьем меху и остроносых полуботинках помощник районного князя – начальству положено быть на похоронах матери директора средней школы! От полиции присутствовал участковый – мало ли!..

На последних выборах один пьяный абориген призывал на избирательном пункте «резать московских жидов!» Товарищ от партии «Яблоко» кинул весточку до Москвы, и пошли проверки. На заднем плане стояла дама поперёк себя толще, что-то записывала в розовый блокнотик. Никто пока не знал, чья она, но коль пишет – засланный казачок.

– Пожалуйста, пожалуйста, – зачастила Мария Васильевна после выступления Максима Андреевича, тревожно всматриваясь в лица, – мама прожила жизнь рядом с вами, вы работали с ней рядом, делили и хлеб, и соль... не стыдитесь.

Одна старушка уж протолкалась, было, к самой до-
мовине, уж набралась смелости и сказать что-то хотела,
оглянулась на Марию Васильевну, поскользнулась и
тяжко шлёпнулась наземь. Дети Марии Васильевны под-
няли бедную на ноги, та оправила юбку и спряталась в
народ.

Народ молчал, молчал и смотрел на гроб, на могилу,
на обсевших вершины деревьев ворон. Многие из при-
сутствующих мало чего смыслили в молодежных парла-
ментах. «Заслуженно сказал... как там тебя зовут, уважа-
емый, про старшее поколение. Уж нам, детям войны, с
лихвой слёз хватило»,— должно быть, хотел подтвердить
каждый.

Взор Марии Васильевны так и мелькал по провожа-
ющим, словно змеиное жало. Крепкий нос её с завол-
новавшимися ноздрями, казалось, свирепел сам по себе.
Покашливание кого-то усилило накипающее безотчетное
раздражение. «Вы зачем пришли?!» – верно, хотелось кри-
чать носу.

Какое-то время мертвая тишина царствовала над клад-
бищем. Лишь ветер набегал жгучей стружкой, протиски-
вался под гробом и уходил, ноя в стеблях высокой травы
на безликой могилке с просевшим крестом.

Мария Васильевна первой простилась с матерью, про-
стилась сухо, по-деловому,— от досады, что ли, а младшая
сестра изошла слезами. Её майор оттаскивал от гроба
силой. Старшая сестра положила несколько земных по-
клонов, медленно поднимаясь и крестясь, кинулась на
свежую землю и зашлась в плаче. Её поднимали с земли
сын и дочь.

Прошла деревня, каждый кинул горсть земли на до-
мовину. Звякнули серебряные и медные денежки.

– Не кидайте, пожалуйста, не кидайте,— запротестова-
ла Мария Васильевна.

– Век кидали,— сказал Евдоким Валентинович и будто
назло кинул в могилу горсть монет.— До нас кидали, и
пускай после нас место выкупают.

Дальше... зарыли, помянули «соточкой» с достождным раскаянием, зажевали кусочком колбасы. Что похоронны, и те нынче другие. Раньше «соточка» была полновесная, а нынче стаканчик детям в яслях играть, с напёрсток, хочешь – пей, лихо – под крест лей.

– Прошу в автобус! Все проходим в автобус! Поедем в райцентр, в ресторане накрыт зал, помянем маму,– объявила Мария Васильевна.

Видя, что деревенские как оцепенели, ещё хуже, окаменели, и явно не спешат заползть в автобус, стала торопить:

– Евдоким Валентинович... Сергей Иванович... Василий Игнатьевич... что вы, бабы?! Автобус обратно до крыльца отвезёт, что вы?! Дядя Серёжа, дядя Вася, вы же с мамой в одном классе учились!

Мария Васильевна не без тайного изумления смотрела на двух бывших маминых одноклассников: неужели им смерть матери «до лампочки»? Мигом возымела вид раздраженный, её повело, как бересту на огне, крепко сжала без того тонкие губы, стала заглядывать в глаза тех, с кем рядом росла, заглядывала с глубоким, хотя уже безнадежным пониманием всёпожирающего времени, и голос изменял ей.

– Мы вместе... а помните, как на сенокосе, как сено под деревней ставили?... Поедем, прошу вас!

Никто из деревенских в автобус не прошёл.

– Да мы не в параде... вас самих орда такая... Мария Васильевна, мы – холодная кровь, дальняя родня...– слышались отказы.

В водоразборной колонке присели на широкой лавке Сергей Иванович да Василий Игнатьевич. Возвращаясь с кладбища, привернули в магазин, купили по малушке водки и по три пряника на закуску.

Жизнь прожили мужики рядом, но жили как-то обособленно, неприветливо, будто шли худо кормленные – в какой день с топором за поясом, в какой с вилами на плече и кроме работы ничего не видели. Последние лет

тридцать один у другого за порогом не бывал. В зрелые годы ни того, ни другого не занимали сильно одни и те же подневольные мысли: как дальше жить колхозом, тянули день к вечеру, о колхозных проблемах пусть думают другие, кто на больших ставках. Василия Игнатьевича зовут Прямотёсанный – когда он смотрит на собеседника из-под совершенно надвинутых бровей, кажется, что злее его нет на земле человека. Потом имеет привычку не договаривать своей речи и махать рукой, дескать, остальное собаки за меня долают. Сергей Иванович лицом смуглый, отмечен рябинами, нрава кроткого, из-за малого роста в армии не был.

В раскрытую дверь колонки щедро лилось солнце. Тощая, напуганная, приседающая кошка белой масти с печальным укоризненным мяуканьем и раз показалась перед колонкой, и два – готовая прыгнуть и бежать прочь от всякого окрика, топота, – напрасно надеялась, что, наконец, увидит свою хозяйку. Сидели и молчали; в сознании обоих изменился сегодня мир не в лучшую сторону. Время как кувыркнулось в их умах. Даже то, что они зашли в колонку, зашли, чувствуя надобность поделиться пережитым, стало для каждого чем-то неожиданным. Василий Игнатьевич, прищутив свои бледно-голубые глаза, долго вглядываясь вдоль деревни, закурил, пустил ноздрями долгую струю дыма, придвинулся ближе к Сергею Ивановичу и спросил:

– Чего бы ты, Серёга, пожелал, случись тебе этой весной преставиться?

– А чего мне умирать? Не-е, не умру. Мама сказывала, ко мне в зыбку цыганка заглянула и говорит: «Ить, какой он воронёнок ладненькой». Вороны триста лет живут, – иронически заметил Сергей Иванович.

– Триста – лишнее. А мне охота поле под деревней вспахать. Весь просевший лес выкорчевать, самому рожью засеять и самому на комбайне сжать.

– Да-а, сеять надо. Надо, чтоб не вымерло жадное к плоти своей человечье семя. Вспахать, посеять, сжать,

солоду наводить, пива наварить – много просыплет бог из ладоней своих благоуханных дней, пока пивко в горлышко угодит. Пивка бы домашнего, да с вересинкой, как дядька мой Сергей варил... я бы не против, – весело рассмеялся Сергей Иванович.

– Верно! Верно, Серёга!

– Да-а, отсадили сегодня Валентиныча от титьки. Ослаб в коленках против заморских университетов. Ну и накрутил этот, как его...

– Врём все, – махнул рукой, выпустил ноздрями струю дыма. – И Валентиныч врёт, как сивый мерин. Наговорим всякой чепухи, крышку на гроб надвинем, и думой такой на тот свет сопровождаем: «Лежи себе, Олька, нашими речами тебя скорее в рай занесут». Эх, Олька ты Олька! Любила, царство ей небесное, когда её шупали.

Сергей Иванович удивлённо фыркнул.

– Доводилось шупать? – спросил, щурясь от яркого света.

– Грешен. Бывало в старом клубе... Визжала заразительно. Юбку носила шелковую, какой-то бедой душилась, сладко ноздри щекотало... Не отталкивала. Вот как человека свет да тьма переворачивают! Днём – важная, молчаливая, последней осенью перед свадьбой голову кутала оренбургским пуховым платком – монашка, а ночью – ведьма. Помнишь, две лампы керосиновые, одна в бухгалтерии стояла, другая у председателя?.. Лампы задуем, девок за печью ловим. Что, Серёга, теперь душой кривить?

– Тебя девки любили. Пока... Не обижайся, во хмелю ты диковат, уж если прямо сказать, – несмело произнёс Сергей Иванович.

– Ты это... – голос у Василия Игнатьевича стал острым, и ощущался, как сбиваемый гвоздь.

Было дело. Возвращается Василий из армии, встречается в райцентре земляка и одноклассника Серёгу, то да сё, решили дембель «спрыснуть». Куда идти? В бору тихо и пусто, прели неубранные кучи сучьев и опавшей листвы,

а ниже, к реке, лежит опалая гладь унылого наволока. Вода в реке блестит стеклянным студнем, ветерок бесится псиным воем. Обнял Василий руками одну сосну, другую, под вершины глянул. Вздыхает. Досада берёт. Из армии идёт, на груди значки, на погонах нашивки. Душа музыки желает, песен, девчат. Серёга предложил зайти в магазин к Аннушке Настасьиной. Своя, притом бывшая одноклассница.

– В тепле посидим, столом да скатертью,– говорит Серёга, и облизывается от предвкушаемого удовольствия.

Неласково встретила незваных гостей Аннушка, провела в закуток, где они с подругой чаёвничают. Хоть бы корку хлеба дала, хоть бы луковицу занюхать.

Выпили по «соточке», Василий ходит по закутку как голодный тигр, не могу, говорит, пить водку без закуски, долотом в горле стоит, хоть бы занюхать, хоть бы...

– А ты у Аннушки оближи руку,– предлагает Серёга.

– Чего это я у неё руки лизать буду? – подозрительно спросил Василий.

– Она голой рукой рыбу на весы кладёт, прокопtilась рука-то.

– Я – тебя! – с явным превосходством в силе и положении повёл плечами демобилизованный старший сержант.

Катился между сосен по бору колобок Серёга, удирал от обиженного бывшего одноклассника. Василий гнался за ним с початой бутылкой водки и кричал, что гадом будет, если Серёгу не удавит!

Хрустит пряником Василий Игнатъевич.

Сергей Иванович говорит:

– Ты вон, ростом под матицу, а меня, недомерка, мать в клуб не пускала, вырасти сперва, говорила, девок на твой век хватит. Перед нами за партой сидела Олька с Аннушкой Настасьиной. Коса черная по пояс, а вшей в той косе... да у кого их не было? Я начну подтыкать сзади да шептать: «Вошка бежит, дави!», она развернется да как хлопбыснет мне в лоб... у неё под закрученной косой прядка блестящих волосиков шла по шее. Потом я узнал,

это и есть у девок здоровье напирющее. А хорошая девка наша Олька была!

Сергей Иванович налил из своей малушки «соточку».

Василий Игнатьевич распечатал свою бутылочку, налил стаканчик.

– И честная! – веско добавил Василий Игнатьевич.

Глаза Василия Игнатьевича сверкнули удалой весёлостью, но голова потупилась к долу. Затянулся табачным дымом, как заробел часом.

– Эх, как раньше черёмухи вкусно пахли! Воздух густой на вечеру, луна-цыганка бродячая шастает, пугает... Назавтра встретишь её, ожидаешь увидеть пристыженной, раскаивающейся грешницей, – кому-то махнул рукой. – Упрекал, бывало, что скрывать. Нравилась мне. А тут Васька из армии пришёл, с Северного флота, ну и... На флотских девки падкие. Давай заодно и Ваську, – провёл рукой по лицу, подумал и потрянул головой. – Не тем концом помянут будет... Самолюбив был. Не замечал я в нём ни доброты, ни честности. Всё стороной да боком. Всех норовил на коротком поводке держать. Помнишь, как выбежит, бывало, на собрании к самому президиуму, и давай поливать грязью. На районных начальников рычать любил: «Ты!..» – слюна брызжет, скачет, зубы скалит, ровно волк в капкане...

– В большой нужде Васька вырос. Поучился мало. Женился да сразу в стройку, в лес... Всё правду искал. Да разве есть она общая правда? У меня своя правда, у тебя своя, ему же подавай всё начальство на плаху. «Огнемёт бы мне!.. Я бы вас всех!..» Душой-то понимал, а выразиться не мог, – поправил Сергей Иванович. – Это ты верно заметил: расчетлив был. Нельзя так жить, царство тебе небесное, Васька. Копить в себе сплетни и слухи, да вылить ушатом... Сложимся, бывало, по рублику, хрен он на свои выпьет, от своей водки, говорил, изжога. Жаль Ваську, через дурь свою в доски ушёл.

– Я тогда его в морг возил... не хватило мозгов: поставил трелёвочник на гнилые чурки. Олька ему рот по-

лотенцем отирает, пена красная идёт, идёт... Как думаешь, Серёга, средняя девка Васькина или нет? – спросил и уставил на Сергея Ивановича страшные глазюки. Подумал и сам себе ответил: – Я думаю – нет. Вот с какого бодуна районный князёк помощника пригнал? А боится! Размажет его Машка на следующих выборах. В газетах манну небесную обещала, когда в депутаты районного собрания пёрла. Мы на обещания падкие... Нос у Машки, что пушка моей самоходной артиллерийской установки! Сенокосы вспомнила... Отец из огнемёта коммунистов жечь грозился, а дочь к денежному корыту льнёт, – не его!

– Давай-ко, допьем остатки и по домам. На улице припекает, а своя печь всё равно роднее.

– Ты скажи, Серёга, как мне родственником приходишься – по отцу или по матери? Если по Ефимье – холодная кровь, а как по Михайлу Кузьмовичу – из одной квашни.

– Никак уж пива наварил? – засмеялся Сергей Иванович, чувствуя себя освеженным и обновленным, словно выкупался в холодной родниковой воде.

– Какое пиво! Лагуны в подвале изгнили, котел проржавел, вьюшки издрябли... И чего мы с Олькой по-человечески не простились? Дойти бы, сказать бы, а тут... – произнес Василий Игнатьевич напряженным, тугим и неломким голосом.

Сказал, и кинул недоеденный пряник трусливо проползающей кошке, поняв с режущим холодом, что далеко, очень далеко осталось детство, да и не было вовсе его, детства, была незримая, безразличная ко всему пуповина, что связывала его с прошлым, теперь испарившаяся со смертью Ольги.

– Ну-у, чего теперь казнить себя. Земля ей пухом. Пойдём, Васюха, по домам.

Прислонился лбом к дверному косяку Василий Игнатьевич. По вздрагиваниям спины Сергей Иванович видел, что он плачет.

Ледолом

Весна с каждым днем все громче заявляла о себе. Дом для бывшей учительницы Анны Павловны перестал казаться пустым и гулким; едва в стекла рам начинал проситься день, она выходила на улицу, из-под руки зачарованно смотрела на реку, – только бы не прозевать ледолом! – умом сжималась до размеров воробья и вместе с чирикающей стайкой перелетала с черемухи на черемуху. Весной большим походом идут новости на старые деревни, с каждым годом все больше и больше нагромождают льдины всякой новизны и, чтобы не соврать и не стрелкнуть разломом вглухую (к старому мы очень прилипчивы), глаза Анны Павловны последние годы увлажнялись слезками благодарности за какие-то особые в её понимании заслуги перед Родиной. Нет на её груди орденов и медалей, а если разобраться по большому счету!.. Неуклонно, часами, она так и сяк ворошила свою память; было жарко в груди от подступающей радости видеть меняющийся мир, посещала горечь уходящего невозвратно времени; устраивающиеся на берегах крикливые грачи не казались ей назойливыми; чьи-то похороны – естество жизни; в зеркало все чаще смотрела на неё стареющая старуха, и тоска, до слез сосущая сердце, все чаще посещала её.

Далеко, где могучие силы неба сходятся с землею, где звенят родники, где кукует ее сторож-печаль, там каждую весну рождается её тревога и вожделение: ледолом! Он явится званный ею, обязательно явится и станет ломать, грудиться, вырывать с корнем деревья – так было все вёсны, так будет и на этот раз. Утонут в воде прибрежные кусты, солнце будет лить щедрые потоки света, на лицах людей морщины утомления уступят место наслаждению, таинственное воодушевление, скрытое в живых существах, как оробеет от нежности к природной стихии. Прибрел отощавший рыжий кот, гнусавил, весь прижавшись к земле, до тех пор, пока Анна Павловна не

погладила его. Сразу весь вытянулся и приподнялся на лапах, лизнул руку.

– Ну, рыжий пустодомец, как тебя звать-величать прикажешь? – спросила Анна Павловна. Знать, нечто горячее и тяжелое подкатилось в такую минуту под сердчишко бедного кота. Упал он на землю и стал валяться на ней, громко стонать и как бы плакать. – Ну и артист... будто урок не выучил, подлец ты эдакий. Сегодня Лазарева суббота, пускай ты будешь Лазарь.

Жила Анна Павловна в полупустой деревеньке. До магазина на центральной усадьбе совхоза семь километров. Дорога есть, и дорога бы торная, да чуть не узлом та дорога реку вяжет, а напрямую, по глухой зарастающей мхом и травой тропе, рукой подать. Трудно зимой, всяко бывает; случись беда – ложись да помирай, телефона нет, медички и подавно, дорогу забуторило, трактор разве какой пробьется. Худо зимой. Слава Богу, опять скоро лето, в любую сторону пути не мерянные. Любит Анна Павловна летние тропки-дорожки. Выйдет к маленькому озерку, поклонится кувшинкам, берегам, кочкам, облакам проплывающим. Это ее детство. Жаль мельчает озеро, стареет как будто. И поляна рядом стала чужой, везде битая посуда, пакеты, черные головни. А раньше, после войны, сколько веселого смеха было тут...

Молоденькая учительница едва не родила в школе: замены нет, из района просят – доучи, ради Христа, доучи, уж каких-то полтора месяца осталось. Не доучила. Вспомнили в роно про Анну Павловну, навестили старую учительницу, грамоту от главы района привезли.

– Да что вы, господи, – отказывается Анна Павловна, – я уж все перезабыла.

Заведующий роно, Михаил Иванович Коновалов, толстяк, что вдоль, что поперек, одно поёт:

– Вы да забыли? Никогда не поверю! Надо, Анна Павловна. Надо. Вот куда я дену сейчас пятнадцать душ? Вozить – а если завтра не пройдет машина? Так оставить – мне же земляки кишки выпустят. Попрекнут ставкой,

скажут, родину забыл. Живите в комнате учительницы, тепло, медпункт рядом, магазин рядом, чуть что – я подскочу.

Уговорил. Полчаса ушло на сборы. Взяла Анна Павловна кота Лазаря и села в машину.

Утром Анна Павловна заходит в класс, все ребяташки вскочили, а на первой парте вихрастый парнишка и не пошевелился. Смотрит под потолок в угол и в носу чего-то ищет. Дремучесть, затаенность в его позе и неопределенной хитрой улыбке, в раскрытых карих глазах. «Петька! Петька Коновалов...» – Анна Павловна будто на минуту проваливается в свое детство.

– Коновалов, – слабым голосом позвала Анна Павловна свое детство.

Парнишка вынул палец из ноздри, встал, поддернул брючки, скучный, равнодушный, упорно смотрящий в угол.

– При входе учительницы надо вставать, Коновалов. Как тебя зовут?

Парнишка посмотрел на Анну Павловну лениво-дерзкими глазами, вроде, смутился и откашлялся в кулачок – Анна Павловна не поверила в смущение, не такой был дед этого парнишки, сказал:

– Ну, это... Кондратий хватил, я и забыл. Вышибло, одним словом.

Класс смеётся, потешается.

– А чего вышибло? – спросила Анна Павловна.

– Затычку из лагуна.

– Такое бывает, правда, редко, – Анна Павловна принимает игру, нарочно пугается, – придется всей школой искать. Хоть помнишь, около какого места выронил? Так как тебя зовут?

– Смычок, – раздался откуда-то из глубины класса тоненький голосок.

Петька, не меняя позы, из-за спины погрозил кому-то кулаком.

– И в какой класс ходит наш... Коновалов?

– Ну, это... шток с усвоением и с закреплением. Как бабка говорит: «Ум не постоянен, а человек окаянен».

Ответ парнишки действует на Анну Павловну так, что она перестает о чем-либо думать. Она поднимает голову, смотрит на окна, будто считает их; поправляет седые волосы и садится за стол.

Петька Коновалов... маленький, вертоголовый, шейка кадыкастая, проныра и шкодник, ходил в школу десять лет, осилил три класса, не написал ни одной контрольной. Старики говорили: «С родительского уставу сошел, что в лоб, что по лбу». Однажды насобирав вороньих яиц, под Анну Павловну, тогда еще под Нюшку, наложил, Нюшка села да и раздавила. В житье одно платишко было, и то проклятый «Смычонок» заляпал. Скверно учился, время тянул «с усвоением и с закреплением» материала. Учителя очень редко интересовались его знаниями, пришел в школу – ладно, не пришел – завтра придёт. В войну вшей было много, вши злые, голодные.

Фельдшерница тетя Глаша не раз приходила в избу к Коноваловым. В принудительном порядке (стращала прокурором) заставляла мать стричь ребятам головы, затем в жарко натопленную печь толкали одежды столько, сколько влезало, и закрывали заслонку. Петька голый сидел на печи, закладывал ногу за голову и дразнил кошку. Станет ногу из-за головы вынимать, она не вынимается, тогда мать зовет. Мать вернет его в нормальное положение и шлепков надаёт. Не любил Петька фельдшерницу. Раз сделал лук и стрел наделал, видит, идёт толстая тетя Глаша. Он выскочил из-за угла, лук наставил и орет: «Сдавайся, Русь!» И стрелу ей, гвоздиком жаленную, в пузу выпустил. Тетя Глаша едва чувств не лишилась. Стрела гвоздиком пробил кожу и застряла, падать не падает. Мать таскали в милицию, вернулась обреченная, чисто всего Петьку исхлестала вожжами. Тетя Глаша прививку делала от какой-то болезни, так Петька продемонстрировал ей, как надо ртом мух хватать. Костя Серегин подбил сходить к ним в среднюю школу, скелет человеческий ему

покажет. Костя скелету палец в рот сунет и гогочет, а Петька бумажку скелету на череп приклеил с надписью «колхозник». На другой день до Кости дошло у директора в кабинете, какую ему «свинью» подложил Смычонок.

Маленький, щуплый, в любую дырку пролезет. У кого яиц украдет, у кого пирог стащит, так и жил-поднимался. Сосед Иван Антонович с фронта без ноги вернулся, живот осколками посечен, на одном молоке тянул, а сено кончилось. Делать нечего, отдал жену бобылю за сено в другую деревню. Петьку курить научил. Смолят махру в избе, накурится Петька до блевотины, уползет домой, а дома мать с визгом на кураку малолетнего кидается, убить обещает при первой возможности.

Пришло лето; сосед Иван Антонович Петьку с собой взял, пойдем, сказал, бабу мою законную от «басурманина поганого» вызволять. Перед божницей с иконами Иван Антонович постоял, вроде, перекреститься захотел, да руку на подъеме опустил, вздохнул тяжело, и рукой Петьку под себя прижимает: пошли. Жена-то идти домой не хочет, прижилась у бобыля-откупщика. Характером бобыль – мерин покладистый, чем больше на него валят воз, тем крепче упирается ногами в землю. С виду старый, плешивый, а ребенка приделал. Иван Антонович топорик из-за пояса выдернул, грозит: мне, говорит, Гитлер-гад всё здоровье оттяпал, а потому бабу беру трофеем, и не смей мне перечить! Петька тогда под командой фронтовика на четверть сразу вырос, мужчиной себя почувствовал, жену соседа откормленной кобылой обозвал.

Отвоевали бабу. Ничего, слезу пустила, пошла домой. Оглядывается на дом бобыля, а Иван Антонович топориком помахивает. Её, беременную, наперед пустил, сами с Петькой тыл прикрывают, чтоб сбежать мысли не поимела.

Вытолкали Петьку из школы. И случись ему в армию идти. Вместе с Костей Серегиным. Косте Петька по плечо будет, ему на одну ногу обеих Петькиных портянок мало. Костя к тому времени почти пять лет трактористом

в МТС отработал, а Петька молоко с фермы после своей «десятилетки» возил. Сидит на лошадке, сигарка будто шишка еловая, лошадка-орд с оплывшими ногами, на колбасу не примут. Бабы-дойрки со смехом поставят четыре фляги на телегу, он и потащился в «рейс». Пиджачишко – трунь, штанишки – лепень портяная, зато буденовка деда, не буденовка – завидость! В шишак на буденовке проволока воткнута, чтоб «радиво» чуть.

«Криво ходишь – косо сядешь» – а как встал, как буденовку поправил, как кнутом, что саблей, врезал!.. Костя на гулянку в костюме-шерстянке идет, тальянка через плечо, Петька из кустов девок глазами пасёт. Кому он нужен, недомерок, девки прыскают над таким кавалером. Иван Антонович велит держать хвост пистолетом:

– Да ну их всех под Бухварес!.. Миром правит не закон клыка и когтя, миром правит соображение. Запомни: здоровяков всегда бьют, а недомерков на семена оставляют. Вот бежит, допустим, на меня такой как Костя, и ты сбоку трусишь, я кого из винтареза хлестну? Костю. Опасность от него. А ты – тебя я голыми руками удавлю. Ты жить страсть хочешь, стало быть, или под кустик закатаешься, или мне в руки не дашься.

Вечер отправки в армию Костя справлял на широкую ногу. Со всей волости молодежь собралась, про Петьку все как-то и забыли. Петьку мать приодела, кое-что из одежды убитого в сорок первом мужа Ивана поперешила – соврал ей Петька, что Костя зовет отpravку в армию делать у него, – стыдно Петьке перед матерью за хилость свою, за бедность свою. Мать молчит, умом видит Петьку притулившегося за столом ближе к выходу, – Петька за двери, она во весь голос реветь пустилась. Все она понимает, понимает да ничего изменить не может. Ещё пятеро ртов кроме Петьки на ней: три дочери, свекровь, да нагулянный в войну сынок, который связал по рукам, по ногам. Худо бабка парнишку обиходит, одна позывь у нее: «сколотень жукоской»; грязный, неумытый, в «собственном соку» бегаёт голышом по деревне. Раз Иван Антонович

и дал шороху. В сумерках возле покосившегося крыльца визг, ругань, от удара костылем падает ничком бабка. Лежит, скулит, пальцами скребет землю.

– Худая колода! – стоит над лежащей Иван Антонович. – «Сколотень жукоской», – передразнивает бабку. – Еще только парня пообижай. А ты, – темнее грозной тучи прыгает на одной ноге к вжавшейся в стену избы матери Петьки, – глаза в землю не прячь, нет за тобой позора! Ты природой соткана детей рожать, не скотиной роботной быть. Придет время, гордиться будешь парнем, попомни меня.

С той поры все будто переродились: Миша наш, да Миша наш. Мише и конфетка-подушечка прилетит, и пирожка ломток сунут как бы походя... Мать, где больше народу, там про Мишку и говорит, и знай младшенького расхваливает. И Петька с сестрицами стали заботиться о парнишке.

Идет Петька в полной темноте, идет к Косте Серегину, хотя знает-перезнает, что даже порог дома Серегиных он не переступит. Не из гордости, из-за семейной бедности и тщедушного виду. Ему казалось, что изо всех окон на него смотрят, все знают, куда он идет, и смеются над ним. Вышла навстречу белая собака – должно быть, прибежала из другой деревни за кем-то из Костиных гостей, встала на дороге. И стоит, дорогу уступать не хочет. Петька осторожно нагнулся, поднял с земли камень. «Ну, это... подходи!» – задыхаясь от мстительной отваги, сказал собаке Петька. Собака подошла – он не опустил ей камень на голову, не укусила, обнюхала отцовские, на добрых четыре размера больше Петькиных ног сапоги и отошла.

Петьке стало и легко, и в то же время стыдно. Легко оттого, что не всем дозволено на этом свете потешаться над ним, стыдно – трусишка он, хотя зачем невинную собаку камнем бить?.. Он не пошел к дому Кости, вышел за деревню, сел под зарод сена и как окаменел. Сидел, вслушиваясь в тишину и вглядываясь в темноту.

Он увидел пронзительную красоту мира, увидел, хотя ночь окутала землю темной шалью; должно быть, первая звездочка, сорвавшаяся с неба, угодила в прорешку облаков и прочерком своим как зацепила встревоженную струну в душе Петьки; услышал само дыхание земли, – должно быть, молчание ночи родило звук, очень похожий на далекое слово; он кусал нижнюю губу и рукавом вытер сухие глаза – хотелось заплакать, а слез не было. Пахло сеном, пахло пылью, пахло деревней. Этот зарод метал бригадир Жуков. Не мужик, бык.

От его большой ленивой фигуры, красной шеи, какого-то неповоротливого жесткого лица, постоянно веет чугуновой силой. Говорят, в войну он был в плену у немецкого бауэра, потом пятилетку долбил уголь в Донбассе – наш плен, но ни плен, ни каторжная работа не убавили в нем здоровья. Петька очень завидовал Жукову: вот бы ему такое бычачье здоровье! Брат у бригадира есть, такой же бык, на войну не брали, как сухорукого, зато детишек этот сухорукий настрогал полволости. Под зародом сидел совсем не прежний Петька, как бы постигая таинственный смысл жизни и прощаясь с прошлым, сидел в томительно-радостном ожидании ошалевший от непонятного волнения уже повзрослевший человек. Долго играли гармошки на деревне, девки пели озорные частушки.

Мимо шли двое, шли и тихо разговаривали. Петька из тысяч голосов признал бы голос Кости Серегина. Второй был... рябая Нюшка! Месяц назад Нюшка приехала из педучилища, говорили на деревне, учительствовать будет дома.

– Вы не будете против, любезная Анна Павловна, если мы присядем? Устал я в последние дни. Пока трактор сдавал, отец еще хлев велел на другое место перетащить... Оставил отец ногу под городом Орлом. Солдат – он и есть солдат, сегодня жив, завтра бои и... до свидания, города и хаты.

Парочка остановилась против зарода. Петька видел силуэт Кости, видел Нюшку, прижавшуюся к Косте. Он весь вжался в сено, боясь быть замеченным.

Костя расстелил под зародом пиджак, оба сели. Костя стал рассказывать, как еще в седьмом классе «положил глаз» на Нюшку, повинулся, что именно он положил комок смолы под Нюшку, – поревела столько Нюшка над испоганенным темно-синим платьем, выменанным матерью у эвакуированных из Ленинграда на два пуда муки.

– Кавалеры, – смеется Нюшка. – Один яйцами потчует, другой смолой пятнает. А кто мне крысу дохлую в вале-нок сунул?

Послышалась возня, и Нюшкин низкий, страшный звук:

– У-у!.. У-уу!

– Какая вы недотрога... Я думал, в городе любят по-другому.

Петька слышал, как Костя сплюнул в его сторону.

– Уйду вот, убьют, плакальщиков на чужой стороне ноль целых хрен десятых, – упавшим голосом говорит Костя. – Буду гнить в какой-то канаве, а ты замуж упорхнешь, детки, муж – Петька Смычонок (Смычонками звали всю фамилию Коноваловых). А тут бы вы ждали, разлюбезная Анна Павловна...

Опять возня, пыхтение. Петьку трясло. Он оттягивал рукой ворот рубашки – туго мать сшила! – и вдруг закричал, вскочил, не соображая, набросился на Костю и стал стаскивать его с барахтающейся внизу Нюшки. Костя стал сопротивляться, откинул его как котенка, но этого было достаточно, чтобы Нюшка выскочила из-под зарода.

...Анна Павловна помнит, как прижав локти к бокам, давясь рыданиями, бежала домой. Ей было стыдно. Лицо горело. Она боялась, что наткнется на прогуливающуюся парочку, боялась что ее услышат... Одна туфелька свалилась где-то, вторую – взвизгнув на предельно высокой ноте, сама кинула в овраг. Из полевого густого мрака сорвалась сова, со слабым шорохом беззвучным темным пятном перелетела над головой и сгинула. Анна Павловна стукнула зубами и помертвела, упала на землю, боясь пошевелиться, всматривалась в размытую синь горизонта.

Потом она шла, вся дрожа как собака, где-то сбоку что-то шуршало и попискивало, мощно дышало из глубины. Она останавливалась, затаив дух, ждала того, кто набросился на Костю. Ей казалось, что нападавший не был человеком, это был черт или дьявол. Сопrotивляясь, она хорошо слышала задушенный топотообразный крик: «О-о!..»

Петьку и Костю привезли в Германию. Бравый полковник принимает пополнение:

– Десятилетка! Три шага вперед, марш!

Замыкающий строй Петька Коновалов и шагнул. Костя Серегин правофланговым стоял, не заметил расторопного земляка.

– Та-ак,– полковник дошел до Петьки.– Десять лет учился?

– Так точно! – во всю силу рявкнул Петька.

– Орел,– полковник положил руку на Петькино худенькое плечо.– Хороший голос, командирский! По какой части кумекаешь?

– По железной, по стеклянной, по хлебной и по деревянной!

Мало того, что вернулся Петька из сержантской школы младшим сержантом, он еще выучился на шофера. Костя Серегин встречает:

– Кому ты мозги пудришь, Смычонок? Десять классов, ага?

– А ну!..

Один наряд вне очереди, другой наряд вне очереди, день – занятия, ночь – работа, ветром шатает Костю Серегина, спит походя. Весь взвод наблюдает за «дружкой» земляков, некоторые выразительно покашливают, другие Костю «воспитывают»: ты такая машина, а какой-то сморчок издевается...

– Говорю как член партии коммунистов несознательному мэтэсовцу: не поднимай хвост,– пригрозил Петька, нацеля палец в лоб земляка.

От такого наглого заявления Костя свирепеет: уже в партию пролез?! – и рвет на груди Петьки гимнастерку.

Как из-под земли перед ними вырастает лейтенант. Костя сомлел, отпустился от Петьки, а Петька использует офицерскую защиту, одергивает гимнастерку, командует своему подчиненному:

- Повторить: есть наряд вне очереди!
- Есть наряд вне очереди! – чеканит Костя.

Петька принадлежал к той категории людей, которые имеют склад восприятия и ума до того необычный, что зачастую не постигают смысла фразы, сказанные ими, могут отвечать на задаваемые вопросы, а могут и не отвечать – все зависит от особенного настроения. Ни тогда, ни потом Петька Коновалов не находил ничего заманчивого быть членом партии.

В воскресенье Петька Коновалов в увольнении. Бродит совсем один по яблочному саду, скучает по дому. Маленькая сторожка, от нее асфальтовая дорожка выходит на проезжую улицу. Начинается дождь. С шумом бежит вода по водосточной трубе, блестит асфальт, от стены видно, как с колес проезжающих машин бегут пенистые змейки. Петька стоит у стены сторожки, умытый асфальт улыбается ему. Осенний сад голый, земля черная. Аккуратный народ немцы, все листья убраны, стволы яблонь побелены и обвязаны рогожей.

Вчера он написал матери письмо, сообщил, что назначен командиром отделения, а Костя у него в подчинении, Мише нашему, братишке неродному, послал привет из далекой Германии.

Знал, что мать не поверит ему, часто её обманывал раньше, потому фотографию приложил по всей форме. Из-за туч вышло солнце, прорвалось через ветви и запустило дрожащие пальцы в пруд, похожий на огромный таз. Вырванные из дремучих русских глубин парни не перестают удивляться аккуратности немцев, порядку во всем, даже в самой мелочи. Стал бы кто-то «у нас» выкладывать кирпичные стенки, рисовать на стенках зверушек, выкопали бы яму, а обвалится она завтра или год простоит – другой вопрос. Петька бредет по саду, какое-то ощущение тоски

родилось в нем. Вроде жалеть-то нечего, голод, вши, на-смешки дома остались, а душа хочет услышать печальные русские песни, в которых поётся про разлуку, смерть, несбывшуюся любовь: «Теперь все пойдет по-другому. Вернусь – машину дадут, насажу девок полный кузов, выедем под вечер...». К упавшим в воду золотистым лучам подплыли рыбы, не шевелясь стоят, будто греются или спят. Петька набрал камешков, пооглядывался, и давай в немецких рыб швырять камешками. Он не заметил, как подошла молоденькая немка. Встала против Петьки, рослая, сильная, с интересом смотрит на Петьку.

Впервые Петька видит так близко девичьи глаза. Волосы аккуратно заправлены под шаль, на руках белые перчатки. Какие у нее большие глаза! Они стоят неподвижно, тихонько скрипит где-то рядом, должно быть, сухая ветка. Что может сказать Петька? Почему-то он задыхается от волнения, непривычно стучит сердце. Пытается улыбнуться немке, показывает ей руки – нет больше камешков, поворачивается и уходит. Через какое-то время будто кто-то толкает его в спину; оборачивается, – немка стоит на том месте, где оставил, и смотрит ему вслед. Он поднял руку, махнул и заторопился, еле удерживаясь не сорваться на бег. Вскоре ему приснился сон, яркий, необычный и стыдливый; якобы выкупавшаяся немка стоит на берегу. Растирает тело полотенцем, а он, сморенный и худой, любит ее. Сразу проснулся, вскинулся на кровати и сел, и подступила дикая мысль, что отныне он жить-быть не может без немки. Но тут же все и пропало, заслоненное неистребимым доводом: она – враг! Упал лицом на подушку и сладко вздохнул от подступившей непонятности.

Летом, когда ночи стали золотеть, его, чуткого и расторопного, командировали возить седовласого капитана-особиста. И надо же случиться такому, что первый рейс едва не стал для него не только последним, но и роковым. На автобусной остановке из толпы народа выкатилась девочка на велосипеде и угодила под машину. Выскочили оба с капитаном из кабины, девочку достали, измятый

велосипедик тоже. Оказалось потом, что у пострадавшей сломана ключица, и она сестра той самой немке, которую однажды повстречал в осеннем саду.

Он сидел на ступеньке больницы, сжавшись в комок, смотрел на сине-зеленую гладь озера. День был ненастный, с ветром, озеро вскипало белыми завитушками гребешков. За спиной была больница, чистая, аккуратная немецкая больница; на третьем этаже, слева третье окно, на кровати лежала та, к которой пришел русский солдат Петька Коновалов. Прошлый раз при виде его девочка начала опираться здоровой рукой о кровать, тревожно оглядываться, будто собиралась бежать, но валилась на кровать под строгим взглядом врача. А Петька тогда зашелся судорожным кашлем. Не хватило сердца – не приучен, что ли?.. Капитан дал Петьке шоколадку, наказал, чтоб подарил ее девочке, а он с глубокой мукой сунул шоколадку в руки врача. Как скробны были в ту минуту его губы, как дрожал кадык! Вчера было письмо из дому: Иван Антонович застрелился. Мать писала, что у Ивана Антоновича посинела здоровая нога, врач настаивал на «апутации», а Иван Антонович взял ружье, вышел из дому и «лег на землю умиротворяючи, лицом на заход солнца, да и стрельнул в себя». Могилку мы с бабами копали, ревим да копам, ревим да копам. А промерзло сейгод в два аршина, и, как на грех, народ мрёт. Скупое сынок, живём, клеверные лепешки едим, а на днях семья Силинского Олешки вся померла. Облил ветеринар померших коров гадостью, а Олешка тушу выкопал и семью тем мясом покормил...»

Петька зажмуривается, выжидает время; он набирает полную грудь воздуха, как набирал, бывало, Иван Антонович, напрягается и выводит:

*Скакал казак через долину-у,
Через маньчжурские края...*

Жалко Петьке Ивана Антоновича. Жалко семью Алексея Силинского. Девять душ! Вот, кажется, разорвется

сердце, упадет он мертвым... «Во! – оборачивается и ищет глазами третье окно слева на третьем этаже, а пальцы уже сделали «фигу».– Вы нас так!.. А вас, видите ли, не тронь?!» Не воскреснет Иван Антонович, не воскреснет отец, тысячи и миллионы не воскреснут. Злоба на немцев переполняла его. Он ругался и придумывал оправдание, почему не пойдет к немецкой девочке в больницу.

Рослая немка, что однажды встретилась в саду, присела рядом на скамеечку. Петька уперся ладонями в колени, исподлобья посмотрел на девушку. Мысль о том, что он виновен, что надо как-то заглаживать свою вину и мысль, что вся немчура виновата в смерти Ивана Антоновича, наполняла его трезвым холодом: как вы нас, так и мы вас! Немка достала из кармана фотокарточку, протянула ее Петьке. В глазах Петьки зажглось острое любопытство. Крупный, с небольшим лицом немецкий солдат снялся в трогательный, должно быть, момент расставания. Почти взрослая девочка – Петька покосился на немку и признал в ней стоящую, и вторая девочка, совсем ребенок, крепко вцепилась в шею и, наверное, шептала самые сокровенные слова. Лицо Петьки почти касается лица немки.

– Сталинград,– говорит немка, тычет пальцем в солдата и кладет голову на протянутые руки, как бы засыпает.

Петька догадывается, что это ее отец и погиб он под Сталинградом. «Знает... У нас половина без вести пропала».

– А мать?.. Мутер, мутер где?

Девушка печально вздыхает.

На глаза Петьки навертываются слезы. Тих, благословен мир; походил русский колхозник в лохмотье, много поел травы, а его вши поели, и жил, как зверь, оторгнутый в норах, землянках; слезы, мольбы, проклятия – все вынес; победили заклятого врага, живи да радуйся, так почему грустно и даже обидно тебе, Петька? За колхоз свой, за народ свой? Обрати свой взор назад, чувствуешь, как бежишь по плечи в цветах, взлетают испуганные бабочки, солнце печет спину? Сзади с воплями бежит

сторож, догонит – оторвет голову. Что ты хорошее видел в жизни? Ты жил как сорная крапива, жил как зверушка, и умри сегодня, или умри завтра, кто кроме матери хватится? Земля пуста и черна; и свет существования ушел; и обещал, когда уезжал, никогда домой, в нищету, не возвращаться. Горько обещать... даже реке, даже туману, даже незнакомой белой собаке. И река своя, и туман нашенский, а собака – она тот же колхозник, только собачий. «Порядок у немца. Во всем порядок.

Стал бы ее отец на месте Ивана Антоновича стреляться? Нет. И врачи бы нашлись, и пенсию положили хорошую... По всем показателям немцы нас сильнее. У нас одни вороны на кладбище родные, а власти... обуза такие Иваны Антоновичи».

К девочке в больничной палате они ходили вместе. Как та вскинулась от радости навстречу сестре, что-то говорила и говорила, бросая на Петьку настороженные взгляды.

Отслужил Петька, немка с сестрой провожали, как родного. Попросили сфотографироваться вместе на память.

Глаза устают долго смотреть на звезды и возвращаются к земле; чего он забыл в нищем родном колхозе? Шумят в вагоне демобилизованные солдаты, Костя Серегин демонстративно толкнул задумавшегося Петьку в бок – ну, десятилетка, скоро дома будем, а дома!.. Петьке кажется, что оставил он в осеннем немецком саду свое сердце, в беспредельной пустоте движется кровь по своим артериям и утомляет всего; немка не понимает по-русски, он – по-немецки, а глаза ее бесхитростные, что искорки смотрят за ним издали, будто звездочки...

Проходит год. Жизнь не останавливается; жизнь властно входит в душу, вытесняет житейские мелочи; хорошая штука жизнь. Как раньше говаривал покойный Иван Антонович: «Едем прямо и пьем на весь трешник», – хорошая немка все реже стала являться в мечтах Петьки Коновалова. Ему дали старенькую машину. Не столько ездит, сколько в гараже стоит. Запчастей нет, а сунься

в МТС – старший механик Костя Серегин великодушно протягивает лапищу.

– О, какие люди... Дай обнять тебя, отец-командир...

Петька знает, как обнимает Костя Серегин, он медведю кости поломает, а если руку пожмет, будет рука мозжить две недели.

– Я со всей душой, а ты... Подвязывай лапти и рви копыта, колхозник!

Презирает Петьку Костя давно уже, – не может он не поиздеваться над Петькой. Около Кости всегда народ, слово за слово и выплеснется скрытая ненависть.

Нюшку все зовут Анной Павловной. У нее теперь на лице рябин поубавилось, прежде тончивенькой была, стала барыней. Ходит – не всплеснет. Удивляются на деревне: эдакий богатырь Костя Серегин к ней и так, и эдак подъезжает, а она любовь верстой меряет. Косте от ворот поворот. Холодна и деловита стала Анна Павловна.

– Петя, а где же дед твой, Петр Иванович? – спрашивает Анна Павловна парнишку.

Петька не торопится вскакивать, ерзает за партой, пыхтит.

– Ну, это... – тонкая шея парнишки вытягивается, уши краснеют. – Захотел на широкую ногу пожить, так пускай поживет.

– Как это?

Выражение лица Анны Павловны меняется, она пугается за того, щуплого и нагловатого Петьку Коновалова, захотевшего пожить «на широкую ногу». Вдруг да попал он в какую передрагу?.. Были аварии, едва однажды не утонул пьяный, да столько всего было-перебыло... а прожитых лет – на теперешний час – не было; ощущает в груди волнение, а во рту сухость.

– Петя... – просит Анна Павловна.

– С Маней опять знается. Худо дома, видите ли, – рассуждает по-взрослому Петька.

– Это... Это с какой Маней?

– С Кошкиной! – радостно кричит сзади Петьки тонюсенький голосок.

Анна Павловна горбится, идет к окну, водит пальцем по запотевшему стеклу. За окном небо светло – голубое, огромное, выпуклое; на поленницу дров садится чайка.

«Какое же оно непонятное, это счастье, – рассуждает Анна Павловна. – Столько лет прошло... живем, жизнь ругаем, все надеемся на будущее. Вот-де оно придет, придет и счастье принесет, а кругом суета... Пршла жизнь, прокатилась. – Анна Павловна как запнулась, передохнула, усмехнулась сама себе. – Если бы снова, если бы назад вернуться...»

Маня Кошкина работала в МТС под началом Кости Серегина. Ростуку малого, смуглое круглое лицо, а голос – в хор бы ее столичный! Как запоет, шекотно на душе становится. Костя намеренно не замечал ее, часто грубил, советовал работать в колхозе. Вспыхнет Маня румянцем, виновато опустит глаза и весь день молчит после такой «воспитательной работы». Костя вступил в партию, его голосина аукалась в мастерской. Раз у Петьки Коновалова «полетел» карданный вал. Притащился с ним в МТС, а Кости нет. Без Кости никто болта колхознику не даст, у Кости порядок. В армии пришлось работать в ремонтной мастерской у немца, научился кое-чему. Маня Кошкина на свой страх и риск отперла замок на Костиной «запаске» и отдала побывавший в работе карданный вал Петьке. Костя сделал Мане внушение: «Еще раз и... – демонстративно пнул ногой воздух. – Все поняла?»

С той поры Петька осмелел – не всем девкам он безразличен! Стал «прошвыриваться» на вечеринки, провожать Маню домой. Не умела Маня целоваться. Глаза закроет, губы деревянные; гладит ее пушистые волосы, ни с того, ни с чего станет Маня всхлипывать, и теплые капли слез прольются ему на шею. Была в Мане некая таинственность, скорее недосказанность; станет Петька говорить ей о Германии, она ладошкой ему рот прикроет, вздохнет так чувствительно, будто сошлись вместе прошлое и буду-

щее, – молчи, не вспугни звон в ее сердце. Кругом тишина, лишь сердце-маяк манит и зовет; будоражит исхоженная дорога, пьянит рожь за деревней; Господи! Ты дал холодный закат и весну с лиловым снегом, дождливую осень и дремотную зыбь летних туманов, ты даешь жизнь и отбираешь её, соединяешь две нитки в одну. Как знать, может, и сложилась бы у них семейная жизнь, да поползли басни по волости о похождениях Петьки Коновалова, удалого шофера. Другие шофера до железнодорожной станции двое суток ездят, он в неделю не укладывается. Будто бы в каждой деревне у него подружки, родился ребенок – Петькин, да и только. Перестала Маня петь, насупилась. Поверила Маня людям, не поверила Петьке. «Да тешусь я! Вот рулю я через деревню, молодухи у колодца на коромысла оперлись, я и кричу: «Дуня, ставь самовар, на ночь останусь!» Сама посуду, в каждой деревне девок по имени Дуня до выгребу». «И потешусь: больше не подходи ко мне, что есть в руках, тем и мазну»...

Шло время. Осенним хмурым вечером Анна Павловна сидела над тетрадками. Кто-то стал грабать снаружи рукой по окну ее комнатки – она уже полгода жила в школьной комнате, в страхе отодвинула занавеску – Костя Серегин просился в гости. Пустила. Костя каким-то хищным шагом прошел в помещение, сел на стул, стал жадно разглядывать ее лицо с пылающими щеками.

– Пришел вот, – сказал Костя. – Жениться надумал.

– Женись, – прошептала Анна Павловна и почувствовала, как леденеют руки и кружится голова: опять как тогда под зародом? Опять взять силой? Сладкий ужас и девичьи грезы, все перемешалось: вот кинется сейчас... «Зачем я пустила? Сейчас... сейчас...» И точно, Костя стал подниматься со стула, тогда Анна Павловна закричала помертвевшим диким голосом.

– Чего ты? – Костя опустил на стул.

– А ты не тронь! Тебе бы только... Я не такая, понял?

– Бог с тобой, – растерянно сказал Костя. – Разве я трогаю? Жениться, думаю, надо.

– Женись! Лапай девок, а меня не тронь! – кричала Анна Павловна, дрожа от ярости мстительного чувства, – урод! Только бы бесстыдно шарить, только бы!..

– Я же жениться надумал! – отчаянно крикнул Костя.

– Уходи! Уходи!

Женился Костя Серегин на вдове с двумя ребятишками. Однажды встретил Анну Павловну и сказал обиженно:

– Дурища ты, Нюшка. Я же со всем почтением-уважением, я же свататься приходил к тебе.

Петьке Коновалову во сне пришла застенчивая немка. Он слышал ее голос, очень похожий на голос матери, нежный смех; она говорила по-своему, но Петька все понял: к себе зовет. В тот день он поехал на станцию за водкой. Пассажирка – старуха с каменным лицом, выпростала уши из-под шали, подала трешку, сказала:

– Сразу видно настоящего мужика.

«Настоящий мужик» за всю дорогу не произнес ни слова.

К водке прилипает много жаждущих; нечистый дух не иначе заволок его в деревню за тридцать километров от становой дороги. Очухался... спит на полу под тулупом. Хозяева к столу зовут. Голова трещит, на бабу, остроносую рослую девку с блеклым лицом, глаза поднять стыдно. Вспоминает, как лежа на полу, приглашал девку ложиться рядом...

– Караулили, у нас-то не тронули, а сколько дорогой растащили... – говорит баба.

Петька ощущает неприязненный взгляд хозяйки. Он невнятно благодарит и идет на улицу.

Стоит его «газон» как богатырь на поваленной изгороди. Залез в кузов и за голову схватился: сколько посуды битой, господи-и!.. В радиатор заглянул – воды нет. Еще две ночи ночевал – радиатор оказался проткнут в трех местах. Под вечер сел на лавку, говорит хозяйской девке:

– Тебя Ксюшкой звать? Поехали со мной. Хозяйство на спичку не повешено, но с умом... с умом жить можно.

Как пустилась мать девки бранить его!.. Выбранилась, заревела, сопли фартуком выжимает. Проревелась, подела задумчивая, говорит:

– Видно, доча, судьба.

Тут девка в плач пустилась. Острый нос стал еще острее, лицо стало походить на помазанный сметаной непеченный пирог.

Хорошо ехать ночью. За кабиной темь, изредка мелькнет в окне избы огонек. Петька пытается каламбуричь, говорит истертыми присказками. Ксюша прыскает, приободренный Петька рассказывает ей про Германию.

– Сколько платить надо? – спрашивает Ксюша.

– Нашла тоску, – хвастливо отвечает Петька. – Заплатим.

– А сколько? – девушка аж впивается в Петьку.

Петька чувствует усталость во всем теле, с ожесточением давит «газулю».

– Ну-у, сколько? – не отстает Ксюша.

«Во змеюга попалась!.. Сколько, сколько... Сосватал ярмо – тащи его. Меньше жмурься, ягодка, больше увидишь. Отгулял, видно, Петька Коновалов».

...По многу вёсен солнце и ветер сгоняли с полей снег, талые воды с журчанием сливались в ручейки, ручейки поили реку. Летели косяки птиц, из коровников выбегали нетерпеливые телята с курчавыми в пахах ногами, на озимых появлялись изумрудные пятна пробуждающейся жизни, резали глаза ледяные, матовые корки... Годами сидела Анна Павловна в комнатухе, проверяла тетради, ждала весну... ее весну, а её весна заснула там, где небо сходится с землею. С прожитого насеста увидишь только то, что загадаешь увидеть. Надо ли противиться смиренной реке дикой силе ледохода?..

Бежит река, водица камешками-обмылышами тайну вещает: весь год поджидает она час благодатный и грозный, а как час долгожданный наступит, как ледолом на приступ пойдет, неуправляемый в своей страсти, так и расплещется она, и забурлит, и благодатная да томная обнимет в тягучей ласке берега; и будет день, и другой, и третий, и еще много дней упиваться истомой.

Ледолом груб, стремителен, опасен, протаранил реку и не заметил даже, а река все заметила и все запомнила; боль отступит, радость останется: «Ох и дурища ты, Нюшка...»

– Петя, а вот... Это рогатка у тебя торчит из кармана?

– Нашли партизана, – ворчит Петька Коновалов. – Чего ко мне вязаться?

Прошлое не носитя

У вековухи Агнессы Белкиной, толстенькой коротышки, всё Заступово сплошь враги. Её душа глухо гудит, как гнездо ос. Она уверена, что односельчане «подкинули ей свинью». Причина душевного разлада – вода.

Скважину в советское время пробурили для снабжения водой скотного двора, через три года под мольбы и депутатские запросы протянули водопровод в деревню. Нынче двора нет, коров нет, а вода надо всем. До скважины почти километр, кто пойдёт по сугробам зимой воду качать? А народ зажил богато, у всех почти немецкие стиральные машинки, кое у кого душевые кабинки в банях, тут без воды – амба. Обслуживает водокачку бывший председатель сельсовета. Живёт за пять километров. Летом что, летом просто, мотоцикл между ног и тут он, а зимой – запасайтесь, миряне, водой на неделю.

Вот Агнесса и решила всю деревню заткнуть за пояс: взяла кредит, выписала бригаду бурильщиков, бурильщики проткнули ей скважину под самым окном. Красотища! Кнопочку нажала – буль-буль-буль. И никому за воду ни копейки не платит.

– Вот проходимка до чего ушла-то! Вот до чего смекалиста-то! Похохатывает! Одна живёт, а мы... кормишь, кормишь, тебя... – примерно так жёны «снимали стружку» с благоверных мужей.

Как раньше частушку пели:

Бригадира люблю – похохатываю:

Каждый день трудодень – зарабатываю.

Тут приходит депеша, мол, должна вы, Агнесса Белкина, за использованные в течение года природные ресурсы соответствующую денежку. Или – суд! Ага, в глазах деревенских баб забегали чёртики, отхохотала! Взвилась Агнесса: подоткнули! Свои, свои подоткнули! Самые «завидующие рожи», естественно, у соседей бывают.

Да бог с ней, с Агнессой Белкиной. Перекипит.

Едва отошла земля от стужи, сумрачным и скучным днём в деревню приехали строители. Шестеро молодых ребят легко выскочили из кузова «буханки», следом выкарабкался толстый мужик. Походили по дворищу Поповых, попинали горелые головёшки, оттащили с дороги обрызганные грязью тесины, покурили у кучи обглоданных временем кирпичей церковной работы, и давай копать ямы. Отдельно присел на кособокую скамейку закутанный в шубу, похожий на огромную гиру мужик.

Смотрю в окно. Все кирпичи на дворище пересчитаны мною мысленно тысячи раз, неуклюжие, толстые, но крепости необычайной. Интересно, кто сгрудил парней в артель, что за строительство такое зачинается?

Иду на улицу. Подхожу к сидящему в шубе мужику, здороваюсь, спрашиваю, не космодром ли новый заводится?

Глаза у мужика маленькие, в жировых складках, и подёрнуты дымкой неизбывной скуки.

– Домишко надо сварганить, – отвечает мужик, и давай кашлять.

– Дом – это хорошо. А чьих кровей будете, уважаемый?

– Рассейских, уважаемый абориген. Видишь, – пальцем очертил своё лицо. – Рожа шаньгой. Прораб я. Рожин моя фамилия. Неделю лихоманка нутро выворачивает. Интересно, кому будем строить?

– А как же, как же! Очень даже интересуюсь! Не каждый день в нашей деревне дома нынче строятся.

– Заказчик – Гортрамф, из Москвы.

– Не слышал про таких. Нищий нынче не строится. Строятся те, у кого в кошельке шуршит. Да и знатно

шуршит! У нас колхоз двадцать лет как сгинул, доску на гроб не скоро сыщешь. Снимаем с подволоки, как нужда приспичит, тем из положения выходим.

– Это верно. Колхоза нет, воровать негде, лес – дядин. Знакома мне эта песня.

– Какая-то нерусь этот... как его, Трамп. Не родственник американскому президенту?

– Да бес с наганом не разберёт!

Так началось моё знакомство со строительной бригадой.

Пошли машины, пошёл свежий, только что сошедший с пиlorамы сосновый брус, везут цемент, тес, окна, двери. Боже ты мой! Когда я после армии начинал строиться, дал председатель колхоза после посевной неделю – руби сруб, а на место поставишь... почесал в затылке... «Как время будет».

Почти пять лет строился. Баня, двор, хлевы, погреб, что картошку выкопать, и то времени нет. Ночами копали. И дровяник ночами колотили. Днём на сенокосе как проклятый жарюсь, ночью с женой (а жена ревёт пуще годовалого сынишки) на себя пашем. «Ты хоть по земле катайся, хоть волчицей вой, а строить буду!» – примерно так не раз ей высказался.

Смотрю, парни доски под железную крышу стелют. Пилят без приберегу. Прораб к тому времени поправился, эх, говорю ему с сожалением, пилите, как колхозное прежде не пилили. Пускай этот Трамп даже американец, но доски!.. обрезные, без сучка, ровные, пахнут смолой – жалко. Каждая шестиметровая доска на мой расклад полтысячи потянет.

– Я тебе всю обрезь отдам, – смеётся прораб.

– Крохи с богатого стола, – ворчу.

– Он ещё и недоволен, – крикает прораб. – За «спасибо» отдам. А ты замечаешь, старина, что мои парни водку не пьют? А вкалывают как, видишь?

– Вижу. Похвально.

– То-то. А в колхозе, бывало, не успели за топор взяться – наливай! Я молодым начинал шабашить, за правду стоял, за честность. Помню, у одной вдовушки матицу тянули, так она корзину к матице привязала, в корзину три бутылки поставила, пирог пшеничный в вышитый плат завернула. Так сказать, по обычаю. Матицу вытянули, водку с пирогом достали, а матицу обратно опустили: мало! Вдова ревёт, а реви не реви – как скажем. Упились до поросячьего визгу. Я по молодости не пил, да и потом тоже, матери слово дал. Вот я ночью сходил, один вытесанный десятиметровый брус (тридцать сантиметров на тридцать, сосна) затащил. Пыхтел часа два. Меня утром из бригады вежливо попросили: не порть нам марку! Нынче ша, не те времена. Давай денежку, водку сами купим.

Не кричит, не матерится прораб, всё у него продумано, всё наперёд приготовлено.

Печи сложили, на крыше резные петухи ветру горланят.

На Ильин день у новенького, вместительного, улаженного, проконопаченного дома остановилась грузовая машина. Грузчики стали осторожно стаскивать большой ящик.

Опять я тут, опять внимаю. Стоит ящик на резиновых ковриках. Чего бы это такое?

Оказалось (грузчики поведали) – рояль. Хозяин-то музыкант! Вот и хорошо, вот и ладненько! Всё в деревне веселее будет!

Ещё месяц я дожидался нового хозяина дома. Моя душа настраивала сердце на встречу с незнакомым музыкантом. В жизни не видал музыкальных нот, мне что Рахманинов, что Шостакович – играют хорошо, и Вагнер неплохо.

На всякий случай через почтальонку добыл в сельской библиотеке Советский Энциклопедический Словарь, стал изучать биографии композиторов. А вдруг пригодится! К классической музыке я испытываю некое равнодушие. Вот когда на тальянке играл покойный Миронович, и

бабы утирали слезы платками, я чувствовал от игры возвышенную неожиданность, самобытность, моя душа как летела в прошлое, ей хотелось вместо платков вытереть женские глаза.

Картошка выкопана.

В начале осени хорошо бродить в лесу. Мало его осталось близь деревни, весь лес выхлестан. Стоят кряжистые сосны там, где техникой их не взять. Высятся лесины, смотрят на мир божий, укоризненно покачивают головами; кое-где мелькают беленькие платыца берёзок; люблю поднимающиеся березки, это сама угнетённая и она же защищённая невинность.

Ночью плохо спал. Жена суетилась с таблетками, порывалась бежать к медичке, но я пошёл в решительный отказ. Проснулся поздно. Смотрю на соседский дом, а в беседке – строители знали своё ремесло, раскачивается на качелях человек. То ли мужик, то ли женщина, но судя по развевающимся волосам, скорее женщина.

- Смотри, – говорю жене, – жильцы понаехали.
- Ночью. Парень. Чисто обезьяна волосатая.
- От оно.
- Пойдешь, дедушко?
- Конечно!

Редкой день жену не упрекну: какой я тебе «дедушко»? Что, у меня имени нет? Что я домовый или цыган приبلудный? Забылась, скажет, прости, и опять за дедушка.

Познакомился с музыкантом. По национальности эстонец. Сочиняет музыку к мультфильмам, и даже мультфильмы как-то клепает. Техники всякой у него – лошадиный воз.

Через неделю как бы по наитию или простоте душевной спрашиваю (тем более парень сразу попросил обращаться к нему «на ты» и звать просто Стасом), почему таким волосатым живёт?

– Стас, – говорю, – у нас как-то худо признают волосатиков. В Москве всякие там ориентации сексуальные, то да сё, а у нас... извини меня, глупого и старого, не ко двору.

Смеётся Стас. Прищурил глаза, как будто расчесался развеселым гребешком.

– То-то меня женщины ваши шарахаются. Иду за водой к колонке, остановилась против меня женщина с корзиной в руке, удивленными глазами смотрит, как в землю врытая... Послушайте! Какая разница, бритоголовый я или волосатый?

– Не скажи, не скажи! Мужик, он и есть мужик! Ты в армии служил?.. Худо, что не служил.

Прохожие останавливались напротив его дома, уходя вслух. У водоразборной колонки ядовито обменивались мнениями. Пуще всех злится Агнесса Белкина. Из-за налога за использование природных ресурсов до прокурора дошла, платить не стала, по совету законника взяла да отключила свою скважину. Берет воду из общей колонки.

– Не сеет, не пашет... дармоед!

– Зашибает знатно. Дай-ко бы мне крышу нынче перекрыть – из пожитков вытряхнуло бы, а тут... Мы ли страну не покормили?! Вот время пошло, всякая нероботья живёт да поёт. А нам пенсию на рублик добавляют, шумуто, радости полные штаны. Министрам подошвы ботинок целовать готовы...

Меня приезжий величает «дядя Егор». Держит за консультанта. Дорожит свежим словом. Ещё бы не дорожить! Наша окающая речь, местный диалектизм, затворенный на природных явлениях, бытовых сюжетах, пословицах и поговорках, это же соль земли!

– Дядя Егор, вот вы, допустим, серый зайчик. Заякка добыл где-то морковку, сел на пенёк и грызёт. Довольный такой. Морковка хрустит, глаза от удовольствия жмурит, песенку поёт... Вдруг шорох. Лиса крадётся. И мешок заранее приготовила. Птички на вершины порхнули, любопытствуют... Как себя поведёт заяц? Обомрёт от страха и подавится морковкой, или закричит, или прыгает в кусты и дёрну?

– Я бы закричал, как у нас раньше бригадир Николаевич кричал: «Ить, такая мать-перемать! Пожрать не дадут, кукушкины дети!»

– Хорошо! Очень хорошо! А лиса... лиса как себя поведёт? Оробеет? Извиняться будет?

– Покойная Трофимовна, царство ей небесное, в таком бы ключе изложила этот эпизод: и раз из-за кустиков выглянет, и два – разведку ведёт по всем правилам маскировки, видит, что зайчишка дурачок, станет таким голоском убаюкивающим вещать: «Здравствуй, золотой мой. Не пугайся, я тётя твоя, Патрикеевна. Я немного страшная, потому как сарафанчик мой износился, фартучек потеряла, чепец медведь тяпнул, к косметологу из-за этой окаянной должности год не заглядывала, а приодень меня, прибаси меня, денежку дай, я с тобой на перепляс пойду».

– А при какой она должности?

– Раз с мешком, то почтальон. Нет, лучше зампомзав такого хитрого, но голодного департамента, что язык сломишь, когда выговоришь. Раньше был сельсовет – всем понятно, а теперь зайти в какую контору – Никола милостивый! Страх и двери открывать.

– Подождите, дядя Егор, я это всё запишу.

– Погодь, ещё чуток погодь! Вот раньше был сельсовет – заходи, есть желание выmaterить председателя, валяй, матери, ибо власть-то своя, народная, а нынче власть дядина. Видел усатого мужика, что воду качать на мотоцикле приезжает? Вот это и была наша власть. Нынче кого с краю материть пойдёшь? А надо материть-то? И ты, и я, и весь люд, со всем раскладом кремлёвского олимпа согласны, правда ведь? Воруйте!

Ёрзает музыкант как на крапиве. Сорвался, убежал.

Полчаса ждал в беседке – пишет. А что, улыбаюсь про себя, время лесному зверью в демократию играть.

– Вот что самое страшное в нашем ремесле? – как-то спрашивает меня.

Пожимаю плечами: расклад двоякий: или в кладовку спрячут на дальнюю полку, или кислород перекроют, то есть, финансы подрежут.

– Самое страшное – утратить нерв фильма! Настроение фильма! Ведь мы идём ощупью, в темноте, по краю обрыва...

Так шло время. Много с ним про содержание мультфильмов говорили. Он по зайцу тянет в «Ну, погоди!», я по волку. Симпатичен мне волк-одиночка. Характером как бы на меня смахивает... Хамоват, согласен, но сообразителен и изобретателен; его бы энергию да в мирных целях – цены нет! Нахваливаю фильм, название которого забылось, с женой по ящику год назад смотрели, как в лесу шло собрание зверей. Выступал верблюд. Шерсть на нём, должно быть, моль посекала. Слова в зубах вязнут, оглядывается, заикается, ищет поддержки у слушателей, то присядет, то выбежит в зал, то бумажку скомканную из кармана вытащит, читает по складам, умора. В середине шестидесятых у нас председатель колхоза примерно так речь ковал. И дешево, и сердито. Нахохочемся и по домам.

Никак не думал, что Стас монтажник философской выси. Я ему, мол, несерьёзные вещи эти современные мультики, вот раньше!.. По мотивам русских сказок фильмы истинные подвижники мастерили, пример привожу: «Аленький цветочек». А нынче таких ущербных вурдалаков налепят, вроде безголового Булгаковского Берлиоза, только чертей на болоте глушить, не детям показывать.

– Погоди, дядь Егор! Вот видели вы ораторов, таких площадных, громящих, как Ленин, или Фидель Кастро, или... не буду засорять ваш мозг, да того же волка в натуре?

– Куда тебя под облака кинуло! Сам-то ты Ленина на деньгах не видел, оратор... Да кто же волка говоруна в натуре видел? Волк – изгой общества. Вот и в председатели к нам такого изгоя затолкали, ссылку по партийной линии отбивать. Мне, Стас, некогда было ораторов слушать. У нас один оратор был: райком партии. Давай! Давай! Я пахал, сеял, хлеб убирал, и из года в год, изо дня в день. Я в доме отдыха один раз бывал, в Абхазии. Вина там – залейся!

– Ладно. То, что в сельской местности не принято переливать из пустого в порожнее, я знаю. Да и ораторство – вымирающий дар, вымирающее искусство владения толпой. Пословица гласит: по писаному и поп служит. Разве человек с блокнотом честный оратор? Его задача – прочитать написанный доклад, оглушить народ цифрами, фактами, лёгкой критикой в адрес начальства. Недоработки там, недогляд тут, зазнайство и тому подобное.

Рядовой состав читающий доклад пропагандист не трогает, не надо злить внимающего в полуха дремлющего льва. Казенщина, окаменелость, скука, проформа, ритуал; излить гнев праведный в сторону Москвы, высмеять хапуг и чиновников, пожалеть сирот, донести до человека живое слово, для этого требуется вдохновение.

– Подожди, это касаето сообщества людей, а твои зайчики и лисы при какой кузнице? Они у тебя из зоопарка навербованы или наши туземные? Тут, скажу я тебе, большая дистанция. Городские модницы нахватались всякой гадости, заносчивые, фальшивые, в мыслях одна шелуха о богатой норе, а наши – недотёпы, деревенщина, дикая тайга. Им петушиное крыло в диковинку. Как деревенского мужика в фильмах показываете? Сплошная серая биомасса в ватниках, сапогах, и в интернете наш мужик дубина, а уж грабить банки – мужик всегда стрелочник. Где пьют как свиньи? В деревне. По «ящику» какое шоу не катят, все дураки родом из деревни. Нищета, вошь похоронить не на что, а шуму-гаму, кто кому салазки выбить готов – деревня! За волосы друг дружку таскают, разводы, стрельба, драки – все шишки замшелой деревне.

– Во! Я стараюсь показать и сказать так, чтобы выглядело всё просто, но запомнилось надолго. Вдохновение – это костер; неправда, костёр прогорел и погас. Или слабый огонь задует ветер. Наваждение? Скорее – это связь музыки жизни души и грешного мира; вернее – это порыв, лестница над пропастью мечты и реальности, это вершина, которую пишущему человеку, долго разглядывающему клавиши пишущей машинки, никогда не поко-

речь. Писать, как и говорить, надо быстро, осмысленно, точно идти в бой; «всякая мудрость от бога» – хитро-мудрствовать, значит, творить своим умом нечто двуполовинчатое...

На этом Стас как споткнулся, видно было, что в душе у него начался скандал.

– На чём я остановился? – спрашивает.

– Мол, хитрить ни к чему, или что-то такое, – отвечаю.

– Нет, это про зверюшек из зоопарка и из тайги... Это же совсем иной разворот! Такой разворот!.. Спасибо! Тысячу раз спасибо!

Срывается с места и бежит к себе. Я тоже правлюсь к себе и гадаю, какую речь он вложит в уста зайца и какую речь лисе. Как приоденет своих героев. Всё больше убеждаюсь, что Стас помешан на мультиках. Дома рассказываю жене, какой я хороший консультант у музыканта.

– Скоро он тебя в волка оборотит. Такого костлявого, потерянного, всем недовольного. Ходит такой зануда по лесу и ко всем пристаёт с расспросами: отчего да почему? – говорит жена.

– Кормишь худо, то и костлявый.

Ближе к Покрову захожу к соседу. Только что прошёл дождик с ветром. Холоднее стало, начались темные и холодные вечера, а днём ещё тепло, да всё уже не то... Интересно, как-то у Стаса обстоит вопрос с теплом? Изба, почитай, усадку не дала, печи клал не здешний мастер, дрова наполовину сырые. Скучно теперь на деревне. В полях, заросших ивняком и дурной травой, мертвенно даже под чистым голубым небом. Грустно в полях. Когда-то на полях гудели трактора, комбайны, были люди и нет, ушли. Под деревней хорошо росла пшеница, пшеничное жнивье всегда самое светлое.

Смотрю, сидит недалеко от дверей в вытащенном на улицу кресле закутанная в большую разноцветную теплую шаль старуха.

Шапку сдёрнул, здороваюсь.

Следует многозначительная пауза. Она ли, я ли, как искали потаённый смысл от незваного визита.

– Признал ли ты меня, Егорик? – попыталась воссиять лицом старуха.

– Нет, – отвечаю честно. Самого пот прошиб: что же я раньше у парня не спросил, почему он нашу деревню облюбовал?

Егориком меня только мать называла, да Шура... Шура!

– Шура... Шура Попова?

Встряхнула головой, точно чтоб мысли из прошлого вернулись в настоящее.

– Я, мой добрый одноклассник. Умирать приехала на родину.

Я покраснел, как бывает от сильного толчка совести.

– Да вы что... Шура, Александра Ивановна, нам ли с вами...

– Эх, Егорик! Присядь рядом на табуретку, насмотреться на тебя хочу.

Боже милостивый! Что осталось от Шуры Поповой... Нет прежней телесной сути! Передо мной сидела худая, как почерневшая жердь, с посиневшими губами и веками, с головой, неестественно пригнувшейся на правый бок, старуха. Но больше всего поразили глаза: большие, как испуганные и... нездешние!

Вышел из дома Стас. Вот, представляет мне, бабуля моя драгоценная. Пригласил меня за кампанию попить чайку с бабулей.

По лестнице Шура поднималась медленно-медленно, как бы считая ступеньки. Рукой опиралась на поручень, старалась держать голову высоко, спину прямо, в каждом шажке величавость и женственность. Что-то изящное осталось от той, прежней Шуры.

Стас завис у компьютера, а мы говорили, говорили, слово к слову само тянулось. Вспомнили школу, одноклассников, учителей, родительский дом. Я перебирал бывших одноклассников «по партам» – кто где и с кем сидел, кого после восьмого класса даже не встречал. Это приносило мне странное успокоение. Я точно был дежурным и собирал класс. Рассказал ей, как доживала её мать

Евдокия Абрамовна в приюте для престарелых, как пилили дом на дрова,— дрова ушли в колхозную кочегарку, потом на дворике ставили двухквартирный дом, как жили в нём приезжие со Ставрополя переселенцы, как сгорел дом и вместе с домом сгорела пьяная женщина.

— Из нашего класса я да Анька Соловьева остались, да вот ты, а остальные... А капитаном ты была?

— Была. По Волге на теплоходе ходила. Там и с мужем познакомилась. В драке его зарезали, мало вместе прожили. Замуж больше не выходила. Только сына на ноги подняла, сгинул в Мозамбике мой Андрюшик. Вся радость — Стасик.

— Толковый парень,— подсластил я Шуре.— Вопрос меня мучает, извинения прошу, если обижу: почему ни разу после школы мать не проведала? Она письмо получит, только что не пляшет от радости, всем бабам на деревне по десять раз перечитает.

— Грех это мой, самый большой грех, Егорик. Должно быть, через черствость свою и дожить мне Бог повелел в немощи. В церковь часто хожу, молюсь, да прошлое не носитя. И дом Стасику подсказала ставить на родном дворике.

Замолчала под влиянием воспоминаний. Посидели молча. Слезы у Шуры бегут по впалым щекам, бегут безудержно... Потом Шура достала из стола фотокарточку, долго смотрела на неё, перекрестила и сунула обратно в стол.

Тяжелой была для меня ночь. Угли моих мыслей обдувал ветер далекого прошлого. Прошёл на кухню, прислонился лбом к стеклу рамы; от холода его напрягся, сжал сильнее веки. И темнее стало перед глазами, где по моей воле оживали картинки прошлого. Достал из холодильника початую бутылку водки, и только стал наливать в стакан, как сзади раздался вскрик жены:

— Ты с ума сошёл!

Голос был настолько непритворным, что я невольно вздрогнул и отодвинул стакан.

- Пить-то зачем!
- Накатило как-то, – глотнул воздух сухим горлом.
- Не пей, – попросила жена и ушла.

Лежал с открытыми глазами, а перед ними в зыбком мареве оживало моё прошлое. Оно не вызывало ни тревоги, ни досады, в какие-то минуты мне хотело рассмеяться, улыбаться, а где-то далеко, как неясная боль, то проявлялась, то исчезала славная девушка Шура. Где была моя станковая мысль, а где мысли текли другие, бесцветные и беззвучные, я не знаю. Знаю другое: прошлое напрягало мой мозг!

Мы ещё ничего не смыслим в девушках – ни в девичьей красоте, ни в их тайнах: в нас ещё спят инстинкты мужчин. Мы – дети севера. Всё predetermined самим духом времени, временем послевоенной колхозной поры. Чувствуем, хотя и не понимаем, что есть девчонки очень хорошенькие, есть не очень, а вот Шура... сам воздух волнуется, не только мы, когда она идёт мимо, или когда станет собирать пучком на затылке рассыпавшиеся льняные волосы, или когда выходит к доске, или... Руки у неё красивые. Немножко пухлые. Все матери старались нас приодеть как-то поприличнее. Почти вся одежда была портяная. Штанишки узенькие, выкрашенные в синий цвет. Зимой после школы до самых потёмок катались с угора на лыжах, снимешь перед сном свои штанишки, а ноги как у мертвеца синюшные. Фабричную рубашку мне подарили в шестом классе за высокие показатели на терблении льна. Это был праздник! И стоила рубашка три рубля шестьдесят одну копейку. Черная, пять перламутровых пуговиц, а воротник почему-то белый. Спрашиваю маму, зачем воротник белый пришили? «Чтоб грязнули вроде тебя чаще шею мыли».

А Шуру мать одевала в перешитые платьица, кофточ-ки, меняла яйца и сметану в райцентре на поношенную одежду. Бывало, весь класс любовался Шуриной обнов-

кой. Она это видела, но чтобы задирать нос, хвастаться – да ни в жизнь! Невольно хотелось брать с неё пример. Если другую девчонку можно было дернуть за косу, или подложить на парту кнопку, то Шуру никто из ребят не гадил. Так и норовишь держаться к ней поближе, вдыхать какой-то особенный запах, исходящий от неё. На доске выводит мелом аккуратные слова и цифры, а мы смотрим, смотрим, любимся, даже переживаем...

Когда Серафима Ивановна ставит ей четверку, каждому из нас хочется кричать: «Пять! Она всё знает!» Взгляд у Шуры рассеянный, нездешний, скользит, бывает, по нашим лицам, точно не замечает нас. На наши босые ноги в кровавых трещинах-цыпках она не пялится, как другие девчонки неопределенно хмыкают. Голос у Шуры певучий и теплый, как промятый солнечным маревом. Он сулил что-то, а что – глупые мы ещё были. В седьмом классе копали картошку на школьном участке. День был тёплый, тихий, задумчивый. Прошёл с курлыканьем косяк журавлей. Подул ветерок, полетели семена осота, иван-чая. Шура держит растопыренный мешок, я высыпаю в него из ведра картошку. Подходит Серафима Ивановна, усталая, в какой институт после школы поступать думаешь, спрашивает Шуру. «А девчонки бывают капитанами? По морям, по океанам корабли водят?» «Захочешь, и будешь капитаном», – сказала Серафима Ивановна. Это были очень сердечные слова, отечески-благожелательные слова и даже опасение – как бы ты, Шура, не совершила ошибку.

Шура вдруг пришла в оживление, засмеялась, запрыгала, ладони рупором поднесла ко рту: «У-уу-ууу! Берегись, затопчу-ууу...» На сенокосе старухи намеренно ставили Шуру впереди всех. Старая Трофимовна, когда обращалась к Шуру, всегда добавляла «золотая моя». Покажет Шуру, «какого куста держаться», «золотая» и идёт, старательно сгребая сено в валок. Ориентир всем – беленький платок. Он манит народ, подтягивает нас, неохотно волочащих грабли ребят. «Эх, и баска же у Евдохи девка! Дал ей Бог радость!» – говорили женщины, и, верно, каждая

в мыслях имела желание видеть девчонку взрослой да в своей семье. Наволоки были «коч на коче да кочём подпёрся», от самой воды по берегу крапива, кусты, овод заел, мошकारа облепила, лошади бьются в постромах; люди все потные, все торопятся, на небо тревожно заглядывают. Каторга – сенокосная пора. Отчество Шуры – Ивановна. Её мать замуж не выходила. Но чтобы обозвать Шуру «сколотень», «подзаборница» – да пусть отсохнет у того язык, кто произнесёт это гадкое ругательство!

Да, мы, деревенские ребяташки, любили Шуру и были хороши с ней, покровительствовали ей. Как-то незаметно мы стали замечать, что она сильнее нас, самостоятельнее. Она может, если захочет, сделать то-то и то-то. Наша Шура выросла, и взрослость её для нас стала чем-то необъяснимо заманчивым и даже завидным. Серафима Ивановна с ней стала говорить как с взрослой, не совсем, положим, как со взрослой, а всё-таки не так, как с другими.

Помню в восьмом классе, ближе к весне, в клубе давали концерт заезжие гастролёры. Шура и я стояли в коридоре – почему-то оба опоздали, а заходить в зал, когда зал взрывается аплодисментами, оба постеснялись. Не помню, где блуждал мой потерянный взгляд, но вдруг глаза остановились на прильнувшей к шелке двери Шуры, – она чуточку приоткрыла дверь и внимательно слушала.

Какая-то сила понесла меня тоже к двери и поставила рядом с Шурой, так близко, что я, замирая от счастья, всеми легкими вдохнул дурманящий запах.

– Шура... – с трудом выдавил из себя.

Шура шикнула на меня: не мешай!

Через какое-то время повернула ко мне лицо, спросила:

– Чего?

«Шура! Я люблю тебя!» Нет, я не произнёс эти слова, но и сейчас вспоминаю, как сказанные и ей услышанные. Иначе зачем бы ей, как в испуге, отпрыгивать от двери,

зачем прикладывать к лицу платочек с вышитым на нём цветочком? Сейчас я как повторяю памятью эти слова, а тогда я едва не потерял сознание, – признание в незнакомых мне в ту пору чувствах, сжигающих чувствах! И что интересно, эти слова как проросли во мне, несколько лет крепи в воображении; не раз порывался, когда служил в армии, написать Шуре такое письмо!..

Утром жена даёт поучительное наставление:

– Страсть ты, дедушко, впечатлительный у меня. Доверчивый ребенок. И сам не поспал, и мне не дал. Не надо бы тебе к ним ходить. Ишь, глаза красные. Слезовать на крыльцо выходил?

– Отстань!

– Не отстану! Дурило ты старое! Не зря говорят: что малый, что старый, вчерашний кисель хлебали. Сегодня какую басенку про зайца да лису выдумаешь? Он тебя хоть бы в сотоварищи взял, мол, и Егор из деревни Заступово волка озвучил. Глядишь, мне на Новый год обновку купишь.

– Ну тя! Кислота едучая!

А мысль отличная!

Гляжу, Стас один на качелях выкачивается, я к нему. Вот, задаю ему задачу, как горемыку зайца прописки лишить, из своего леса в шею выбить, так сказать, корни его отеческие вырвать, чтоб память отшибло?

Опешил Стас:

– А зачем? Зачем зайца лишать естественной среды обитания?

– А зачем народ русский сживают со своей земли? Зачем молодежь приучают жить *вахтой*? Деньги, только деньги! Езжайте в Коми строить дорогу – зарплата 60 тысяч в месяц! Езжайте в другую область лес валить, зарплата 70 тысяч в неделю! Езжайте, езжайте, рвите пуговину, не держитесь за родину, химера одна, эта родина! Вы езжайте, к вам в деревню приедут другие, такие же наёмники с бору по сосенке, хуже того – китайцы, они распашут пашни!

– Политикой пахнет, дядь Егор. Не прокатит.

– Почему? Пускай заяц отдувается!

Стас бросил на меня заинтересованный взгляд, которым хотят взять человека со всей его сущностью – а ты, дедушко, ещё тот звездопад...

В задумчивости оставил парня.

Снова встречался с Шурой. Глаза сегодня у неё при жизни мёртвые. Не глаза, скованные льдом маленькие лужицы воды. Говорила Шура мало, тихонько всхлипывала. Да, она мечтала о дальних странах, о самоотверженности, решимости посвятить себя служению людям; она не ошиблась, она просто не успела. Наконец выпрямилась в кресле, проговорила сквозь слезы:

– «Не нами наши дни земные сочтены». Грустно. «Всё уйдёт туда, откуда пришло». Я старая, негодная старуха... Отчего у меня нет твоей силы?!..

– Не понимаю, какая во мне сила? – хмыкаю. – Мне что, семнадцать лет и красная рубаха?

– Егорик ты Егорик! Вчера на наш угор сбродила, еле обратно приволоклась. Стоит лес-то, стоит! Помнишь сосенку, с которой я упала? Такая могучая, державная теперь! – Киваю головой: помню. – Всё печёшься о стране, о народе, ты такой же романтик, каким был в школе. До встречи с тобой у Стасика было много друзей среди зверушек, теперь он не подходит к компьютеру. А вчера, вчера он перед зеркалом остригся и даже побрил голову.

– Хвалю! Чего народ пугать.

– А пожить ещё хочется. Вот есть у Блока такие строчки:

*О, я хочу безумно жить:
Всё сущее увековечить,
Безличное – вочеловечить,
Несбывшееся – воплотить!*

Ближе к морозам Стас и Шура стали собираться в город. Стас метался, искал свой «нерв» в кругу зверушек мультфильма; то среди ночи в доме заиграет музыка, то

смех, то лай, или заушает филин... Бабка Шура понимала внука, проявляла мудрую терпимость, не надоедала расспросами, не лезла с советами.

Жена не говорит мне, стонет:

– Вроде, дедушко, стропила у парня набок пошли, а?

– Ты дурь-то выкинь из головы! Де-еедушко! – передразнил. – Стропила у неё пошли... это вдохновением зовётся, поняла? Зрелая стезя родит зрелую мысль, а проще сказать, он приобретает жизненную отвагу.

– Ну, опять в задир пошёл. Проходимка какого-то дня в райцентре была...

– Вы с проходимкой одного поля ягоды!

Но, признаться честно, я был рад отъезду соседей. Не то, чтобы они надоели мне, моя душа, привыкшая последние годы в одиночестве бродить по пустым полям, по лесу под деревней, хотела покоя. А с соседями – иду к ним почти каждый день, как на работу. И ничего не могу с собой поделать!

Скверное чувство постоянного одиночества, отчуждённости, даже непутевости всё сильнее раздражало моё сознание. Бранил себя: разворошил Стасу «нерв», писал бы парень по-прежнему музыку, лепил мультфильм, а теперь по ниточке вяжет совершенно иную канву.

С женой неделю не разговаривали.

– Я тебе притчу скажу, Егорик, – как-то заводит разговор Шура. – Про крест. Всякая притча – это все параграфы нравственного уложения нашего бытия. Жил да был плотник Иван. Дожил, как говорится, до тюки, нет ни хлеба, ни муки. Взял веревку, пошёл в лес. Сел, глазами с соснами прощается, муки танталовы принимает. Тут Бог идёт по своим божьим делам. «Рано, говорит Ивану, с жизнью прощаться. Грехов на тебе, как на собаке блох, грехи изжить нельзя, судьбу поправить можно». «Так дай мне, Всемогущий, другую судьбу, другой крест дай. Понесу, сколько сил хватит!» – взвопил Иван. «Ты ещё крест Моего Сына Иисуса запроси!» – сердито сказал Бог. «Что ты, что ты! Недостоин я рукой дотронуться до креста

Сына Твоего! Мне какой попроще, покрепче, корня мужицкого или барского, только бы хозяйственного. Молод я был, глуп, когда крест выбирал. Судьба не кобыла, верхом не сядешь. Дал бы ты, Господи, возможность судьбу изменить!» Согласился Бог. Пришли они в некое хранилище, а крестов в нём большие миллионы стоят. «Я мир сотворил за шесть дней, шесть дней даю тебе, жалкая песчинка, новый крест себе обрести». Обрадовался Иван. Шесть дней без усталости по хранилищу бегал.

Схватится за крест – добротный, из ясеня, вот бы такой! – на обратной стороне читает: «Петр. Солдат. Погиб под Москвой». За другой ухватился – серебряный, в позолоте, читает: «Матфей. Инок». Третий, сотый, тысячный... Шесть дней сновал. Сел отдохнуть, стоит перед ним крестик такой ветхий, неприбранный, неухоженный, будто от Пасхи до Пасхи в воде не купанный, и подумалось Ивану: на меня похож. «Сирота ты, сирота. Кто-то забыл, или намеренно оставил...» схватил крест, бежит к Богу: выбрал! Бог поворачивает тыльной стороной: «Иван. Плотник». «Так это же мой крест!» «Твой, – говорит Бог, – теперь-то ты в уме, какой выбрал, тот и неси». Идёт Иван от Бога, и тепло на душе от обретения своего же креста, и обидно: опять не тот выбрал. А Бог рядом шагает: «Ты когда последний раз был на кладбище, когда отцу-матери поклоны бил?» – спрашивает укоризненно. «Господи! Прости меня, прости! Сейчас, сию минуту волю твою исполню!» «Чтобы мне на шестой день в отпуск уйти, или захворать, так куда там, остановиться не мог в творении своём...» – ворчит Бог незнамо кому...

Что говорить, прощание было тяжёлым.

– Похоронить себя велю здесь, – шептала Шура, склонивши ко мне на грудь совсем ослабевшую голову. Говорила с остановками, в очевидном волнении. – Крест мне поставь, пожалуйста. Из наших сосен поставь. Сруби такую маленькую, неказистую, штраф Стасик заплатит.

На деревенской улице стоит «Газель». В салоне на мешке с луком сидит Агнесса Белкина. Возле ног ведро

солёных рыжиков. Что поделаешь, за кредит надо ежемесячно платить. Против приезжих она зла не держит. Нет, нет, люди хорошие, а вот свои,— слов нет, одни эмоции,— свои хуже всяких врагов!

Почему я начал рассказ с Агнессы Белкиной? Поясню. В начале 70-х годов заступовские девки у парней почти не пользовались. Мать Агнессы Прасковья Ефимовна возвращалась с выставки ВДНХ. Бойкуха, в передовых доярках ходила. В деревне Прасковью Ефимовну Сканцем кликали за глаза. Сканец — это тончайший, как пушинка, блин. Дело глубокой осенью было. Слезла с поезда — мать Богородица! Дождь холодный сечёт. До дому 120 верст. Живой добраться — исповедаться не мешает. Дорога излётана шоферским матом. Чемодан хватает, подбегает к одной машине — толпа желающих уже сгрудилась, долговязый шофер, хорошо подпивший, на подножке стоит, выламывается, кепка, что гребень у петуха, на ухо сбита, указательным пальцем грозит:

— Заступовских не берём!

— С Березников мы!

— С Милой Горы!

— Тебе заступовские дорогу загородили? — сунулась вперёд Прасковья Ефимовна.

— Девки у вас дырявые!

— Ой ты, телок, ты телок! Да золото и то моют в дырявой посуде. Из худой девки золотая баба выходит. Если,— стучит себе пальцем по виску,— тут ума не с куриную щепоть. Правду я говорю? — обращается к другим пассажирам.

Милогорским и березниковским не до дебатов. Уехать бы!.. Всем ехать надо, и желательно бы в кабине, не на мешках с мукой.

— Ну-ко,— тяжёлым чемоданом жмёт ноги шоферу,— пускай в кабину, я тебе такую невесту высватаю...

По первому снежку этот шофер едет в Заступово сватом. Для храбрости и пущей важности кинул за воротник граммов триста водочки. Как и принято сватам, в избу не

идёт, у калитки топчется. Вышли невеста с матерью, у невесты шаль с кистями по плечам рассыпалась. В старину говорили: «Хороши в доме косовик хрустящий да зять говорящий». Не позволила невеста парню товар разложить, т. е. душу открыть, глянула пристально да и говорит:

– Ну, мама, спасибо. Из какой же глубокой канавы эдакоё мотовило выгребла? Давай-ко, дружок, пока машина не остыла, поворачивай оглобли.

С той поры шофера на вокзале редко брали заступовских баб, а девки – лучше не подходите.

Мне страсть повезло: привёз жену из-под Красноярска. В армии бегал да бегал в самоволку, вот и выбегал.

Век не забыть, вёз нас с вокзала с невестой один очень степенный «отец родной». В годах дядька. Сказал, когда мы забрались под натянутый брезент на уголь, три слова: «Это... не шавите». Нос что шишка еловая, обласканная крепким морозом. Валенки с двумя заломами, шуба под солдатским ремнём, на голове кубанка, крестом прошиты две красные полосы. Из великой милости взял. Декабрь месяц, под моей шинелью дорогу грелись, снегу до пупа, местами машину толкали как могли, до райцентра прикачали – протянул «отец» за расчётом крепкую руку, последние три рубля притом рублями затолкал в малюсенький кошелёчек.

Озябла моя лапушка, пропитались её лёгкие угольной пылью, кашляет, подпрыгивает на месте, и негодует:

– Барсук дохлый! Солдата ободрать?!

Я – шахтер, она – шахтёрка, будто выползли на свет из забоя. Ветер лютует. На столбе фонарь оловянного цвета раскачивает морзянку. Замусоленным платком отираю ей лицо, смеюсь:

– У него семья большая, семь девок, всем надо приданое стоптать.

– Чтоб им всем за кривое коромысло замуж выйти!

От райцентра до Заступова двадцать километров. Чемодан у моей невесты старинной работы, углы в железных набойках, до отказа забит платьями, кофтами,

прочей женской амуницией. Давай, говорю, куда-нибудь пристрою его, не тащить же?

– Ещё чего! – отвечает.

Кержацкая натура!

Незабываемая картина: мы голодные, ночь, ветер со снегом, местами дорогу перемело, как у нас говорят, стручки наставило, а мы на крепкой палке тащим чемодан.

В сердцах свою милушку к старшине роты в каптёрку «на длительное хранение прятал», и с капитаном Шевелёвым породнил, хозяином «гарнизонной губы» – пришлось погостить у этого Шевелёва, а невеста ещё и дерзит:

– Раскис, вояка?

Романтика!

Шутник был капитан! Построит, бывало, разгильдяев, велит своему подручному здоровенному ефрейтору вынести девять лопат на десять человек.

Все стоят, не спешат лопаты разбирать. Ясно, что одному солдату лопаты не хватит. Вот которому не хватит, тому трое суток добавки: нет у тебя, товарищ солдат, желанья покинуть наше исправительное учреждение! Хватайся за лопату, дерись за лопату – во, молодец! И тебе сразу поощрение: сутки – минус!

Глубокая река не шумит

То, что узники концентрационного лагеря Дахау устроили восстание, Егор Борисович Полозов узнал через полгода после освобождения лагеря американскими войсками. 30 апреля 1945 года его живой вес был 37 килограммов. Живые мощи несколько раз клали на носилки, фотографировали, снимали кино – сотни подобных Егору скелетов тянули руки к спасителям за кусочком хлеба; потом за дело взялись врачи, они, позируя для истории, пытались быть богами – измеряли пульс, поднимали беспомощные руки и ноги, голых, утративших свойства почитать и жить, пытались заставить говорить...

Крепок был Егор не только костью, ненасытной жаждой жизни был крепок. Сколько времени надо человеку, чтоб навсегда высохли у него глаза? Не обращать внимания на ползающих везде вшей, не слышать жалобных воплей, мольбы, стонов, всего безбрежного отчаяния? Или оскотиниться до такой степени, чтобы к обмусоленному, жгущему губы окурку, брошенному через проволоку охранником, кидаться толпой, в надежде затянуться один единственный разок? Перестать смотреть в идиотски мутные и затравленные глаза соседей по нарам и чувствовать в себе отталкивающее, страшное и жалкое сострадание к ближнему? Увы – мало. Множество народу, загнанного в тесные помещения, сутками находились в шуме, толкотне, духоте, грязи; ничто не тяготит человека, не озлобляет его так сильно, как жить голодным в ошалевшем человеческом стаде. Скрючившиеся тысячи людей, подобно привидениям, поодиночке и целыми партиями, то шли в одну сторону, то в другую, и везде натывались на колючую проволоку и зычные крики конвоиров. Через полгода точно какое-то большое окно вдруг открылось перед ним, он глядел в это окно и слышал раскаты грома, мощные и глухие... залепетали листьями осины, зашумели березы, тяжелые капли зашлепали по листе... Удивился: почему гроза, почему дождь, он явственно видит снег?

Весна 1950 года. Первое мая. Егор Полозов едет на новеньком тракторе ХТЗ-7 – гонит со станции в родную Шалагинскую МТС. На упряжной скобе привязаны две фляги с керосином, к сидению веревкой припутаны топор и лопата, ведро наброшено на кронштейн фары. Лопату и топор он купил в ларьке, сразу же топор насадил на топорнице, – выпросил у продавца березовое полено, а лопату на черешок. Ехал весь день; тяжела весенняя дорога, изрезанная полой водой; ревнивым хозяйским глазом видит Егор растрепанную дорогу, – нет, не скоро будут наши дороги такими гладкими да крепкими, какие видел в Германии, не до дорог; видит мельницу – с трудом держит

запруда тягость, и страсть запруда схожа с батистовой женской блузкой.

Будто спелые груди молодой сильной женщины, две рвущие волны селятся разорвать батист. От такого нелепого сравнения остановил трактор, прыгнул на землю, походил, разминая затекшие ноги, заглядывая в реку: жуть берёт, какая черная глубина под самой плотиной, в адовом водовороте; по обе стороны от водоворота вихрится песчаное дно,— то, старики говорили, что сам Водяной в карты играет сам с собой.

К вечеру природа задумалась: небо затянулось легкими прозрачными облаками. Потянул сиверко. Безвольно, как выпущенная из рук похоронка, косо летит через дорогу ястреб. Лес вдоль дороги стал угрюмиться, тьма властно пеленала мир в черные одежды. Не стал Егор рисковать: дорога незнакомая, он первооткрыватель в этом году, фара, вроде, освещает неплохо, а как забуксует? Кто его вытащит, кто услышит его крики в неведомом лесу?

Заглушил двигатель, воду слил, стал костёр разводить. Пожалел, что заглушил: при свете фары мог бы дров найти и натаскать быстро, а во тьме — на ощупь. Пригляделся: вроде, тучи раздвинулись, с востока моргнул бледной лампадкой месяц и пропал. Величественная пустошь вселенной, потопленная тёмным отчаянием...

Насобирали валежника, наломали еловых лап — стылая земля для здоровья вредна. Стоит Егор Полозов, кажется, что некто безликий из кустов за ним наблюдает. С трудом чиркнул спичкой, смоченная в керосине тряпка вспыхнула. Мир сразу преобразился, стал не таким подозрительным и страшным.

«Всё лагеря-я... Сусе Христе»,— перекрестился, сел на лапы, достал из сумки луковицу и бережно закутанный в платок матери остаток житного пирога. Отщипнул малюсенькую крошку, положил в рот, стал сосать.

В конце сентября 41-го уходил Егор Полозов на фронт. Поздним вечером пригнал свой колёсный трактор на машинный двор с прицепленной молотилкой, говорит сторожу, деду Филе:

– Ну, ночной директор, принимай. Будешь и трактористом, и машинистом. Двойная карточка.

– Прав на то нет, река ты, человек, – отвечает дед Филия. – На двор я тя пушу, а принимать... я бы, река ты, человек, молодуху какую на постой принял, а по железу – мой талан съел баран.

– Завтра к семи утра в военкомате быть как штык. Зайду вот, прошусь с родными... ну, не поминай лихом.

– Ты там поближе к котлу жмись, не садись на пищу святого Антония – корка, вода да пустая мечта.

«Эх, дед, дед... рассказал бы много про пищу святого Антония, жаль, не дожил ты...» – зимой 43-го расстреляли деда за воровство. Повёз на станцию мешки с горохом, выпросился у одних хозяев ночь перемять – сам на возу в тощей шубенке сидел, мешки караулил, лошадь завёл во двор, спрятал от мороза да ветра, да, видно, задремал с устатку. Утром хватать-похватать – два мешка свистнули. Никакого следствия не было. Счастливой птичкой-невеличкой слетела его смерть с рыльца маузера: тяжелый поезд шел с хриплым свистом, дед засмотрелся на танки на платформах...

Где-то под боком гремела текучим серебром река, где-то нестройно, с подслезной дрожью, как принудилровку отбывают опоздавшие на работу вдовы, а не от большой радости, пробовали голоса пичужки – далеко кулику до Петрова дня. Крепкая земля в первой декаде мая, студеная; до войны в плуг ставили пару крепких коней, пахали глубоко и чисто, отваливая ноздреватый с синевой пласт; после войны пахота мелкая, бабья, в плуг ставят тройку: коренником идёт старая кобыла, по боках на пристяжах бьются «пустоголовые» недомерки – двухлетки. Кобылу ни брань, ни кнут не берут, идёт, пока может, а как встала – выпрягай, то упадёт в постромках.

«Сусе Христе... – задумался Егор. Остро вспоминал он задавленные тучами бараки, оплетенные колючей проволокой, злобный собачий лай, обильные дожди, холод и... вечный голод. Три года плена. Каждое утро начиналось

с того, что ошупывал себя: неужели он ещё живой? До войны не успел выкосить все сенокосы, недопахал, недолюбил, до войны вся земля принадлежала ему в ширину и в длину, и до самой поднебесной синевы, после войны...— много ли земли надо живому? Три аршина, хоть живому, хоть мертвому. Три, пожалуй, лишку, в три аршина можно десять опустить...»

Поднимал глаза к мертвому небу,— осталось далеко небо юности, не прочесть в нём то, на что надеялся, о чём мечтал.

Сколько раз давал себе слово Егор Полозов не шевелить память, а как остался сам с собой наедине, наваливается на него тоска, изнывающее опустошение; год назад он схоронил мать,— надорвалась на колхозной работе, а ведь как любил её Егор, откладывал ласку и жалость к матери на потом; станет представлять мать, проводившую на фронт отца и троих сыновей, представит, как сидит она у окна, к косяку прислонившись, читает похоронки, скорбные складки легли у рта, и падают на её черные узловатые руки горькие слезы, и, кажется, волком завыл бы от боли. Отец и братья погибли, он один, и то бывший пленный, живой воротился. О сердца наших матерей! Годы идут, а матери всё плачут и рыдают по сгинувшим сыновьям.

Кривой с косым не беседуй: нельзя никому говорить, что ты прошёл четыре немецких концлагеря и один свой, советский, жаловаться на судьбу нельзя. Позорно жить бывшему военнопленному. Предатель, вот ты кто! А почему жив остался? Да потому, что винтовку кинул, в плен убёг, в плену хорошо кормили.

Пригрелся Егор, задремал. И снится ему сотни раз виденное: лежит он на шевелящихся трупах, вроде, живой, а вроде, представившейся, ждёт, когда под наваленную кучу тел натолкают побольше дров. Вот застыл над ним огромный, с грузным животом, с розово выбритой головой герр унтершарфюрер и палкой тычет в живот, потому живот Егора пробует защищаться, втягивается до самой

хребтины, а палка давит и давит... Очнулся, по лагерной привычке пощупал себя: живой. Живой!

«Сусе Христе...»

Подбросил Егор дровишек в огонь, посидел, опять прилёт.

Холодная земля в начале мая; утро начиналось с того, что черная масса, в кою была упрятана ревнивая ночь, стала шептаться невесть откуда взявшимся ветерком; ветерок, так боясь спугнуть мертвую тишину, осторожно обвил свежим морозцем всё великолепие природы и улетел прочь. Холодок забирается под рубаху и подумает, что надо вставать в дорогу, а думать нечего: надо вставать. Директор МТС товарищ Прусс, наверно, уже на ногах, с надеждой прислушивается к утру. Ждёт, ой как ждёт директор новый трактор!

Как просил областное руководство дать МТС гусеничный трактор, колёсные ХТЗ уже сняты с производства – совсем МТС обнищала техникой, обещали «Сталинца», да кто-то опередил, выканючил тяжелый трактор раньше его.

Хочет Егор идти за водой – не примёрзло, это хорошо! – смотрит, качается огонь в той стороне, откуда он ехал. Встал, глазам своим не верит: бредет колесей баба с фонарём в одной руке, в другой толстая сырая палка. Прихрамывает. Увидела трактор на дороге, ускорила ход, точно боясь, что тот сейчас скроется.

Подошла к угасающему костру усталая баба, без сил опустилась на еловые лапы, распустила шаль. На ногах большие мужские сапоги, в фуфайке и серых штанах с заплатой на колене.

– Царица небесная... Здравствуй, добрый человек. Не зря говорят: худое охапками, хорошее щепотью. Эдаких страхов натерпелась, на всю жизнь хватит. Хоть Бог надоумил фонарь взять... Товар везу в Шалагино, в сельпо. Ехало отъехало: ось у телеги лопнула. Брела да брела... Как тебя звать, спаситель ты мой?

– Егор.

– А меня Людмилой.

Женщина подтянула к себе левую ногу, носком правой стала пытаться стащить сапог.

Егор нагнулся, взялся за грязный сапог, помог.

– Горит нога-то. В потребсоюзе я работаю, как бы завскладом числюсь, а на самом деле – обыкновенный грузчик. В войну зимой грузили коровьи туши в вагоны, туша соскользнула с крюка да мне на ногу... Отправили меня в Шалагино с товаром, едь, велят, Николаевна, трактора уж идут и ты проедешь. Материю везу, обратно шкуры.

– Трактора идут, – хмыкнул Егор. – Через день-другой пахать надо выезжать, а шкуры и до просушки лежат. Товары ходовые?

– Всем богам по сапогам! Вот выйдешь победителем на пахоте, глядишь, рубахой одарят. Пособи, Егор. Фонарь взяла, а топора нет.

– Топор надо брать. А как пограбили бы?

– И не говори! Ровно-те за каждым кустом по головорезу стоит, нож точит, почитай всю ночь у кобыльей головы простояла, с кобылой разговоры вела.

Лицо у женщины грустное, утомленное, глаза круглые, испуганные. Загадывала: откажется, заведёт свой трактор и будет она слезы горькие лить со своим товаром. Лицом вроде сердитый, а голос приятный. Рослый, сухощавый, а рослые сухощавые мужики чаще всего покладистыми бывают.

Ещё раз с просьбой к Егору:

– Тут, недалеко. Это я шла долго, а тут... вон, за бугорком.

– Пошли, – сухо, отчужденно сказал Егор.

Идут они в обратную дорогу, Егор наперёд, Людмила с больной ногой, как может за ним, отстать не хочет. Разговорами намеренно сдерживает.

– На войне ты был, Егор?

– Был, – отвечает Егор.

– Долго?

– С октября 41-го.

– Надо же! Везучий какой... А мой Иванушко 8 января 42-го ушёл, а 8 марта получила похоронку, вот ведь как... два месяца. Подо Ржевом лежит. В танкистах, верно, был?

– Не-е, мост через реку в Сибири охранял.

– Надо же!.. Всю войну охранял?

– Всю.

– А мой столяром был. Написал поначалу, мол, гробы делает. Ну, думаю, при гробах жив останется. Куда там... Женат, Егор?

– Женат, – соврал Егор. – Трое у меня.

– У меня двое. Вся душа изболелась: у малого воспаление легких. Как-то они там, мои детушки? Наказала подружке Лидке повникать, дай-то Бог.

Едет Егор Полозов наперёд, Людмила сзади. Сидит она на крупе лошади, частушки просто так, время скоротать, поёт. Не слышит её Егор, грохочет его «коляска», шиповатые железные колёса рвут мягкую податливую глину. «Что же я не спросил-то, может, оставила пайку детишкам, сама голодом?» – спохватился Егор.

Остановился, подождал, пока подъедет женщина, идёт к ней с котомкой, в котомке самая малость хлеба и половина луковицы.

– Поешь, – протягивает ей сумку.

– Спасибо тебе, Егор, – трогательно сказала Людмила. – Сам-то, поди, не больно сыт?

– Главное – живой! Бери, не брезгуй.

Едут дальше.

Голодна была Людмила, а к еде не притронулась. Не побрезговала, нет, диву ли она далась, защемило ль её, только замолчала, песни петь перестала, слезливая полоса на душу легла. Наревелась, в думы ушла. Тащит воз лошаденка, сырая березовая ось скрипит да дымком легким курится. На скорую руку Егор её делал, но торовасто смастерил. «Крепкий мужик крепко и ладит, – мысленно похвалила Егора. – Крошки и те подал... непройстой мужик. Вот приеду в сельпо, да сразу к Дуське. Эта проходимка всё про него расскажет».

Расхохоталась: осенью приехала Дуська на станцию, привезла на американском «студебекере» шерсть да ивовое корьё, с шофером выпила и говорит Людмиле: надо мне до подруги дойти. Шофер в кабине спать улёгся. Воротилась от неизвестной подруги ближе к утру, идёт к калитке с высоко поднятой юбкой, запачканной свежеею грязью, белые чулки до колен черны. Раскраснелась от холода, – после бабьего лета морозило ночами, кончик носа тоже был красный, на впалых щеках застыли слезы. Спросила Людмила, что за подруга такая, вроде, я всех девок и баб на станции знаю. «Ради бога, Николаевна... омманул, сволочь!» Поведала: соблазнил её плоскоскулый однорукий конторщик Чадромцев, родом из деревни Горепекино, что в полчаса ходьбы от Шалыгина, – сосед Дуськи, только годами старше, в любви вечной клялся. Всегда чисто выбритый, подтянутый, якобы геройским капитаном на корабле был, обещал в жены взять, а оказалось, что женат – жена Дуську отхлестала вожжами. «Сволочная родовая! – негодует Дуська, а слезы так и бегут по щекам. – Брата у него летом бык задавил. Брат с фронта сбежал, восемь годов в лесу волком жил, в землянке скрывался, шли коровы, бык в землянку и бухнулся. А этот паразит... на шестом месяце я». «Гусь ещё тот этот Чадромцев! Я да я, мореход просоленный. Болтали бабы: потерял руку на Сухоне. Пьяный свалился с баржи – вроде матросом ходил, угодил прямиком под колесо буксира. Как это дезертир восемь годов ото всех прятаться мог? А зимами как?..»

Везёт Людмила мальцу Дуськиному побрякушку в подарок.

В мире господствовало солнце.

Сегодня не было отчаяния во всей встрече ласкового дня.

Ворочал тяжелое рулевое колесо Егор Полозов, часто оглядывался назад. За ним тащилась повозка, на лошади сидела проворная, работающая женщина. О такой ли жене он мечтал когда-то? Может быть, и мечтал. Может, не

мечтал. Давно другим стал Егор. Каждый в мире одинок. Каждый сам себе плаху метит и топор по шее вострит.

Остановил трактор, подождал подводу, идёт к Людмиле спрашивать:

– Не помнишь, старика зимой в 43-м на станции застрелили? Вором признали.

Отмечает Егор про себя, что глаза у женщины голубоватые, яркие, чрезвычайно упорные, словно она хочет пронзить насквозь.

– Что-то не помню... Вот как заключенным головы нацмены отрезали – видела. Заключенных везли железную дорогу строить, сколько-то их убежало. Показательная казнь была. Как баранам головы абреки резали. Нас с бабами заставили могилу копать. Ужас!

Теперь, при свете дня, Людмила разглядела своего спасителя: да, рослый мужик, сухощавый, белокурые волосы вились над сдавленным у висков лбом, брови лезли на серые глаза, нос тянулся к губам.

– Филей его звали... Филипп Никитич. «Река ты, человек» – присказка у деда была. Ладно, поехали.

Кончился лес, дорога шла полями. Трактор пошёл легче и лошадь, почуяв близость жилья, резвее потянула телегу.

Повеселела Людмила, сняла с себя фуфайку, бросила на воз. Сидит на лошади в красной кофте, улыбается светлому дню. Она удивительно похорошела – так ей самой казалось от подступившего хорошего настроения.

«Родня, должно быть, был расстрелянный. Правда, почему я про расстрел старика не знала?.. И никто после про то не говорил. А может, его застрелили за большим пакгаузом? В войну с боку пакгауза пристройка была, а вот что в той пристройке было?»

У директора Шалагинской МТС товарища Прусса вечно мрачный вид, глаза косые, смолистые гусарские усы прибраны под гребешок волос к волосу. Любит носить офицерские сапоги с длинными голенищами, белую фуражку военного покроя. Замполит Петров был против

решения директора посылать за трактором Егора Полозова.

– Пленный, – пояснил замполит.

– И что из того? – спросил директор.

– Сами понимаете, Алексей Иванович, – уклончиво говорит замполит. – Вы у нас, как говорится, без году неделю, прежний директор держал его на коротком поводке.

– На поводках держат собак, не так ли? Я интересовался в бухгалтерии: кто до самых морозов обмолачивал рожь, кто больше всех отработал на заготовке леса зимой, получается – Полозов. Кто польнюю пробил и вытащил из озера утопленный коммунистом Бабушкиным трактор? Или нормировщик кум Полозову? Механик – сват?.. Тот же Бабушкин увильнул от подписки на государственный заём, а Полозов подписался наравне с главным механиком и агрономом. Впредь, товарищ Петров, по некоторым вопросам размежемся: вы занимаетесь своим делом, а мне позвольте заниматься своим. Общей будет победа!

Замполит глядел на директора с долей интереса и долей уважения: как спокойно говорит директор о том, о чём у замполита головная боль, – где это откопали такого самоуверенного косоглазика явно с немецкой фамилией? Или этот пруссак не знает, что такое партийное мнение? Новые трактора надо давать только механизаторам коммунистам, уж не как бывшим пленным! На всякий случай замполит отложил «последнее слово всегда за партией» на потом – начиналась весенне-полевая кампания, предстояли собрания, митинги, встречи с хозяйственно партийными активами в колхозах, – замполит во время таких авральных недель спит не больше директора МТС.

Солнце стояло как раз над зданием бывшей кирпичной церкви, нынешней ремонтной мастерской Шалагинской МТС.

Ближе к проходной МТС собирается народ. Ещё бы: в МТС гонят новый трактор! Праздник! Гонит Егор Полозов.

– Свой своему и лёжа суёт, – желчно говорит длинноволосый тракторист Бабушкин. Черные волосы эти не

давали ему покоя, они поминутно сваливались ему на лоб, поэтому он поминутно же отмахивал их назад. Представить себе Бабушкина без этих отмахиваний было делом невозможным.

Мужики подъедают Бабушкина каверзными вопросами: в каких таких постельных связях состоит Егор Полозов с директором Пруссом?

– Эссэса недобитая, – злая ухмылка пробежала по губам Бабушкина и скривила рот. Борется сам с собой Бабушкин. Не говорит, шипеньем исходит.

У мужиков шипенье Бабушкина вызывает громкий смех, подковырки. Тракторист он так себе, а гонору, спеси, как блох в кобеле. Мило дело на партсобраниях добраться до трибуны и «калить» механиков, заправщицу, бригадиров тракторных отрядов, пронирыливых трактористов. Тот шельмует, другой приписывает, третий сговаривается с колхозным бригадиром и пашет только «песок», а «перечуенному» агроному давно пора дать в руки кувалду – кто агронома видел в поле с шагометром в руках? Где больше глины, туда и Бабушкина толкают. Плугарём кому немощную старуху или парнишку слабосильного дадут? Опять Бабушкину.

Нервным, порывистым, взволнованным стал Бабушкин. Отмахивает и отмахивает сваливающиеся на лоб волосы, ищет глазами директора МТС, хочется ему бросить в лицо директору обидное про предателей Родины.

Егора встречали как героя восторженными криками:

– Хрен им, не Москва-река!

– Села бабушка на шило, до чего же деду мило!.. Жми, Егор!

Трудно стороннему человеку угадать, кому «хрен», кому «Москва-река».

Тракторист Бабушкин ушёл прочь, – разобранный после купания двигатель нуждался в расточке коленчатого вала. Не мог Бабушкин слышать и видеть расплескавшуюся радость. Добили его пословицей про бабушку с шилом.

«Ничего,— мстительно думал он.— Петров кое-кому мозги вправит!»

Ой, как обрадовалась Дуська вошедшей в квартирку завскладом Людмиле Николаевне! Самоварчик поставила, бутылочку красного винца из подполья достала, из печки крынку кутьи вынула, маслица коровьего две ложки зачерпнула. С дальним прицелом Дуська угождает Людмиле Николаевне: вот чуть подрастёт ребеночек, опять в сельпо работать пойдёт. А Людмила Николаевна!.. Гром-баба! Держава-начальник! Пьют женщины винцо, подмигивают одна другой, разговоров у них много. Охали обе да ахали над рассказом Людмилы Николаевны про длинное её путешествие. Спит в зыбке Дуськино дитятко, погремушку гостя самолично к очепу приладила.

В гостях Людмила Николаевна чувствует себя как дома. К иным, ведь, в гости заходи да на ту половицу смотри, на которую ступишь, а тут... почёт да уважение!

— Что про батюшка не спросишь? — кивает головой на зыбку. Вроде строго спрашивает Людмила Николаевна Дуську, а в душе смеётся.

— К лешему такого батюшка! Омманщик поганой!

Хочет Людмила Николаевна, сказывает, как конторщику Чадромцеву женка скандал устроила: велела в подарок ей на день рождения купить сорочку или трусики моднющие, похвастать, мол, перед гостями, как её муж любит, а Чадромцев взял да штаны себе ватные купил. Ещё и упился в стельку.

Вызнала гостя, кого Дуська в крестные взяла.

— Крестной Валька напросилась, истопница наша сельповская. Около пекарни да эмтээсовских бань держится, воду возит, печи топит, грузить-выгружать помогает. Увидишь завтра. Лицо в оспинах, носишко вздернутый, душой суцая рабыня, на каждом шагу у нее «извините».

Весело в Дуськиной квартирке, уютно, тепло. Стены в новых обоях, часики-ходики знай себе постукивают. Нога у Людмилы отерпла, нить перестала.

– Такой мужик, такой мужик!.. Как он ловко ось вытесал!

– Завидующий мужик, – соглашается Дуська. – Только пленный.

– Да ты что?! А мне сказал, в Сибири всю войну мост охранял.

– Ой ли. Егор шибко языком не бьёт. Домой воротился в 47-м. Вроде, на медных рудниках держали.

– Надо же... А откуда ты хорошо про Егора знаешь?

– Так тетка моя заправщицей в МТС! Она меня и в сельпо-то пристроила, то бы и теперь поросят кормила в своём Горепекине. Такая тетка... ей бы в органах работать, всю подноготную выведать может. У них, у Полозовых, батя погуб под Курском, и старший Василий погуб, – кадровый был, лейтенант, на Карельском перешейке, и младший Яшка тоже погуб в Мясном Бору. Егор как уходил на фронт, полный подвал хлеба оставил. Мешки с зерном рядами стояли. Перед войной эмтэсовцам натурплата страсть большая была. А он работник был завидующий, его на броне держали. Потом уж, как Москве защита понадобилась – делать нечего: забрали всю бронь. Вот тем хлебом, что Егор заработал, много людей от смерти мать ихняя, царство ей небесное, Наталья Михайловна спасла. Перед войной и в колхозах на трудовень давали много, у нас в Горепекине чуть не три килограмма шло.

– Подал мне котомку свою, а в котомке ломоток ржаной, два раза укусить и половина луковицы... Да-а, Дуся, поголодал он, видно.

– Видно, – соглашается Дуська.

– А душу не растряс.

– Не растряс.

– Интересно... сам у немца был, а кто троих детишек настрогал?

– Да ты что, Людмила Николаевна! Какие детишки, соврал. Один он как перст. Вроде, не лежит на баб сердце.

– На тетку твою не лежит? – смеётся Людмила Николаевна. – Тётка ещё та розорва! Без мужика не живала.

Не успел тракторист Бабушкин пожаловаться замполиту на волевые решения нового директора. Ближе к вечеру явились два бравых милиционера, взяли Бабушкина прямо в мастерской под руки, повели. «Дайте, ребята, в бане ополоснуться да с семьёй проститься», – просит арестованный. «Успеешь», – ответил старший наряда. Идёт Бабушкин мимо мужиков, мечет косые взгляды, волосы со лба взмахами скидывает. Ему никто слова доброго не сказал, и он ни с кем не простился. Сгрудились мужики, обсуждают арест Бабушкина. Механика спрашивают, не по его ли «писуле» Бабушкина потащили в узилище?

– А я знаю? Может, от подписки на государственный заём отказался? С займом шутки худые... Чё уставились? Докладную я обязан на утопший трактор написать? Обязан. Керосин из бака куда ушёл? В воду. Сами знаете, за литр напрасно пролитого керосину что бывает? Ну, дак в чём моя вина, мужики?

– Замполит отмажет...

– Не отмажет. Струсит наш замполит. Вот партийное собрание не сегодня, так завтра соберёт и задним числом Бабушкина из списков выкинет.

– Не зря Прусса в райком партии тягали...

– Да-а... сколько дадут?

– Сколько не дадут, все его. Вон в колхозе «имени Кирова» бригадиру восемь лет за что влундили? – разрешил колхозникам картошку, что под снег ушла, копать. А тут трактор... халатностью не пахнет, статья на вредительство тянет. Десять как пить дать.

Не видел ареста Бабушкина Егор Полозов. Как пришёл домой, упал на кровать, прошептал «Сусе Христе» и заснул.

Председатель Шалагинского сельпо самолично отремонтировал телегу Людмилы. Мог бы он поставить её на железный ход – чего не поставить, мастерская рядом, да колес нет под железную ось. Приторочил на заднюю спинку телеги глиняный горшок с узким горлышком со смолой, как заскрипит, говорит Людмиле, мазни втулки.

Соленые шкуры скатали в рулоны, веревками перевязали, уложили в телегу. Председатель рад бы все шкуры отправить, да Людмила Николаевна согласие дала только на два центнера.

– Окстись, Михал Михалыч, мне ещё пожить охота.

И в ночь не поехала.

– Будет день, будет и пища. Натерпелась страхов за весь потребсоюз.

Пошла ночевать к Дуське.

Бригадир тракторного отряда получил от директора Прусса приказ: отряду выехать в колхоз имени Кирова, квартировать в деревне Горепекино. Пробовал бригадир сказать, что двигатель нового трактора обкатку не прошёл, нельзя его в борозду ставить, на что директор сказал: «Вперёд! Только вперёд!»

Ранним утречком на небе пролегла бледнорозовая полоска зари, на эту пугливую полоску настырно лезла серая туча-кикимора, видимо, желая заграбастать соню под свои одежды. Забежала Людмила к Егору Полозову поблагодарить его за доброту да проститься. Тот сумку собирал, квартирантам в деревнях не особо рады. Поставит бригадир на постой к какой-нибудь многодетной вдове, тут в пору не самому сытно харчиться, чужих ребяток кормить.

Отвесила низкий поклон от всего сердца.

– Ещё раз спасибо тебе, Егор Борисович.

– Полно давай, все мы люди, – говорит Егор. Ранней гостье он обрадовался. Живой человек избавлял его от ночных кошмаров, возвращал к действительности. Встретились глазами и какое-то время наблюдали друг друга. – Поезжай с Богом.

Оглядывает Людмила жилище Егора, видит во всем отсутствие женской руки; четыре полы да и те голы.

– Не в укор скажу: хозяйку в дом надо. Зашился ты с работами, себя обиходить некогда.

– Надо, – соглашается Егор.

Раскраснелась Людмила лицом, ступила ближе, смотрит с сосредоточенным вниманием, как бы желая заглянуть в душу упорными своими глазницами, и говорит:

– Люди мы случайные, ты меня не знаешь, и я тебя толком не знаю. А вот можешь мне на слово поверить?

– Ты к чему холщовый мех выворачиваешь?

Со стороны Егора полная непоколебимость; но ему вдруг стало невыносимо тяжело на душе, нервы до того расходились, что руки не могут затолкать в сумку завернутый в полотенце кусок сала.

– Сосватать тебя хочу, – тихим спокойным тоном говорит Людмила. – Есть у меня на примете девка хорошая, Лидка Губина, выучилась на учительницу, а работы учительницей на станции нет, так кассирит другой год, билеты продаёт. Всё при ней: хоть спереди, хоть сзади. Видная девка, работающая. Шить да вязать мастерица. Подбивают клинышки парни, а не идёт замуж и точка. Не гуляющая, в строгости себя блюдет, и характером – река ты, человек, как застреленный старик Филипп говорил...

Тут хлопает дверь, залетает бригадир тракторного отряда, с порога кричит:

– Каково лешего?

Увидел стоящую посреди избы возле Егора незнакомую бабу, оторопел, извинения попросил.

– Прусс выезд принимает. Сапоги надраены, китель белый... Ну-у, давай, чего резину тянешь! – И в двери.

– Женись тут. Придётся жену домовому воймовать, – усмехнулся Егор.

– На живую нитку сватовство мечу, а не пожалеешь. У вас в Шалагине учительствовать можно, школа семилетка, Лидка рада будет.

– Всё эта Дуська – сорока с её тетушкой длинноносой...

Сумку отложил в сторону, подошёл к божнице, перекрестился на образа, тихо молвил:

– Сусе Христе... Пленный я.

– И что из того? – Людмила подскочила к замершему, потупившемуся у икон Егору, за плечо схватила, на себя потянула.– У вас в сельсовете десятка два пленных, все глазами в земле оправдание себе ищут?

– Про всех не знаю...

Плечо под рукой Людмилы неловко шевельнулось.

– Ты мне поверь, уж я стопчу! Сирота она.

– С Дуськой невод такой завели? – улыбнулся жалобно.

– Без Дуськи. Да как, Егор Борисович?

– Сусе Христе... Уж как судьба. Пошли.

– Дай-ко я тебя поцелую на дорожку...

– Отстань-ко-о, эко в тебе бесово ребро възгралось, – отодвигает от себя Людмилу Егор, а та в рукав вцепилась.

– Река ты, человек, да река глубокая... Отвыкла, какая щека колючая... Вот отсеетесь, и приезжай к нам. Неужто начальство на личное обустройство трёх дней не даст? Век благодарить будешь, Егор Борисович!

– Сусе Христе...

Высоко над землей идёт запоздалый журавлиный угольник. Природа точно улыбалась сидящей на возу Людмиле Николаевне; в речке, по берегу которой шла дорога, отражались как в зеркале прибрежные кусты, проплывали всплывшие топляки... вожжи были брошены, лошадь, не нуждаясь в них, без понукания шла, по временам как-то покряхтывая, точно чихая. Возница знала норы своей кобылы: стань её торопить кнутом, терпит-терпит, остановится и давай бить обеими задними ногами в передок телеги. Весел сегодня мир. Две огромные корявые березы росли возле самой дороги. На вершинах этих берез грачи вили свои гнезда. Думами женщина осталась в избе Егора Полозова; вроде от мужицкого рукава отпустилась, а сердцем нет, уцепилось сердце в чужого мужика так крепко, что его невозможно оторвать. Заполонило её сердце некое открытие, и стояло перед ней всюду; с одной стороны глянуть – и чего в нём такого особенного? – не годами постаревший, какой-то серый, как забитый, с другой – совестливый, сметливый... а зай-

ти ему вперёд да назад воротиться – с той стороны до женской природы равнодушный, не ласковый, как непричесанный, с другой, – а какому ему быть, обласканному немецкими лагерями?.. «Господи-и, во сне не приснишь: как тогда солдаты нерусские сбежавшим заключенным головы отрезали!..»

Купавы

В низине, обжатой рекой и увалом, присели избы. Это – деревня Купавы.

Невзрачный мужичок ступил ранним утром с крыльца на податливый снег и оробел: что гигантская птица встрепенулась перед ним в паутине сникающих теней неоглядная окрестность, попыталась взлететь, белесыми крыльями обмахнув крыши изб, хлевов, сеновалов, стоящий под березой у соседей трактор и вжалась в утро; земля покоилась в предрассветной неге, и стволы деревьев стояли на ней величественно и настороженно, как часовые на посту.

В лицо пахнула стылая сырость. Улыбка забродила на губах мужичка; на минуту, или на две, забылся он в тайной, подавляющей пустынности, даже зажмурился – до чего же любя ты, моя сторона! При виде такой картины, подумал человек о пробуждающейся силе природы, встретившей его; скоро дожди раскуют зачоченевшее царство, проснутся лога, напитанные водой, из путевой дали повеет какой-то дразнящей ободряющей пахучей полнотой, зашумит река... тысячи льдин, издали похожих на рассыпанные леденцы, обсосанные дорогой водой и солнцем, станут наезжать друг на друга, тонуть и всплывать... воображение обняло человека своими широкими объятиями, и как-то родственно отозвалось в душе, расшевелило в ней давно забытые струны; что-то вроде надежды на лучшую жизнь, заторопилось благодарить Бога. У людей в этом мире промысел тайный – верно. Ох и широка же жизнь, разводиста! – конца краю мечтам

нет, да вот узки, скользки стежки-дорожки, всё ступить некуда. Оглянулся на отжитое – где ступал, там и оступался; куда бы перстом не ткнул – пусто. На божнице пусто... что в пространство кулаком стучать, в лоб своей стучи, – тут мысль запнулась и тупо разогнулась – глаза уперлись в соседский трактор, сморщенный и сутулый, издали как обросший мхом лишайником в этот переметный час. «Э-э... – болезненно сморщил лицо мужичок, и всё напряглось в нём буграми, потому как были на то причины, и развернулся, подбочась, точно приготовился к драке. – Отжитое к несбывшемуся прикладываю – дурак, вроде как в кармане про запас ещё одну жизнь держу. И то: оступался... Силён задним умом всякий, будто однажды достану из кармана вторую, ангельского разумения, и на этот раз всё по совести, по честности, по-божески жить стану. Неправда: и вторую изживу, и десятую, будь они у меня, с ошибками и никогда желаемое не совпадёт с действительным, потому как нет предела мечтам». Ему даже показалось, что смазанный утрешними красками трактор выдал в его сторону участливое презрение к нему – давнишнее соседское презрение, и потому надо обязательно подстраховаться если не заискивающей, то угодливой улыбкой. «Вот ведь... привык-то как, будто мы с ним два полоза одних саней... Ровно-те на Крешенье жгучий мороз под вечер выползает с уходящим солнцем – одним валенком в своей избе живу, другим у соседа гошу. И то сказать: в голове соседа, должно быть, одна пустота да полное удаление от тягот земных...»

Сравнил мужичок себя с соседом и выбрал себя: ему ли с соседом тягаться? Принизил он соседа, возгордился, а отчего бы? Не захотел пускать его в эти пристальные к жизни тихие, редкие, даже святые минуты, явившиеся к нему из недр земных, или сказка, которую говорит земля только детству, окутала его душу мудростью и теплотой, он слышит, а сосед спит да храпит?

Мысль у человека развязывается наедине с самим собой и то не сразу. Встань посреди своей избы, – чем изба

не деревенская улица! долго вслушивайся вкрапившую твои шаги тишину, и когда покажется, что во всем доме ты один и изба твоя что часовня, начни говорить сам с собой. Не говори слов вслух, слова отпугивают... как и назвать то, что просачивается внутрь: душа ли, вечность ли, или некая осязательность,— это нечто, не поддающееся описанию, не раз потом вспомнится ночами. С колокольный звон срывается по стенам и уходит в землю, и земля как плывет из-под ног от того звона, а возмись услышать звон не звонящего колокола, а *свою церковь* вывести умом в дымчатой сини?

Почувствуешь, как до бешенства вооружился против своей жизненной установки, значит, наговорился, — можно что-то людям поведать. Тайно многое из того, что руки делают, о чём голова ногам покою не даёт, о чём надо бы сказать да век то не скажется.

Весной солнце задиристое, хлесткое; чего ему ёжится от озноба, чего задиристу не быть, коль каждый день обновляется, румянится, то подтачивает снежную перину, то отжимает оную?

Сошлись утром два соседа, Василий Сероухов да Александр Портновский, волею случая столкнулись, пришлось Василию первому руку боязливо здороваться тянуть, Александру принять её в свою клешню. Василия Сероухова зовут на деревне Фимушкой, Александра ещё в школе прозвали Портосом. Соседствуют Фимушка с Портосом, Фимушка — угодник в деревне Купавы, боже упаси для него нарваться на грубость. Встретились возле бань,— оба в субботу затоплять вышли; баню, по совету тестя да по своему разумению, Фимины поставили рядом с Портновскими на озадках — ястреб возле своего гнезда и мышь защитит. Малорослому Фимушке проскочить бы бочком мимо загородившего дорогу, с долей издевки оглядывающего его соседа верзилы, да Портос как навис, будто в музее антропологии выискивает признаки вырождения человеческого рода. Лицо у Фимушки круглое, гладко выбритое, с красной мощной лысиной во всё

темя, руки-ноги тонкой кости. К физическим недостаткам приклеились пускай уже подзабытые, но моральные издержки: не взяла в сельсовете молодая жена фамилию мужа – посчитала фамилию мужа собачьей – чего доброго детей прозовут на деревне волчками-шариками; родится ребенок – сама в сельсовет сходит и запишет на свою фамилию. Так и потерял Василий Сероухов своё лицо, стал Фимушкой-домовиком.

Раз молоденькая бухгалтерша из приезжих с чьей-то нехорошей подачи записала Василия Сероухова Фиминым – на Руси много любителей потешиться, стал Василий деньги в кассе получать и видит, как его публично высекли. Приняло лицо его плачущее выражение, стал он тяжело вздыхать и крутить головой и, не выдержав, побрёл прочь из конторы. Больше в конторе за порогом не бывал. Портос – глыба, а голосина!.. Весь сельсовет знает, как Сашка Портновский прозвище получил. Вызывает его к доске старенькая учительница Поликсения Аввакумовна, расскажи, говорит, Саша, как «революционэры» снесли Бастилию, знаменитую французскую тюрьму.

Любила Поликсения Аввакумовна придать революциям пролетарское презрение и справедливый коммунистический гнев. Саша Портновский стал сочинять, как мушкетер Портос первым ворвался в тюрьму, хватал от трёх до пяти стражников и сбрасывал со стен. В раж вошёл, говорит, как подкупленные тюремщики связали храброго Портоса и отправили на каторгу в Россию. Вот, поясняет, откуда пошли Портновские в нашем сельсовете, от сильного корня, от мушкетера Портоса, а вовсе не от портных, что с аршином за мухами гоняются. Класс дождался, когда Поликсения Аввакумовна засмеялась, и стал хохотать.

«Иди уж, Портос, троечка с минусом». На следующем уроке Поликсения Аввакумовна едва за стол села да журнал успеваемости открыла, вызывает к доске «...ну-с, самозванный Портос, минус надо ликвидировать». Саша покраснел, к доске вышел, и давай рокотать густым басом – учительница обоими руками машет: замолчи. Так

и пошёл Саша Портновский по жизни Портосом. Во всем Портос любит первенство. Пришёл новый трактор – механик к Портосу на совет: «Как, Иваныч, думаешь? Если я вот такому-то отдам?» Характером был нелюдим и горд – встретится даже с председателем колхоза, обязательно отвернется, будто заметил что-то оброненное – ни к чему, мол, мне ваши «здравствуйте». Завелась в сельсовете свадьба, молодые по наставлению родителей примолвят Портосу: «...просим, Александр Иванович...». На праздниках Портос напивается под завязку, как начнутся танцы – много ли в деревенской избе, заставленной столами, места для танцев? – станут широкие плечи подергиваться сами собой, со свистом ринется со своего места на середину избы и начнёт «давать жизни». В неестественно веселом расположении духа становится Портос, с неопишуемым восторгом отбивает лихой трепак, пол под ним ходуном ходит.

– Щё-о, тр-рактор выр-рываешь? – не спросил, пустую бочку уронил Портос.

От бегло сверкнувших как зарницы глаз предчувствий бессильно обмяк Фимушка и говорит, а голос его обрывается:

– Сам посуди, Иваныч: дом брата продал, деньжата есть... зять... власти дышло на частную собственность воротят, вот... теща и тесть согласны...

– Мало тебе батько уши др-рал.

Сжался Фимушка; ждал он, не зная чем провинившийся, ту минуту, когда придётся держать ответ перед Портосом. Как под нахлынувшей со всех сторон водой, вобрал в себя руки-ноги и мысли, сказал, упрямо качнув головой:

– К тому дело идёт!

– На щё-о тебе новый? В железе ты гусь лапчатый... угр-робишь.

Фимушка виду не подал, что обиделся от такой нелестной характеристики. Когда-то, как и Портос, учился он на тракториста, но заветных «прав» не получил: перед

самыми экзаменами отравился консервами и пробыл в больнице почти месяц. Потом женился, вернее, «в дом вошёл». Год-другой «домовиком» на деревне называли, потом перестали подклинивать: мухи Фимушка не обидит, со всеми приветлив, ко всем со всей душой. Случается, сосед «сносит Бастилию» – является домой пьяный, Фимины пребывают в страхе. Трещат доски – коронный номер соседа разбивать стулья о дощатые стены веранды. Окна, естественно, вылетают в первую очередь. Сядет пьяный и дурной на колченогом стуле у стены, значительно улыбается долго и неопределённо; идёт мать, он мать обнимает, целует, прощения просит. Мать гладит сына по голове, шепчет ему в ухо приятные речи, Портос вскочит, мать на руки берёт и заходит с ней в избу. «А ты...– всячески бранит жену,– уносишь к лешему!»

– Немножко-то...

– Учиться надо на стар-ром. На колхозном. Леший с ним, с колхозным-то. Угр-робил – другой дадут, а тут свой... б-бар-раном надо быть, в колхозе жить да свой тр-рактор заводить. Вон у меня кар-рько под окнами стоит, шер-реть кислую из него вымну и сэпэтэушнику: учись на стар-реньком.

– Ты на заседание правления заявление написал...

– «Пр-ротив» пр-роголосую! Ишь, кулачина из пер-релога вылез! Тр-рактор на колхоз поступит, потом как ещё правленцы посмотрят на такой др-рамтеатр, пр-редседатель пойдёт пр-росить упр-равление сельского хозяйства сделать такому Фимушке снисхождение... А кто такой ваш Фимушка, спр-росят? А так себе, р-рядовой – пехотный Ваня. У тя хоть маленькая гр-рамота за удар-рный тр-руд есть?.. То-то.

– Когда бы и твою полосу подкосил... А хвати по грибы-ягоды ехать?

– Отстань ты со своими гр-рибами! Взял моду тещу с бабой слушать! По бабам не тяни, ну их в болото, ведьм этих!

Разминулись; мужики своё дело сделали, за топкой печей в банях будут следить хозяйки.

Намеренно нагнул Фимушка лысую голову к долу – обязательно оглянется Портос, любо ему видеть, что соседа проняли его умные речи, – шмыг за поленницу дров и смотрит, – уходит Портос. Сел у хлева на кособокий старинной работы стул, облокотился на стену и, по-видимому, стал глубоко обдумывать идею, вероятно, ту самую, с покупкой соседями трактора. Поволоклось от бань то ненужное, что было в Портосе, стало просторнее между огородами, даже дышится легче.

Сойдутся Нина Фиминова с Марией Портновской, Мария не сдержится, надо ей высказаться, надо выплакаться. Подол платья поднимает, синяки на теле показывает.

– Говорила матушка: «Не кажи людям душу, люди могут тебя распять»...

– Што ты, што ты, Мария! Разве слово недоброе я про вас выпустила?!

– Твой золотник мал, да дорог, а мой... «р-революционер»! – плачет Мария.

– Понимаю тебя, соседка, понимаю...

– Ничего ты не понимаешь. Ты из-за стены видишь, ты на себе не испытала... Бог надоумил: парень и девка после школы по городам подались. Как представляю, что батько с сыном сошлись в рукопашную!..

– Оборони, господи!

– В вашем доме раздолье бабьему голосу, а у нас!..

Залаяла собака с широким горлом. Мария Портновская ойкнула, с тихим испугом оглядывается на свой двор и облегченно вздыхает. И говорит, говорит, странно спеша; вдруг улыбнулась большим лицом. Заколыхалась улыбка, плотная, сворованная, улыбка утопила глаза в складках век, и остались только две искристо-жуткие точки, где-то там давным-давно кончился счастливый бабий век и сгинула бабья страсть...

Все выше и выше поднималось весеннее солнце – зима, притушив свою тощую светом лампаду, убиралась

на север. Все роскошнее и впечатлительнее становится деревенский день. По рассказам чудаковатой бабки Александры Фиминой, она в эту пору который год видит примерно одинаковую картину: именно в заморенной долгой стужей дали сначала осядут мути бескрайние, не надолго зайантарится острый и больной для глаз свет, начнут облака толпиться и сваливаться, а как просветит небо синее, так и родится новая жизнь. То, что птицы весну на крыльях несут – и снова чистая правда; детская сказка, с детства осветившая нас светлым, что может быть чище детской памяти? Якобы выползает из сырых пеленок любимое природой невинное дитя, не мешкая долго, упирается крепкими ножками в твердь земную, умывается ослепительно блестящим подтаявшим снегом, и давай бегать между белыми березами, печальными осинами да начавшими уже молодиться елями. А то согнёт две вершины – чем не качели? и давай взлетать под самые лазурные небеса. Или озабоченно аукает, а то хохочет разымчивым хохотом, вот ближе к вечеру заливается неутешным плачем: оно и понятно: день – блеск, тепло, радость, вот наступит ночь, из обманутых лаской полей выползёт холод... как дожить до завтрашнего утра?

Про свои видения бабка Александра рассказывает в магазине. Народу много, когда-де машина с хлебом придёт. Народ не удивляется: восьмой десяток старуха доживает, в таком возрасте не все с головой дружат. Не перебивают, не подсмеиваются и каверзных вопросов не задают. Все знают, что бабка страстно любит птичий мир, любит лес, обладает необыкновенно тонким пониманием погоды, разбирается в травах. Она точно скажет «голос» того или иного петуха в деревне – рот раскроет, взгляд восторжен и туманен, будто людей не видит, продолжает слушать весеннюю сказку, обаяние светлой картины утра, развернувшегося в воображении бабки так велико, что она вздрагивает, как одумавшись; как надломленное ветром дерево, заскрипит что-то у неё в горле, она по горлу сухими перстами пощёплет, и скажет:

– Как и успеть... С улицы бы не сошёл.

Стали свои огороды пахать, все пришли в какое-то нетерпеливое положение. Ясно, все вспашут, но когда вспашут? Пускай будет у Фиминых возможность перехватить тракториста, можно ли им опередить Портновских? Ни в коем случае! Вот когда Портос свой огород вспашет, тогда можно пахать и Фиминым. Дождались Фимины, вспахал Портос свои сотки. Довольный качеством пахоты, хорошей погодой, спелой почвой, прошёлся бороздой взад-вперёд, должно быть посмеивается себе втихомолку.

– Завтра и мы, – говорит бабка Александра своему Ивану.

Сидят старики на «пригривенке» – место солнечное, тихое, они много чего видят, их никто не видит. У Александры на руках кот Кука. Молодой, сильный котиче, шерстка на нём сверкает. Начал кот беспокоиться, сторожиться, Иван и говорит:

– Крысу чует. Отпусти.

Александра кота с рук стряхнула, кот напрямик к нейтральной меже подался. Гля, навстречу Куке правится той бороздой, по которой Портос вышагивал, кот Тимур. Кука дымчатого окраса, Тимур чёрного. Сошлись как витязи на бранном поле, принялись один другого задирать, обидными речами поносить, страхом давить. Александра и Иван замерли. Охота обоим, чтоб ихний Кука надрал Тимуру морду. Пошла драка нешуточная. Верх берёт Кука – Александра и Иван встали, готовые приветствовать своего героя, откуда ни возьмись бежит Портос, да как пнул ногой в резиновом сапожище Куку... взлетел Кука, в полете последний раз мякнул и пал мертвым на свою территорию.

У Ивана дыхание перехватило. Клюшкой трясёт, готов бросится на злодея... Александра Ивана за шею к земле прижимает: молчи, молчи, батько!

Похоронили Куку со слезами, с обещанием поднять другого Куку, чтоб не только Портосова кота давил, самому Портосу горло перегрыз.

Иван пришёл к зятю Фимушке и сказал твёрдо:

– Сейгод соседа пахать не зови, не свет клином на нём сошёлся!

Фимушка озадачился, но воли тестевой не переступил: вечерком наведалься в среднюю школу, за семь километров на велосипеде сгонял, – учитель по машиноведению, внук покойной Поликсении Аввакумовны, согласился пахать, только, говорит, плуга у него самодельные, для себя «ковыряю», как другим угодить?..

– И ещё условие: пить не пью и денег рубля не возьму!

– Царство небесное Поликсении Аввакумовне. Мудро говорила: «Счастлив тот, где правда прибыльна, кто своими волами обрабатывает отцовскую землю, кто познаёт себя в час немощный, кто отличает прямое от кривого, кто познаёт себя в час развернутой жизни».

Середкой дня, когда Фимушка, Нина, зять ветеринар и дочь портниха были на работе, в огород к Фиминым заехал школьный трактор. Тракторист даже из кабины не вышел. Плуга опустил и развалил огородец как рыбник надвое. Прямо по грядам, по торчащим с осени капустным кочерыжкам.

Александра к Ивану:

– Ты глянь, батько, ты глянь!.. Веком так никто не пахал!

– Ну и голова – ан! – удивляется дед Иван. – Этот точно с институтом! Это чей же такой?!.. Вот как пахать надо, а то этот... гробина, пока его уважишь, пока литру не выжрет... сколько годов по одному месту борозда, прошлый год весь желтик выворотил, и не скажи... Картошкиросло с гулькин хрен.

Стали картошки сажать, привезли бабке Александре правнука Митю. До осени, сказала, внука, а осенью в школу. Трижды чмокнула бабка Александра правнучка в щеку, но Митя после каждого поцелуя успевал-таки утереться ладошкой. Александра с мужем своим Иваном на отшибе живут, в отдельной избушке. Они – «старая бабка» и «старый дед». «Молодой дед» и «молодая бабка» – Василий да Нина, живут вместе с дочерью, зятем

ветеринаром и двумя внучками. «Старый дед» нет-нет да сердито скажет «молодому деду», то есть своему зятю Фимушке: «Да што такое творится! У меня одни девки, у тебя одни девки, у девок – девки, эдак весь наш род под корень пойдёт!» «Девки – те же детки, – ответит Фимушка «молодой дед», – уж видно так богу угодно... не богато, конечно, мужиками, один... вдруг да мужиков наши дочери понесут?..»

Шустрый, ох пострел этот Митя! «старый дед» готов на веревку привязать Митю к себе, да разве его удержишь? Вышел на улицу, на скамейку присел, клюшку к стене избы приставил, молоток из голенища сапога достаёт, по скамейке ладонью бьёт, Митю садиться зовёт. Орехов в магазин навезли – орешками заманивает, про город спрашивает. Мите молоток вручает, мол, бей не жалей. Митя десяток орехов разбил, молоток кинет, побежал. На все просьбы и увещевания «старого деда» у него один ответ:

– Отстань, дед!

Почти в тот же день, как Фиминым привезли Митю, соседи Портновские обзавелись девочкой Таней. Сын привёз из Москвы. Лицом по бабке Марии пошла, с надменно поджатыми губами, телом по деду – рослая, ядрёная. Как и бабка имеет привычку украдкой коситься по сторонам и, лишь заговорив, медленно поднимает ресницы. Страшная модница. Платьвица носит коротенькие, волосы на затылке резинкой стягивает, с Митей не поладили – сделает лицо невозмутимо серьезным, повернется и пошла домой. Напрасно Митя уговаривает ещё поиграть, остаток дня Таня проведёт в обществе бабки Марии. Митя со своими двоюродными сестрами не водится, сестрицы годами старше, вечерами в кино бегают в соседнюю деревню.

«Старая бабка» Митю кричит, из-под руки высматривает, а «молодая бабка», если дома, со своего крыльца помогает:

– У соседей!

«Старый дед» клятвенно заверил внучку каждый день докладывать о здоровье Мити. Митя у него как соринка в глазу. Телефоном деревня обзавелась: Ивану Фимину, как заслуженному вояке, через военкомат удалось выхлопотать телефон. Поставили Фиминым полевую радиомачту, со всей деревни идёт народ «брякнуть нашим». «Старый дед» вечером очки на нос водружает – «старая бабка» в такую ответственную минуту обязана своими сковородниками не брэнчать, посудой не греметь, а смиренно сидеть, набирает номер телефона:

– Аллэ... аллэ-ё, это ты, молодая?

У «старого деда» все бабы на один распев: «молодые».

Правнук Митя подкрадётся из-под стола – телефон стоит в углу за столом на широкой лавке, и незаметно надавит пальчиком рычажок аппарата.

– Да кой ляд... опять провода нахлестнуло где-то... Аллэ-ё! Вот ещё враги-то!

«Старая бабка» видит проделки Мити, но молчит, улыбается.

«Старый дед» расстроится, нерадивых радистов бранит, велит Александре звать «молодого деда». Александра ковыляет к дочери с зятем в гости, благо причина уважительная. Посидит, о том, о сём поговорят, пускай Митя побудет в нетерпении. У «молодого деда» аппарат работает исправно, потому как «старая бабка» Митю-проказника силой держит, чтоб рычажок не нажимал, пусть маленькая тайна будет ихней тайной. «Молодой дед» Фимушка смеётся:

– Какие провода, дед? Вроде, проводов над крышей нет.

– Нет-нет... где-то есть, так бы откуль взялось...

Нине Фиминой остался год до пенсии. Большой трудовой стаж у неё и всё в животноводстве. Стали ноги уставать, стали кости к непогоде болеть. Уговорила зоотехник «...ради бога, попаси этим летом, благо пасти в клетках» – так зовётся отбитое изгородью пастбище. Фимушка был против, да разве он в доме за «большую сноху?» Раз со-

гласилась Нина пасти – мнение Фимушки во внимание не принято. Зато принято во внимание желание занять свой трактор, своего «таракашку» – юркий, проходимый, мало топлива расходующий Т-25: Нина только «за». Конечно, Фимушка и Нина много говорили на эту тему между собой, мнение зятя ветеринара и дочери портнихи выслушали, и предполагаемое мнение соседей учитывали. Идти против Портоса опасно, но и всю жизнь в страхе жить – противно. Марии, той всё равно – обзаведутся Фимины железным конём или нет. Скорее согласна будет: всей водки не перепить, не все калымы её мужу сшибать, пускай и Фимушка покосит, попашет.

Зовёт бабка Александра правнучка Митю «по угорам ходить». И «старый дед» поддакивает:

– Учись, Митя, травку узнавать. Учись птичек слушать.

Притомились; сидят бабка с Митей на самом затылке угора. Бабкина корзина-плетенушка полна одной ей ведомых листочков да корешков. Внизу речка бежит, выше – что грива необъезженного скакуна разбежался шелковистый березовый перелесок, и тесно сегодня в том перелеске от нежного свиста и горластого карканья. Бабка показывает батожком на огромный серый камень-валун:

– Вот, Митя, этот камень не простой, под ним клад заветный лежит. Ты деда Танькиного знаешь ведь?

Митя подбежал к камню, на коленки встал, ручонками землю начинает выгребать. Вдруг с визгом бежит под защиту бабки. Оказывается, свалилась сверху камня ящерица и прямо Мите за шиворот рубашки, пока бежал – выскользнула.

– Да ты дослушай сначала...

Пригнала Нина Фимины колхозных коров на ферму, бабы доярки встречают, каждая «своих» отделяет от «чужих». Крики, ругань, коровы «привезли» на себе полчища оводов и рвутся в помещение.

– Трактор вам привезли, – говорят доярки Нине.

Не знает Нина – радоваться ей или нет. Быстрее домой.

Трактор «Сельхозтехника» доставили владельцу прямо на его улицу. Оказывается, управляющий «Сельхозтехники» зимой лежал в больнице вместе с Фимушкой – кровати стояли рядом. Управляющий маялся спиной, у Фимушки резко упал гемоглобин в крови. Тогда-то Фимушка и поведал про желание занять свой «тракторчишко». Понравился управляющему Фимушка: простой, не требовательный и очень порядочный. С других кроватей в палате какой только гадости не плывёт в адрес начальников от бригадира до Генерального секретаря, а Фимушка нет-нет да скажет:

– Никто про себя не знает, тайна. Пока на жердочке петух сидит, одно поёт; слетел, от белого свету ошалел – другое.

Вот и наказал управляющий шоферу груз доставить по назначению без всяких проволочек, то есть, минуя колхозные мастерские, где обычно разгружают новую технику. Приходит шофер в контору подписывать путевой лист, бухгалтерша в крик:

– Нет решения правления продавать трактор Фиминым!

– А я при чём? Я раб лампы, как говорит джин. Что велят, то и делаю. Пошли всей конторой обратно грузить.

Как назло ни председателя колхоза, ни механика нет, бухгалтерша покричала да и подписала путевой лист, решив про себя, что быстренько механик даст команду Портосу отбуксировать трактор в мастерские.

А Портос обиделся. Ой, как обиделся! И на колхозное руководство, и на соседей Фиминых. Он член правления, председатель обязан был вопрос согласовать с ним; механик «на вороной объехал» – даже прав у Фимушки нет, а на тебе, Фимушка, новенький трактор! Этой весной огород пахать не пригласили, это как понимать?.. Силу почуяли?!

Ходит Фимушка вокруг трактора, любитесь. Инструкцию по эксплуатации достал, сел на табурет, изучает.

Нина трактор обошла кругом, на Фимушку смотрит недоверчивым взглядом.

– Как так получилось-то? Вроде как бесплатно, а?

На речь жены Фимушка многозначительно подмаргивал глазом от распирающего удовольствия, улыбался.

– Што и без денег?.. У тя и прав нет... и косилки нет, как косить-то собираешься?

– Была бы шея, а хомут?.. Правильно: сыщется. Заплатим.

– Видел уже? – спрашивает Нина и кивает головой на соседей.

– Пока гроза мимо ходит.

– Ой, Вася, Вася, до чего мне страшно стало?.. Пока трактор на своей улице не видела, вроде спокойнее жилось, а теперь – сердце обмирает.

На другое утро механик прилетел на мотоцикле к Портосу, просит «недоразумение ликвидировать», то есть, притащить сгруженный на улицу Фиминых трактор в мастерскую на буксире.

Портос пальцы сложил кукишем, и кукиш едва не в глаз механику сунул. Механик из избы вон, на мотоцикл вскочил и по газам.

Председатель колхоза пожаловал, с Фимушкой, занятым изучением инструкции, здороваются. Нина вышла к такому важному гостю.

Атмосфера на улице словно наполнена не воздухом, а самим временем, которое пахнет свежей заводской краской; председатель из приличия долго не заводит разговор. Широкое жирное лицо его выражало сдерживаемое озлобление, озабоченность и грусть.

– Как и быть,– говорит председатель как бы сквозь слезы, между тем, как в груди клокотал настоящий шторм,– ведь сожру-ут. Я как между молотом и наковальней. Господи-и, это же основны-ые фонды-ы, поймите же вы-ы!

– А брякни на всякий случай секретарю райкома, что и присоветует,– говорит Нина.

Председателя как повело от такого совета. Подозрительно прищуривает глаз: вот до чего наглые эти Фимины стали!

И, беспомощно скрестив на толстом брюхе руки, грустно и злобно смотрит на новенький трактор. С одной стороны – да черт с ним и с трактором, их в колхозе навалом, с другой – как это он разрешение даст: нарушение Устава!

– А чего... чего райком-то? – спрашивает председатель, сглатывая слюну. Он будто воочию видит, как тайная партийная сила берёт его за горло и тащит совсем не туда, куда ему надо бы... – То-то я, думаю, сгружают... Фу, с копылков сорвало: зять-то у вас с инструктором райкома однокашники!

Председатель уезжает.

– Ну, – задорно смеётся Нина, – отвоевали.

– А как позвонит? – худо верит Фимушка.

– Не-е, кишка слаба! Против шерсти погладят. Струсит! Знаю я этих партийцев долбанных. Нет худа без добра: пригодились красные корочки зятя!

День идёт, и неделя проходит. Фимушка освоился, по своей улице тихонько ездит взад-вперёд. Зять говорит, что списанную тракторную косилку стоптал в колхозе, поехали навешивать.

Решился Фимушка: поехали.

Механик капризничает: задело его самолюбие председательское распоряжение насчёт косилки. Подвёл к куче металлолома: выбирайте. А сам слинял.

Подруливает к той куче молодой тракторист на Т-25 с навешенной косилкой – что-то у него поломалось, зять ветеринар к нему. Отвёл чуть в сторону и шепчет на ухо:

– Выручай. Механик – волк тамбовский, я – чайник чайником в железе и тестюха не особо тянет. Литра спирту за мной.

Парень и косилку навесить помог, и всяких частей нашёл много. Со своей косилки весь брус скрутил...

– Не похвалят тебя за это, – укоризненно говорит ему ветеринар.

– Не трусь, Маруся, я – Дубровский! – скалит зубы тракторист.

На другой день ближе к вечеру Фимушка выехал в клеверное поле, ближе к кустам, боясь травостой помять, стал косилку настраивать.

Настроил! Благо тот парень, что брус ему свой отдал, то поле косил. Дивится Фимушка: где он брус с пальцами и ножом около ночи добыл? Потом, думал, огородит парень литру спирту, верную неделю проспит где-нибудь на потолке бани, а парень как стеклышко трезв.

– Как тебя по отчеству? – неожиданно спрашивает парень Фимушку.

– А зачем тебе моё отчество?

– По возрасту – отец, по статусу – свой брат механизатор, стало быть, следует принять тебя в нашу мазутную партию.

– Константинович, – тихо сказал Фимушка.

От слов парня сделалось лицо Фимушки мужественно смуглым в лучах заходящего солнца, глаза широко раскрылись, зрачки заблестали каким-то лукавством, сметкой какой-то, говорящей как будто: «А то!»

– Константинович, командовать парадом буду я, не обижайся. С зятя твоего еще спиртику запрошу – у одного мазурика в райцентре двигатель к мотоциклу выцыганить надо.

Ещё через день...

Трещит вырванная с мясом калитка – сосед Портос идёт в гости к Фиминым. Пьяный. Сбычился, кулаки сжаты. Фимушка прижался спиной к заднему колесу трактора, ни жив, ни мёртв. Через кожу на лысине проступил пот.

Портос попинал переднее колесо, смачно плюнул на лобовое стекло кабины. Видит страдальческое лицо Фимушки, пессимизм его только усугубляется.

– Скр-ручивай фар-рры! Фонар-ри скр-ручивай! – рычит басовая лава.

– Не надо, Иваны-ыч... Зачем? – затянул Фимушка голосом, похожим на крик голодного козленка.

– Дур-рак! О первую лесину отшибёшь!

Терпение – прекрасное качество, но жизнь слишком коротка, чтоб терпеть долго. Много лет Фимушка уступал дорогу Портосу, всё норовил жить тихо-мирно; в свою баню ходили Фимины, когда Портновские в своей перемоются...

– Не тронь, Иваныч, Богом прошу!

Оттолкнул Портос Фимушку, как врежет кулаком по одной фаре, стекло вдребезги. По второй врезал – вторая сияет пустой глазницей. По капоту хлопнул – отлетела застёжка.

Кинулся Фимушка на Портоса, да куда Фимушкину кулачку против лопатообразной лапищи Портоса: как двинет – летит Фимушка под трактор.

Нина выбежала из избы, кричит не своим голосом, инструкцией по эксплуатации бьёт налетчика по лицу. Портос руку Нины перехватил, за спину заломил, как ударит с плеча кулачищем в голову, Нина далеко откатилась от трактора.

– Вот вам пр-ремия-я, ур-род-ы! – звякнуло сверху над поверженными соседями, затем, после паузы, показилось навстречу пытающейся подняться на ноги Нине. – Не зас-луж-жи-ли!

Выполз Фимушка из-под трактора, лицо в крови, шатается, за ручищу Портоса хватает, умоляет не трогать трактор.

– Р-райком подма-а-з-а-ли?!

Бежит Нина в хлев, хватает навозные вилы и с вилами наперевес идёт в атаку на Портоса. Упирает рожки в грудь, требует:

– Пшёл отсюда, урод!

– Кол-ли! – Портос поднимает на уши деревню.

Положение спасает мать Портоса. Подошла к сдуревшему сыну, взяла за руку и, как малолетнего сорванца, повела домой.

Того же вечера правнук Митя поведал «старому деду» и «старой бабке», как приходил драться к ним дед Таньки, а «молодая баба» хотела на вилы посадить драчуна. Иван велит Александре позвать к нему дочь и зятя.

– Вот што, робята, – говорит дочери и зятю Фимушке старик, – дело соседское. Боль стерпите, не заявляйте в милицию. Обидно, но... стерпите. Послушайтесь меня.

– Всю жизнь!.. – ревет дочь Нина. – Горилла! Всю жизнь терпим!

– Нарвётся! – пророчески говорит отец Иван.

Стали картошку копать – нарвался Портос: проехал на тракторе по лежащей на дороге колхозной корове. Остановился – трянуло в кабине сильно, вышел, пинками помог пытающейся встать на ноги корове подняться, видит – стоит корова, залез в трактор и погнал дальше. Корова постояла и упала бездыханная.

На заседании правления зачитывают докладную ветеринара: виновник смерти коровы – Портновский. Взыскать одну тысячу двести рублей.

– Щё-о-о, а мясо где? – гудит Портос. – В столовой! По две мор-рошки на ложку?!

Судили да рядили – нет вины Портоса получается. Кабы тушу не тронули, пускай бы черви на дороге съели – Портос виноват, а раз бригадир подсуетился, отправил мясом в столовую – колхозу выгода.

Был на заседании правления колхоза корреспондент районной газеты. Написал корреспондент фельетон, из райкома партии поступил приказ: обсудить фельетон на партийном собрании. Обсудили – приговорили: строгий выговор с занесением в учетную карточку коммунисту Портновскому! Милиция нагрянула: нельзя упустить шанс пощипать неприкасаемого коммуниста, коль райком отдал того коммуниста «на съедение»: махнули топором

по «максимуму» – лишили Портоса прав на управление трактором сроком на два года.

Трудно «безлошадному», да такому гордому, как Портос, колхознику, трудно себя переломить! Посылает бригадир Портоса с бабами солому перемётывать – не пойду, не нищий копейки собирать. Посылает коров вместо Нины Фиминой пасти – позор! Потом, кто такой бригадир по меркам Портоса? – воробей – щипаный хвост после техникума! Неделю Портос мытарит, в конце года не хватит у него минимума обязательно отработанных двухсот восьмидесяти дней, кому шею намылят? – бригадир. И пишет бригадир на бухгалтерию колхоза докладную за докладной, пишет секретарю парткома. Сошлись «Фурманов» с «Чапаем» (секретарь с председателем), по папироске выкурили.

«Фурманов»: «Смертный, скользи по жизни, но не напирай на неё» – завещал Эпикур.

«Чапай»: На отруба гада, пока «мозговую Бастилию» не снесло!

И шлют колхозные отцы-командиры депешу опальному Портосу: иди телятам хвосты крутить, то есть водиться. Партийный билет на стол – это лучший вариант, исключение из членов колхоза (волчий паспорт) – худший.

Смотрели Фимины всей семьей как изливал свой гнев на своей улице оскорбленный Портос, как жена его Мария, хватаясь за грудь и подтаскивая под себя ногу, торопилась скрыться в чужой бане.

– Зря, зря не заявили! – горячилась Нина Фиминова.

– Иногда праздновать труса больше выгоды, нежели стонать на больничной койке. И завтра жить надо, – укоризненно возразил теще зять.

А теляток водить – хлебнёшь горяшка! Сдох теленок по вине кормача – плати, сено затхлое привезли – хоть сам ешь, котел кормозапарника нечем греть – выгребай из навоза выкиданные в окна скотного двора плахи и топи. Взвоешь!

Приехала за Митей внука, гостинцев «старому деду» и «старой бабке» навезла, не забыла и отца с матерью. Сели чаевничать, никому чаю не хочется: Митя шмыгает носом, ладошкой утирает слезинки, его славное, доброе личико полно молчаливой, но бесконечной любви к «старому деду» и «старой бабке».

– Баб... баба, клад не найдут? Ты никому не говори!

– Не найдут, на тебя клад выйдет, дитяtko. Мы тебя ждать будем, ты обязательно к нам приезжай, – «старая бабка» гладит головку мальчика.

– Звони, – говорит «старый дед» и пальцем грозит.

– Я ружьё привезу, мы деду Танькиному солью в попу пальнём. Так, дед?

– Так ему! Пороху двойную мерку в патрон насыплем, чтоб ему, вр-рагу...

«Опять весна на белом свете».

Бабка Александра долго стояла в погожий день за деревней, опёршись подбородком на батог, высматривала загаданное, шурилась. Хотелось ей в эту рвущуюся из снежного плена весну узреть в березовой дали смышленого, веселого мальчишку, очень похожего на Митю, обязательно с запачканными вареньем щеками: Митя две березовые вершины пригнёт одна к другой, усядется в солнечные качели, вымахнут его качели под самые небеса, и прямо к «баушке» на руки. Именно «баушкой» назовёт, по-старинному!

Упоённо-тихое состояние духа, – нет лихолетья, нет счёту годам! Только душевная тонкость и чистота!

Немного тревожно: вдруг да не так жили, не по нравственной линии, худую память о себе оставили? а это – ошибка сердца. И вспомнила старая, как перед колхозами пахал отец под озимые. День был тихий, отсекающий страх; пахал отец легко, голос на лошадь не поднимал, только причмокивал губами; почва была спелая; пласты крошились, не наезжали один на другой, борозды шли ровные, лошадь – Люней звали, тащила плуг легко, как бы в охотку; и грачи, должно быть, сытые, ходили вперевалку

и охорашивались не спеша; семилетняя Александра прибежала к отцу на полосу, поесть принесла. Отец Люню из оглобель вывел, пустил пастись, сходил к ручью, умылся, мокрую от стекающей воды бороду отжал, сел и вздохнул легко. Александра к нему под бочок прижалась. Ел отец черный хлеб, запивал молоком из берестяного тuesка. Вдруг отставил тuesок, берёт Александру за плечико и показывает рукой:

– Как она... развернулась-то!

Всматривалась, всматривалась девочка туда, куда показывал отец, шурилась, ничего кроме солнца, прятавшегося за облако, не увидела. А отец привстал с места, очень внимательно, как сбросивший с себя тягостное прошлое, встречает непознанное новое:

– Жизнь-то, говорю, развернулась во всей базе!

Двенадцать

С угора на угор прохлыстнулись наши разбитые дороги, покоями да глаголями заглядывают стёжки в рассевишиеся сараи, в заледенелые окна изб; в голодные послевоенные годы все дороги в стену леса упирались, мол, дальше неохватных пространств нет на земле, нет пути хлеборобу, а ныне леса вырублены, кое-где житницы похожи на похмельный сон: пашня ли бредит гулом тракторов, лес ли снова тучнеет сугробистым сузёмом, или угрюмое марево из болотной квашни расплзается?

Правится домой из деревни Бархатки электрик Митя Конев. Зыбко в голых далях. Снег в этот год пал рано. Обморгал проступившие слезы, плотнее запахнулся в ватник, и тихонько запел. Ходит Митя по земле, вздернув широкий нос вверх, издали – заносчивый тип, которого не поприветствовать, значит, нажать врага, а нос к носу с ним столкнулся, – добродушный, немного смущенный, радостный человек. Радостный оттого, что ты рад встрече. Он торопится спрашивать, но не успевает сам отвечать.

Митя небольшого роста, рябенький как напёрсток, выпивать выпивает, но колеи держится.

За пазухой у Мити книжка «Святая простота», автор – Сергей Викулов. Книжку подарил Ефимыч, некогда бывший председатель маленького послевоенного колхоза. Был он сегодня чуть хмельной, весёлый. «Ты, – сказал зашедшему погреться в избу электрику, – выпей наркомовские сто грамм за моё здоровье – у меня сегодня большой праздник: в этот день о сорок третьем годе, стеганула меня немецкая мина по спине, и сколько я в траншее лежал, кто меня спасал, сколько меня на дровнях везли – всем кланяюсь. Выжил, пожил, ну и... слава богу! Ещё возьми от меня в подарок книжку, стихотворение про целину сто раз прочитай. Это про меня написано».

Вот пришёл он домой, книжку в сервант засунул и залез под кровать. Сидит, ждёт благоверную жену свою Савельевну. На днях он отдал супружеский долг и заниматься больше не хочет. Савельевна работает дояркой, в ней шесть пудов белотелого весу, лицо – овал в рамке, глаза выцветшие, как осеннее небо. Савельевна нездешняя, приехала из города к тетке погостить да и загостилась надолго. Тетка подошвы у галош стёрла, пока Митю с племянницей свела. В первый день после брачной церемонии раздевается молодая жена перед висячим на стене зеркалом, и так спокойно, с самым невозмутимым равнодушием говорит Мите:

– Скрывать не стану, гуляла я с одним парнем. Орёл был... но однажды орлу крепко не повезло: убили в драке. Вот на память решила вытатуировать его портрет на левой груди.

Молодой муж почувствовал себя обворованным:

– Погляжу я лет через тридцать, как рожа прокиснет у твоего орла.

– Полно, Митя. Люб ты мне. Тетке подавай всякого жита по лопате, а мне – мир в доме, согласие, обоюдное уважение.

Хлопает входная дверь, прогибаются половицы в прихожей, скрипит дверь в спальню.

– Митя... Мить, ты где?.. Гляжу – по снегу косолапишь, знать где-то крякнул граммов двести, а? Вот ты где... Вылезай, Митя, что ты как ребёнок. Чайку попьём, то да сё... Измёрз, поди-ко?

– Не вылезу! Не вылезу, пока бьётся моё героическое сердце!

Ноги Савельевны вжимают тапочки в пол – это она ходит и размышляет, как выманить мужа из-под кровати. Включает радиолу. Гармонь сыплет «Яблочко». Вот на этом месте мы остановимся, ибо на дворе вечер, мир кутается в тулуп, самоварчик подбирает волну, за окнами тихонько подвывает ветер.

В колхоз имени Шестой армии зачастила корреспондентка районной газеты. Дама миловидная, со свежими губами, но с грубым голосом и въедливым характером. Председатель под всякими предложениями норовил сбежать от неё. То ему надо в столярку, то вызывают в районное управление сельского хозяйства, так корреспондентка шла на опережение: председателю надо в столярку, а она уж в столярке и мужикам задаёт каверзные вопросы. Мужики – народ не избалованный вниманием прессы. Иной, полный возвышенного полёта мысли, распахнёт рот шире ворот, – а что, девка, или наши головы стружкой набиты?

От театров мы далече, но телевизор вечерами смотрим. И примется развивать своё философское видение, вперяясь прослезившимися глазами в защитницу крестьянского корня. Тут дама и вцепится, как клещ, и почнёт, как напилком драить по жести: почему вы похожи на стадо баранов, которым скоро отрежут головы? Почему вас переобувают из сапог в лапти? Почему на вас, ослабевших колхозников, лезут полчища классовых врагов? Ушли в небытие коммунисты и унесли с собой энергию? Оратор и туда, и сюда, уж и слезы на глазах высохли, кумекает, что оплошал, высунулся дальше всех с обоснованием жизненного содержания, надо быстрее ретироваться, а

корреспондентке подавай факты, подавай цифры, решения общих собраний. Вот и председателя она измучила: отчего да почему колхоз разваливается? В колхозе двенадцать специалистов с высшим образованием, это ли не сила?! Склонит над столом повинную голову председатель, говорит осторожно, медленно, ковыряя в щели ногтем; глаза на даму вскинет, на нежные, пухлые губы уставится, и всего как передёрнет.

Хочется жить! Жить по-человечески, не по-щелячи: побили – всплакнул, погладили – улыбнулся. Человека волнует ширь весенняя, волнуют утренние и вечерние зори в затишье, и крик отлетающих птиц волнует, и лепет ручейка, и квартирный вопрос... Хочется мир видеть добрым, всякую ранку сердцем вылечить, каждый кустик сберечь для внуков... хочется жить, кричать навстречу буйно крутящемуся ветру: выдюжим!..

А пока пропеченным зноем копится в умах склонность к рассуждению. Почему, например, со смертью вредного соседа уменьшается смысл жизни доброго? Вредил, гадил вредный сосед, а не стало (в желчном пузыре доброго освободилась жилплощадь), сгнуло нажитое приобретение постоянно чувствовать тошноту в подреберье, и весь свет опостылел.

И появился в районной газете язвительный фельетон под названием «Двенадцать». Читали колхозники, прочитанному верили и не верили. Это как пришли в парикмахерскую лохматыми, а вышли наголо стриженными. Процентом семьдесят личного состава оказалось в лагере «народных мстителей» – эти злорадствовали, процентов двадцать искали утешение в самобичевании – эти потели и даже родни стыдились, остальным было «по фене», остальных интересовал вопрос: сколько «гадам» заплатили за слив информации?

Фельетон начинался так: «Худо-бедно перебивается с хлеба на воду по краю леса некогда крепкий колхоз. Жители этого хозяйства честные, хорошие люди, но сотни обстоятельств, начиная с равнодушия и кончая пьянством,

и некоторые премудрости политических зигзагов вгоняют людей в тоску. Голова колхоза – штат из двенадцати думных дьяков. Дьяки башковитые, их много лет учили да переучивали, один умён – другой умнее. Мысли, одна нелепее другой, несбыточные надежды роятся в их головах. Каждый дьяк как старый ворон крепко сидит в своём гнезде, и думает об укреплении своего ДОТа. Двенадцать душ и все с высоким образованием. Двенадцать! Помимо думных дьяков есть коллегия совещательных дьяков, в этой коллегии ещё два десятка колхозников с техникумовскими дипломами. Есть правление колхоза, очень похожее на старую бабушку: ворчат правленцы, к совести нерадивых взывают, голосуют, вспоминают тридцатый год. Правленцы знают цену копейке. Сколько, например, начислить за жердь? Жердь надо срубить, обрубить сучья, «надавать лысин», вынести на плече на край поля... можно одну жердину и час выносить из лесу, а можно, с перекуром, и два.

Совещательных дьяков председатель держит в чёрном теле и перемещать кого-то в штат думных дьяков не помышляет. Разве что в экстренном случае. До поры до времени такой расклад всех устраивал: одни много думали, другие много работали. Но наступили тяжелые времена, исчезло из поля зрения колхозников брежневское денежное чудо, оголились в магазинах полки, денег нет, карточки, талоны, чёрные кассы, надежды на коммунизм провалились в тартарары. И стал подневольный народ лоб морщить: почему все деньги уходят на зарплату думных дьяков, кладовщиков, сторожей, счетоводов и прочая? В колхозе 160 человек, из них 48 на ставках. Перебор! Очень большой перебор! Кто завтра будет пахать землю, кто ухаживать за скотом? Или на фермах у нас полная компьютеризация, роботы сидят в кабинах тракторов, хлеба в складах столько, что можно выходить на внешний рынок? Столько ума никак нельзя собирать под одну колхозную кепку, это же горе всем и вся. Горе от большого ума!

Да, было романтическое время, сельская молодёжь вралась учиться. Будущего не прочтёшь, – шли безоглядно вместе со своим поколением, поднимаясь и падая, весело и угрюмо, страшно и бестрепетно, доверчиво и терпеливо, а пришли... кто в какой забор упёрся, кто в какой омут окунулся. Отправная точка каждого спеца сгнула в тревожном мерцании, в снежной тьме пророческой блоковской поэмы:

*...И идут – без имени святого
Все двенадцать – вдаль.
Ко всему готовы,
Ничего не жаль.*

Неправда! Ой, неправда! Всего жаль. И народа своего жаль, и земли жаль, и что мало хорошо пожили – жаль; и не готово наше поколение к звериному оскалу капитализма, и даль кончилась, едва начавшись, и имя у каждого есть: Человек.

Человек? – сомнительно. Чурка сосновая или березовая – едино дрова, а человек, низведённый до низшего разбора, это же мощи (спящий пассажир) на воровском жаргоне. Почему? – потому как диплому о высшем образовании нынче место в сундуке. «В туалете, – поправит бывший инженер Иванов. – Прибить на стену и всякий раз, садясь на горшок, вспоминать экзамены, лекции, напутствия, голодные ночи. Нужны ли нашей стране люди с высшим образованием?».

Корреспондентка обладала силой сверткучести революционных преобразований. Несомненно, у неё душа – христианка, взыскующая правду и добро, хвалилась избытком интеллектуального уровня, предчувствуя переоценку советского прошлого, ей не хватало газетной полосы, потому она торопилась впаять в строчки Блока и Шукшина, Игнатия Богоносца и Флоренского. Инженер Иванов, выведенный в фельетоне, есть Забуселов Иван Геннадьевич. Но почему копьё корреспондентки сильнее всех укололо именно его, непонятно. Раньше пути ихние

с корреспонденткой не пересекались, от природы Иван Геннадьевич красноречием не блещет, в тени и на свету остаётся самим собой, слова не обронит лишнего. Было дело, корреспондентка наседала на него, хотела узнать, почему он пожертвовал твердым окладом, то есть, из инженеров подался в кочегары. Махнул на все вопросы рукой Иван Геннадьевич, и, видимо, этим обидел женщину. Выставила корреспондентка его на посмешище, бесцеремонно колесовала... Ошеломлённый, он горел мщением. Стал готовить речь, которую произнесёт в суде – дней десять жаждал подать на корреспондентку в суд, потом до него дошло: а нечего было рыпаться! В колхозе ещё два инженера, пусть они тоже безликие Ивановы, но эти Ивановы смиренно несут свой крест. Кто сидел в мастерской да семечки лузгал, тот и теперь лузгает, кто в конторе прописался, о выписке и не помышляет, у всех «спецов» озабоченные лица, все страдают за колхоз, а вот Ивана Геннадьевича загрызла совесть, подался в чернорабочие.

Фельетон кончался так: «Русский человек всегда ждёт от печатного слова указаний пути». Вопрос «Кто виноват?» – да кто угодно; вопрос «Что делать?» – всегда без ответа. Как в воду глядел поэт Смеляков, предрекая:

*Багровеет солнце на закат,
Смотрит вкось и, хитрое, смеётся:
«Люди, люди! Отступить назад,
Рано или поздно вам придётся».*

Пять часов утра. Начинает светать. На удивление горит на столбе у скотного двора электрический фонарь бледно-желтым светом. Злой, пронизывающий до костей ветер раскачивает фонарь, он бьётся плафоном о столб; ветер раздергивает хребты сугробов, поднимает облака снежной пыли, прижимает к крышам деревенских домов тёмную занавесь туч. Тоскливо завывают электрические провода.

Человек высокого роста приоткрыл дверь обшарпанной кочегарки. Он смотрит в этот ранний час в пространство, жмурится – какая непогодь! – и сравнивает электрический

фонарь с пойманной в силки птицей. Свежий ветер прорывался в тесную кочегарку и освежал, ободрял его. Ещё этот человек добрым словом вспоминает электрика Митю Конева.

Электрический столб вынес вчера басурманское нападение. И сам виноват: нечего было перебегать дорогу Ваське Бубнову. Пьяный в дым тракторист Васька Бубнов на гусеничном тракторе вёз со двора телегу навозу, гусеничная лента щипнула столб, Васька рванул рычаг управления на себя, и следующая за трактором телега налетела на препятствие. Долго бился Васька, пытаясь оттащить телегу, уморился, плюнул, пришёл в кочегарку. Был он счастлив знакомым ему чувством счастья: пьян, а что телега висит на столбе – да и бог с ней, виси. И телега не моя, и столб не мой, а навоз – обуза. У него особенно блестяли глаза, движения были лихорадочны.

– Ничего, нас этим оскалом не напугаешь, так, Геннадьич? – кричал сутулый, худой, как голодный заяц, Васька в приоткрытую дверь коловшему на улице дрова кочегару.

Кочегар не отвечал.

Ваську это злило.

– Начальству по барабану, работягам больше всех надо? Не надо! Слышь, ты, Иванов с дипломом!

Осердился Васька, побежал, валясь и поднимаясь, к трактору. Намотал шнур на маховик пускового двигателя, дёрнул раз – нет жизни в двигателе, дернул два, три, десять, – всякий раз неведомая сила откидывала его чуть не под телегу с навозом; бросил шнур в кабину и, обложив стоэтажным матом колхоз, председателя колхоза и коров – молока доят мало, а навозу от них!.. обратно в кочегарку, бухнулся на топчан и уснул.

Ставили трактора после работы возле кочегарки трактористы, смотрели на Васькин трактор, ни один не поинтересовался, слита ли с двигателя вода.

Кочегар сложил дрова в поленницу, постоял над спящим Васькой, сходил, воду слил, ещё и провод высокого напряжения из магнето выдернул.

Возле кочегарки стоят гусеничные и колёсные тракторы. Минует час-два, придут трактористы, станут разогревать железных коней, потребуется много горячей воды. Интересно, какова сегодня будет ихняя реакция по поводу наезда Васькой на столб? – А никакой.

Вот и Васька вчера, вздремнув часок на топчане, очухался, дернулся всей своей тощей фигурой, брови зашевелились, в глазах мелькнула молния испуга и тут же погасла. И смотрит на собирающегося идти домой кочегара без всякого выражения.

– Пошли? – спрашивает.

Пальцы кочегара разгладили усы, рука достала из кармана куртки пачку сигарет.

– Навоз до весны оставишь?

– А, что, какой навоз? – встрепенулся Васька.

– А вон, – кочегар распахнул дверь.

– Да-а, угораздило... Виноват, Геннадьич... А с другого боку забрести – трактор три дня как не мой, сам знаешь, арестован за долги. Сегодня мой арестовали, завтра у мужиков отберут... дикий капитализм!

Тут жена Васьки Бубнова в дверях выросла, пыхтит, как паровоз. Раскраснелась.

– Дорогу домой забыл, сволочь худая?

Жена у Васьки работает письмоноской, снег ли, грязь ли, через день топаёт за десять километров на почту.

Забруселов второй месяц бросает в котёл чурки. Трудится, вроде, на совесть, от баб замечаний нет. Даже Савельевна, жена Мити Конева, молчит. Дверку котла откроет, чурку затолкает, дверку захлопнет и некоторое время стоит, будто калории, что выделяют чурки при сгорании, считает. Ни одного жеста рукой, лицо неподвижное, закаменелое, глаза глядят как-то в бок, скорее всего в глазок дверки, – в глазке ярится свет, шипят угли, и глаза, и лицо без всякого выражения – горит чурка и гори, ей гореть и надо. Прошлая жизнь вспоминалась как-то неясно, будто лет сто он работает на этом вонючем коровнике, а не два месяца.

За полгода, даже три месяца назад он и не мечтал о таком положении, в каком очутился. Всё рухнуло как картонный домик:

– Всё, мужики, дожили до тюки, нет ни хлеба, ни муки, – сказал на последнем заседании правления председатель колхоза. – Год колхозников не рассчитываем толком, сами всё видите. Грабят колхоз все, кому не лень. Особенно верхи районные пуп рвут. Народ нас на вилы посадит скоро. Говорите, что делать? Распускать – не дают, банк для нас закрыт, долги оказались перед государством заоблачные, дальше тянуть лямку я отказываюсь. Вас с институтами двенадцать... берите печать и правьте. Как колхоз разделить, кому сколько да чего на пай положить – считайте.

Никто из двенадцати печать не принял, даже глаз не скосил на неё, манящую воображение. Посидели, для приличия порядили, да и разошлись по своим углам. Свой пай, естественно, каждый давно загадал: не худо бы трактором выбрать, или складом из гофрированного железа, или десятком коров, которых завтра можно пустить на мясо...

У инженера Забуселова слепой отец. Любит сидеть в старинном кресле, спиной к тёплой печке прижавшись, всё слышит, всё знает, но в разговоры семейные не встречается. Станет сноха (работает дояркой) спрашивать, что «тятя, ись-то седни будёшь?», встрепенётся весь, незрячими глазами в потолок упрётся, и такая благодать по лицу разольётся, будто он с неба снохе своей дорогой светлых цветов достал:

– Ой, и спасибо-жо тебе, Настасьюшка, ой и спасибо. Ты мне с краишку, с краишку поставь немного...

Днями слепой старик слушает радио. Он знает, как деревенский мир обозлён на власть, потому домашних спрашивает редко про последние новости.

– Нервной народ пошёл, нервной, – говорит, будто сам себе старик. – Преж, бабка покоёнка сказывала – ходила в Киев молится: несёшь святым угодникам грех свой

с макову росинку, утешения в жизни ищешь, а разве утешится живой человек когда-нибудь?..

– Ты к чему это, отец, говоришь такое? – спросил Иван Геннадьевич.

С заседания правления приобрёл он домой как раздавленный, сел ближе к отцу, да и сидит сычом, молчит, смотрит, как жена на стол еду собирает.

– Ты бы, Ваньша, смотрел на жизнь проще, то всё через себя пропускаешь. Почему человек сам себе зверь? Потому как голова его живёт отдельно от брюха, не уживается голова с брюхом. Что людей связывает да уравнивает? Голод, нужда. Гибнёт колхоз – время ему вышло. Давно вышло, а вот что взамен?.. Тебя Настя на двор кочегаром зовёт, ты почто не идёшь? За глумление это предложение принимаешь. Как же, столько учился и на тебе, на скотный двор, партийный...

– Есть немного, – вздохнул сын.

– Бабка сказывала: Христос в яслях родился, и ноги апостолам своим мыл. На скотном дворе скотник Митька после тюрьмы ошивается, тракторист Васька Бубнов – пропойца, день к вечеру мает, у одной Маруси Хохловой десять классов, а у остальных от четырёх до семи – зазорно. А у тебя диплом... ровня ли тебе Митька да Васька? Нет. А жить рядом с ними придётся.

Первым пришёл на ферму вдовый на один глаз Митька. Он на десять лет моложе Ивана Геннадьевича, блудлив; пьяный всегда ругается и кричит, и по полу катается, и плюётся как верблюд, и любитель униженно кланяться всем, а наклонявшись, норовит тому, перед кем кланялся, нос разбить. Ещё он имеет привычку гордо держать голову и стан, будто отставной военный. Достал Митька пачку сигарет, аппетитно понюхал, театрально приложил к губам нательный крестик, закурил, лёг животом на вздрагивающий котёл, стал разглагольствовать:

– Кажись, Геннадьич, дело швах. Парят нам уши про какую-то демократию, свободу, аренду, американских фермеров... чепуха на постном масле. Зря ты подался на

скотный двор. Вот станут колхоз рвать, ты бы машину хорошую сграбастал, или трактор, а со двора чего отстегнут, котёл? А как голым в шею выбьют, любо?

– А ты что отхватить норовишь?

Вместо ответа Митька как-то презрительно улыбнулся, выпустил тонкую струйку дыма.

– А я...– помедлив с полминуты, заговорил Митька,– свою собственность потребу! Думаю, на неё претендентов не будет.

Митька гордо выпрямился.

– Какая она, твоя собственность?

– Всё-то тебе скажи-поведай. Ладно, скажу: сейф.

– Сейф?

– Сейф, будь он сто раз проклят!

– Чудно, однако... банк свой открывать будешь? – спросил Забуселов.

Его добродушно-замечательные синие глаза заискрились неким весельем.

– А чудного ничего нет! И смеяться!..

– Перестань, я не смеюсь. Помню, тебя в машину участковый толкал, под глазами фонари, рожа исцарапана...

– Кассирша Валя подпортила товарный вид. Помнишь, начинала работать девчушка такая, с Пинеги родом? Ну, ещё квартировалась у Хохловых?

– Ну.

– Вот через этот сейф и загремел я, горемыка, к дяде. В тюрьму, значит. По уважаемой росписи пошёл: медвежатник. День тогда стоял как финажка нарисованная. Кредитка, значит. Солнце пылало, небо аж стекало на снег голубыми переливами... да-а, мне хотелось петь, как хочется петь впервые поднявшемуся в небо человеку. Захожу я в контору, контора пуста. В тот день бабы именины у бухгалтерши Маши справляли. Стоит на столе такая чаша рогатая... потом на суде это был главный вещдок, эмалированная такая посудина, я её взял, ногтем пощелкал, прислушался: звенит чисто и звонко.

Плюнул в неё, пальцем поводил... зачем плевал, сам не понимаю. Смотрю, дверка сейфа не закрыта, и ключ торчит. Искушение да и только. Заглянул... а тут заходят в контору люди, я в сейфе копаюсь... Вот скажи, за что мне срок впаяли? Хоть бы копейку взял! Я за этой Валией только-только начал приударять... Следователя как я молил: разве возле сейфа только мои отпечатки коньков остались? Вор пойман... А коньки – сапоги, значит.

– Бывает же такое, – сказал Забуселов.

– Бывает... А сейфик брат Валин затырил Гриша – зелёные ноги. Беглый, значит. Сестрёнку навестить заскочил. Так что сейф для меня!.. дитя родное!

– Законно, – поддержал Забуселов.

Начали собираться мужики.

Ветер ослабел, растерял силу. Фонарь на столбе уже не раскачивался, сугробы, издали похожие на белых быков, присмирели.

Прибрёл сутулый Васька Бубнов. Тонкая шея увита женской шалью. Первым делом дошёл до своего трактора, убедился, что вода слита, вернулся в кочегарку.

Курыт мужики, ведут скупую речь. А речь как сказка про белого бычка: отчего да почему?

– А что, Геннадьич, верно нас в газете осрамили? – спрашивают мужики Забуселова.

– Верно, – соглашается Иван Геннадьевич.

– На кой черт одному колхозу столько начальства? Вот посади к курам второго петуха, исключают один другого. А тут двенадцать... и все уживаются! Чудеса-а... Апостолы и те не ладили между собой, а наши – ангелы, видно, бескрылые... Чего ждать, чего? Сегодня Васькин трактор погрузят на машину да увезут, завтра наши... И кому мы должны, а? – курошупу! Смех, опустили колхоз ниже плинтуса! Все колхозы района рожали птицеферму, родили, выпестовали, теперь у курятника хозяин – московский хмырь, да мы ещё и должны этому хмырю?!

– Газету вчерашнюю читали? – подал голос Васька Бубнов. Надоевшую шаль он затолкал в карман фуфайки.

– Откуда, ещё хозяйка твоя не разносила. Что пишут, чем страшат?

– Спрашивает эта корреспондентка злобная: кого бы вы желали видеть главой района, если завтра выборы? И что вы думаете? – двенадцать слуг народа пожелаю выставить свои кандидатуры.

– Почему слуг? Прежде их достойнейшими сынами величали, – возразил Забуселов.

– Тут ты не прав, Геннадьич. Слуг! Слуги живут в Англии, в Америке, в Испании, да где угодно живут: кушают сытно, ездят на дорогих машинах, а хозяева, то есть мы, стережём родную землю.

Васька Бубнов усмехнулся всем какой-то удивительно доброй и ласковой улыбкой, и с трудом, тихо добавил:

– Главное, князя выбрать, а там... там заживём справно.

Курыт мужики, едко переваривают последнюю новость. И невольные, какие-то глупые мысли лезут всем в головы. В котле хлюпает, кипит вода. Котел чуточку вздрагивает.

– Слуги... этим слугам корыто, набитое валютой, подавай!

– Хозяева... Крезы, значит.

– И почему двенадцать? На весь район двенадцать воров? Хоть бы тринадцать или двадцать, двадцать пять...

– Так займём со стороны, раз тебе мало!

Забуселов невольно задумался над последней фразой.

Мужики начали набирать из котла воду. Оперативка кончилась. Завтра, коль дозволит Бог собраться, мужики обмозгуют другой вопрос: сколько может награть денег тот или иной кандидат, заберись он за стол с телефонами?

Ближе к полдню небо казалось сквозным, прозрачным, лёгким, хотя валил снег, густым пологом спускаясь на землю и ослепляя глаза. И всё потому, что мужики-трактористы во главе с Иваном Геннадьевичем «вежливо попросили» механика и шофера районной птицефермы, наскочивших отбирать трактор Васьки Бубнова, «рвать когти!»

Шоркает снег под ногами электрика Мити Конева. Митя идёт в деревню Бархатку: в деревне «сдохло» электричество. Ещё сегодня в Бархатке хоронят Ефимыча, последнего фронтовика. Митя представляет себе кладбище, кладбищенские сосны обсели вороны, маленькая кучка провожающих... провожающие – сплошь старые люди, они стоят молча, вздыхают, смотрят на лежащего в гробу защитника Отечества, надо бы много сказать всего хорошего, страсть много! – а чего сказать, кто скажет?.. «Ефимыч носил подшитые валенки, похожие на слоновьи ноги. Должно быть, его положат в гроб в этих валенках...» Потом провожающие как зашешат, будто скривится изуродованное болью общее лицо, мокрое от слез, резко, неожиданно (в такую минуту ангелы растворяют врата рая) обронит кто-то: «Прости»... потом станут бросать землю горстями в могилу; глухо стукая, упадут комья...

«Вот налажу свет, и пойду я на кладбище, и скажу... А сказать надо! Слова бы такие подобрать не лохматые... Интересно, однако, а если подумать, электрик во все времена был самый востребованный человек. Были партийные жиганы, профсоюзные краснобаи, пропагандисты и мудозвоны всякие, а где они ноне? Были да сплыли. Электрик всю жизнь находится между фазой и нулём, сегодня всё ломаем, завтра будем восстанавливать поломанное, и электрик... всем нужен электрик! Электрик как бы регулирует жестокую силу и разрушения, и живую силу восстановления. Ну, скажу, отпевать тебя, Ефимыч, нынче некому. Обиженные рубахи на себе рвут, воры имущество тащат... примерно так, Ефимыч. А ты жил с народом, не около народа, и помер ты в своей избе... Это ладно, что помер, тебе за живых стыдно не будет. Ты строил и строил, жилы рвал, а мы... в наших умах изоляцию пробивать стало. Это бывает. Есть, Ефимыч, такое понятие «непреложная святость человеческой жизни». Святость, свет, святые... всё около электричества вертится. Так вот, скажу я вам, дорогие мои земляки, надо в эту непреложность войти и не выходить из неё. Не выходить!»

Тощий, он же Жирный

На исход пошёл месяц большой темноты – декабрь.

– Накрутили там, – ворчал старый Иван Петрович Тощев, поглаживая жиденькую седую бородку.

Жена собиралась печь шаньги. Прилепила на простенькую божницу свечку, зажгла, перекрестилась, чуя чей-то незрячий взор. Надо помянуть свекровь, семнадцать лет как преставилась. Говорят, покойников поминают или добрыми делами, или никак. По-честному, у свекрови был свой жизненный кодекс, старорежимный, зашлифованный веками: невестка есть раба дома. Сын был под сильным влиянием матери, в её голосе всегда звучала резкая подыскивающая нотка, не терпящая возражений. Хорошая зарплата снохи вызывала в ней чувство удовлетворения, а стоило утонувшей в работе снохе попытаться идти в отказ от «подсказки» пустить лишнего бычка на откорм – запыхтел паровоз!

Там – это где-то очень далеко, близко к небесной канцелярии или чуть поодаль. Но виноваты, конечно, те, кто даёт команды. Косвенно с теми, кто управляет погодой, причастниками являются Президент страны и кабинет министров. Давно кажется Ивану Петровичу, что из-за слова «там» выглядывают подозрительные личности, и в его голове созревает мысль: «Не жили колхозники никогда хорошо, а теперь уж хорошо не жить!» С Покрова солнечный день – редкий гость! Да что, «там» совсем умом тронулись? И так-то жизнь тащится через пень-колоду, а тут на улицу выйти – наказание. Вчера ближе к вечеру, будто изо льда отлитое, бледно-голубое небо оголилось большим вымытым колпаком, но набежала злая туча, слизнула долгожданную красоту.

Там – это «там»; какой тон установить в отношении к этому «там», Иван Петрович всю жизнь не знал, непрерывно переходил с «вы» на «ты» и обратно.

Год назад задумал Иван Петрович писать мемуары про колхозную жизнь.

Эта благородная затея долго терзала его ум, только взявшись за дело, он с удивлением заметил, что нет под рукой данных о его славном и героическом прошлом, да и в памяти осталось смутное, несвязное, порой неожиданное.

Почему нет? Да все документы после краха колхоза оказались невостребованными, их свалили на потолок конторы, а через крышу здания звезды видать, дожди, голуби, сборщики металлолома повадились искать «миллионы», и стала от документов куча макулатуры. Прожитое он и так и эдак крутил, оно точно мимо прошло, как в фантастическом сне представление, от которого хочется смеяться и рыдать. Вот, к примеру, с соседом теребили лён. Сосед, царство ему небесное, на теребилке, он на тракторе. Торопыга сосед был, оглянется кругом, как испугается, что день быстро идёт, и давай на Ивана Петровича кричать, давай материться. Слетела цепь с транспортера, по которому льноголовки в тележку летят, крути, орёт, кардан, чего сопли жуёшь, а сам цепь направляет. Иван Петрович ломик сунул в крестовину, давит,— как вззоет сосед не своим голосом! Оказалось, у него палец попал между цепью и зубами звездочки. Бегаёт сосед по полю грязный, весь в кровище палец во рту носит, и смех и грех. Кровью плюётся. Косточка фаланги лопнула.

Почему Иван Петрович начал мемуары именно с этого случая? Сам не знает. По-видимому, этот случай подкупал чем-то и комическим, и трагическим. Возил молоко на тракторе — да возил, всего три месяца,— вздохнул и вычеркнул три месяца из жизни. Жал перед армией хлеб на комбайне — покраснел, устыдился: жал один день, «напёк», сдвинув по неопытности зазор между декой и барабаном до минимума, таких пирогов, что из бункера еле вытолкал. «А вот был случай...» Тысячи всяких случаев, каждый день сплошное кино, но почему-то жизнь других мужиков являлась четче: Володька Ламов по пьянке запарол двигатель, заехав в реку; сосед комбайнер занял первое место в районе по намолоту зерна... «Это в каком

же году его на районную Доску почета повесили? до того, как мы нетель прикупили или позже?» А Васька Козлов, тоже царство ему небесное, на тракторе заехал в клуб, вот было визгу!.. Было и весело, и нравственно противно. «Крепко пили. Стаканами хрущевскими глушили! Что говорить, дурили. Да-а, а ведь можно было и не жрать её, заразу». Разгонистые получались мемуары! Не дай бог жена почитает – в печь кинет; конечно, кинет, с её-то дурным характером. Ещё и нагрубит подходяще, у неё не заржавеет.

Даже в школе Ваньку Тошева не дразнили Тошчим: мать работала медичкой, а медицину на селе уважают. Действительную службу тянул в хлеборезке, домой воротился Иваном, на форменке два ряда значков. Слова не поперечил матери: велит жениться, будем жениться. Невесту тоже мать насмотрела: гибкая, стройная, лицом скуластая, нос вздёрнутый, чёрные кудрявые волосы казались шапкой на её голове. Говорили на деревне, что из семьи староверов, а староверы – народ набожный да хозяйственный. Работала почтальонкой. Сразу после свадьбы свекровь взяла на себя труд разрешить задачу с трудоустройством снохи ясно, просто, и главное, спокойно и без огонька:

– Не дело, молодая, с сумкой по домам бегать. Прости меня, но несерьёзно как-то.

И тихонько шепнула председателю колхоза, мол, наша молодуха желала бы идти дояркой на ферму. Ты, мол, сначала её устрой какой-нибудь лаборанткой, чтоб всё выглядело пристойно, в духе нового времени, а потом незаметно в доярки переведи.

Иван Тошев имел приятную наружность, белые зубы – в жизни не выкурил ни одной папиросы, на губах улыбочку, походку мягкую, голос ясный, разборчивый. В те прошлые времена народ Ивана немного любил за то, что был он словоохотлив, повадлив, прилично плясал, на колхозных собраниях никогда не выступал, выступал неторопко после собрания, собравшись за ночь с мыслями, потому все удивлялись его уму, и многие даже пророчили ему ходить в председателях.

– Что вы, что вы, – отнекивался Иван, – нашли начальство. С моими-то институтами – спаси и помилуй!

Народ положительно убеждён, что Иван правдоискатель, но в то же время знает, какого он закала, что готов отравить жизнь любому – хоть кладовщику, хоть лаборантке на ферме, не говоря о специалистах рангом выше. В поисках правды готов разорить всю вселенную, но разорить без огня и дыма, вроде для потехи. Как ушла жена с лаборанток, так председатели этой должностью продолжали завлекать молоденьких девушек; Иван независимо от иронического характера его отношения к «ставочникам», всегда держит наготове либо безнадежный вывод, либо отвратительное известие для всех остальных. Другой бы сказал вчерашней школьнице, сегодняшней лаборантке, завтрашней кандидатке в доярки при встрече приветное слово – девчушка тени своей пугается, а Иван Петрович пошутит с намёком:

– Едва ты заступила, жирность молока на 5% поднялась.

Что говорить, Иван Петрович был быстр, находчив, при случае сострадателен, при случае шутлив, почитывал книги, близкие к просветительской философии. Должно быть, один в районе выписывал журнал «Проблемы мира и социализма».

К слову об институтах: милое дело было у раннего Ивана Петровича незлобно, ненавязчиво, будто «само собой разумеется» погладить против шерсти колхозных специалистов. Пробовал колхозный партийный вожак раз-другой урезонить Ивана, мол, не дело ты ведёшь, желчь точишь на специалистов и бригадира, или ты думаешь, что очень умный, а остальные болваны и ничего не замечают? У секретаря был отдельный кабинет в колхозной конторе, потому как в коммунистах в те годы пребывало больше шестидесяти человек. Одноногий секретарь с Иваном Петровичем беседовал только в своём кабинете. Кабинет – это вес, положение. Иван Петрович садился так, чтоб видеть входную дверь, опрокидывался

на стену и, положив ногу на ногу, откинув левую руку, а правую тихонько выстукивая барабанную дробь по соседнему стулу, слушал разглагольствования секретаря, как под Москвой в 41-м солдаты и командиры грудью закрывали друг друга. Секретарю хотелось видеть Ваню Тощев съёжившимся, сознавшимся в вине, а Иван Петрович сам себе в глаза наплюёт.

– Это ты зря, Сергеич. Ни к кому я не цепляюсь. Начальство само себе, мы сами по себе. Я о богатстве пекусь, как и ты, и все прочие.

– Живём мирно, над нами не визжат осколки, не взрываются фонтаны мерзлой земли, а ты... клещ!

– Сергеич, у тебя должность такая косить направо и налево, так ты шевели, шевели дармоедов, а работяга кто? лошадь ездовая. Там наверху, – пальцем тычет в потолок, – как у волка своя песня: давай! У работяги – своя? хомут одевай. Потом, человек я беспартийный, несознательный, с меня и взятки гладки.

Чувствует секретарь, что Ваня Тощев пытается его уязвить, рука сама тянется к клюшке, так бы и врезал по наглой роже, да не врежешь, – вздрагивает от беспомощности: кто измерит глубину пучины, называемой колхозным разгильдяйством, кто возьмётся урегулировать трудовые колебания, поднимаемые этой пучиной?

– Иди, – машет рукой секретарь. – Придет время, не скоро, но придет, будет каждый по одинке курлыкать. Вспомнишь потом меня!

Уже от дверей Ваня Тощев парирует, нарочно зевая в кулак:

– Когда приходите на проработку в другой раз, Сергеич?

Это было тогда, когда Ваня Тощев работал на колёсном тракторе. Бригадир набежит в контору, того гляди параличный удар его хватит:

– Всё! Всё! Вот вам все расценки!

Кидает на председательский стол разномастные тетрадки с колхозными нормами и оплатой труда.

В то время в председателях ходил очередной «ссылный» – временно отбывающий срок лектор райкома партии. Из себя шарик: круглый живот, круглая спина, округлые ляжки, даже пальцы – облупленные вареные сосиски. Нос картошкой, глазки маленькие и светящиеся. Смотрит он на бригадирское суженное кверху лицо, постоянно возбужденное и готовое тотчас исполнить распоряжение, и в страхе замирает: а если уйдёт с бригадиров этот мужик, кого я суну в эту петлю?

– Ну чего, чего стряслось? – пытается пригасить огонь председатель.

– Ставь Ваньку Тошого! Ставь! Он всех умнее, всех проворнее, он один богатство, а остальные – чирей на шею!

– Чего отмочил на этот раз?

– Велел пять фляг обрат на телятник свезти, так он поставит на телегу одну флягу и свезет, опять поставит одну флягу и свезет. Зараз пяти фляг не увезти, спрашиваю? «Пять фляг весят два центнера, ты мне начислишь с гулькин нос, а если я буду возить четыре часа, ты мне почасовую выведешь». Сволочь! Ну не сволочь ли? Всё! Я эти фляги на себе носить буду, только Ваньку в бригадиры поставь!

– Ставит общее собрание, как я могу тебя снять, а Тошого поставить?

– Не крути, не крути хвостом! Общее собрание! Да кому оно надо это собрание? Всё! Не снимешь – из колхоза уйду!

Вот так жили в пору развитого социализма «с человеческим лицом».

Рядовые колхозники имели смутное понятие об идеалах, лежащих в основе жизни. Особенной безалаберностью отличалось отношение к самому главному – колхозному богатству.

Разбуди мужика среди ночи и спроси, какое оно на ощупь это богатство, то ответом будет несмысленное бормотание, сопровождаемое растерянным видом. Понятие

«богатство» в массе людей не представляло ничего определенного, солидного и запасливого – напели поэты про жнейки, трактора, колодцы, закрома – народ подхватил, и пошло выражение бродить от деревни к деревне.

Бродило, валилось и снова поднималось, нигде укорениться не могло, партийные горлачи обещали светлое «завтра», а соответственно, и прибавку к богатству. Оно и правильно: вот возьмите весы, положите на них мешок овса и скажите народу, мол, вот оно, наше богатство, так народ ночью в рукавицах разнесёт овес по домам – всем же охота пожить богато. Простолюдин, конечно, знает, что над ним поставлен бригадир, и что он обязан каждый день независимо от погоды идти и набивать мешок овсом туже и туже; также знает, что над бригадиром стоит председатель, над председателем – загадочный райком партии, а дальше – не поддающееся уму пространство, в которое простолюдин вперяет взор, но ничего, кроме бригадира и трясущегося над мешком овса кладовщика, не видит. Колхознику на ум не придёт, что его работа имеет какое-то отношение к богатству родного колхоза. Пошлёт бригадир Ваню Тошева починить простенькую телячью стайку, Ваня весь день «прирачивает» богатство – ходит потерянным около стайки.

Однажды Ваня Тошев стал Иваном Петровичем. С подачи его жены. Ваня поступил заочно в сельхозтехникум, сдал экзамены за первый курс, жена в магазине на вопрос: на кого это Ванька твой выучиться думает? – отвечает в духе «без прибавки и телёнок не пьёт»:

– Иван Петрович на инженера учится.

И на широком скуластом лице жены Ивана Петровича написана гордость. Мысль женщины, конечно, подсказывала ей совсем не эти слова, которые она произнесла, она подсказывала: «Посмотрим-посмотрим, какой из тебя генерал будет!» И вследствие такого тайного рассуждения, всхлипнула. Народ расценил всхлипывание как выпирающую радость, очередь дала дорогу будущей жене инженера.

Наружное добродушие Ивана Петровича всегда подкупало местную власть. Посылает зоотехник на ферму: будем у коров копыта оципывать, Иван Петрович чуть не в слёзы:

– Мне матка у своей-то коровы не доверяет щипать, а ты... а защипну за живое? Нога загниёт, придётся корову забить, и потерял колхоз не одну тысячу. Не-е, пускай ветеринары щиплют, их на это дело учили.

– Силы в тебе или в Насте? Ей щипцы не продавить!

– Прошлый год корова мне на ногу ступила, до сих пор болит.

И так искренне говорит Иван Петрович, так прямо смотрит в глаза зоотехнику, что тот косит свои глаза в бок, колеблется и, матом покрыв «собачью должность» свою, уходит. Смотрит вслед зоотехнику Иван Петрович, самодовольно смотрит и как говорит: «Сидишь, пулемётчик, в своём углу, и год сидишь, и два сидишь, кормовые единицы считаешь, вот иди и щипли, раз больно надо!»

На очередном собрании шутники просят «инженера Ивана Петровича» выступить насчет богатства, только он привычно отнекивался. Я, говорил, на тьму веков сердчаю, ораторству не обучен.

Как-то в президиуме, облокотясь на стол, сидел секретарь райкома партии, держа ладонь возле уха.

– Кто это? – тихо спросил районный вожак сидевшего рядом «ссылного» председателя колхоза.

– Потом скажу.

Районный вожак был характером решительный и смелый, никогда не имел случая испытать над собой гнёт власти, сам властвовал и повелевал, он наполнился неким наивным удивлением: почему не знаю про какого-то инженера? Раз народ просит, стало быть, мужик стоящий!

– Как его звать? – опять спросил «ссылного» председателя.

– Иван Петрович.

Секретарь райкома встал со стула.

– Иван Петрович! Прошу Вас выйти. Выйдите и скажите, какую роль играет колхоз в смысле развития индивидуального человеческого существования, что даёт окраску совокупности жизненных потребностей и так далее,— сказал секретарь райкома, опускаясь на место.

У многих в зале стало как-то зябко в головах от таких витиеватых вопросов. Иван Петрович поёрзал в кресле, встал и с места сказал:

– Все мы приумножаем колхозное богатство. Человек я маленький, делаю работу маленькую, такая и окраска. Тут бы послушать людей с институтами, партийных, от их взглядов и требований прирастает богатство, а я что – ноль без палочки.

– Какой же Вы инженер, прозябатель какой-то,— хмыкнул секретарь.

Зал реагировал смехом.

Иван Тощев кончил техникум. Стал механиком. Начал присматриваться к колхозной мастерской. Он ли не знал, какие ставки у заведующего мастерской, у завгара, у кладовщика запчастей и прочее, но у главбуха всё же этот вопрос «провентилировал». Главбух по совместительству была и секретарём парткома колхоза.

– Что там поговаривают? – ткнул пальцем в небо, улыбаясь радужно.

– Где? – будто не понимая о чем речь, отвечала бухгалтерша.

– Думные дьяки. Государство меня учило, надо бы государству долг возвратить.

– Чего мелочиться, давай сразу в председатели.

– Я ж по-хорошему, зачем, зачем лезть в бутылку?

– Будь я на месте секретаря райкома партии, я бы освободила тебя от колебаний, которые тяготят над всей твоей жизнью: бери колхоз!

– Не понимаю, чем я Вас огорчил, дорогая Надежда Константиновна.

– Я тебе не дорогая, твоя дорогая дома капусту квасит. Так вот запомни: пока я в секретарях, ты ни о какой ставке

не помышляй. Для тебя ставка – предел мечтаний, обнажённое выражение твоей гнусной ограниченности. Ты же хищник, Ванька, мелкий, вредный, вонючий хищник.

– Счастье твоё, Надежда Константиновна, что я не обидчивый человек. Можно бы райкому партии намекнуть, как наш секретарь работает с кандидатом в ряды славной ленинской партии... но завгаром я буду!

– Ты хочешь пролезть в партию? Да через мой труп!

И стал! Тихонько, настойчиво шёл к этой цели, где больше народу, там и он, истребляет последние крохи теоретической стыдливости – то на смех поднимет подпившего заведующего мастерской, то вздумавшего разводиться автомеханика, вещает весело, смеётся раскатисто. Смеётся, а сам с автомехаником пьёт водку. Тому деваться некуда, не об чём думать, нечего жалеть, не для кого жить – в таком положении водка есть средство от избавления тоски и одиночества. Автомеханик, по-видимому, убедился, что долго-коротко, если сам не уйдёт, то его попросят уйти, и что отдалять конец, значит, поддерживать тревожное чувство, потому впал в некую суетливость: матерился с шоферами, грозился докладные писать на правление колхоза, в соседнем колхозе выцыганил двигатель на ЗИЛ и сцепился с председателем ревизионной комиссии по компенсации понесённых затрат. Увы, ревизионная комиссия понесённые убытки посчитала как дружескую попойку.

Сдалась секретарь парткома: «Да ставьте вы хоть лучшее!» – сказала молоденькому председателю колхоза. Новая метла хорошо метёт. Молодой, энергичный выпускник института решил начать политику оздоровления колхоза с полного замена штата специалистов. Секретарь парткома как его уговаривала, что ничего хорошего от замены не будет, а будет в десятки раз хуже, увы.

– Строим квартиры, приедут молодые семьи...

Председателю 24 года, секретарю 50.

– Ты мне в сыновья годишься, потому молчи и слушай: не руби с плеча! Замени одного, другого замени, поживи да посмотри, что от замены получил, тогда и

режь по больному месту. Ты где вырос? В рабочем посёлке. Что ты понимаешь в сельском хозяйстве? А ничего ровным счётом! Тебя сотни, тысячи раз обманут, а почему обманут? Не думаю, что ты глуп, просто обман есть одна из форм колхозного общежития. Молодежь слишком самонадеянна и чересчур способна.

Не показался улыбающийся, убедительно говорящий Иван Петрович мошенником новому председателю, председатель старого завгара посадил на расхлёстанный грузовик, а Ивану Петровичу пожал протянутую руку:

– Давай!

Прежний завгар когда-то учился в институте. Молча подал ключи от своих «попрыгушек» Ивану Петровичу и грустно так сказал:

– Возьми всё – и отстань.

А Иван Петрович пообещал:

– Для своего брата инженера какое одолжение всегда сделаю.

Бывшему завгару так и хотелось поправить: «пакость сделаю».

Он не пытался даже обороняться, ведь, в сущности, всё равно, как обездолит его судьба: кому суждено утонуть, тот не сгорит. Он хорошо знал, кому отдаёт ключи и должность. Прежний завгар не был скроен природой ни карать, ни миловать: видит, надо уходить с работы, и ушёл.

А что же Иван Петрович? Он не знал таких глаголов, как урвать, облапошить, объегорить да обматырнуть, пустить по миру и тому подобное, он знал другое: приспособиться. Он никого не планировал обижать, став завгаром, он хотел жить, как птичка живет: клюю по зернышку и сыта.

Жил как дремал, поживал, не мнил на тех, кто ставил его карьере палки в колеса, отомстить поражением их взглядов, выступал на правлениях колхоза Иван Петрович до той поры, пока не потерял у народа всякое доверие. Звать его стали Ваня Жирный – что не пищит, всё домой

поташил, а что пишит, тому головку на бок завернёт. Потому поташил, что дальновиднее (наглее) оказался многих других: пришло время грабить родной колхоз. Нет-нет, ещё до полного развала было некоторое время, и «курлыкать» поодинке, как вещал одноногий Сергеич, еще не начали. Сидел он в гнезде крепко, распушив перышки. Незаметно стал главным инженером. Это ли не почёт?! Но не онемел Иван Петрович перед необъятностью открывшихся ему перспектив.

– Что там у вас творится, достали из реки трактор? – спросил председатель про очередную выходку Володьки Ламова.

В ответ Иван Петрович, не то скорбно, не то как бы сдерживаясь от смеха, махнул рукой.

– Достали?

– Баба Володьку отпочесовала лучше всякого парткома. Во всю деревню стружку сняла, ещё и коромыслом наводила! – отвечает Иван Петрович, словно умирая от смеха.

– Докладную напиши. Облегчим его жене кошелёк.

Володькиной жене кошелёк облегчили, а запоротый двигатель Иван Петрович легонько сплавил в соседний колхоз, тамошний механик за двигатель отдал не новую, но пригодную к жизни чехословацкую косилку. Иван Петрович косилку в свой гараж затолкал. Пускай постоит.

В неравной битве с кремлёвской властью первым пал телятник. Благо жена вышла на пенсию, и её уже не интересовало поголовье, фураж, разорванные стужей водяные котлы. А у Ивана Петровича под рукой была и техника, и складское оборудование, и ремонтная база.

Последним председателем в колхозе был присланный областью «резервист», большой специалист по банкротству. Действовал варяг набегом: десять коров ставит в кузов машины – и пропал на две недели.

Приезжает в колхоз журналист, шествует напрямик в ремонтную мастерскую, а трактористы и шофера посреди мастерской в карты режутся. Безучастно осматривается

приезжий, спрашивает главного инженера. Желает получить исчерпывающую информацию из уст первых людей колхоза.

– Вы Жирного ищите? – ехидно спрашивает один игрок.

– Инженера Тощева.

– Тощий, он же Жирный. Хохляцкое отродье! Бабы его страсть любят, и выпить...– другой игрок с таким судорожным движением щелкнул несколькими картами себе по горлу, что чуть не сломал карты.– Он у нас кум румынскому королю, брат папе римскому, непогрешим и подозрителен.

– Интересно, почему ваш Жирный так вольно базарит колхозной техникой? – спрашивает корреспондент, сопровождая вопрос каким-то невыразимо загадочным взглядом, в котором одинаково смешалась брезгливость и смутное опасение принять на себя ответ за всё, что творится на Руси.

– Ты с Луны упал, писатель? Где ты видишь колхозную технику? Вся техника на Жирного, на босса, на электрика, на прочих ширли-мырли главарей банды переписана, мы люди кабальные.

– И кто же этой банде такие полномочия дал?

– Вот сидящие тут бараны.

Ещё пять лет минуло, от колхоза даже названия не осталось. Ивану Петровичу перепало «кое-что», если не брать во внимание новенького колёсного МТЗ, УАЗика, токарного станка и прочего по мелочам.

Вот теперь стоит Иван Петрович у окна, гладит бородку, смотрит на гараж, а гараж такой, каких в колхозе не бывало. Даже с крапбалкой.

Порой чертыхается лёжа на диване перед телевизором в адрес Москвы: кто «там» у руля стоит? Дети воров стоят! Дети всяких партийных бонз выше лесу стоячего голы носят! Весь сор со всего мира едим, коров заразных из Англии за здорово живёшь слопали, свои поля лесом зарастают. Эх!..

Сел за стол, поставленный в простенок, раскрыл атлас российских дорог. Вот тут, под городом Ярославлем, живёт

старший сын... вот здесь, в городе Кинешме, живёт дочь... «Понесло её в ткачихи, и всё с подачи матки...»

– Матка, у нас малый у Альки когда родился? – спрашивает жену.

– А через пять дён! Все уши тебе опела: пошли парнишке денежку! – отозвалась из кухни супруга.

– Пошли... сама знаешь, где у нас денежки.

– Дохрани-ишь, – в распев сказала жена. – Вон в сбербанке как пенсионеров чистят, придут снимать, а им: «Вы уже сняли». Те туда-сюда, к прокурору, а прокурор даже заявления не принимает: вон у меня сколько дел, не до вас!

Сказывали в магазине бабы, обчистили крепко сиротский дом. А та, слышь, что вклады наши оформляла, за кассой сидит в «Чёрном коте».

– Вот сучья порода! Дерьмократия называется. При коммунистах порядок был, что говорить. Может, станок загнать?

– Кто его купит, твой станок! По ящику не видишь, как целые заводы в металлолом пустили? Кабы твой станок американский был... не жмись, пошли денежку!

– Всем всегда чужого хочется. И детям, и внукам, и правнукам... Да-а. Помню, секретарь райкома меня пытал про идеалы колхозные, сказал бы я нынче ему про эти идеалы! И смех же, право. Другой раз меня охватывает беспредметная тоска, желание биться головой о стену. Жили мы как рабы, плясали под чужую дудку.

Вышла из кухни жена, уперла руки в бока. Её скуластое лицо, подурневшее от времени, вдруг начало пылать под цвет красной кофты.

– Полно, давай, собирать-то, раб. Ты вот другой раз на сердце жалуешься, а ведь не сердце у тебя болит, оно у тебя болеть не умело и не умеет. Стыд, что ли, в тебе вспыхивает да скоро гаснет? А вот скажи, раз на то пошло, ты, когда всех мужиков надул, всех проворнее оказался, когда трактор вырвал, машину, станок, чувствовал себя победителем?

– Здравствуйте! Не ты ли радостная у трактора крыло гладила, свежую краску вдыхала, будто я тебе в раскрытое окошко охапку цветущей черёмухи кинул? На божницу меня посадить готова была, верно?

– Черёмухи?! Ты хоть одним цветочком меня за жизнь поманил? Много стыда я через тебя приняла!

Повернулась и в кухню.

– Да умри я завтра, никто с деревни попрощаться не зайдёт!

Ухват, а может, сковороду бросила в сердцах жена, в кухне что-то загремело сильно, и раздался глухой плач.

«Поел шанег, – подумал Иван Петрович. – Не-е, кончать надо с этой откровенностью. Я к ней со всей душой, а она... Староверка!»

У каждого своя дорога

Два ряда деревенских изб уныло глядят маленькими окнами друг на дружку. Нового было мало – белевший свежим деревом высокий притулый пятистенок, ладно крытый тесом, с пустыми окнами и не навешенными дверями, а большая часть изб и хозяйственных построек без должного глаза незаметно, тяжело и медленно уходит в землю. Пятистенок «закатил» списанный на берег по причине пьянства мурманский рыбак Соколов.

Поначалу деньги у него водились, и деньги немалые, потом стал пить, шататься по вдовушкам, насмешливо кивая встречным людям обмерзшей, обсосуленной бородой, а потом и сгинул где-то. Одни говорили, что Соколов уехал обратно на море рыбу ловить, другие слышали, будто живёт одиноко в забытой всеми, покинутой часовне, на стенах часовни много картин и икон. Деревенские жители запомнили заносчивого богатыря. Старенькая учительница стала Соколова «калить» в магазине – зачем ребят малолетних спаиваешь? На это Соколов ответил: «Человек – это дробное число. У старика числитель – мозга,

знаменатель – кишка. У глупого юнца наоборот: числитель – кишка, знаменатель – мозга».

Год как нет у руля страны товарища Сталина.

Валя Григорьева не считает себя самой разнесчастной девушкой в сельсовете – таких, как она, десятки. Потому, с какой стойкой уверенностью она работает на свинарнике, никто подумать не может, что сердце её часто замирает от горечи и отчаяния. И есть от чего замирать: годы идут, пора бы иметь своих деток, да на личном фронте одни пробелы. На досуге тайком от матери достанет спрятанную в книжке фотокарточку, смотрит, целует Митю в пшеничные усы, и говорит, говорит, и светится её лицо улыбкой, ласковой, осторожной, мечтательной. Образ парня завладевает ею, завладевает внезапно, всякое лихо прогоняя прочь, подменяя яростное возбуждение беззаветной лаской и нежностью. Её Митя пограничник, служит четыре года на Дальнем Востоке, и нет Мите замены, может быть, ближе к Покрову и демобилизуют? Знает она Митю всего один час. Шли пьяные парни через ихнюю деревню – отправлялись в армию, один парнишка идти совсем не может, валится, песни матерные орёт, сел у колодца – Валя как раз на ту пору воду набирала, и давай пьяный бухтить, замуж звать. Нас, говорит, у матери четверо, я самый старший, я в МТС столяром работаю, на хорошем счету у директора, большие деньги зашибаю. «А пить-то зачем?» – грубо спросила Валя. «Иза костра и щепя востра! Другая, тоже мне, матка. Вот такую державу-бабу мне и надобно! Гад буду: отслужу и сватом приеду!» За околицу Митю проводила, вернее, вывела, сидящим на земле хохочущим парням отдала. Потом Митину фотокарточку Вале младший братишка Мити принёс, из руки в руку подал да наказал брата не забывать. Валу прошлой зимой премировали мужскими резиновыми сапогами. Сапоги большие, с запасом, зато ногам тепло. Можно надеть шерстяные носки и портянки из мешковины. Молодость проходит возле свиней, мать со своим нарочито грустным голосом не отступается: «Разе

я на худое скажу? Послушайся меня, Валька: принимай домовика. Мы с батьком рады будем. Ты ведь насквозь поросычьим духом пропахла, тебя в бане неделю мыть – не отмыть. Домовик тебя из свинарок уволит, не станет он поросятину нюхать. Ему жена нужна, утечи ему подавай». Омрачится лицо Вали выражением какой-то утомлённой, брезгливой скуки, подождёт презрительно пухлые губки да и скажет матери: «Ой да, мама... зачем?» – «Зачем, зачем, что ты ровно порченая, сама себя боишься?» Валя ощущает на себе испытывающие взгляды матери, мать виновато улыбается, на выцветших глазах показывается какая-то муть. «В перестарках останешься, посватается вдовец многодетный, и за вдовца пойдёшь. Вон сколько парней подросло, рады в примачи уйти. Ты у нас работающая, характером покладистая...» – «Вот привяжешься, мама...» – «Ты не злись, не злись на меня, я тебе добра желаю».

Деревянный свинарник – довоенной постройки. Углы стоят на большущих камнях, под стенами много дыр, и дыры год от году множатся. В одну такую дыру юркающая бригадирша Маша Доводкина заползла вытаскивать провалившегося поросенка, визжащую животину кое-как поймала, вытолкала на белый свет, а сама две изъеденные крысами половицы изломала и вовнутрь, вся в навозе и земле выползла. Много крыс. Их травят, но меньше не становится. За стенами скребётся ветер.

Большая печь, сложенная из разномастного кирпича, в печь засунута двухсотлитровая бочка из-под керосина с вырезанным дном – это своего рода котёл. В бочке варится картошка. Она мерзлая, эта картошка, хранится навалом, её нельзя хранить долго в тепле, её надо сразу варить, в тепле такая картошка быстро «обмылеет». По свинарнику плывет пар. Даже не пар, ползёт какая-то сырая пуховая пелена, то опускаясь до мёрзлого пола, то поднимаясь к черному, в студёных тяжёлых каплях воды потолку.

Сумрачно в помещении. Стойкий запах погреба и вони. Стекла в рамах плачут, в пазах поддувает, где-то на крыше пробует сорвать тесину безрукий хулиган.

Сидит возле печи Сергей Матвеевич Григорьев. До войны он был подвижным, с тёмными глазами весельчаком, даже на гармошке немного пиликал, а с войны вернулся одноногий инвалид, подавленный и замкнутый, с красным и плоским лицом. Гармошку с полатей ещё раз не доставал. Мужик созерцал во всей наготе факт своего жалкого существования, это состояние казалось ему напущенным на него, на всю деревню, на весь белый свет кем-то извне, как бы со стороны. Перед воображением его стоял незабытый послевоенный голод, горькие деревенские нужды, и чем дальше влачит мир, тем нуднее он становится, ибо нет никакого просвету для человеческой радости.

Курит «козью ножку». Махра у него крупная, что опилки. Лениво сосёт сигарку и думает о смерти. Вот был у него взводный, младший лейтенант Густов, из сбегавших на фронт студентов. Всякую беседу с солдатами строил по принципу вопросов и ответов. Любил затронуть такие каверзные темы, что... «Вот ходим мы, ребята, в обнимку со смертью. Притерпелись, но каждый из нас размышляет о жизни и размышления становятся потребностью, без которых нельзя обойтись, которые нельзя скрыть. Что остаётся от плодов наших размышлений? Яростная жажда жизни! Имеет ли жизнь смысл? Григорьев, вот какой толк во всей жизни?» Семён Григорьев «листает жалкий человеческий словарь», пытается ответить доходчиво, что человек не есть скотина безродная, до нас люди жили, умирали, рождались, и мы обязаны жить, чтоб врага победить, домой вернуться. «Верно! Миллионы лет миллионы существ возникали и исчезали с лица земли. В космическом измерении человеческая жизнь длится полторы секунды. Ровно столько, сколько исходит душа из тела. Жизнь – это как помывка в бане...».— «Товарищ младший лейтенант, я в бане моюсь часа два, потом квас пью час, потом жёнку ласкаю – на полторы секунды не согласен»,— смеётся сержант Дюкин. «Значит, сегодня тебя не убьют, ты не помылся в бане. Друзья мои, наука стремится к гармонии с окружающим миром, с тем ми-

ром, законы которого она предчувствует. Предчувствует! Жизнь – это согласие познания и тайн природы. Каждый из нас строит её своеобразно своим потребностям, прихотям, способностям, случайностям...» И такого туману напустит взводный, что голова пухнет. «Вот всё на земле когда-нибудь кончится. И уголь, и дрова, и бензин, и керосин, и хлеб... У нас кончится, у немцев, у дикарей острова Борнео, у американцев...».– «У американцев хлеб не кончится, – возражает Семён Григорьев. – Чтобы у американцев и бензин кончился, и хлеб – не поверю». – «А ты поверь. Доживут люди – на всём белом свете голым-голо. Всё съели, всё сожгли, всё истребили.

Вот как у нас передовая взрывами перепажана, лишь на кладбище изобилие цветов, птички-бабочки порхают. Ничего нет – осознали, одумались, да поздно, и чешут репу: а как жить дальше? Мысль человеческая свободно движется в других сферах, бежит за пределами специальных знаний, даже ад войны вынуждает человека к постоянному действию». – «Тогда и жить... на хрена тогда и жить, мужики, если ничего нет?!» – «Люди исчезнут последние. Люди захлопнут дверь эволюции. Жаль, конечно, на чём поедут машины людей последних поколений? Вы не поверите, в это трудно поверить: на общей космической энергии! Чтоб осветить небольшой город, нужна энергия нашего взвода...»

«Жаль, если взводного убили. Роем траншею, лень лопатой ворочать, его как леший зудит: «Вот, Сергей, нам говорят, что души нет. Так? Пусть так. Тогда откуда идёт выражение «душа бессмертна?» Один поэт семинарист времён Первой мировой войны писал: «Господь! Смири мою грешную душу, смири мою жадную плоть. Дай вечно мне слышать отныне не взрывы, а звон вдалеке...». Или: «душечка», «душегрейка», «душевой надел», «душеприказчик», «душевное волнение», «душевнобольной», «душевный порядок», «душеспасение», «душевный изгой»? Мозг управляет телом или душа мозгом? Или: солдат слаб духом. Он трус? А где душа прячется у труса? Где душа

живёт у храбреца?» – «Товарищ младший лейтенант, вот вырою я окоп на пять метров глубиной, лягу на самое дно, и пускай меня засыплет взрывом, только бы вы меня не нашли. Такой день хороший, небушко синее, горизонт дрожит в сияющей дымке, – говорит солдат Григорьев, – а вы, будто дьявол, взываете к разрушению этой красоты». – «Во, – смеётся довольный взводный, – проняло! Сегодня нас с тобой точно не убьют. В такой день ключник Пётр разомлел от жары и спрятался в тенёчке. Мудрость, Сергей, отказывается от «почему», она довольствуется простым «как». Главное для человека – растолковать самому себе сущность моральной устойчивости. Ты думаешь, я тебя мучаю? Нет, я сам с собой разговариваю, а ты вроде публики в зале. Можно любить порядок, но не стремиться его желать, можно копать траншею, а логичнее – вот тут ты прав, лучше бы на берег реки, полежать, небом полюбоваться...»

На войне не убили – слава Богу, зачем теперь живёт – сам не знает. Год товарища Сталина нет, а без Сталина... «Вряд ли из нужды выйдемся. Будем долго голодную лямку тянуть». Желает добра-здоровья военному хирургу: золотые руки у человека, «отчекрыжил» ногу ниже колена, а мог бы и выше. Пусть на деревяшке, да ходок. До гробовой доски будет видеть поленницу из солдатских рук да ног возле госпиталя: кость побита – резать, некогда лечить, истекают кровью сотни раненых. Сергея заставили выпить граммов сто чистого спирта, привязали к столу, пилу по железу протёрли спиртом, в рот кляп забили... хирург, как мясник, весь в крови, ори, беснуйся... «Меня ещё Бог миловал, вон у соседа Васи Каликина обоих ног нет «под самую колокольню». Васю из танка вытащили, а свой же танк, сзади шедший, его раздавил. Да-а...». Катают его сердобольные родные как обрубок дерева. Вася Каликин писал письмо товарищу Сталину насчёт такой бы тележки заводской, с рычажками и с педалями, чтоб мог он что-нибудь по хозяйству делать, да умер Сталин, а без Сталина... «Не до нас».

Непонятная тоска грызла сердце. Перед Новым годом ездил он на кобыле в районный военкомат, спрашивал, будут ли давать деньги за ордена. За взятие польского города Белостока его наградили орденом Славы 3-й степени. И ещё в райцентре стали инвалидам войны выдавать радио на батареях. Когда радио в деревню придёт? Во взгляде военкома блеснуло что-то страшное, холодно-свирепое и отчаянное – орденосец понял: денег не будут давать и радио в деревню пожалует не скоро. Встретил идущего другой стороной улицы из столовой троюродного брата Николу Попова, фуражка нахлобучена на посиневший от морозу нос – Никола хоть и бывший пленный, а корни в земельном отделе райисполкома пустил глубоко. Здоровались издали, не пожали один другому руки. Видел в райцентре сытые, по-праздничному радостно-озабоченные лица, и чем благообразнее смотрелась физиономия, тем с большей неприязнью смотрел на нее колхозник Григорьев. «Все сволочи из деревень сбежали! Нажрали морды!»

Вроде, день уж заметно прибыл с нового года, пора бы идти на прибыль хорошему настроению, ожиданию весны... «Вот пойду к Машке...» Хорошо, пойдёт он к бригадирше, скажет, что инвалид войны, награжденный орденом Славы, и в гробу видел этот свинарник! Но он отлично знает, что не пойдёт, и злобу в себе зря разжигает, и некого девчужке Машке ставить вместо него, некого! Вася Каликин с радостью бы стал картошку варить, воду греть, кабы Васю сюда на свинарник притащить-прикатить. Потом, на этом свинарнике работает его дочь Валька... и заглушает в себе злое, тоскующее чувство личности Сергей Григорьев.

Неделю назад волки утащили собаку. Не ахти какая собачонка была стоящая, да лаяла с визгом.

Волки совсем обнаглели. Ребят малых на улицу выпускать страшно. Средь бела дня волк гнался за кошкой, заскочил к одной бабе в сени, баба со страху едва ума не лишилась.

Распахнулась дверь, в клубах сырого парного воздуха, как толстая пика, показался обломок еловой жерди, вместе с ним в помещение ввалилась девушка в рваной овчинной шубе. Пришла дочь Валя. Она по пути на свинарник привернула к изгороди, выдернула сухую жердь, изломала её между двумя черемухами и с обломком заявила на работу. Сняла с себя шубу, бережно свернула и положила на кучу сырых ольховых дров, придавила поленом. Надела шуршащую от засохших комков муки и навоза юбку – два мешка, сшитых вместе; валенки прижала головками к печи – грейтесь, сама обулась в резиновые сапоги.

– Все живы? – спросила отца густым, спокойным голосом.

– Вроде, – сипло ответил отец.

– Что нахохлился, как старый ворон?

– Да так... Ехала бы ты, Валька, куда-нибудь. Вон у Доводкиных обе девки подались по городам, обратно в деревню не спешат ворочаться.

– Мама пилит, пилит... Чего я в городах забыла?

Присела на корточки перед отцом Валя, смотрит на отца, и так Сергею Матвеевичу больно стало от умных, страдающих глаз, что чуть не расплакался. Хорошая у них дочь, отзывчивая. Белая худая шея с глубокой впадинкой кажется слабенькой. Впервые отец заметил на лице дочери легкие морщинки, вблизи оно показалось незнакомым, но более близким, чем то, которое постоянно видит издали. Впечатление было настолько ново, что Сергей Матвеевич поперхнулся и раскашлялся.

– Худо вы с мамой старались, одну меня родили, а Доводкины – шесть девок да три парня. Едут – и правильно. Как всем по дому, это сколько домов заводить надо? А тут колхоз один свинарник подлатать не может... До весны бы дожить, весной... весной на трактористку в МТС пойду учиться. И Машка со мной.

– Ну-у?

– Думаешь, не смогу?

– Что ты, что ты!

Сергей Матвеевич подтягивает под себя культяпку с деревяшкой, быстро встаёт.

– Да ты у нас!.. Атаманша! Вот ты кто! Парнем бы тебе надо было родиться!

Лицо Сергея Матвеевича расплылось в широкой ласковой улыбке.

– Осилишь, как пить дать, осилишь! – сказал он с радостной торжественностью. – И Машка осилит! Она хоть и маленькая, да удаленькая.

Вале было как-то особенно радостно думать, что рядом с ней замечательный отец; порой он кажется обыденным, озабоченным, даже тусклым, а вдруг неожиданно освещается сверкающей красотой своей души.

Ночь Сергей Матвеевич ковылял возле свинарника. Тяжелое небо висело над головой. Оно не было пустым и безмолвным – по краю поля приглушенно грызлись собаки. Сергей Матвеевич знал, что это волки, они, должно быть, попробовали свинины – сколько говорил девкам, что не выбрасывайте дохлых поросят, не приманивайте зверьё; вобрав голову в плечи, хлестал крепким колом по стенам. Звуки лопались, тёмная даль аукалась от глухих ударов. Станет прикуривать сигарку, сунется лицом в ладони, и почудится ему, что загорелся в его руках большой костёр, и костер этот пламенеет, вырывает сидящих в этот час возле своих окон деревенских жителей и зовёт в темноту, ближе к нему; за его ладонями спит в немоте родная деревня; прикурит, уставится в едва заметные ряды чернеющих изб, и хочется придать сотворённой умом картине многозначительный характер: он за всех ответ держит!

Стужа. Время почти остановилось. Хочется пихать его руками, бить палкой не стену, бить время; табачный дым перехватывает дыхание... Хорошо быть сытым и богатым и спать в теплой постели – мысли Сергея Матвеевича опять «гостят» в райцентре: «Пленные как у нас высоко залетали! Давно ли голос пленного был тоньше комариного писку, а ныне... Рано умер товарищ Сталин. Кабы ещё пожил лет десяток... В колхозе иной не в сноп, не в горсть,

а только до райцентра выбрался, ты к нему с уважением: Николай Иваныч. Мишка Каликин уже опер, преступников ему подавай...» И крутится в голове длинная повесть печальных страданий, выпавших на долю деревни. И как будто Сергею Матвеевичу, привалившемуся продрогшим телом к стене свинарника, не было дела до рыскающих волков, он сравнивал волков со сбежавшими из деревень за лучшей долей мужиков. «Кто где пристроился... С войны пришли с паспортами, пожалуйста... а нет бы всем миром за краюху хлеба вцепиться? Поднять деревню, а там бежите...»

Днём бригадирша Маша Доводкина далеко выходила в поле, нашла, что количество волчьих следов с каждой ночью прибывает и следы жмутся к самым стенам. Бегала к председателю колхоза. Нашла председателя за самоваром. Тот пил чай с кренделями, на шее лежало вышитое полотенце. Сам как помытый в парной бане.

У порога молитвенно сложила руки и хнычущим голосом произнесла:

– Василий Васильевич! Защита ты наша и опора! Под стенами свинарника волки шастают!

С безумной торопливостью бегают глаза председателя, с холодным вниманием осматривает он свою маленькую молоденькую бригадиршу, полотенце с шеи сдернул.

Пробурчал не то смущенно, не то обиженно:

– Ну вот, ещё я и карауль...

– Что делать, что делать, Василий Васильевич?

– Что, что... пугать. У стариков должны быть ружьишки, как же иначе...

– Да какие? Какие у нас в деревне старики, Василий Васильевич?

Ночь Сергей Матвеевич отстоял, а утром, держась за стену рукой, говорит шепотом бригадирше Маше Доводкиной:

– Долго мне не выдержать.

– Страшно, дядька Сергей? – тоже шепотом спрашивает Маша.

– Горло надсадил. Кричал, матом ругался... Васю Каликина проси. У Каликиных ружьё есть. Васю в тулуп завернуть, посадить на потолок свинарника, Вася... Вася танкистом был, горел Вася...

Тут же бригадирша Маша Доводкина побежала к Каликиным. Скрывая неловкое волнение – когда-то был дядька Вася плечистый, рослый, с хорошим, чуть насмешливым лицом мужик, а тут сидит на полу ребенок с большой головой, щиплет косарём лучину, – просит попугать обнаглевших волков. Василий Савич загорелся: и ружьё ему сейчас же подавай, и патроны, и шубу. Ружьё домашние держали от него подальше, боялись, что однажды не выдержит и застрелится.

В сизой пенистой мгле проступило длинное тонкое облако. То родился короткий зимний день. Два зайца-беляка, смешно подкидывая длинными ногами, один за другим выскочили на торную дорогу. Как переглянулись, понюхали поочередно убитый снег, присели – и пошли гоном.

Далеко над лесом катилось и замирало эхо.

Василия Савича скатили по двум плахам с потолка свинарника. Он был счастлив. Во всем теле чувствовалось приятное изнеможение. Смотрел на поле, давненько не виденное; сейчас поле просыпалось, подпираемое слабеньким светом востока, тёрло глазки, такое свежее, такое родное, что хотелось говорить тихо, боясь помешать сладкой дреме, но взамен того Василий Савич чуть не кричал:

– В упор, Серега!.. В бок, где броня тоньше! Я его долго подпускал, палец на крючке онемел! Во, рукой за загривок чуть не держу, и под лопатку, под лопатку фашиста гадючего!

Сергей Матвеевич заглядывал в лицо Васе, жал руки и радовался, словно не Вася застрелил волка, а он.

– Ну вот, а то сидишь без дела, – говорил, пытаясь привязать Васю к санкам верёвкой.

– Не, не, я сам! Руки на что?! А? Помнишь, как с угоров катались? Серега, притащи волчару, дай шерсть пощупать.

– Ага, притащу я тебе добычу,– хмыкнул Сергей Матвеевич и хлопнул Василия по плечу.– Девки, притащите. Первый трофей.

– Что ты, дядька Сергей, я и притронуться-то боюсь,– испуганно сказала бригадирша Маша, прячась за Валю.

– Перестань, давай, трусиха.

Где Василий Савич сам отталкивается, где Маша Доводкина санки тащит, правятся они домой. Бабы за водой в этот утренний час идут, Василия Савича поздравляют,– быстро пробежал по деревне слух, что Вася Каликин волка укокошил, и тут же выговор дают:

– Прошлым летом двух баранов у нас волки задрали. Еле-еле налог вытянули. Давно бы тебе надо, Василей, за ум взяться, смотри, как у тебя ловко получается... Не страшно одному-то, в экую стужу? Молодка какая не пришла караул скоротать?

– Эх, бабы! Ровно я воскрес!

– А то! Без настоящего дела человек чахнет.

Сергей Матвеевич волка ободрал, мясо на кусочки порубил, хряку-производителю в корыто вывалил. Хорошая добавка к мёрзлой картошке.

На небе Сергей Матвеевич прочел что-то хорошее. Может быть, облака, очень похожие на гигантских белых птиц, несли добрые вести о близкой весне, или что иное, хотя чужд и холоден был высокий полёт.

Он рубит дрова топором у свинарника. Щепки и осколки брызжут по сторонам. Дрова сырые, дров сегодня много. Бригадирша Маша Доводкина посылала за дровами пятерых женщин. Пять возов – пять дней жить можно.

«А весной,– Сергей Матвеевич на миг переводит дух,– весной... заживём! Народ мы тяглой! Валюха наша учиться пойдёт... ну и пускай! Хорошая трактористка будет, в первых рядах!»

Жизнь плелась-дёргалась как старая кляча, изводила людей и скотину. Жизнь редко смеялась солнышком, чаще хмурилась непогодью. Деревня день ото дня просыпалась всё раньше, люди с надеждой смотрели в потеплевшие

окна, а пока вся обыденность текла по старому расписанию: хлопотно, холодно и печально; до весны ещё надо дожиться.

Третий день пустое небо жжёт стужей. Вот и верь, что весна не за горами.

Объявился Соколов. Топаёт вдоль деревни к своему недостроенному пятистенку, волосы, как у монаха, на плечи легли, черная курчавая борода до половины закрывает лицо, шаг вольный. Приворачивает к Григорьевым. «Выдь,— просит,— Сергей Матвейч, покумекать надь». Вышли на улицу, смотрит Сергей Матвеевич — один ободранный о ледяной наст тулуп на мужике, ни рубашки, ни майки даже.

— Не зябнешь? — прищуриваясь спрашивает Сергей Матвеевич, заходя сбоку.

— Нет,— угрюмо отвечает Соколов.

— Мы уж тебя на деревне списали вчистую, думали всё, каюк.

— Поторопились. Здесь жить буду и умру здесь. Хоромы свои поднять надь.

— Под смертью ходил?

— Из ада вышел. Стрелка взбесившегося компаса остановилась на точке «я». Поздновато, однако, далеко унесли меня шальные ветры, да надь себя поискать. Гардероб...— Соколов потряс лапами тулупа, продолжил речь с усмешкой, будто о другом человеке он говорил; на глаза навернулись слезинки, губы подёрнулись.— Гардероб весь на мне.

— Дело наживное,— с расстановкой произнес Сергей Матвеевич.

— А жить охота! Охота жить, Сергей Матвейч! Смерть — это просто, страшно себя потерять. Жизнь — это такая малость... кто-то из святых отцов сказал, что её надь передать, облагородить и возвысить.

— Куда тебя понесло-то, числитель со знаменателем! Похвально, однако. Эх, взводного бы моего тебе в учителя! Взводный бы тебе курс выправил! Шибко грамотный парень был, страсть! У мира силу проси.

– Надь. Я в рождественский сочельник первую звезду ждал. Всё, Сергей Матвейч, думал, сказка для глупых старух эта звезда, ан нет!

Сергей Матвеевич онемел: стоит перед ним могучий мужик с тихими голубыми глазами, продрогший, голодный, верно, голову приклонить не знает куда – и говорит о звездах... умом, что ли, тронулся?

– Вышла она, трепетная, на северо-востоке в начале пятого, одна себе под углом градусов сорок пять... Вот тут, – Соколов с обидчивой горячностью постучал кулаком по своей голой груди. – Тут всё у меня ныло, горело, мне было стыдно. Стыдно!

Как человек, сделавший важное открытие в самом себе, Соколов выглядел гордым, хотя лицо его выражало приступ удивления.

Молчание! Сколько надо времени, чтобы ощутить счастье? Секунда, миг, всё остальное лишь устои внутреннего мира. Молчание многозначительнее любого слова, всякое красноречие кажется лишним.

– Дом, говоришь, достраивать будешь? А какой силой? В райцентре ватажников надыбал? – спросил Сергей Матвеевич.

– Силы в обрез: ты да я, да мы с тобой.

– Чудак, – сказал Сергей Матвеевич с приглушённым смешком. – Морозишь меня на улице, про звезды голову морочишь, в тепле не мог сказать? Числитель ты со знаменателем. Святые на зов не придут, избу не подымут, хлебом не накормят, вином не напоят.

Звал Сергей Матвеевич Соколова ночевать – отказался.

Один пошёл в теплую избу, другой, напитанный тишиной и тихой мощью природы, величием Небесного океана... У каждого своя дорога.

...На Введенскую было назначено отчетно-перевыборное колхозное собрание. Василий Васильевич запросился в отставку.

На улице сырость, слякоть, летят хлюпающие клочья снега. Этой осенью даже на Покров не изладилась приличного заморозка.

Собрание проходило в клубе (большущий пятистенок раскулаченных Бурцевых), присутствовали первый секретарь райкома партии и его «протеже» – молодой субъект невысокого роста, в очках и, что странно, в шляпе. Он сильно походил на напуганную ворону. То сидел, втиснувшись в стул, то порывался выпрямиться – от лиц колхозников, как от холода близкой реки, исходили холодная вежливость и настороженность, у него, должно быть, ломило плечи. Все ждали и гадали: потянет ли ЭТОТ председательскую лямку? Большинство колхозников в душе были рады смене председателя, порядком надоел обрюзгший и располневший Василий Васильевич. Хотелось молодого, собой гвардейских статей мужика, хозяйственного, доброго, а ЭТОТ еле перебирает ногами. Большой, что ли?

Долго выступал Василий Васильевич. Путался в бумагах, то в очках читал подготовленные бухгалтером материалы, то без очков, кряхтел, из зала сказанному подтверждения ждал. У меня, сказал в самом конце, голова постоянно кружится, ночью сплю худо, нервы испорчены, глаза видят худо. Вон, рукой тычет в зал, сколько молодёжи послевоенной поднялось, заменить, слава богу, есть кем. И предложил кандидатуру Маши Доводкиной. Правильно, есть кем заменить, да устроит ли замена райком партии, вот где собака зарыта!

– Здоровья у меня осталось только ключи от склада носить, – то ли в шутку, то ли с намеком закончил своё выступление.

Горят керосиновые лампы. Их желтый колеблющийся свет ещё больше разжигает любопытство.

Секретарь райкома партии предлагает колхозникам молодого очкарика Георгия Фирсовича. Георгий Фирсович вскакивает с места, озирается, мнёт в руках шляпу, лицо плачевно-грустное. По словам секретаря, Георгий Фирсович

подаёт надежды быть хорошим руководителем. На должности заведующего районным архивом показал себя грамотным, трудолюбивым, дальновидным, дисциплинированным специалистом.

Запросил слова Сергей Матвеевич Григорьев. Вышел вперёд, гремя новеньким протезом, извинения попросил у секретаря райкома и Георгия Фирсовича, и говорит:

– Так-то бы оно так... власть нужна. Не в обиду будет сказано, товарищ секретарь, и ты не обижайся на нас, товарищ из архива, вроде бы кот в мешке привезли, а, крещёные? А вы, товарищ секретарь, против не будете, если я кандидатуру одного нашего предложу?.. Соколов, выйди сюда.

Медленно встал с лавки бывший моряк Соколов, хотел шагнуть к Сергею Матвеевичу, но, помедлив, сел обратно.

– Не трусь, и я упрусь, – подбодрил Сергей Матвеевич.

– Да тут... – потупился Соколов, почесал бровь, решительно встал и вышел вперёд. Ближе к осени он неузнаваемо преобразился. Сегодня обут, одет, одеклоном спрыснут, осторожно гладит рукой свою выбритую щеку.

– Все знаете его? – спросил Сергей Матвеевич.

– А то! Наслышаны!

– Давай, Соколов, доложи народу о себе и своем курсе, – говорит Сергей Матвеевич.

Опустил голову Соколов, вздохнул и говорит:

– Без меня меня женили, я на мельнице молот, – пропел из частушки. – С тобой, Матвейч, и посеCRETничать-то нельзя. Я шутя и сказал-то, а ты...

– А чего шутить-то, Соколов, возьми да правь от всей правды, – сказал Сергей Матвеевич. – Капитаном будь, одним словом. Команда, конечно, не ахти как бравая, больше бабья, но если вожак ого-го! – Сергей Матвеевич погрозил кулаком. – То и команда подтянется. Верно, бабоньки?

Молчит народ. Боязно! Длинная у райкома партии рука. Матвейч разглагольствует вольно, а как прищучат... а как завтра!.. а как план по хлебопоставкам увеличат?!

Секретарь райкома старался сохранить вид спокойный и равнодушный к выдвинутой кандидатуре. Но, чувствуя, что ему нужно решаться, проговорил с притворной сердитостью:

– Товарищи колхозники, какое будет ваше мнение?

– Свой, знаем... в числителе нонче у него порядок!

– Что-то я не понял про числитель, – спрашивает секретарь Сергея Матвеевича. – Товарищ Соколов из учителей?

Ожил зал. Заскрипели стулья, шепот пополз по рядам.

– Из моряков я, – ответил Соколов.

– Соглашайся, Соколов, – вылетели из зала торопливые женские слова.

– Что ж, я рад. Рад, что вы выбираете своего председателя, которому верите. Свой – он и есть свой, что говорить, – сказал секретарь райкома.

А Соколов переступил с ноги на ногу, подтянулся весь, глянул на Сергея Матвеевича, удивленно хмыкнул:

– Ну, сват, сам себе не верю... ловок же ты, дьявол!

– Ты бабам-то скажи про курс, про звезду, только коротко, и как жить дальше будем, – подтолкнул Сергей Матвеевич.

Улыбается он: доволен!

– Курс... – у Соколова возле переносицы обозначилась заботливая морщинка. Посмотрел на внимательно изучающего его секретаря райкома, продолжил: – Курс такой: надь жить кучнее, с миром жить, и мир уважать, и жить богато!

...Валю Григорьеву увёз в свою деревню демобилизованный пограничник Митя.

...Василий Савич Каликин мастерит себе тележку с рычажками и педальками. Не раз писал в военкомат, чтоб помогли с тележкой, да жаль, в военкомате не шьют не порют.

Колька с Великой

На сельском кладбище, на заброшенной, лет двадцать никем не посещаемой могиле, однажды под самую Радунницу кто-то прислонил к березе небольшую гранитную плиту, на которой не было ни имени, ни дат рождения и смерти, лишь курсивом прочерчены слова: «Оставьте мёртвых в покое». Читали эти слова здешние жители, хмыкали, пожимали плечами: чудачки какие-то объявились, разве кто тревожит мертвых? Наоборот, кладбище год от году наряднее, оградки красятся, мусор убирается, проезд через кладбище закрыли, чем люди недовольны? Вроде хоронить умерших на своём кладбище власти разрешают, уж не божьей ли знак? Даже старики не могли вспомнить, кого хоронили на «том месте». Побрела по свету беспокойная маета: а может быть... грозные тучи уже собираются, фатальный конец света близко? Протекло какое-то время, и совершилось чудное явление: ночью на месте бывшей часовни видели много зажженных свечей, вокруг их кто-то ходил, шарил на земле и тяжело вздыхал... потом послышался треск выдираемых половиц (часовню испилили на дрова) и свидетель в страхе бежал прочь. Тут заговорили о юродивом Куне – жил такой полунищий мужичок с оловянными глазами. Кто его однажды увидел, тот не забудет лицо, полное дикой свирепости. Когда он вещал про ад (рая в его понимании никогда не было), казалось, в груди его разливается пламя жгучего страдания: «В клубе будут жить пастухи! Прибежит стадо волков, будут волки грызть кости человеческие! Куня видит сковороду с деньгами... смерть!»

Осенью её раздавили, узенькую, просыпанную тонким слоем гравия, сельскую дорогу большегрузные машины. Дорога стала походить на корыто, наполненное грязно-желтым тестом. Не раз выходил к дороге пенсионер Иван Иванович Коровин, щупал тяжелыми и жесткими натруженными руками перекопанный песок, вздыхал. Морщинистое сухое лицо его с густыми седыми бровями скорб-

но-озабочено. Подходил к спешащим шоферам, каким-то растерянным взглядом смотрел на машины, говорил тем, кто спрашивал, чего деду в избе не сидится:

– Тяжело досталась нам эта дорога... Знаешь, сколько мужиков да парней ушло погибать по этой дороге?

– Мы тебе, дед, шоссе «Москва – Варшава» закатаем! – кричал из кабины тощий парень. Лицо у парня тонкое, даже чуток печальное, гладко зачесанные волосы по-бабьи собраны на затылке в упругую корону.

– Нам, милоч, не надо Варшавы, вы бы нас не трога-ли, а?

– Дед, не вешай головы, не печаль хозяина!

Чем больше гудело на дороге машин, тем беспокойнее становилось на душе у Ивана Ивановича: зачем, куда ладят такую широкую дорогу? Куда – это он догадывался: скорее всего, дорога обогнёт деревню Великую, – двадцать метров всего ширина между домами, а если обогнёт, так дальше куда?

Сегодня малая луна хозяйничает над деревней Великой. Сухой, шипучий снег роится вокруг единственного фонаря на деревенской улице. Фонарь не горит, он отгорел лет десять назад. Сегодня любо постоять на улице, послушать тишину, взглядеться в небо. Вчера ночью, сырой и тяжёлой, Иван Иванович в беспокойстве выходил из избы, смотрел вдаль, в ту сторону, откуда идёт беда; тут в узком лезвии прищемлённого света мелькнули нахохлившиеся прутья черемухи – шла машина. «Колька! – чуть не закричал от радости Иван Иванович, уж было повернулся, хотел бежать в избу и сказать жене, что сын в гости едет, но лезвие света ткнулось туда-сюда и сгнуло. – А чего наш Колька забыл...»

И сегодня в Иване Ивановиче жило ожидание повторения вчерашней ночи: вдруг да вчера Колька не доехал по какой-то причине до родительского дому? Сегодня, значит, доедет. «Ужо, дам я тебе!» – ругнулся про себя Иван Иванович. Это точно: выматерит, нагрубит, а после сам себя глотать будет не одну неделю. Бойтся Иван

Иванович нежности, доброты своей натуры, грубостью он как защищается, сохраняя в душе, как в скорлупе, мягкую сердцевину своего характера.

Походил по голой улице, валенками притоптал борта набросанного днём снега, сходил в сарай, вынес суковатую чурку и колун. Дай, думает, разобью чурку, спать легче стану: размялся.

Днём Иван Иванович был в гостях у Васи Лысого Умника – так его вся волость величает. Лоб у Васи большой, лицо в веснушках, шея как старое голенище, всегда обмотана шарфом, вместо левой ноги протез. Вася Лысый Умник одинаково любит всех древних мыслителей от Греции до Китая. Последние три года пишет возвышенным стилем свою книгу «Из земли в землю». Презрение и негодование искажает лицо Васи Лысого Умника, когда видит по телевизору, как бездарные политики, торопливо и суетливо ёрзая челюстями, живописно превращают действительность в сон.

Сидит Вася за столом, ковыряет ногтем столешницу, медленно говорит:

- До весны бы дотянуть, а там...
- Для красоты мысли представим стаи скворцов, куликов, журавлей, – добавляет Иван Иванович.
- Ты бы сползал на черемуху, приладил скворечник, – просит Вася Лысый Умник.
- Прилажу, чего не приладить. Я в молодости ту ночь не спал, как черемуха у бани зацветала. И жене спать не давал. Смотри, говорю, нюхай, запоминай, да-а...
- Каждое время интересно, Иван Иваныч, но оглянуться в прошлое по книге – одно, прожить самому – другое. Это как живая вода и мёртвая вода. Фантастичнее действительности во сне не увидеть, не выдумать и не сочинить. Такие фортели выкидывает подчас она, что в книгах не прочитать, умом не объять. Умиление и слёзы, негодование и трогательная нежность, любопытство, побуждение, страсть – господи, великий и всемогущий, да сколько непознанного и удивительного, умирительного и

страшного родится каждый день в великой муке сомнений. Человек враг сам себе; он замучен своими неугомонными мыслями, они и прокляты, и низвержены, и спасены одновременно, и обласканы, и отвержены – всю жизнь он, кузнец своей действительности, её палач и защитник, для каждого шага находит причины, бьёт молотом по этой действительности, плющит и правит, того не понимая, что всякий раз его руку заносит кто-то другой, только не он. Оглянется во вчерашний день человек, в своё детство – боже милостивый! неужели он жил, во всё верил, переживал? да нет, не может быть, всё ещё впереди, а сзади – сны; кто-то другой, безликая тень сопровождала рядом, и всё торопила, торопила... кто-то другой смеялся вместо него, любил за него, учился в школе, служил в армии, бросал охапки черемухи в окна невестам... мешаются дни, годы, жизнь чудным образом обращается в полёт, за горами, за долами сгорают мечты, полёт всё ниже, теснее к земле, годы несутся в бездонный провал... в печальный и зловещий сон.

Луна опускается за горизонт. Отодвинуты шторы на окнах, – за окном опять вернувшееся детство; свыкся месяц с шершавым снегом, обласкал небольшой кусок божьей земли своей милостью – на большее сил не хватает, льёт в избу привязанность к родным местам, сострадание к ушедшим в мир иной; устал месяц, он ещё совсем дитя, от роду ему одна неделя, ищет дитя защиты, а защитить его и всё продолжение жизни может только одна Земля – как ребёнок жмётся к груди матери, прижался, – большая мать обласкала дитё кроваво-золотым счастьем, и дитя стало засыпать, кутаясь под густой материнский сумрак.

Говорит Иван Иванович жене:

– Поговори с парнём.

– Возьми да и поговори, – басисто отвечает жена.

Она вяжет носок, вроде понимает, о чём телевизор «гундит», вроде это вчера «выпевали» или на днях было...

– Поговори, – повторил сердито.

– А чего спросить? – сдалась жена
– Чего, чего... здоров ли, чего ещё? Не заскочит ли когда...

Кино бы посмотреть простенькое, старинное, родное, да все программы на один узор: деньги, деньги, стрельба, драки, людей бьют как мух, девки голые, пляжи заморские, олигархи, сплошной разбой. Каждый день из казны уплывают миллиарды рублей за кордон, каждый день сажают в тюрьмы, чиновничья рать подобна стаду голодных свиней, сунувших морды в корыто с денгами: жрут, жрут, не смотрят по сторонам, случись бандиту передохнуть, отвалиться от корыта, его уж затоптали.

Сын Ивана Ивановича Колька живёт в райцентре. Был два раза женат, приводил жить трёх дам на вольные хлеба, не живётся бабам. В детстве был Колька тихий, смиренный, хотя и немного придурковатый. Придурь Кольки особенная: подарит девчонке конфетку, а взамен теребнёт за волосы, или плюнет в лицо и давай хохотать. С годами придурь ушла, стал Колька с девчатами обходителен, только те, кому он однажды плюнул в лицо, всё равно считали парня «волчий сват» – родился Колька на Николу Студёного, а это примета плохая. Сорок шесть лет Кольке, и зовут его райцентровские жители Микола с Великой – в деревне Великой Колька появился на свет. Женщинам он не верил никогда, называл и называет сосудами мерзости, но что странно, жить без этих сосудов не может. По его мнению, женщину бог сотворил для того, чтоб наставлять мужику рога, чтоб бегать по магазинам, строить обманутому мужу глазки и постоянно «доить» его – женщинам вечно не хватает денег.

Колька в сорок шесть выглядит роскошным партнёром: рослый, широкоплечий, у него большой нос, большие серые глаза, грустный, уклончивый, но не безвольный взгляд, упрямый лоб – лицо расчётливого крестьянина. Водку пьёт «чужую» – «чужая» идёт легче, любит, когда его угощают и называют по имени-отчеству, но меру в водке знает. Деньжат проживающим с ним женщинам

не даёт. Наоборот, он не прочь вытянуть из них всё; любитель злых подковырок и шуточек: «Расскажи, душа моя, сколько ты мужиков через себя пропустила? Ну, ну, не стесняйся, дело житейское. Вот, слух идёт, ты этому... в бане спину трала, а?» У последней сожительницы был взрослый сын. После техникума осенью его бы призвали в армию, но случилось так, что вместо армии он чуть не загремел в тюрьму. Сожительница изладилась зубастая, любила повторять «живём не в городе, носим на воротах», мужчина ей слово, она в ответ выплеснёт десять. Микола с Великой как-то обругал женщину «ментовской подстилкой» – на лицо сожительницы легла печать грусти и величавой строгой думы, слóва не сказала в оправдание, всю ночь плакала, а сын зажимал кулаки и бросал на дверь комнаты хозяина квартиры испепеляющие взгляды. Однажды Микола с Великой пришёл домой подпивши, сожительница сняла с него сырые сапоги, усадила за стол, а он в задир: разве у него богадельня, чтоб всех сырых и убогих кормить? Сын сожительницы готовился идти в десантные войска, не сдержался, вынес обидчику два передних зуба. Колька тут же заявил в милицию, парня – при сотрудиниках порывался «убить гада!» и разбил заявителю бровь, посадили в СИЗО.

Сожительница съехала с квартиры, на коленях умолила Миколу с Великой не губить парню жизнь. Колька взыскал отступные на зубные коронки да плюс моральный ущерб в пять тысяч рублей. И чего не живётся бабам у Миколы с Великой? Квартира двухкомнатная со всеми удобствами, дом кирпичный, в гараже только что не ржёт от радости иностранный скакун, зарабатывает много и на хорошем счету у хозяина...

Колька в данный час запоздалого вечера, как и отец, лежит на диване, смотрит телевизор. Орут, скачут всякие обезьяны по сценам, где-то тонут корабли, на пешеходных переходах давят людей, Президент сегодня щедро даёт, завтра обещает наказать – каша, каша, однообразная пустая болтовня.

Тёмные слухи тянутся за Миколой с Великой: перед хозяином лебезит, баб заманивает к себе, мужиков закладывает, топливо подворовывает... Свои, деревенские, сказали бы, какой наглец ихний Колька, какой жестокий и холодный человек этот «волчий сват», да не скажут. Поворчат, пожелают «ни дна ни покрышки», на том и весь обвинительный приговор. А «волчий сват» в ответ своей деревне лет десять назад выставил оправдание: вы, земляки, мохом обросли. Вы обижены на меня, а потому обижены, что у вас мозгов нет. Суды-пересуды, шипящая злоба, а вам обижаться на самих себя надо. Кругом рушатся крепости социализма, ушлые люди делят Волгу и лосей, заводы и военные базы, а вы, мякинные брюха, всё чего-то ждёте, на что-то надеетесь, бамбук курите. Тащить надо, тащить! Своё брать!

Колька работает в карьере на большом американском тракторе. Фамилия его хозяина Лошат, но весь район (даже начальники) зовёт его Лошадью. Биография Лошата темнее тёмной осенней ночи. Одни говорят, что скрывался в Америке, другие – из бывших военных моряков, отрубил «десятку» от звонка до звонка по мокрому делу, но Лошадь баллотироваться во властные структуры не желает, потому чей он да откуда, да сколько миллионов у него на счетах в иностранных банках – закрытая тема. У Лошадя три «жеребенка» – крепкие, бритоголовые бандюганы. Под Лошадью прогибается районный князь, – нищей власти постоянно нужны доноры. Прошлым летом он спонсировал прокурора – захотел прокурор проверить версию о захоронении взяточников живьём подле ног фараонов. Средней школе подарил несколько компьютеров, за такую щедрость директор школы называл благодетеля по областному телевидению «спасителем России». Подобно Петру I любит артиллерийский грохот, в день ярмарки село со многими домами выбрасывается под облака – Лошадь – ты наш кумир! Он помнит классику: дайте толпе хлеб и вино, и толпа понесёт вас на руках. Гуляй, челядь, не думай много, спокойнее спать. Лошадь подку-

паёт и одновременно отталкивает народ внешним лоском и блеском, тихим, вкрадчивым поведением, испытующим взглядом. Он выслушает любого обратившегося к нему (кивками головы как подталкивает просителя, мол, знаю, сам рылся в мусорных контейнерах), скажет приветливое слово, даст совет, но не даст денег, и руку пожмёт на прощание, а то и побьёт по плечу: приходи ещё, я свой, я за вас.

Колька после армии поработал четыре года на колесном тракторе, видит, что колхоз начал барахтаться в тине непонятных реформ, год от году начальники становятся тупее, во всех бедах винят Америку, не понимают, что творится кругом, что говорить о доярках и трактористах? и начал Колька помогать разваливать колхоз. Посылает бригадир везти на ферму фураж, а у тракториста Кольки Коровина встречный вопрос: «Михалыч, дорогой ты наш!

Да когда Колька отказывался, когда он отлынивал? Вот такое дело, Михалыч: чем платить будете?». «Да ты такой же колхозник, как и я! Мне-то чего платят?» «Михалыч, ты бригадир, лицо должностное, будете колхоз по паям раздирать, себя не обидите? Нет, а Кольке Коровину фигу с маслом? Ты языком пай выхлопочешь, а мне чем? Только горбом: беру три мешка. Что касается остальных – меня не колышет». Во, будто подарил конфетку и в лицо плюнул. В шею бы такого вымогателя выбить надо, да не выбьешь: кончается механизаторская братия. Тащит домой всякое железо – пригодится потом, три ночи разбирал в пустующей колхозной столярке деревообрабатывающий станок – через широкое окно вынес частями, тяжелую станину выдирал трактором. Отец матерился: «Ты с ума сошёл! Посадят!» Колька только усмехался: «Не-е, не посадят. Воры пишут законы для воров». Разобрал новенькую сушилку – валы роторов электродвигателей пилил пилкой по железу, снял с гусеничного трактора все четыре каретки – «А списан трактор! – ещё накричал на стыдившего его механика. – Это батьков пай! Верхи миллиарды тянут, а работяге утиля жаль? На днях, слух прошёл, ты себе

купил мешок сахарного песка, а квиток провёл в конторе запчастями. А, не было такого? Так что, дорогой ты наш, не судите, да не судимы будете». Первым из деревенских Колька купил в райцентре квартиру. Крохами воровал, помогал настоящим вора́м грабить колхоз.

Днём у входа в магазин видит Колька такую картину: стоит мужик без шапки, ветер шевелит его седеющие космы. Фуфайка замасленная на мужике, без пуговиц, под фуфайкой застиранная тельняшка. Лицо обветренное, худое, и застыла на этом лице растерянность. Рядом стоит девочка лет семи, наряжена во всякое рванье, сосёт кем-то подаренную конфету.

– Подайте Христа ради, войдите в положение...

Смотрят на Кольку пустые тоскливые глаза.

Колька молча прошёл в магазин, купил хлеба, две банки тушенки, когда расплачивался, велел кассирше при- считать шоколадку.

На улице шоколадку затолкал в подставленный девочкой карман на шубейке.

– Дай вам, Господи, лиха не знать... мамка у нас того... умерла мамка.

Свысока взглянул на мужика Колька, желчно и зло сказал:

– Работать надо, мамка.

Затем, желая нужным пояснить свою речь, презрительно и сурово сказал:

– Тут не стой, ты туда иди, в Белый дом, к левым и правым!

И, не получив в ответ никаких оправдательных слов, плюнул себе под ноги.

«Вот что такое детство? А? – говорит Колька Коровин сам с собой.– Наивный вопрос. Мамка у него умерла... Поди сетку от кровати и ту пропил, мамка... А тебе скажу про своё детство: выскочишь босиком в морозную ночь посикать возле крыльца, и бесконечный мир, как большой бабкин чугу́н, перевернутый верх дном, глухой, зябкий, страшный, в миг сожмёт маленькое тельце... я

распахнул глазенки, ушёл в слух – должно быть волки сидят в зарослях малинника, и хотят меня съесть... подавляя своей незримой мощью, будто дышащее море, со всех сторон наползает страх... ленивой зыбью страх кочует от электрических проводов до самой крыши и там набирается сил, чтоб упасть на меня сверху и затолкать в снег, заморозить... как непрочно людская радость, радость открытия мира. Обратю в избу бегу, не чувствуя замёрзших ног, я видел такое!.. такое! и, главное, жив, меня не съели волки».

Поговорил Колька с матерью о том, о сём, чего, спрашивает, батя делает.

– Бока тоит, чего твоему батю ещё делать.

– А-аа... привет от меня. Не забыли дом и улицу, где я живу?.. Не забывайте, скоро вас выселять станут.

– Сойди с шального места!

Положила жена мобильник, хмыкнула:

– Выселять, говорит, станут. С ума ли?

– В Магадан или на Печору? Эх, родись наш Колька пораньше, вот бы поизмывался над народом...

– То дак звони, то дак... а слова вещими бывают, – обиженно говорит жена.

Пока ещё стоят кое-где по Руси деревни, из труб идёт дым.

Стоит на угоре деревня Великая. Полумертвая деревня. На последние выборы – выбирали местную власть из самых достойных радетелей, голосовать пришло четыре человека, остальные не верят никому. Из сорока шести домов у пятнадцати истерзанных провалились крыши, шесть домов с забитыми досками окнами. Бежит под деревней родниковая речка Кудряга, раньше старожилы говорили, в Кудряге щуки водились, воду на самовар только из Кудряги брали, теперь река обмелела – петух перебредёт, берега обросли ольхой, наволоки от Ельцинских реформ не кошены. Всей радости былой – омут на Широком мысу.

Весной, когда мир очнётся от дрёмы, плывёт по деревне волнующий запах цветущих черёмух. Деревня тонет в

белых облаках; жаль, некому черемуху бросать в распахнутые окна: два пятиклассника, вот и вся подрастающая сила.

Не веселит душу весна: где мощный рокот тракторов, ожидание чего-то нового, где нападающий зуд – надо пахать, надо сеять! В сердце деревни нашла пристанище огромная печаль: вымирает деревня. «Никому мы не нужны, и толку от нас никакого – сетуют деревенские жители.– Живём, небо коптим. А с другого боку забрести: мы ли не робили, мы ли...»

Был колхоз – растащили. Райцентр стал похож на многоглавого исполинского зверя, и терзает этот зверь деревню, и вытягивает из неё все соки. Вытянул землю – нет больше колхозной земли, вся земля, оказывается, теперь... Стреляй любого жителя деревни Великой, огнём пытай – не скажет, кто на его земле теперь хозяин, потому, что не знает он. Вытянул тех, кому до пенсии лет двадцать. Вытягивает лес – нельзя на дрова рубить даже ольху по заросшим межам. Нынче колхозный лес отдан... в аренду. Кому, кто отдал, кто голосовал?

Э-э, махни рукой в любую сторону, не всё ли равно барану, кто его стрижёт? Через минуту рука к затылку лезет: обидно, однако. Не всё равно! Было всё колхозное, общее, наше, пускай ничейное, но наше! Было, проклинал народ колхоз, проклинал колхозные порядки, подъедали руководителей – начальство по одну руку, бараны по другую, но сегодняшний баран завтра мог стать председателем колхоза, и ничего, ничего от смены власти не менялось, наоборот, к власти приходили равнодушные, как сонные люди. Был колхоз «черной дырой», был испытательным полигоном, но ведь как-то старались жить по чести, по совести...

Бывает, горит колхозный лес. По ночному небосклону сылет зарево, освещая кровавым пожаром небо. А чего лесу не гореть, заготовители рвут делянки, кому бы больше выхлестать кубатуры. Сучья под гусеницу, вершину короедам, пень муравьям, отвалили от сосны два бревна

и «давай, давай!». Бывшие колхозники на лесной пожар реагируют односторонне: а гори оно ярким пламенем! Районные лесники едут на машинах, стыдят бывших колхозников: лес горит! Вы-то, вы-то почему ничего не предпринимаете?! Спасать надо! «Вот ты и спасай, а мне шесть досок на гроб найдётся» – ответит, случается, обездоленный бывший колхозник. Не перевелись народные мстители: побрёл человек в лес, якобы глянуть, будут ли сейгод ягоды, а сам вырубки поджигает: всё гори! Не мне и не вам!

Живёт народ сознанием того, что из родной избы не выселят.

«Дурак ты, батька,– продолжает разговор с отцом Колька,– ведь говорил: плюнь на всё, перебирайся в райцентр, сегодня не сомнут, завтра сомнут. Привязались с маткой к своим соткам... Тебе-то какое дело до всех? О тебе кто печётся? Нет, так почему тебе больше всех надо?.. Лошадь под жильё продаёт здание бывшего аэропорта, поделить на клетки – всей деревне места хватит. Каждый день митинги, собрания, и звать никого не надо, все в одном стаде»,– Колька расхохотался, представив, как Вася Лысый Умник кричит в здании бывшего аэропорта, требуя найти «гадов» и хлестать их батогами.

Колька сам не знает, какая жизнь ожидает его завтра, неясны и смутны представления о ней. Одно понимал он, и, скорее, чувствовал, что нет места порядочности... «Надо же, стареть начинаю, о грехах подумываю... нынче в пору спрятаться под большой, большой бабкин чугунок и не высовываться...»

Потом начинает злоститься на деревенских мужиков: забыли, что казались умнее его, задавали массу щекотливых вопросов – как ты с грехами жить станешь? и желали всячески принизить, открытым текстом клеймили: ты – сволочь! Как только не поносили, как только не обзывали... «Волчий сват... А Волчий сват работает на американцев и в ус не дуёт». К механику у Кольки давно зародилось двойное чувство: завистливой вражды и невольного уважения.

Ему хотелось сравняться с механиком в развитости и выйти из унижительного положения, в которое сам себя загнал. Механик при всяком разговоре предлагал ему замысловатые вопросы и злорадно (только так Колька может охарактеризовать поведение непосредственного начальника) любовался его невежеством, не находчивостью. «А как же, восемнадцать лет учили механика, а чему научили? Хорошо Лошадь пристроил на лесопилке доски сушить, вот и ездят теперь, дорогой ты наш, за двадцать верст киселя хлебать, кидай в котёл чурки. Можно Лошади намекнуть... надо намекнуть!».

Месяц без выходных работает в карьере Колька Коровин. Десять многотонных машин возят песок на дорогу «райцентр – Великая».

Среди механизаторской братии родился слух, что Лошадь выкупает земли бывшего колхоза «Народная доля». Не верит Микола с Великой:

- А на кой леший ему колхоз?
- Ему не колхоз, ему земля нужна, нужен лес.
- Так лесу-то осталось с гулькин нос? Всё выхлестали, – не понимает Колька.
- Жираф большой, ему виднее, – уклончиво говорят мужики.

Понятен Кольке намёк: с осени Лошадь сулит ему трехкомнатную квартиру, хвалит за ударный труд. Ты, говорит, возьми у меня в долг денег на машину, не уступающую самому Жириновскому, я тебе верю.

Чего не взять, если наваливают, взял. Даже расписку не запросил босс, ещё раз повторился, что верит Николаю Ивановичу на слово, а Жириновский – мракобес.

Растаяла зиявшая в окна ночная мгла, сменилась ночь чуть брызжущим пепельно-серым, туманным светом – шёл день. Стоит на улице Иван Иванович, и кажется ему, что стоит он над распахнутым погребом, набитым льдом. Ночью долго не мог заснуть, лежал и думал, так и сяк прикладывал услышанные слова, чувствуя внутри один мучительный холод: чего-то будет... И он застонал –

сначала слабо, потом сильнее; и уже не знал, будет с нарочитым упорством ждать боль или боли никакой нет и не будет, есть маленькая неопределенность.

У крайнего дома немного слезливой бабки Анны собрались жители всей деревни. Вышли, сбились кучей, оперлись на батоги. Замыкающий Вася Лысый Умник подперся костылём. Или присущая деревне стыдливая щепетильность, или гордость, что побуждает скрывать от всех думу, а навалилось на всех тревожное ожидание самого худшего: пришёл большой трактор, ведь зачем-то пришёл? Реку как перешагнул с берега на берег, такой он был большой. Переглядываются старухи, нехорошее предчувствие смущает всех. Самые дальнзоркие усмотрели в кабине трактора «волчьего свата» – и усы его, и сидит как стопа, и тут зашелестела толпа: зачем пригнали большой трактор? Или Иван Иванович тоже предаёт всех, скрывает истинную суть вещей...

– Дорогу, что ли...– у бабки Анны на лице выражение наивного ребенка, широко открытые глаза смотрят на Ивана Ивановича. Обтерпелась за долгую жизнь бабка Анна, привыкла вроде ко всему и на жизнь свою одинокую рукой махнула, а тут что-то шевельнулось под самым сердцем.

– Не знаю,– дрогнул голос Ивана Ивановича, на раскрасневшемся лице супруги своей, рядом стоящей, ищет ответ.

– Кабы не Колька за рулём... Колька мучается болью своего сиротства, мстит всей деревне.

– Да ты!.. Какой он сирота при живых родителях? Чего ему мстить? Говори да откусывай! – вспыхнул Иван Иванович.

– Молчала, Иван Иванович, да прорвало: он бы весь колхоз пятнадцать лет назад проглотил, да народ в ту пору ещё не шваль был!

Кисло улыбнулась Анна соседу Ивану Ивановичу, пыткала батожком снег, отошла.

От Кудряги до деревни полверсты – шагами много раз промерил Иван Иванович это расстояние. Пока возили песок на дорогу, он радовался: во, жизнь возвращается в Великую! Мой Колька в карьере гравий в валы сгребаёт, старается для земляков. Ужо воротятся те, кто в райцентре обосновался, школу начальную откроют, медпункт – будет кому уколы делать, а там и магазинчик, и колхоз опять загудит-замычит...

«Да я и без тебя знаю, что сволочь он, мой Колька, но зачем, зачем ты по-живому режешь?! – так бы и закричал Иван Иванович в ответ на слова бабки не только бабке, всему народу закричал бы.

Подъехала большая черная машина, из машины выскочил шофер, открыл дверку важному пассажиру.

Подошёл к народу богатый человек, представился, вежливо поздоровался. Не было ничего в нём страшного, задиристого. Точно явился перед ними уполномоченный райкома партии, из-под сдвинутых бровей мрачно и вместе с тем добродушно смотрели голубые глаза, но особенностью лица этого уполномоченного являлось выражение стремительности и необыкновенной энергии. Стоят за спиной его трое крутолобых наполеонов, руки на животах скрестили.

Покрякал богатый человек в кулак, в упоении сказал: – Господа поселенцы! Как говорил благословенный Кук, подплывая к берегам счастливой Океании... Точнее, как завещал покойный товарищ Ельцин, теперь эта земля, – богатый человек показал рукой, как далеко простираются его владения под небесным куполом, – моя. Я всю землю выкупил, и прямо сейчас, с теми, кто во время подсуетился, заимел паспорт на дом, у кого дом застрахован, оформлена земля в частную собственность, я заключаю договор купли-продажи. За любой дом не глядя плачу пятьдесят тысяч рублей и до свидания. У кого нет паспорта на дом, нет права собственности на землю, я даю десять тысяч и... семь футов под килем!

Толпа молчала. В ней копилась тяжесть, готовая оторваться и упасть, как нависшая капля. Тяжесть формировалась из неотвязных дум – прав был Куня! А ведь те, кто когда-то слушал Куню, гадали, – верить или смеяться?

– Не подавишься? – резко спросил Иван Иванович.

– Товарищ Ельцин завещал откусывать столько, сколько можно проглотить. Не подавлюсь.

– А тебе кто нашу землю отдал, фашист? И кладбище твоё?! – закричал Иван Иванович.

И загомонила толпа. И захлюпали носами старухи. Словно волна прокатилась и захватила людей, а может, огненная искра, родившаяся в душе одного переметнулась в души всех; вдруг проснулась во всех разом откуда-то взявшаяся энергия, смелость, народ обретал силу от сливающегося гомона, слышались проклятия в адрес власти, крики взяться за топоры и вилы...

К Ивану Ивановичу пробрался Вася Лысый Умник, тычет того под бок.

– У нас, русаков, как у Кощея бессмертного, сила про запас схоронена, – говорит, и в поворачивающееся лицо Ивана Ивановича смотрит своим страдальчески вздрагивающим лицом. Нос у Васи Лысого Умника захватанный грязными пальцами. – Может, Ваня, перед смертью живой воды испить дадут?

И бьёт себе ладонью по горлу.

Ядовито сказал Вася Лысый Умник, задышал Иван Иванович глубоко и учащенно, будто его кололи вязальными спицами, да как всхрапнёт, ровно конь над пропастью, и бежать домой! Деревенские онемели: добро своё спасать побежал или струсил?.. Дом Коровиных второй после дома бабки Анны, минута-другая, и несётся на топтанной по снегу тропинкой Иван Иванович обратно с топором в руке, глаза лихорадочно блестят, в голове его складывается что-то такое, что он и только он должен держать ответ за гибель деревни, за гибель колхоза. Лошадь с «жеребятами» стали пятиться к черной машине. Возбуждение, охватившее Ивана Ивановича, было одним

мгновением – враг отступал, и душу охватила слабость, непонимание происходящего.

– Что ты, Ваня, Ваня! – супруга пыталась вырвать из рук Ивана Ивановича топор.

– Попугают только, – пришла на помощь супруге бабка Анна. – Сокротись, Иван, насмотрелся телевизора...

Не пугать прибыл Лошадь со своей свитой в Великую! Пальцем поманил сидящего в кабине Кольку.

– Пришёл твой час, гусар. Приступай.

– Как «приступай»? – испуганно спросил Микола с Великой.

– Свороти курятник... ну ту, крайнюю халупу.

– Да вы?!

– Тебе уже не надо трехкомнатную квартиру? Или ты хочешь вернуть полученный аванс?.. Не слышу ответ, Николай Иванович.

Тихо, очень медленно, как осторожный вор подъезжает Николай Иванович к дому бабки Анны. Он едет уничтожать и разрушать все прежнее очарование, своё детство: бывало, сидел он за столом бабки Анны, пил молоко, а бабка молилась, обратясь лицом к божнице... под божницей висела на золотистой цепочке лампадка, висело на стене зеркало, которое когда-то ярко блестело и заставляло маленького Колю зашуривать глаза. Он вспомнил это зеркало, представил, как разобьётся оно по его вине на мелкие кусочки, и воспоминание словно ножом скользнуло по сердцу, точно каждый осколок уже вошёл прямо в сердце. Бабка отступает, оглядывается на отходящий вместе с ней напуганный народ, Колька видит, как бабка ныряет в узенькие дверцы хлева. Трактор зависает над избушкой, нацелив большущий бульдозер на старуху, виноватую тем, что не умерла до такой поры, на не сгнившую раньше времени избёнку... наступает тишина: Колька заглушил двигатель басурманской машины.

Бабка является на свет божий с белой упирающейся козой на веревке.

Сидит Колька в кабине трактора, чувство тягостного одиночества обняло его и не отпускает. Он видит родную деревню, свой народ, сбившийся в испуганное стадо... в детстве он много прочёл книг про бесстрашных летчиков, танкистов, отважных моряков, готовился сам к красивому и упоительному подвигу, и немало думалось, шло от живого воображения... и от подражания отцу, неужели погубить деревню – подвиг?..

Отпустилась от веревки бабка Анна, козе бы на деревню бежать, да что-то переклинило в козьем мозгу – под самый поднятый бульдозер! Не только бабка, весь народ так и замер: а как нож многотонный на козу падёт?

Выскочил из кабины Колька, бабка Анна к нему:

– Что же ты, Коленька, творишь-то? – жалобно крикнула бабка Анна.

Растерянная улыбка блуждала по лицу Кольки, до этого такому самоуверенному и даже надменному.

– Что, натрусили в штаны, поселенцы? – хохотнул как-то неуверенно Колька.

– Дави, Коленька, дави нас, пустокормов! И меня, и родителей... и Васю Умника. Да что, только хлеб на нас Америка изводит.

Тяжело, с присвистом дышит Иван Иванович, матерится, порывается идти смертным боем на сына, да жена всей массой давит его в глубокий снег и топором пытается завладеть.

Залез Колька на гусеницу трактора, постоял, забрался в кабину, иностранная зверюга издала рык, дернулась было вперёд, остановилась, и медленно поползла назад, как заслоняясь от людей огромным поднятым бульдозером.

Лошадь с «жеребьятами» стали отступать.

– Наш выход, сэр? – спрашивает один «жеребенок» шефа, доставая из-за пазухи пистолет.

– Легли в дрейф. Лишнее.

– А этого? – «жеребенок» тычет пистолетом в рычащую машину.

– Сел на риф. Клоп после смерти мстит своим запахом. Генрих Гейне.

Пустое небо жгло стужей. Снег был сухой, чистый.

Вася Лысый Умник пропустил мимо себя народ, ковыляет к Ивану Ивановичу, пальцами выбивает из носа соплю.

– Жалко машину, Иван Иванович.

– Какую ещё машину? – взорвался Иван Иванович, гневно блестя глазами.

– Американскую. Спорим на пузырь: не перешагнуть машине омут на Широком мысу.

Вася Лысый Умник с видимым удовольствием поправил на шее шарф, как-то радостно засмеялся.

– Книгу дописал? С каких таких пирогов его на Широкий мыс понесёт?

– Некий разворот в мозгах произошёл.

– У кого?

– У кого, у кого... у многих! Колонём?

Иваном Ивановичем овладело какое-то удивительно возвышенное чувство: он явственно увидел омут на Широком мысу, своего Кольку, уходящего под лёд вместе с трактором... да нет, Колька парень не промах, выплывет!

Над деревней закружился одинокий ворон. Внимательный и осторожный, опустился на поломанный снег, боком проскакал до блестящих козых орехов, по-куриному согнул шею, клюнул раз, клюнул два и взлетел, обманутый.

Мост

Бабушка сказывала: «Человек уже в чреве грешен. Сидит себе, сжавшись комочком, а ручки к себе, к себе гребут».

Поздняя осень. Что в такую пору делают грачи? Правильно: улетают. А то – с голоду никто помирать не хочет. На пятьдесят верст в округе поля двадцать лет не пашутся.

Метеорологи страшат ветрами. Главный из них – близко не подходи, в гневе «Трёх богатырей» раскатает, копыта их коней за кордон побросает, – вышел ночью на улицу покурить, глянул в небо, а там... будто на днях выборы депутата в Госдуму! Несутся пенистые облака, луну-проказницу хлещет разлютовавшийся ветер-сви-стень, луна и так и сяк юлит, желтоватым обмылком вы-скальзывает из тучек; послунял метеоролог палец, под ветер поднял – не к добру! Так утром и предостерёг всех.

Крепкой стеной стояла дурная трава, а вот на глазах стала редеть, скрипеть и валиться. По утрам под крышами присмиривших изб, над дорогами, выстеганными ветрами, копошится тягучий сумрак.

На пологом кургане, щедро обросшем многолетней крапивой и лопухами, работает человек в одной клетчатой рубахе. Фуфайка лежит рядом. Фуфайка новая. Человек долбит ломом землю, отломанные глыбы откатывает лопатой.

С басовым ворчанием пролетает мимо вертолёт. Винт вертолёта, кажется, стрижет подшерсток с серой, в под-палинах шкуры. Человек задрал голову и держал её так, запрокинув, словно пил срубаемую винтом тяжкую сырость. Не было в голове человека судорожного теснения, мол, куда да зачем летит вертолёт. «Шишку какую-то везут», – вот и весь ответ.

Работника зовут Кутькин. Сегодня ему семьдесят лет. В семьдесят в сельской местности мужика уважительно называют по имени-отчеству, а то и просто по отчеству, но отчество Кутькину «не прижилось», и виной тому один уполномоченный с фамилией Лёха. Телефон был один на весь колхоз, и тот под замком в конторе. Семь километров стрелой летел молодой, счастливый, радостный и босой отец Лёшка Кутькин в колхозную контору – жена рожала в районной больнице, дело было в воскресенье, – надо позвонить, жене сказать добрые слова. К уборщице сбежал, уговорил дать ключ, клятвенно заверил, что счета со сто-ла главной бухгалтерши не украдёт. Смотрит на телефон,

насмеливается, как бы чего лишнего не брякнуть, а спросить так культурно, свободно, тут телефон возьми и звони. Он трубку поднимает, с другого конца сварливый лай: «Кто со мной говорит?» «Лёха Кутькин» – отвечает. «Это я – Лёха! Уполномоченный областной заготконторы Лёха. Где председатель колхоза?» «Помилуйте, откуда я знаю где. Я в больницу звоню. Жена парня родила!» «Какое мне дело до твоей жены? Председатель где? Сейчас же!.. Одна нога здесь, другая – там!» «Да почему я знаю? А ты чего на меня орёшь, крендель?» Слово за слово, и обложил Кутькин уполномоченного трёхэтажным матом. А ведь какая была хлещущая через край радость от рождения сына, радость от ощущения любовной связи с малюсеньким комочком, радость от связи с дождём, небом, всем необъятным живым миром!

Участковый набегал, хулиган Кутькин смутился духом, вину за собой признал полностью, и умыкнули его в КПЗ на десять суток дрова колотить для той самой больницы, где жена первенца рожала. Десять дней колуном заглаживал промашку колхозного ветфельдшера: не отчитался перед надзорными органами: по какой причине не содрали шкуры с околевших зимой четырёх бычков? С той поры Кутькин ничего общего с «придурками, типа Лёхи из заготконторы» иметь не желает. Своя шкура дороже. Так всему обществу и заявил: зовите меня только по фамилии! Пусть фамилия некрасивая, да какой отец наградил, царствие ему небесное, с той и жить буду! Семьдесят – дата тяжелая: у детей дети переженались, у всех детей и внуков проблемы с кошельками, у всех проблемы с жильём, у всех свои скакуны в голове, все всем недовольны. Дикие времена пошли, джунгли! Вздохом тяжелым никого не наднеси, обидишь. Осторожно так спросил прошлый год, ближе к Михайлову дню, старшую сноху: «Ленка замуж пошла, шуршит в казёнке куна-то?» Как взвилась сноха, как заревёт, как закричит истерично, что «старьё зажучило, не даёт молодым дыху жить по-людски!», думал – амба, инсульт размочалит сноху, его

инфаркт законопатит в гроб. Сегодня покорная жена и та забастовку учинила своему угнетённому мозгу:

- Сдыхать буду – в лавку не пойду!
- Папирос бы хоть...– попробовал усостыть жену.
- Вот и иди! Купи на голую рожу!

«Голая рожа» – товар под запись. Иные выбирают до заветного дня всю будущую пенсию, почтальонка принесёт денежки, подержишь в руках, и со смертной тоской побредёшь в магазин отдавать долги. Отдавать, чтоб снова жить «с поглядю».

Кутькин – высокий, сутулый, хмурый, вытянутое лицо в морщинах, оно с постоянным выражением озабоченности. Озабоченность кажущаяся: сорок восемь лет Кутькины проживают в добротной колхозной квартире, как в народе говорят, в готовый лапоть ступили, собачьей конуры не сколотили, детей ничему не научили. Четверо детей у Кутькиных, ни один дома не задержался, потому деревня как в обиде: если старую изгородь не подновлять, долго ли забор простоит? Лет сорок назад в поведении хмельного Кутькина просматривались повадки большого начальника. Просят его доярки то соломы бульдозером толкнуть поближе к воротам, то помочь теленка принять у коровы, а он, как уполномоченный Лёха, делает лицо каменным, деревянными словами вещает: «Нашли затычку». Но годы смяли прыть, теперь он по-мышиному пискнет в сторону Кремля и отвоевался: чья кума хвостом чёрта играет, та и помело вышивает.

Ещё один штрих к портрету Кутькина: жена его незлобно зовёт «чернотропиком». Иногда рубаху можно стирать вместе с шей.

Где-то в этом кургане лежит тракторная телега с навозом. В каком году Кутькин оставил этот прицеп – не помнит, но помнит, что был он в тот день в хорошем настроении – кочегар дядя Вася стащил в магазин два мешка посуды, ещё – была лютая зима, ещё – того году голодный кабан забежал в раскрытые ворота фермы, и бабы с визгом бегали между коров... Дизельным топливом

только что не умывались, дизельное масло в борозды тоннами сливали, а железа всякого везли и везли!.. Что говорить, при колхозах жили кучеряво. В ходу были поговорки: «Не трясись, на Урале железа хватит! Колхоз не лаптями торгует!» Иные машины прямо в ящиках в металлом сдавали, избавлялись как от скверны. Кутькин «съел» три гусеничные трактора, своротил головку колесному трактору МТЗ, в реку опустил Т-40, перечислять всю угробленную технику – поседевшей бухгалтерше не под силу.

Хороший утиль давно сдан. Наглый сосед квартиры дочери в райцентре за металлом купил. У Кутькина, как у большинства колхозников, «позднее зажигание». Годы понадобились, чтоб дошло, что от колхоза остались рожки да ножки, а он всё ждал чьего-то распоряжения, а когда хватился – вот и работает на перепревшем навозном кургане. Долбит ломом и удивляется умственному перевесу: столько добра лежит ничейного, а ведь начнут и навоз продавать, ещё как начнут!

Едет на самодельном открытом вездеходе вроде как охотник в черной шляпе. Должно быть, из городских. Из богатеньких, должно быть... Приворачивает к каторжанину Кутькину.

Сидит на сидении тучный мужик, искоса поглядывает на «стахановца». Сунул в рот сигарету, ловко зажег спичку, как-то грациозно описал спичкой круг, сильно грассируя, задал вопрос:

– Това*ищ от*ыл местный Клондаик в чудском ку*гане? – а уж потом, обжигая пальцы, закурил.

Кутькин как очнулся от тягостного своего раздумья, поднял лицо, обелённое проступившей злостью, подозрительно спросил:

- Тебя не Лёхой зовут?
- Золото? – насмешливо переспросил охотник.
- Золото, золото. Давай тебе в машину насыплю.
- П*авильно сказал великий и ст*ашный гегемон демок*атии това*ищ Бульдозе*: «Надо избавиться от

позо*оного слова «колхоз». Тепе*ь, това*ищ, *аботаете в своё полное удовольствие? И подгонять не надо?

– Ты кати себе! Гусь свинье не товарищ!

Кутькин сжал в руках лом.

– Вы, това*ищ с нек*асивой фамилией, под здешним мостом в *ечке на т*акто*е плавали. Мне бы глубину знать надо.

– Надо, дак иди и плавай!

– Мет*а полто*а? Меньше?

Охотник уехал.

От нахлынувшего огорчения Кутькин сел на фуфайку, похлопал по карманам – пусто, утром чудом нашел сунутый в щель окурок. «Сволочь картавая! Ишь, вши едучие! А какое твоё собачье дело, в какой я реке был?! Какая-то придурь вроде того Лёхи...»

Положил голову на подтянутые колени, и сидел он так, в раздумье, уставившись на мёртвый скотный двор. Он видел сорванный ветром шифер с крыши; по всем бы хозяйским законам, надо на место сорванных листов положить новые, год за годом вода бежит по стенам, кирпич размокает и крошится.

С ломом на плече, с лопатой в руке Кутькин вернется домой. Порезал его «гад», в душу наплевал, иначе как гадом такого человека и назвать нельзя. Завтра он попробует ворошить курган метра четыре «отъехав» от сегодняшнего шурфа. Кто знает, давно дело было, запомывал, а может, до него прицеп свистнули? «Да тот же сосед, чтоб ему!..»

Дома за самоваром говорит жене, что мужик был на вездеходе, мост, видно, строить «плануют». Отхлебнул полстакана, посмотрел в пол и, отдуваясь, продолжил:

– Нет у нас порядка в стране. Да откуда ему быть?..

– Лес, видно, возить будут, – помедлив, делает предположение жена.

– Остатки вырубят, – соглашается Кутькин. – Из жидов. Слова говорит непрозорко.

На щеках и подбородке жены густая сеть разноцветных жилок образуют нечто вроде румянца, и от этого издали лицо кажется молодым и задорным.

– Нашёл жида, – хмыкает жена. – Да то Витька, малый парень Павлы нашей. Ленина передразнивать мастак.

– Не похож.

– Он! В десятом классе школьный концерт был. Ты тогда поперёк полу в избе лежал. Нам председатель автобус давал. Уморушка! Витька выступал. Руки в бока упёр, рыльце с бородёнкой выладил. «Товарищ Ленин, умных бандитов привезли, грабили германский банк» «К Дзе*жинскому, к Дзе*жинскому. Постойте, вы сказали умных бандитов? Если вы вст*етили умного *усского, знайте, это ев*ей». «Товарищ Ленин, Дзержинский говорит, что германский банк карман товарища Ленина.» «Ну, батенька, с*азили! Я покажу этому железному истукану, где *аки зимуют. Г*абилы банк? Ге*манский банк?! *аст*елять! Немедленно! А почему они д*ожжат? Немедленно напоите их го*ячим чаем! Неп*еменно го*ячим чаем! Потом немедленно *аст*елять!»

– Давай, Витька на врача учился-то. Павла всё хвалилась: «Ужо, всей деревней к нашему Витьке на приём пойдём».

– Витькину больницу закрыли, народу-то мало стало, изрусела деревня народом. Павла говорила, мол, устроился дорожником в нашем районе. У главы района правая рука.

– Любит эта Павла хвастнуть.

Весь вечер он пребывал в сладком, бездельном томлении. Жена сегодня не узнавала его. В прежние вечера развалится на диване перед телевизором и брюзжит, и брюзжит, пускается в отвлеченные рассуждения, «когда ты и сон сморит, дьявола», – мечтает, зевая, жена. Попала на глаза серенькая книжонка, – жена её использует в качестве подставки под цветы, листает. Автор витиевато рисует сказы русского народа о семейной жизни своих предков, дивуется, как красиво да иронично сочинитель плетёт,

будто черемуховую заvertку к дровням в крещенский мороз свёртывает. Там автор: «...гляжу в окошко. Бабы воду у колодца набирают. Я ноги в окошко вытянул, они идут да валяются через мои ходули да меня нехорошо честят». Лежит на кровати поверх одеяла и примерно такой ответ держит: «А мы, друг ты мой, нынче по рыжики не ходим. Чего ноги мять. У меня, вон, одну ногу дрожь бьёт к непогоде, мозжит, зараза. Окошко открыл, ухватом подгрёб поближе к стене эдак с плетенуху боровиков и, знай себе, чисти. Заросли поля лесом. Воду на коромыслах не носим, её на самодельных «тачанках» из колодца возим. Сгорела водокачка от молнии три года назад. Столько бумаги исписано про эту водокачку... Есть у нас под деревней мостик. Прежде, бывало, соберёмся с мужиками, покурим, смету утвердим – председатель с нами на равных, ориентир весеннего паводка «во-он выше тех кустов вода веком не поднималась», выдержим, дружно согласуем какой край покрепче делать...»

Конец данной строчки Кутькин не закончил, поставил многоточие. Память откинула его в своё прошлое. Почему на один край моста клали лишнее бревно для крепости? Потому, что его, Кутькина, при бортовой качке валит на правый бок, при килевой – под правое колено кто-то шилом колет. Вовремя не обследовали досконально, вдруг полушарие правое у него тяжелее левого?

Он всегда правый рычаг дергал чаще и сильнее, и правой ноги не снимал с педали. «Ну, подымим и за топоры. Летом реку петух перебредёт, портов не замочит, ширина-то восемь аршин с четвертью. Упал мостик, царство ему... пускай водяное. Пять лет назад обещал один... «мне сверху видно всё, ты так и знай», – потом обещали другие... мост надо, уважаемые господа на босу ногу.

У вас, отцы Представительного собрания, как у волка одна песня: нет денег. Суший перекося: государство богатое, а власть бедная. При царе Косаре жили как за каменной стеной, а ты, друг ты мой, нашу демократию

поколупал бы своим длинным и жёлтым, как восковая свеча, пальцем...»

На другой день Кутькин рыл другой шурф. Зигзагом. Дерзкое упорство всегда украшает мужчину. Как-то разогнулся – мать честная! Три автобуса один за другим к скотному, без окон, без дверей, двору подруливают. Кутькин от неожиданности надсадно закашлялся и долго не мог остановиться.

Крики, смех – разными цветами заалела и засеребрилась территория вокруг бывшей фермы. Запахло дымом. Автобусы привезли школьников. На длинной тычине поднимают флаги, слышны речи, гремит музыка. Прятаться Кутькину не с руки. И возраст не тот, и не преступник он какой-то.

И началось. Через заросли крапивы бегут к Кутькину парами девочки и мальчишки, все кричат ему, что он теперь начальная точка, чтоб никуда не уходил, идут районные соревнования по ориентированию на местности. У каждого участника на спине и на груди пришиты номера. В руках компасы, маршрутные листы. Оказывается, все исчисляют азимут на Кутькина.

Кутькин стоял, курил, озирался, глядел, как разбегаются ребятишки кто в какую сторону, – большая часть к реке, в сторону бывшего моста. «И чего к мосту их несёт? Река в том месте чуть ли не в обратную сторону поворачивает. Интересно...». Сегодня, как по заказу, небесная твердь была необычайной чистоты, будто сотворённая из легкого прозрачного и синего инея. На небе млел от счастья истекающей полумесяц. Вдруг за спиной он услышал шорох. Оглянулся – двое парнишек стоят по пояс в выкопанном им шурфе.

– Дед, ты Робинзон Крузо? – спросил остролицый с номером «б» на клетчатой курточке.

– Крузо, Крузо. Мне вчера четыреста лет исполнилось, – подмигивает парнишке Кутькин.

– Люди столько не живут, – усомнился крепыш в красной ветровке.

– Мало ты знаешь. Колхозники на картошке по пятьсот тянут. Ваши все разбежались, вы чего сачка давите?

– Успеем, – рассудительно сказал остролицый. – Дед, а ты чего ищешь? Клад? Меч Одина? У вас в деревне много было раскулаченных богатеев? Они здесь золото попрытали?

– А ну брысь отсюда!

«Богатеи! Учат их, учат... Кабы крепких мужиков о тридцатом годе не тряхнули, теплилась бы осень золотистыми стогами соломы, не крапива дол застила... Нет, это надо же! Чему и учат!».

Как потом узнал Кутькин, участникам соревнования надо было пройти девять контрольных пунктов на дистанции два километра.

Ветра нет. Флаги обвисли на тычине.

На месте сбора непонятный шум, беготня. К Кутькину спешит молодая и статная женщина с тёмными гордыми бровями.

– Гражданин, гражданин... девочка не вернулась, Катя Белякова. Номер 21. Вы случайно не заметили?

– Вон вас сколько, где тут... двух любопытных ребятшек видел, отирались тут, а девочку... – развел руками Кутькин.

Женщина побежала обратно.

«Нашли где соревнования устраивать. Нет бы в лесу, или на гладком наволоке... – опёршись на лопату, неодобрительно размышляет Кутькин. – И кому-то ведь такая дурь прикачнула, кто-то маршруты заранее прокинул... Им, видите ли, подавай пересеченную местность. Тут, незнакомчи, можно в такую ямину угодить... А что, если девочка сбилась, придумала на другую сторону реки перебежать?». Кинул лопату, поспешил к бывшему мосту.

Несёт река болотные мутные воды. Клокочет вода. На месте, где некогда стоял мост, образовалась запруда из почерневших бревен и свай. Под запрудой, сказывают, яма глубиной метра три, хорошо клюют пескари. С несмолкаемым шорохом и хрустом облизывает волна покрытые

белесым мелом сваи. Тут, если что, кричи не кричи, никто не услышит. Походил по берегу Кутькин, ничего такого подозрительного не обнаружил. Вдруг в молочной пене, бьющей из-под травы, между оглоданными топляками мелькнула как бы обшарпанная голова большой куклы. Бросился к самой воде, на колени упал – мать божия! Торчит над колышущейся пеной девичья головка, шея и лицо в облепившем мусоре. В реку прыгнул, – по самую грудь глубина, пробует как-то бревно разжать, чтобы девочку высвободить; шевелятся у девочки губы, хотят что-то сказать; смотрят на него глазки-лучики, искрятся эти лучики надеждой: дяденька, пожалуйста, пожалуйста!..

– Ты потерпи, потерпи, – просит Кутькин, – я сейчас... немного.

Вроде расшатал нижнее по течению бревно, только бы за пошатнувшуюся девочку ухватиться, как волна обратно бревно на место сдвигает. Вдруг ноги нащупали на дне какую-то железку. Удача повернулась к Кутькину зыбким ликом. Окунулся, вытащил лом, обросший ракушником, обрадовался.

– Сейчас-то я... только потерпи, держи голову над водой, держи!

Отжал бревно, ломом бревно застопорил, девочку на берег вытащил. Лежит на жухлой траве труп, ни рукой, ни ногой не шевельнёт. Девочка была не по годам крупная.

– Нести, золотая ты моя, мне тебя не унести, давай, давай, поднимайся... Через силу, а поднимайся. Ты сильная, я вижу, что сильная! Ты сегодня победила всех, ты смерть свою победила... Все баллы твои... Вот так, так... шажок, ещё шажок...

С большим трудом выкарабкались в крутой берег, а там уж народ бежит...

Мокрого, вздрагивающего, потерявшего кепку спасителя Кутькина оглаживает руками женщина с гордыми бровями, задыхается, благодарит, целует, приподнимаясь на носках сапог в небритую щеку.

– К месту лом изладился...– неуверенно улыбается Кутьков, зажав под мышками ладони.

Вся его синюшная от холода натура переливается внутренним светом солнечной зари: какая честь! Продолжая умоляюще улыбаться, бормочет:

– Кабы не лом...

– Какой лом? Вы о чём?

– Стыдно говорить, было раз...

Несчастный случай с девочкой спутал все планы юных спортсменов. На организаторов соревнований напал страх. Палаток не ставили, укрытий от непогоды из подручных средств не делали, картошки на кострах не пекли.

О подвиге Кутькина писали в районной газете. Оказывается, Алексей Зиновьевич неплохо учился в школе, мечтал стать инженером, не вылезал из президиумов на колхозных собраниях, был наставником молодых трактористов, на соревнованиях по стрельбе из малокалиберной винтовки выбивал 90 из 100. Да-ааа...

На деревне жгут табак пожилые мужики. Кто щиплет ус, кто беззастенчиво сморкается под ноги.

– Чужих учить – не своих, как поучились, так и ладно.

– Это что, я как помню, он из рогатки вынес стекло в кабинете у директора школы, сразу на сотню.

– Вот ведь как повернулось-то! Всё Кутькин был на подхвате, а тут – второй Матросов! А чего, дойди до нас – да каждый бы из нас, верно? Как только нас не гнут, а мы стоим! Интересно, одну грамоту дадут или к грамоте тышчонку-другую на дно нищей потребительской корзины приклеят?

– Подтруниваем над властью, мужики, а она чья, власть-то, дядина?

– Да наша, наша! Ты взносы партийные кому нынче платишь?.. От богатой пищи люди зубами сами себе могилу копают, а нынче, смотри, за один год продолжительность жизни на четыре года увеличили!

Женское сословие насчёт «героя» были прохладно. Утрами у колодца сортируются слухи, опровергать, что

Кутькин ни герой, никто не берётся; многозначительно понижаются голоса, точно кругом теснятся вражеские пеленгаторы, говорят отрывками:

– Место у моста... того, чёртово. В тот раз Кутькин был ни в одном глазу... Не-е, с мостом надо под Татьянину осыпь. Павлу надо... того. Чтоб сама вникла и Витьку натолкала...

Прошла неделя. Осень напрягалась, вроде подслащивала день остатками тепла, а сама сдувала сырую изморозь с крыш ледяных погребов.

Маленькая, полненькая, раскрасневшаяся, суетливая продавщица местного магазина стреляет глазами по лицам покупателей, то кинет на прилавок одну вещь, то достаёт с полки другую, – всё бабам кисло! – у неё поминутно выпадают из-под платка русые прядки, она их толкает обратно и, нахмутив бровки, грозным голосом кричит на покупателей:

– Ну что-что, да очнитесь, всем охота в космос слетать?

На седьмую ночь внезапно закопошились звезды, огромная тишина призвала живую плоть к торжественной вежливости; невозмутимый сеятель достал из-за пазухи своё заветное решето, с нежностью качнул им раз через всю волость, сокровенно тряхнул им два, и запорхали пернатые снежинки.

За эти дни Кутькин два раза ходил к бывшему мосту. Топтался на берегу, смотрел на воду. Его как тянуло ещё раз броситься в реку, ещё раз испытать себя...

В какую-то ночь Кутькин долго не мог заснуть. Всё вспоминал, как проходили колхозные собрания, как сидел он с понурой головой, силясь понять совершенную безнадежность выкладок в отчетах главного бухгалтера, а сон сгибал спину и клонил голову к долу. Постоянно сидевший рядом с ним кладовщик Трофимович, бывало, выпускал лёгкий носовой свист, но бывали собрания, когда взрывались десятки глоток и разом шум сродни коровьему мычанию вибрировал от потолка до пола. С собраний его кинуло на церковь: и чего нынче бабы потянулись молиться? Вот он скорее согласится умереть,

чем попу рассказывать о своих грехах. Да ни в жизнь! «А почему?» – спросил сам себя. Подумал и ответил сам себе: «Потому как тяжело жил. Не поднять. Ведь утаю, не откроюсь! А поп прочитает утайку в моём лице, подумает: «Глупый старик притащился на исповедь», ничего не скажет, а мне обидно будет. Кто их знает, попа и Бога...» Думал, думал Кутькин и вдруг его мысли остановились на покойном отце. Про пьяного что говорить – дурак был ещё тот, а вот трезвый... ему хотелось хоть на самое короткое время перенестись в своё детство, приласкаться к этому вечно занятому работами человеку, приласкаться просто, по-детски, захотелось той чистой детской любви, которую редко вспоминают взрослые. Сесть бы к отцу на колени, обнять, поведать о своих открытиях... Пьяный отец всегда плакал. Слезы душили его, текли по щекам и попадали в рот. Он не мог говорить, он рыдал и грозился истребить мерзкий род людской. Старый сын сел на кровати, чувствуя в себе неподдельное волнение, и сидел так, а в голове родилась совсем глупая мысль, поразившая своим содержанием: «И почему именно я спас девочку? Почему это меня кинуло откапывать телегу с навозом? Ни годом раньше, ни днём позже. Интересно, однако. Ещё тот паразит гнусавый подъедать приезжал... Ты бы, тятя, меня похвалил теперь. Ей-богу похвалил бы! Признаюсь тебе: худо я жил, бывало по пьянке и в твой след ступал, и кочевряжился, и с народом был лют, да правду ты говорил, что в одном стремени не проехать через жизнь. Спасти довелось невинную детскую душу...»

Подошёл к окну, отодвинул штору, прижался лбом к стеклу.

«Два раза в жизни я был счастлив: когда бежал звонить в роддом и когда вытащил девочку на берег... А прочая... ну что, прочая? Отрепье, изорванное отрепье. Будто вода в ледостав. Дно её, воду-то, под себя уминает, блеснёт искорка на перекате и сгинет. Такого восторга не испытывал больше никогда. Семьдесят лет, жить-то осталось с гулькин нос. Всё бы, кажется, уже во мне

остановилось, начало отмирать, хотел ещё телегу с возом выкопать, а на кой она ляд сдалась мне эта телега? Посмешище! Вот вырвалась горячая струя прямо из-под сердца, про которую я и думать-то забыл, согрела меня, разбередила мою совесть и... тятя, как на духу признаюсь: пристыдила меня».

Он передумал эти слова с каким-то странным ощущением свободы. Он как бы топтал свою серую жизнь, а желание продлить самоедство только усиливалось. Слабый голос откуда-то из далёкого тайника души сказал ему:

«Перестань, а все не такие?» Он не хотел принимать защиту в свой адрес, потому повёл правой рукой, как отодвигая невидимого адвоката. Да скажи ему раньше, мол, жил ты, Кутькин, как сорная трава при большой дороге, он бы сумел ответить обидчику, а теперь – руку пожал бы. Не сразу пожал бы, но пожал.

«Треплют в газете, мол, Кутькин совершил героический поступок, да какой поступок, тятя?.. Я предполагаю, что меня Бог намеренно берёт для этого часа. Для меня самого берёт. Дал он мне всего два дня испытать непомерную радость, соединил далёкий берег с близким одним мостом – я бегу в контору, мне надо услышать о продолжении рода моего, я бегу, бегу...»

За перегородкой заскрипела кровать.

Кутькин всё стоял у окна, бесцельно глядя в темноту. Уж было хотел взять папиросы и идти к печке курить, – вот до чего ночные размышления доводят, тяжело вздохнул и прошёл на свою кровать.

Благословение

Деревня тянется двумя улицами к реке. Дома крижистые, богатые, ставили их деды с большим душевным теплом и надеждой на приращение рода.

По берегу реки бредёт бородатый человек, склонившись так низко, будто взвалив на себя остатки летнего неба. Зарастают берега реки ивняком. В прорехах кустов,

на засохших илистых корках, звенят кончики солнечных лучей. Если разворошить ил, запахнет теплой гнилью. Пока солнце похоже на беспечного туриста, расплескавшего у костра стакан с красным вином.

У Женьки Зверева разбито плечо, руку носит на перевязи. Бредёт Женька берегом реки так себе, хочет успокоиться.

У Женьки умерла тёща. Не будет теперь, подпираясь батоном, семенить к зятю маленькая увядшая старушка, не будет ворчать всегда одним и тем же голосом, всегда об одном и том же.

Женька злой.

И есть от чего. Он женат вторым браком на Галине, и Галина вовсе не дочь умершей Марии Кузьминичны – так, дальняя родственница, и взяли её на житьё Мария Кузьминична с Виссарионом Петровичем из стариковской дальновидности: наши дочери по городам разлетелись, с кем доживать станем? А Галина девка тихая, покладистая, работающая, выросла в голоде и холоде, знает, как кусок хлеба достётся, а потом и дом пропишем, дочки вряд ли поймут желание воротиться в деревню.

Неделю не отходила от мамы – с первых дней Галина мамой зовёт Марию Кузьминичну, видит, дело худо, давай звонить Александре, Валентине и Клавдии: – заставляйте живую. Звонила через Любовь Васильевну: все трое только соседку Любовь Васильевну признают, а Галина для них – приживалка.

Трудно говорить о человеческой душе, тем более душе Клавдии, где её функции исполняет нервная система:

– Икона где?

Это был её первый вопрос.

– Я спрашиваю: где икона? Твой алкоголик уже пропил?!

У Клавдии требовательный командирский вопрос. Муж у неё или полковник, или подполковник, сидит на большом военном складе.

Клавдия потом подошла к лежащей на кровати мертвой матери, следом, как глаза её беспокойно обшарили

углы избы, пересчитали электрические лампочки и фуфайки за печкой.

– Мама велела икону в церковь снести, – виновато ответила Галина.

– Ты в своём уме?! В церковь? Нашу икону?

Старшая Валентина положила руку на плечо Галине, долго и испытующе смотрела в глаза, потом грустно и недоверчиво спросила:

– Мучилась?

– Не-е, тихо, заснула...

Средняя Александра не сразу взялась за дверное кольцо, постояла на улице, морщилась и внутренне покашливала. Нежно, сладко и печально пахли некошеные травы. Береза, которую она посадила, с робким шорохом опускала первые пожелтевшие листья.

В слезах пришла домой Галина, ткнулась на диван вниз лицом, зашла в рыданиях.

Пробовал Женька успокоить, а она одно:

– Что я им сделала?.. За что?

– Да ну их! Перестань, Галчонок... Будто ты их не знаешь, собак!

– Собаки полают да отстанут, а эти...

Рано поутру пришёл к умершей, лежит его тёща под образами, около тела хлопочет всей деревне угодница сердобольная соседка Любовь Васильевна, а три взрослые, пожилые дочери, какая где, приткнулись в избе. Вроде все в трауре, на головах черные ленты, в руках сырые от слез платки, вздыхают тяжело – позади бессонная ночь, на мать, лежащую в гробе, оглядываются, как ждут, что мать вот сядет и укоризненно скажет: «Девки, вы девки мои. Сами вы матери, какой пример детям своим подаёте? У вас дачи есть, машины дорогие есть, мужья у вас богатеи, дак живите вы с ладу да бога чтите». И расчувствуются её дочери, и расплачутся, и обнимутся, и простят друг дружке причиненные обиды, да Женьку Зверева влажными глазами не купишь. Вот сидит, к окну прижавшись, грузная, начавшая сесть Валентина, сложила руки и

покачивает головой, глядя на половицы. На похороны откликнулась первой и прикатила первой, и первым делом поинтересовалась у соседки Любове Васильевны, не возьмёт ли та на хранение вещи. «Кругом ворьё. У нас на даче железные решетки ломачами выбить не могли, так автомашиной вырвали». – «Это в городах, Валя, зажили на широкую ногу, а у нас что воровать? Старый телевизор, мешок картошки?» Боязливо смотрела на высохшее лицо матери с заострившимся носом средняя бледная рослая Александра; ей, должно быть, было страшно перед тем, что происходило на её глазах, осязаемо, будто вошедший Женька Зверев мог быть вестником смерти. Женька присел на краешек лавки, у Александры, до этого стоявшей, опираясь на печь, как подломились ноги, она с испугом в больших глазах присела на табуретку. У Александры исхудалое лицо – перенесла на одном году две операции. Младшая Клавдия – капризная, нервная дама. От сестер отличается непомерной нахрапистостью, каким-то отчаянным норовом. Телом походит на Валентину, но глаза у неё черные, дерзкие, хищные. Этим глазам нет покою, они перебегают с Валентины на Александру, с Александры на мать. Не успел Женька переступить порог избы, как Клавдии приходит в голову мысль, что зять пришёл неспроста! Она ловит себя на мысли, что зять (да какой он к лешему зять!) чужой человек, и вовсе не потому, что не кончал институтов, как они с Валентиной и Александрой, он злодей тем, что хочет прибрать к рукам *ихний* дом! Они живут по городам, а «приживалка»!.. Клавдия знать ничего не желает про неё. Живи Галина – плавай в навозе! – но теперь, когда нет матери, только она со своей семьёй будет приезжать в отцовский дом. Только она! Пусть Валентина рассматривает круглые сучки половиц, стертые ежедневно суетившимися ногами, лоснящиеся от многих годов мытья... да-да, для Валентины эти сучки были действительностью и останутся памятью, Александре вроде ничего от дома не надо... а если врёт, наводит своей болезнью тень на плетень? Заправится и оформит

дом на себя? Зачем разводить турусы на колёсах, мол, ей, живущей в Греции со своим жуликом, нужна собственность в России, и тогда легче выбить визу, если в России есть собственность?

– Завтра? – спросил Женька, взглядом намеренно выбрав из сестер «командиршу» Клавдию.

Стена равнодушия как треснула, из неё вырвалось нескрываемое враждебное чувство:

– Икона где?

– Велела в церковь отдать – отдадим.

– А нас спросили, «отдадим»? – пасмурным голосом спрашивает Клавдия.

– Клава, ну зачем так... – слабым голосом говорит Любовь Васильевна.

Растирая себе ладонью больное плечо, Женька произнёс, потупившись, боясь сорваться:

– Последнюю волю испокон веку исполняли. Завтра?

– Схороним по-человечески!

– Вот это правильно: по-человечески! А икону я сегодня в церковь снесу!..

Александра как съёжилась в ожидании удара. Александра вроде деликатная женщина, она говорит как птаха, пробующая наладить свой голос: то пискнет, то замрёт, прислушается, сконфузится.

– Маму выносить... своим нельзя, так ведь?

– Придут мужики, – ответила Любовь Васильевна.

Очень не хотелось Женьке при всех, тем более при теще, пусть и почившей, при Васильевне, обматерить сейчас Клавдию, и уйти: ну и хороните «по-человечески!» Будто в деревне хоронят людей как заразный скот. Впрочем, какое это теперь имеет значение? Похоронят, разъедутся, и будут они с Галиной ходить к теще на могилу...

– Василий Юрьевич памятник везёт, – вдруг резко сказала Клавдия, как заглянув в мысли Женьки.

– Памятник ставят потом, когда земля осядет, – поправила Любовь Васильевна. – Ну, девки, пойду, надо ещё по хозяйству поправиться. Женья, на кладбище кто повезёт?

– Из райцентра придёт машина, – жестко ответила за Женьку Клавдия.

Встал Женька с лавки, ощущая себя лишним, в сердце – раздражение и пустота, холод остывшего пепла как опахнул из нетопленной печи. Проглотил просящееся на язык оскорбительное замечание.

Вышли они с Любовью Васильевной в одни двери.

Ясное небо было чистое, благодатная и золотая осень смотрела на землю майской погодой. Возле дома тещи пламенели рябинники – несметные полчища птиц ещё собирались в стаи в дальних полях, еле шуршащие листья берез точно купались в теплом воздухе.

В деревне больших секретов нет.

– Учились, учились, а какие злыдни были, такие и остались, – говорит на улице Любовь Васильевна Женьке.

– Миллионы делят, – хмыкнул Женька.

– Господи, какие у Марьи с Висей миллионы?

– Видишь окна, Васильевна? Крайнее Валентина красила и краску покупала в сельмаге. То она и сидит в избе у своего окна, караул держит. Среднее Александра мазюкала и краску привезла из Греции, к углу, желтое с разводами, полковничиха красила, краску ей полковник Василий Юрьевич со склада свистнул.

– Ну-у?..

– Моя Галина говорит: будут дружно ездить гостить летами, шашлыки жарить, будут росу собирать простынями, рыбу ловить...

– Они-то? Вот матку похоронят и повалит дым коромыслом. Передерутся, помяни меня на этом слове. Сами ладно, ещё мужиков своих втравят, вот война-то будет... Марья с Висей из последних кишок в институтах учили, выучили... Обидно твоей Галине, да надо стерпеть, проводить Марью в последний путь. Осудят на деревне.

– На похороны отца приезжали. Народ помянул, да по домам, а теща: посидите да посидите. Сидим, как оплёванные на лавке у дверей, слушаем, как они обиды припоминают, кому подарки родители дарили богатые,

как Валентина отняла у Клавдии сапоги, почему одну на колхозном сенокосе мухи ели, а другая в это время землянику горстями уминала. Меня Галина подтыкает: пошли, не могу боле. Ограду я поставлю, и памятник... да врёт Клаха! Как это полковник за одну ночь из Омска выпорёт? Или у него личный самолёт?

– За каким жо кустом они греблись на колхозном сенокосе? Ну и ну... Что с плечом-то, Женя? Галина сказывала, сильно расшиб?

– Заживёт.

Что небо скажет – то Земля слушай! Прогремит ли гром, талая вода затопит поля, или лето изладится на пожары богатое, или стужа весной воротится и побьёт всходы – всё пройдёт.

Горечь и боль уйдёт сквозь толщу лет, останется только глубокая и радостная память о процветшей юности. Однажды заблещет звездный щит Стожар, наступит час молчания, присядет усталый человек возле своей избы, захочет глазами отыскать границу, где земля уперлась в небесные самоцветы, или, наоборот, небеса зачерпнули край грешной земли, и увидит одно: умирающий в золоте месяц. Неуютно станет человеку: это не месяц умирает, это догорает его юность. Память сродни забытому костру, что жадно вспыхивает и разгорается на ветру. Хочется жить! Своим воображением загустит человек тучами небо – гори, месяц, но лучше, если я тебя не вижу, с шумом хлестнёт дождь, разгуляется ветер, перемещая по миру осязаемость тепла небесного, и жалость, и милосердие отворят дверь в каждое человеческое сердце: твори, Земля, в простом, ясном и осязаемом желании жить! Захочет небо весной облить сады цветом – обольёт; цветы, мать-Земля, под конец лета изволь родить богатый урожай!

Две большущие корзины сладких ягод родила слива, а на вершинке, на самой вершинке, вызывающе красуются штук полсотни самых вкусных, самых завидных ягодок. Слива растёт возле сарая. Жадность, что ли, заела, забрался Женька Зверев на крышу, а крыша после дождя

скользящая. Потянулся к ягодам, только ухватился за тоненькую веточку, и затрещали под ногами тесины, голова втянулась в плечи, тело напряглось, и он, как разрезая воздух руками, с выпученными глазами, стараясь, как кошка в полете, обязательно упасть на ноги, полетел вниз. Он стукнулся левым плечом о большую чугунную трубу, весь бок хрустнул, как дерево на морозе, и неба не стало, в глазах миллионы искр, и ничего нету, есть адская боль. Закричал – будто весь плечевой отдел разорвала граната на маленькие кусочки, темные волны бьются в голове, шумят и застилают зрение. Несколько минут лежал на трубе, боясь пошевелиться; справился, сел, смотрит, а кепка как оделась на приваренный к трубе уголок длиной сантиметров пятнадцать. «Бог, видно, есть. Ещё бы со спичечный коробок и уголок вошёл бы в темечко... Да-а, кому суждено утонуть, тот не сгорит. Который раз ангел-спаситель отводит беду...».

Женьке Звереву двадцать восемь лет. Женат вторым браком. Первую жену Аллу прогнал. Четыре года не могла родить ему ребенка. Бывало, смотрит на спящую жену и с удивлением чувствует: что-то злое, нехорошее перемещается в его душе: он думает о счастье будущего, а жена родить не может. Не хочет! В ней пять пудов весу! Отдать дитю каких-то три килограмма... «Назло не рождает!». Жена на все обвинения в её адрес пускалась рассуждать о фазах Луны, всяких приметах, таблетках, вирусах гриппа; разговаривая, она как шевелила покатыми плечами, разводила руки, и сглаживающая резкие слова виноватая улыбка блуждала по её лицу.

С народом Женька ладит, но держит некоторую дистанцию между собой и другими. Есть в нём некоторая важность, осанистость. Мимо выгоды не пройдёт, как ложку мимо рта не пронесет. Идёт, бывает, деревней, строго глянет на встречного из-под своих густых бровей – первым поздоровается встречный или, не приветствуя, пройдёт? Побавиваются в Запяткине Женьки Зверева. Некоторые уже зовут его по батюшке, Лексеичем. Крепкий

хозяин на ноги встаёт! За бесценку приобрёл два трактора, присматривается к зерносушилке. Всё в Женьке тяжело-весно, просто и не допускается легкомыслия. Год как бороду отпустил, совсем за бородой скрыться от мира задумал, что ли? В больницу не пошёл, напрасно жена Галина (работает у частника свинаркой) богом умоляла сходить: «А как слом, али жилы порвались,— в старости всё, Женья, всякая ранка заноеет». «Отвяжись, старость какая-то!» — в голосе Женьки Зверева всегдашняя уверенная в себе солидность и жесткость. Сутки щупал, вторые мял плечо — вроде кости целые, мышца перебита — пройдёт.

Над селом Кокшары распростерлось холодеющее небо, безрадостное, как бы стусеванное однообразием серых красок. С утра казалось, что земля не очнется сегодня, не выглянет солнце.

По левую руку — сплошь женщины преклонных лет, по правую руку — смешанный люд, и, как испытывающий свою судьбу, завис между руками молодой, широкоплечий, с густой черной бородой мужик в черной рубаше.

Кто знает, чей да откуда такой молодец. На первый взгляд — кат, если не разбойник с большой дороги, то грабитель частной торговой точки, с неделю освободивший нары на зоне; взгляды молящихся — извините, начать рассказ надо с того, что приехал областной архиепископ, идёт пастырское богослужение — явление для замшелого, за суземами и болотами забытого села Кокшары, небывалое, потому народу подвалило страсть много.

И надо же, как по заказу проклюнулось в этот час солнце, держась уверенно, рогатым ухватом растолкало досаду неба. Большая часть сельчан-прихожан интересуется какими-то поверхностными картинками: надо же, как красиво в церкви, как гладко выструганы бревна в стенах, какой едкий дымок валит из кадильницы; гадают: почему это бизнесмен Пудов не ездит отдыхать в Грецию, как Ванька Обещалкин, например, ездит, с женой, собакой и личным поваром, а вкладывает деньги в храм? Или: старики говорят, мол, раньше иконы были из цельных плах

вырезаны, а нынче в иконостасе сплошь картонные висят? А кто *из наших* вырезал такие узорчатые столбы? Толпе, с непонятным волнением нажимающей с каким-то диким интересом с крыльца, с коридора, кладущий поклоны и широко крестящийся мужик – занимательнее ведущего службу архиепископа. Владыка – старенький седой старичок, легонький, как белое перышко, как бы ждёт запоздалых ямщиков в последнюю дорогу, он послушен и смирен, живёт своей, последней верстой от земного к вечному; то с него снимают послушники что-то из одежды, то обратно одевают... Небо юности осталось у владыки в сердце, оно живёт – жаль, он не может прочесть в нем то, о чем мечтал, на что надеялся, небо юности уже ничего не обещает ему.

Дыры нашего советского образования пострашнее озоновых дыр. Нас учили моральному кодексу строителя коммунизма, а нынче, – россияне! – добровольно, без принуждения, по зову сердца... какие высокопарные слова! нынче мы осваиваем обратный курс «ликбеза» – в тридцатые годы была такая программа полной ликвидации безграмотности в нашей стране.

Для нас, уже пенсионеров, но таких преданных, таких Павликов Морозовых, выглянувших из джунглей равенства, свободы и братства, таких, чей паровоз тормознул на станции «Пещерный век» и вроде дальше не пойдёт – уголь кончился для нашего паровоза, таких, разведенных слащавым сиропом минутного обогащения, эти церковные манипуляции, извините, какой-то очень торжественный спектакль. То священники один за другим исчезают в чреве церкви, и там разносится тихое пение, то послушники снимают с владыки головной убор, то одевают и тщательно поправляют, то старцу руки целуют священники рангом пониже – один держит три больших свечи, другой четыре; или молодые послушники, с неоперившимися бородками, ходят из одной двери в другую и всё крестятся, не поднимая глаз от пола; поют тоненькими, как задавленные вдовьей тоской женщины в черных одеждах с боку...

ничего не понятно! В общем гимне женщин, читающих и повторяющих десятки раз «аллилуйя» священников, слышится шарканье ног возвращающихся из Византии измученных посланцев князя Владимира, стон и ... радость! Радость обретения веры!

Нехристь! Хотя какой он нехристь, коли истово кладет поклон за поклоном? Мало ли у нас народу, крещеного в деревенских избах? Со спины глядеть – чем не Кудеяр, чем не Стенька Разин? Богатырь! А это Женька Зверев из деревни Запяткино. Запяткино от райцентра в двадцати километрах, для здешних обывателей, ясное дело, он чужак. Ему стесняться нечего: церковью ни он, ни отец его, ни дед не ломали, никто из родни в начальстве не ходил, веру православную «опиумом» не поносил и презрения вере не оказывал. Вся родня Женьки – рядовые колхозники. Пусть на крыльце и в притворе жмутся на отшибе бывшие секретари райкомов, стоят, имеющие желание осенить себя крестом – жутковато, как в первом бою, как и насмелиться поклон сотворить?

А Женька знай себе крестится! Президент нынче и тот в церковь ходит, а Женька побывал «в спичечном коробке» от смерти и чудом спасшийся – вдохновение и сплошная фантазия в его голове. В уме его составила картина, сдобренная деревенской природой: великий Мамай с князьями следит с холма за битвой на Куликовом поле. Вот летит на взмыленном коне татарин, кричит: «Сила татарская изнемогла!» и падает замертво. Сузил злые щелочки глаз на скуластом лице Мамай, повернул коня и понёсся прочь с холма. И кажется Женьке Звереву, что с каждой минутой сила его прибывает, боль в плече уносится прочь; все движения архиепископа начинают поражать его своим необыкновенным изяществом. Старец суров, строг, сдержан – это правильно!

– Уймись, чево розмахавсе-то? – шепчет Женьке прильзвившаяся кособокая старушка. – Из-за тя владыку не видать.

Строгим взглядом одарил старушку Женька: не лезь под руку! И нарочно вызывающе сделал полшага вперёд. Старушка пробормотала что-то непонятное и отошла.

Женька намерен просить у владыки благословения: будет заводить своё дело. Нечего жене на «дядю» горбатиться, пускай работает на свою семью. Места в доме много, отец, царство ему небесное (надо не забыть свечи поставить родителям за упокой), за два года до смерти срубил два добротных хлева, давай, сын, не ленись, вставай пораньше, ложись попозже, ржаной хлеб с водой мёдом покажется. А там... там пойдёт! Женька Зверев не обсевок в поле, Женька – тягловый бык. Настоящего мужика трудности только возбуждают. Женька с женой ещё на эту тему не говорил, но жена у него податливая, как он решит, так и будет. Поросячьи дела у частника идут плохо, свиньи болеют, приплод большей частью рождается мертвым. На деревне судачат: не с краю начал, буржуй новоявленный! Хоть бы к бабке Игнатьевне сходил, перед тем, как деньги в банке под большие проценты брать, бабка немного в заговорах понимает, с богом ладит, глядишь, дело бы и пошло. Вот заживёт у Женьки плечо, поедет он торговаться под Вологду с одним свиноводом – разводит фермер вьетнамскую породу, а порода тем сильна, что свиньи быстро набирают вес, не хуже коров поедают грубые корма, а этот факт, когда колхоз развалился, очень даже выигрышный.

Кончилась служба в церкви.

Женька икону отдал в руки владыке – так покойная тёща просила, а ещё, говорит, благословения прошу своим делом заняться. Поросят, говорит, стану разводить.

Погнулись губы владыки живым движением слабой, доброй человеческой улыбки, и почувствовал Женька: нет ничего на свете человечнее и значимее слов, какие он услышит.

– Иди с Богом по тому прекрасному пути, который избрал,– иди с большим успехом, которым ты увенчался до этих пор, ибо твой дар жить для людей не есть проходящий и скоро исчерпываемый.

Заходит Женька в магазин, навстречу Ваня Лепёшкин топает – когда-то вместе учились в СПТУ на трактористов. Ваня ростом невысок, темноглазый, с никогда не улыбающимся лицом, две резкие черты у рта, как шрамы стягивают на щеках кожу.

– Ты чё, Зверев, в попы собрался? – спрашивает Ваня Лепешкин.

– В дьяконы, – отвечает Женька.

– Бухтишь, должно быть... бабу свою не прогнал?

– Баба хорошая, люблю я её.

– Ну их всех в болото! Я свою вчера чуть не задушил. Получку, видите ли, не всю отдал... зараза! Давай за встречу по милли-мили на зубок?

– Так бы оно, да мне бы засветло домой попасть не мешает. Автобусы нынче не ходят, дорога разбита, завтра тещу хоронить надо.

– Когда ещё встретимся, дружбан? Будет день – будет и пища. Посидим как белые люди, поговорим... а чего дорога? Нынче, Зверев, у нас в Кокшарах ночлежки есть, с девками, с парилкой... Есть такая точка на карте!.. Ну?

«Трапезничают» Женька Зверев с Ваней Лепешкиным за магазином. Сидят на пустых водочных ящиках, как князя Мамаю сидели в день Куликовской битвы на холме, по обе руки – шеренги сложенных поленниц. Рядом туалет общего пользования с оторванной дверью, где-то поблизости скулит на цепи собака, хлопает служебная дверь и тянет табачным дымом – молоденькие девчонки продавцы в коротеньких платьицах то и дело выбегают курить... болит плечо. Над неприбранной щетиной вековых сосен распростерлось небо, заплывающее облаками, идущими с севера. Женька Зверев водку тянет неохотно. Он жалеет, что согласился с предложением Вани Лепёшкина. Авось бы сейчас подвернулась попутка... а дома жена ждёт, в окошко глаза выронила. И закуси в обрез – деньги опустил в ящик с надписью «Пожертвования на храм».

Ваню Лепешкина охватила тихая тоска. Где нынче работает – непонятно Женьке Звереву, его «просят» из дому

или он «тещу просит» – сплошной кроссворд. Бранил, поносил свою жену поганю, да и замолчал. Посидели – Ваня Лепёшкин сжался весь на ящике, спрашивает, сплёвывая себе под ноги, с какой-то неожиданной и невыразимой силой:

– Зверев, благословение, говоришь, справно жить получил?

– Справно – несправно... Получил.

– Тебе можно, ты... подмял, верно, деревню?.. Ты всегда такой пуленепробиваемый... Помнишь, рассказывал как-то, что чуть кишки в бункере комбайна не намотало на шнек?

– Ну?

– А когда на гусеничнике опрокинулся вверх лаптями с силосного бурта, страшно было?

– Не знаю. Не успел испугаться.

– Везучий ты, Зверев. А вот я...– Ваня Лепешкин стал вставать с пустого водочного ящика. Действо это показалось Женьке Звереву невыразимо утомительным; Ваня был в этот миг человеком, которого давно уже никто не любил, и с которым будто с покойником простились все его домашние.– Поеду я, Зверев, рыбу ловить в Мурманск. Вот зайду домой, возьму документы...

Ване Лепёшкину так захотелось сейчас же ехать в Мурманск, что он кашлянул для храбрости в кулак, даже двинулся прочь, но раздумал и вернулся. Стоит перед Женькой Зверевым, стыдно признаться, что не в силах изменить что-то в своей жизни, и никуда он не поедет, и теща с женой уже «сняли с довольствия», и, упирая в собутыльника глаза, неожиданно доверчиво просит:

– Ты благослови меня, а? Скажи мне то, сокровенное, что поп тебе сказал... Зверев, мне бы опереться, зацепиться...

Споткнулся Ваня Лепёшкин, глядит на Женьку Зверева затравленными глазами, ждёт от того спасения, а Женька усмехается.

– Чудило ты, Ваня, – сказал, совершенно непричастный к просьбе.

– Пускай чудило! Я по жизни чудик. Такой нескладный, такой дохлый... Уеду! Не могу больше!

– И езжай! И флаг тебе в руки.

– Ты это серьёзно, серьёзно, Зверев, а?

Заблестали глаза Вани Лепёшкина в крайнем возбуждении, лицо вытянулось и побелело, как у птицы рот дернулся и скривился. Схватился за больную руку Женьки Зверева. Женька Зверев взвыл от боли.

Маленький ломоть солнца отрезала охватная земля и облизала языком край неба – дню конец. Идёт в родное Запяткино Женька Зверев. Впереди ночь и длинная, разбитая дорога. Времени предостаточно, есть над чем поразмышлять...

Вроде плечо перестало ныть.

«Чудило: благослови его... Тут со спичечный коробок и... Вроде мало владыка сказал, но как просто: для людей жить. А на Ваньку Лепешкина не нарочно ли меня навёл, мол, с Ваньки тори дорогу?..»

Женька Зверев шёл и улыбался сам себе: кругом безмолвное созерцание, он один, вроде всему свету чужд, и хочется кричать:

– Эй, заря моя! Ты слышишь Женьку Зверева?

Мостик, под мостиком чувирает по камешкам вода. По тропке спустился на дно овражка, припал губами к бодрящей родниковой свежести. Зубы ломит, а сколько не пей её – нет сытости. Вышел к дороге, прислонился к шершавому медному стволу высокой сосны. Глаза зажмурил и долго стоял, вдыхая аромат разогретого соснового воздуха. Тихо – спит в этот час дорога. Чернеет лес. Вдруг послышался треск валежника, проходит минута, и выходит горбоносая лосиха, а рядом жмётся к матери рыжий лосенок на длинных тонких ножках. Постояли лоси – невольный страх угадывается в настороженных ушах, но Женька стоит с подветренной стороны, и они его не чувят. Мать окунает голову в ручей, а лосёнок тычется, толкает-

ся ей под брюхо, и Женька слышит аппетитное чмокание. Лосиха напилась, вся ушла вслух, и стояла, не переступая, до тех пор, пока лосёнок не насытился. Лосёнок делает замысловатый прыжок от матери, потом обратно, стрекает тонкими задними ножками мать в бок – явно торопит или вызывает на бой, лосиха воинственно нагибает голову, фыркает: «Ну, держись, неслух!», и оба прыжками выскакивают на противоположный берег.

– Расскажу Галчонку... хорошая у меня жена! Вот как тут не рожать, а?.. Обязательно надо!

Потом Женька стал думать, где горожанки выберут место на кладбище для покойной своей матери, и пришёл к мнению, что будет так, как определит Любовь Васильевна. Представил себе, как медленно опустится на колени его жена и поклонится кресту, а он будет удерживать её, как дотронувшись головой земли, встанет и заплачет, уткнувшись ему в грудь...

Покорение Сибири Ермаком

Примета: кукушка петь перестала – зерном подавилась (жито на колос пошло)...

Марфа Пудовна дала знать внукам: на Ильин день – умру, как можете – приезжайте. А то – пожила и хватит, пусть другие столько проживут. Девяносто пятый почала месяц назад. Упрямая старуха Пудиха, как в народе её зовут. Сказала, что на своей печи умрёт, и ведь слово сдержит.

У самого крыльца тихо, как облетающая осенью листва прошелестел «Лексус» – пожаловал средний внук Фёдор. Из машины выступил, ноги широко расставил, с интересом деревенскую улицу и ближние дома глазами объехал, подтяжками брюк «поиграл» на вытирающей «мозоли». В себя не заглянешь, – тоскует сердце в тайной радости, испытывая сладкий недуг.

Мельком глянул на крышу летней избы, вздохнул: пяток тесин сорвались со стропил, которые тесины переломались, одна ядреная ткнулась торцом в густой крапивник. «Пропадает дом... нет крыши, не будет и дома. Всё некогда...» Отошёл от машины. Когда-то давно в такой день после короткого дождя он с бабкой выгонял коров из лесу. Белые березы роняли алмазные слезы, бабкин голос был звучен и весел, он стрелял кнутом – боялся быка, налетел ветер, лес загудел, между стволами закачались тени...

Рядом с «Лексусом» припарковался «Ягуар», из машины вылез младший брат Орест. Из одежды на нём одни шорты, на ногах сандалии. На небо глянул – везде простор и чистая лазурь, носом потянул – родина!

Пробежался взглядом по громадине отцовскому дому – как бледный призрак юных лет, лежит на сердце разбитый груз надежд; присмотрелся к взирающему на деревню брату – лет двадцать не виделись, руками всплеснул, возопил от всего помышления:

– Брат мой Федор свет Павлович, тебя ли я вижу в родных пенатах? Суриков. Масло. «Покорение Сибири Ермаком».

Обнялись братья, побили один другого по плечам, прослезились даже.

Двадцать лет не двадцать дней. Много воды утекло. Большой перерыв оказался между прошлым и нынешним временем. Грудь Ореста от горла до шорт заросла курчавой шерстью. Плешь на голове с бабкину шаньгу. Федор забыл, когда был брюнетом, лысоват, брюхом беремен.

– Сколько же ты пудов, Пудёнок? – смеётся, радостью обмирая, Орест.

– Орешка ты Орешка... Как я рад тебя видеть... Да немного, семь с довеском, если весы не врут. А ты все восемь, а? Восемь, бабкин неслух?

– И не знаю, брат...– Орест гладит ладонью свою «мозоль»,– может... всё может. Да-а, брат, вот тебе и Пудёнки! В люди вышли Пудёнки! – крикнул, приседая.– Поел нас

сосед, царство ему небесное. Рожу искосит, нос свой кривой как к губе придавит, и назло с нажимом выговаривает: «Арест» да «Арест». А «Арест» подкатил к родительскому дому на «Ягуаре»! Наградил меня батюшко имечком, век благодарен... Смотри, дымок показался. Наш старшой по косогору катит, дымит наш Пуд!

– Какую дорогу голландцы положили! Лепота! Умеют, сволочи, строить! Еду и не верю. А мост? Ты заметил, какую дуру заворотили, а? Выдержит стотонные машины. Вот что значит алмазы, – говорит Федор.

– Перебор, брат, перебор. Я слышал в нашем болоте хранилище для отработанного уранового топлива строить будут. Будто бы не только со своих подлодок, и с Европы всю гадость к нам повезут, – говорит Орест.

– Что тут скажешь, а? Нас с тобой не спросят. Болоту так и так капут.

В краю деревни затарахтел трактор. Орест и Федор вышли встречать, – к бабке правился старший внук на старенькой «сороковке». Василий живёт в другой деревне, ему ещё в детстве оторвала ступню правой ноги роторная косилка «КИР-1,5». Пудом прозван, с одной стороны, по прадеду, с другой – за тяжелый голос, высокий рост, худобу и прямоту речи. В колхозной кузнице отстучал Василий почти тридцать годиков. По какому месту подручному показал молотком стукнуть, там тот и стучи, а коль рядом попал – беда, кузнец поковку может и под дверь кузницы бросить. Осерчает, бывало, бабка на него: «Пуд ты Пуд, суший камень! Да в кого ты экой упрямый выродился?» «А в тебя, в кого ещё».

Василий трактор поставил под березой напротив дома.

Из кабины выбрался, припадает на протез, младшие братья к нему как к отцу жмутся.

– И как ты в такой скворечник влезаешь? – удивляется Федор.

– А он вдвое складывается! – гогочет Орест.

– А я влезу или нет? – говорит Федор. – Толкать если...

– Влезешь. У нас ребята на вечерину в Березову слободу поедут, семеро с гармоньей влезают.

– Да-а, в Березову слободу и мы с гармоньей...– стал вспоминать Федор и осекся.

– Братище, а народу много в деревне? – спрашивает Орест.

– Народ,– хмыкнул Василий.– Народ на буеве, в большой деревне прописан, в нашем Ягодине народишко доживает. В четырёх домах.

– А было... это какая деревня была, а? – изумляется, как не веря, Орест.– У Кислицыных в летней избе самовар стоял с двумя кранами, на стене ружье висело. На прикладе выжжено «Ивань». Мы всё гадали: неужели из дерева? Стволина длинная, железные кольца наведены. Брат, ты пищали не куешь?

– Ты когда в деревне-то был последний раз? – спрашивает Василий.

– Ну, это... а гастролёры шерстят? Домов-то пустых много?

– Ладно, пошли к бабке,– распорядился Василий.

Не едет бабка к Василию жить. А про Федора да Ореста и в мыслях у неё нет. Один где-то на юге, другой ближе к Москве. У бабки в хозяйстве есть петух и три куры, кошка. Петуха держит голосистого, чтоб, говорит, дом пустым не был. Бывает, ночью петух как запоёт – замерзает, что ли, в хлеву, бабка очнётся от дремы: «Да штоб тя!.. Ишь, разорался! Завтра велю Евдохе голову отрубить!» Полежит, подумает, сама себя выругает: «Бесстыдная рожа! Да как такое подумать могла?!» За бабкой присматривает Евдокия, такая же одинокая старуха, ещё живая на ногу. Соседи. Давным-то давно не всегда приветливы бывали друг к дружке. Много раз прошлись памятью старухи по прожитым годам, вспомнят да посмеются, посмеются да поплачут. Хмельник растёт по меже, как стал весной подниматься, каждая старается на вечеру будто ненароком по хмельнику пройтись, с чужой стороны тычинки на свою сторону направить. Соседская кура завела в чужой крапиве гнездо, а Федька да Орест развели, высмотрели и стащили яйца. Хорошая морковь в своём огороде нарас-

тет, а у соседей лучше и сочнее – ночью набег «пуд да пуденки» совершат, была морковь да сплыла. Родители у ребят заживо сгорели на риге – спасали колхозное зерно. Вроде и бранить – сироты, безотцовщина, а не бранить – много ли проку от одних бабкиных наставлений?

Пустует скамья на крыльце.

Взялся за дверное кольцо Федор, подержался и отпустился.

– Открывай, не выбежит навстречу бабка, – сказал Василий.

Он шёл задним, шаркая протезом, давая дорогу младшим братья.

Лежит бабка на широкой лежанке возле печи под теплым одеялом. В избе душно и жарко. Тяжелый запах малоподвижного тела. Из-под лежанки видна шайка, прикрытая газетой. Помнят Федька и Орешка, как из этой шайки их бабка в бане мыла. С потолка свисают клейкие ленточки, мух на них черным-черно. На столе полотенцем прикрыты чашки-ложки, на стене фотокарточки в рамках. Тикают часы-ходики, как и тридцать лет назад бегают у кота глазки туда-сюда, туда-сюда.

На божнице нет икон, одни засохшие жалкие цветочки: голубенькие колокольчики и поникшие ромашки.

В мыслях Федор и Орест думали застать бабку той, что осталась в памяти двадцать лет назад, а увидели живые мощи, и не по себе стало.

Некому Марфу Пудовну обиходить. Пропитанные мочой одеяла Евдокия вытащит на улицу, на изгородь повесит, сухие на лежанку постелит. Бранит Марфу Пудовну:

– Какого ты лешева к Ваське не едешь жить? Ведь зовёт, кабы не звал... Анна у него баба золотая...

– На своей печи умирать стану. Отвяжись.

– А как я раньше умру, а?

– Окстись, умрёт она раньше. Пошто это ты раньше умрёшь? Ты меня схорони, ишь, какая...

Встали все трое возле бабки. Впечатления молодости не только живы, но ещё так ярки и необыкновенны, так

и манят и волнуют, громко стучит сердце,—тревожное и внутренне не всё осознанное, острая жалость лежит перед ними, взрослыми мужиками. Все трое опять маленькие, слабые, одна защита у них — бабка, хочется скорее вырасти, самим собой казаться большими и самостоятельными.

Василий побрякивает в кулак, привлекая внимание бабки к себе, говорит, подбирая слова:

— Вот, баушка, Орешка наш да Федька наш, как и просила.

Иссохшая старуха лежала немая и неподвижная. Если бы не открытые глаза, непонимающе оглядывающие мужичин,— уснула вечным сном.

— Баушка, Орешка наш да Федька наш к тебе пожаловали,—медленно повторил Василий, поочередно показывая пальцем на братьев.

Голова бабки немного шевельнулась, откуда-то из провалившегося рта послышался вопрос:

— Пензию принесли?

— Принесли,—кивнул головой Василий.— Орешка наш да Федька.

— А-аа... Ты пошли Орешке денег в тюрьму. Худо арестанты живут.

— Пошлю. Вот он,—взял Ореста за рукав, пододвинул к бабке.— Орешка наш.

— Выпустили? — удивилась бабка.

— Выпустили. Отпуск дали за хорошее поведение.

— Бабка, Федька я, Пудёнок,—наклонился над бабкой Федор.— Помнишь, неслуха такого? Помнишь, как вожжами меня полосовала?

— А как же, как же! Пудёнки — наши ребята. Сиротами поднимались. У них родители в риге сгорели, вот, товарищ дорогой... Васька, ты мне место рядом с Пашей моим застолби. Евдоха бает, нонче загодя место на буеве отбивают, больно, бает, мор людей косит, чтоб не заняли.

— Ладно. Ты хотела с Орешкой да Федькой увидеться, так вот они. Подарки тебе навезли, весь стол кульками завалили.

– Страхи господни... Што ты, Васька, меня пугаешь? – у бабки затряслась нижняя губа.

– Я не пугаю. Ты просила им депеши послать, я послал, они... вот они, потрогай Орешку за руку.

Бабка вытащила из-под одеяла вздрагивающую руку, осторожно дотронулась до протянутой руки Ореста и отдернула.

– Ну, признала? – спросил Василий.

– Может, он, может... обличьем как бы счетовод Ондрий Настасьин... Тебя, товарищ дорогой, остричь – налог по шерсти вытянем.

Все рассмеялись от бабкиной шутки.

– Всё такая же, – глуховато, с облегчением произнес Орест, повертываясь к Федору с посветлевшим лицом.

– Ты, Васька, мужикам-то денег дай. Прогон ноне дорогой. У меня под подушкой, – сказала бабка.

Попытался Орест доходчиво объяснить, что с тюрьмой он давно распрощался, когда прошлый раз приезжал из Астрахани, уже жил на вольных хлебах, а бабка вдруг хватилась большой чугунной сковороды; – её Пудёнки страсть любили жареную картошку с луком.

Василий смотрел на бабку спокойно, а Федора уже начала покалывать тихая злость, сухая и холодная: умом тронулась бабка, чего сто раз ей повторять, если не понимает?

Вышли на улицу, на свежий воздух.

– Со святыми упокой, – тяжело вздохнув, сказал Орест.

– До Ильина дня, пожалуй, не доживёт, – сказал Федор.

– Доживёт, – сказал Василий.

Стояли на улице Орест и Федор, оба охваченные странным, тупым равнодушием. По приезде было желание у Федора проехать на своей дорогой иномарке по деревне, проехать с вызовом, тихо и медленно, чтоб все видели, до каких высот вырос Пудёнок, а теперь смотрит на заросшую дурной травой улицу, дома со съехавшими крышами... не перед кем козырять-то! Укоризной колют окна с выбитыми стеклами, начавший съезжать с соседской

крыши конёк как собрался в дорогу, да передумал, бабкин петух закукарекал торжествующе на том месте, где когда-то стоял хлев...

– Иконы давно умыкнули? – спросил Орест Василия.

– Есть кому нынче мыкать. Дармоедов развелось, алкашей, всяких спартанцев... Каждое лето до снегу деревню не раз пройдут вору. Запирай, не запирай, всё с мясом выворотят.

– А чего запирать, себе дороже.

– Так идите и берите?.. Мне по чужому дому пройти, что покойника обыскать. А ты чего про иконы-то намекаешь? Штобы я из родительского дому да при живой бабке?

– Здравствуйте. Не успели встретиться уже содом. Не хорошо, брат Пуд и брат Пудёнок, – вмешался Федор. – Есть у меня распрямляющий извилины коньячок, пропустим? На родной земле, под родным небом... – заговорил Федор, подталкивая Ореста к Василию с снисходительным почтением, стараясь выказать своё понимание происходящего.

Федор перегнал «Лексус» тоже под березу.

– Какие мы скворечники на эту березу весили! Помнишь, Вася? Бабкин сундук распотрошили, накалим кочергу в огне и кочергой дырки прожигали. Надо бы хоть один скворечник повесить...

Столовались возле «Лексуса». Двери машины распахнуты. Сидели в примятой траве. Золотые снопы света валились через листву вековой березы.

Но было что-то жуткое в красоте безлюдной деревни, со всей неразгаданной страстной тоской, отовсюду как собиралась пышная, расточительная, потревоженная зря жизнь. Орест и Федор сидели напротив друг друга. Первый тост поднимали за встречу. Федор выставил батарею французского коньяка. Федор сделал несколько меланхоличное и в то же время экзотическое лицо, чувствуя на себе направленные взгляды братьев, – как он сам-то будет пить заморскую гадость? Выпили, вроде прокатило хорошо, и пожгло где надо...

Откинулся всем корпусом назад Федор, смотрел на Ореста и Василия, и не мог наглядеться.

– Вот и встретились... Да-а,– говорил Федор, стараясь придать своему голосу особенно простодушный братский тон,– редко, братья, встречаемся, редко. Покорение Сибири Ермаком...

Соседка Евдокия пришла к мужикам. Долго она переживала, когда разъедутся внуки Марфы Пудовны. Не вытерпела. С одной стороны, не хотелось встречаться с Орестом и Федором, с другой – интересно, какие стали из себя Орешка да Федька. Будет потом о чём с Марфой поговорить. Правда, сначала Марфу надо в толк ввести, расположить к разговору её крылатую, постоянно исчезающую душу. У Марфы все разговоры о смерти, порой она не понимает, порой злится, зовёт поименно всех умерших в деревне и место себе на кладбище требует.

Орест и Федор дружно вскочили при виде Евдокии, стали тащить присесть рядом с ними на травку да «покалякать» о прежней жизни. Евдокия садиться не стала, и от коньяка отказалась, сказав, что за всю жизнь капли спиртного во рту не бывало.

– Как, Василий Павлович, Анна-то твоя? Слух есть – в больнице?

– Уж дома, Григорьевна, дома.

Сидели долго.

Судьбу бабки внуки отдали попечителям-ангелам. Чего вмешиваться, сколько отмерено, столько и отживёт.

Крутили словесные жернова «по правилу левой руки» и «по методу буравчика». Много перемололи всего на белом свете, ибо в трезвой голове свет велик, а в пьяной, да – двадцать лет не виделись, да – один умён, а другой умнее – о, сколько идей и прожектов вспыхивает и гаснет в градусной отраве!

Вот где человеку место под солнцем?.. святой Дух не знает. Мир обширен, и глубок, и тесен; в государстве есть армия и флот, есть генералы, банкиры, нефть, церкви, партии всякого толка, памятник Петру Первому работы

Церетели... всего до выгребу, а нет, нет порядка в нашем Отечестве!..

Есть Дальний Восток, который тихой сапой подминают китайцы, – тема. Зерно за границу утекло, в колбасе ноль процентов мяса – всяк русский человек о колбасе мечтает с рождения. Федор орлом налетел на Аллу Пугачеву с её «фабрикой звезд» – зажирела Пугачиха, Максим Галкин уже не устраивает. Или певица Бабкина? У, горлопанка! Меняет мужей как перчатки – в колхоз её, пожизненно скотницей на двор! Воображение Ореста рисует фантастическую картину конца света...

По родине и ворон плачет; жалели братья родное болото с комарами и ягодами: и зачем Бог столько добра высыпал под деревню Ягодино?

Василия спрашивают про жизнь в колхозе.

– Что наша жизнь, вся тут, – развёл руками старший брат.

– Пашут, сеют? – спрашивает Федор.

– Бабы рожают? – гогочет Орест.

– И пашут мало, и сеют мало, а бабы... кому рожать-то? Из нашей деревни пять учеников в школу ходит, а помните, сколько из Ягодина ходило?

– Пятнадцать! – говорит Орест.

– Шестнадцать, – поправляет Василий. – Вовчика Козулина в интернат увезли после третьего класса. Водолаз. Навещал прошлый год родные края, в Архангельске живёт, своё дело поднял, скребёт днища кораблей от ржавчины и соли.

Не заметили, как солнце вывалилось из березы, как соседка обратно к себе прошла.

Деревенских мужиков вспоминали, не обошли вниманием соседа.

– Помните, как сосед зубные протезы в сортире выbleвал? – ржёт Орест.

– Не надо мертвых тревожить, – воспротивился Василий. – Лучше скажите, как это вы такие машины дорожные завели? – спрашивает Василий.

– Постом и молитвой,– пуще прежнего заржал Орест.
– И реформами кремлёвских старцев! – добавил Федор.

Стали младшие братья подкалывать, подъедать один другого. Вроде шутят; предлагает Федор Оресту тележку купить брюхо своё возить; Орест шерсти на своей груди потеревит, поплюёт на призрачный клок и к груди Федора «прилепит». Заколдую, хохочет, ни пуля, ни яд не возьмут. В каждом из них зависть забродила, вроде как желчь выгралась: я думал богаче брата живу, я сверху, а брат, вроде, лучше?.. Ты на какие шиши машину завёл? А ты на какие? В «Лексусе» 300 лошадей запряжено, в «Ягуаре» – 500. Один до 100 километров в час разгоняется за 5 секунд, другой – за 8. Предмет достатка – дача, предмет роскоши – любовница. У обоих есть то и другое! У одного дача в три этажа, у другого под дачей бассейн, теннисный корт, крокодил Гена в ванне плюхается. Жаль, народу деревенского мало собралось под березой. Легонько открываются братья. Нынче такой разговор на блатном жаргоне именуется «понты кидать». Орест круто живёт, а Федор круче. Он прошлый год мял пузом песок на турецком берегу, Орест махнул в Сибирь, к старообрядцам.

– Не нужен мне берег турецкий, и Африка мне не нужна,– пропел Орест.– Я приобщился посещать святые места, был на Соловках, недели три кантовался в Киево-Печерской лавре, был в Берлине на Унтер-дан-Линде, жил в гостинице «Бристоль».

В школе Орест учился так себе, с двойки на тройку, а нынче декламирует Овидия (якобы в переводе Пушкина Александра Сергеевича). И прилично читает, пощипывает на груди шерсть.

*О люди! Все похожи вы
На прародительницу Еву;
Что вам дано, то не влечет,
Вас непрестанно змий зовёт
К себе, к таинственному древу...*

Оказалось, Федор рубит лес в Карелии и толкает за кордон. Лесу много. Скандинавам хватит лет на тридцать.

– Будем жить – не тужить, пока мутят воду наши патриоты.

Орест сколотил капиталец на сборе «старины».

– По домам шуняешь? – прямо спросил пораженный Василий.

– Надо же...– удивился и Федор.– Хотя ты и раньше чужим не брезговал, тот ещё был сатюк.

Вспомнили, как ходили с гармоньей в Березову слободку, и за что попал в тюрьму Орест.

– Это тебе надо было срок мотать, тебе! Ты же драку начал!

– Братишки, братишки...

Развязали хмель и чистый деревенский воздух язык Федору: лес он сам не рубит, бензопилу в руках не держал, черную работу выполняют «негры» – вчерашние колхозники, в силу финансового краха сельского хозяйства готовые на любую работу. Федор – мозговой центр, «мажет» где надо, кому надо, и знает, почему сегодня кубатура у нас и «по ту сторону».

– Работаем вахтовым методом. Делянку насмотрели, обмозговали «приход-отход», дождались ночи, рывок – и мы в шоколаде.

– Да вас стрелять, суки, надо! Стрелять! – кипит Орест, не по сердцу ему «шоколад» брата.

Двадцать лет не виделись и не память друг дружку холки? Потомки нас не поймут. Не поймут! «Покорение Сибири Ермаком» – вот это понятно! Приплыли на лодках, и дали по сусалам кому следует дать!

Драться не дрались, бодались; первым делом Орест испробовал на брате «подтяжки Рокфеллера»; – крепче буксирного троса. Федор не остался в долгу и защипнул пуп Ореста,– меньшей брат взвыл на всю деревню; мирились, целовались, слезы лили. Слезы лили за погубленную деревню Ягодино, за Россию, за болото под деревней – какие раньше ягоды вкусные росли! – за бабуку – пусть она живёт сто лет! Василий руками сильный, лезет разнимать

братьев, его как «ковыльнут» Орешка или Федька, он не устоит на одной ноге, летит в траву.

Соседка Евдокия сидела у окна, смотрела «спектакль». Поначалу наивно полагала, что раз соседи обзавелись такими машинами, какие нашим колхозникам веком не купить, так они стали другими, уважаемыми, около штурвала власти крутящимися, а оказалось, такие же дурные, как и тридцать лет назад. Против Василия Павловича ничего против не имеет, золотой мужик.

Хозяйственный. Обоих дочерей в институтах выучил, замуж отдал. Пока мал был – не озорничал, а эти Пудёнки!.. золотая рота. Орешка у ихней коровы соски нитками перетянул, через то пришлось корову на мясо отдать. А Федьке было милое дело матюгами дверь разукрасить, лук выдергать. Однажды засверлил в полене дыру, пороху насыпал, и полено в ихнюю поленницу сунул. Хорошо Евдокия рассмотрела: зачем это торец полена оконной замазкой залеплен? Расковыряла – батюшки! Муж велел обратно заклеить да полено Пудихе положить в поленницу. Не стала Евдокия зло творить. Страсть покойный супруг Орешку с Федькой не любил. Где-то выслушал, что сравнивают глупых людей с обезьянами, и частенько повторял: «Облизьяны. На днях с пальмы сползли».

Василий Павлович родной сын всем жителям деревни Ягодино. Редкую неделю бабку не навестит. Каждый раз бабку совестит: «Да что же ты меня на смех выставляешь? Вот свяжу и увезу». «Увезет он... на-ко выкуси! – бабка кукиш внуку покажет. – Не смотри, что снегу много, я босиком и по снегу убегу». Зимой сугробы перекинут дорогу, так он гусеничный трактор схлопочет, районному начальству назвонит, а то и в газету заметку пошлёт.

– Арест ты Арест... поросенок плешивый.

Сидели под березой за полночь. Хорошие машины делают иностранцы. Вовчик Козулин приехал на «Ниве», двадцать два года машине, Василий забрался, – места немногим больше, чем в его «сороковке». Вместительные

машины клепают иностранцы, надежные. Федор и Василий спать сунулись на сидения, Орест уполз куда-то.

Всплывает над деревней солнце. Петуха у бабки не унять.

Появился Орест на горизонте. Сонный, рожа красная, мятая, изъеденная комарами. Под левым глазом синяк. Вроде шерсти на груди ubyло или наткнулся грудью на чью-то поваленную изгородь... Волоком тащит выкованную лет полтора назад цепь – снял с поваленного ворота колодца.

Бережно смотал цепь Орест, положил в багажник. Сходил к кадке под поток, умылся. Вынул из чемоданчика брюки и рубаху, оделся.

– Шишкин. Масло. «Утро стрелецкой казни», – кисло говорит Федор, сплёвывая кровь с губы.

– Давно ли? Шишкин – «Утро в сосновом лесу», а «Утро стрелецкой казни» – Суриков, – поправил Орест.

Стали собираться в дорогу.

Головы у всех гудят.

– Повидались, – виновато говорит Василий. – Эх-хее... А пить надо водку. Пусть из доски, из опилок, из нефти, из конского помёту, но отечественное пойло, а французский коньяк – чума бубонная.

У Федора кровоточат разбитые губы. Своей кровью испачкал сидение шикарного «Лексуса», на котором спал.

Ходили прощаться с бабкой. Сегодня бабка принимала гостей «во всей красе» – сидит за столом с подарками седая, иссохшая мумия, собирается пить чай. Во всю «ивановскую» шумит электрический чайник. Вода нынче не родниковая, из скважины, тяжелая вода.

Терпеливо говорил один Василий; бабка соображала лучше, чем вчера. Но снова спросила про «пенсию» – вчера были у неё начальники из райсобеса, сказывали, как Орешке худо в тюрьме, просит денег.

Василий опять показывал бабке на Ореста, та вовсе умом смешалась.

– Да ты што?.. А тот... другой-та? Он ещё,– поскребла себе костлявыми пальцами по рубахе,– шерстистый...

Отвернул Орест лицо в сторону. Смотрит на печь. 1956 вырезаны цифры на боку глинобитной печи. Бабка сказывала: отец вырезал. Отец и печурки на боках вырезал, в печурках рукавицы сушили, носки. Лежит в одной печурке стопка писем. Прочитал адресат на верхнем: из Астрахани, значит, когда-то он посылал бабке.

– Тот уехал, баушка. Отпуск кончился. Ему прокурор колхозный пай цепью колодезной выдал, да и отпуска в тюрьме маленькие дают. Погостили, по деревне походили... С тобой поговорили...

– Мы с Евдохой чаю швыркнём и косить побежим. Надо народу пособить. Евдоха бает, от водопою, как по все годы начали, пять зародов по шесть промёжков подняли. Ты косы-то настрогал?

Больно уколел «отпуском» да «цепью» младшего брата старший брат! Очень больно! Под дых врезал! Раздул ноздри Орест, кулаки сжал, волком смотрит; Федор видит, у Ореста воротник рубахи, кажется, распрямился; понял состояние Ореста, стал намеренно давить животом на Василия, давая знать Василию, что пора кончать прощание.

Глянул Федор в вершину березы: не мешало бы скворечник повесить, но... некогда.

Василий ковыляет около своего трактора – голова садовая! – вчера забыл закрыть краник бензобачка, бензин ночью вытек. К Федору, так, мол, и так.

Федор открыл шланг, поточил бензин в коньячную бутылку. У меня, кричит, прикладывая пальцы к губам, бензин девяносто восьмой, разнесёт чего доброго твой пускач вдребезги. Василий смотрит, Орест из избы воровато бежит, шайку, в которую бабка мочится, к боку прижимает.

– Эй, счётовод! – окрикнул Василий Ореста.

Тот на крик оглянулся, мнётся, вроде хочет шайку в крапиву кинуть, а вроде в жизнь с ней не расстанется.

– Ополосни! – добивает Василий.– Машина провоняет! Орест швырнул шайку в крапиву.

Плюхнулся в «Ягуара», на скорости вылетел с бабкиного двора.

Сходил Василий, шайку нашёл, вымыл – кадушка полна воды под потоком, в избу снёс, толкнул под бабкину лежанку.

Достал из подвала косу, стал обкашивать бабкину улицу. Себя бранит: нет бы раньше умом раскинуть, пока братья своими машинами не раскатали в блин... Некрасиво будет: умрёт бабка, придут люди прощаться, сказать не скажут, а подумают об них с братьями худо.

Идёт Евдокия.

– Уехали? – спрашивает.

– Уехали.

– Да-а, жалко не вина выпитого, жалко ума пропиитого. Помнишь, третьего году учёный с худыми ногами из нынешнего Петербурга по деревне с клюшкой ходил? Корни, чудака, искал... Человек спасен в будущем из рук судьбы в настоящем.

– У меня пытал, что ждёт русскую деревню.

– Как же, как же, в наших полумертвых деревнях у каждой избы по замшелому Илье Муромцу сидит да ждет радетелей прохожих. Может, думал, раз ты кузнец, то сквозь раскаленное железо видишь?

– Да чего видеть, и так всё ясно.

– А я сказала: «Пустая Вселенная глядит в нас мраком глаз. А ты, душа, усталая, глухая, твердишь о счастье – который раз?»

– Ну, Евдокия Григорьевна!.. Удивила меня.

– Я, Васенька, сама себе удивляюсь. Ходила к двоюроднице Насте Барсовой в гости, она так испугалась меня! По избе мечется, в окошки суётся, чашку чайную разбила, да что, спрашиваю, сделалось-то? Поуспокоилась и говорит: «Преж наслаждение было на деревню вечером после работы смотреть, чувствовать себя защищенной, народ-то, народ-то какой преж был хороший! Преж гармонь на деревне заиграла, вся деревня в радости, а теперь мимо избы кто идёт, сердце обмирает: не ко мне ли? Как ко мне – по какой леший?» У них в деревне сын-алкоголик

мать зарубил за сто рублей. Что деревню ждёт... Страшна не смерть, страшно народ видеть, умирающий в забвении, сходящий с ума. Маленькой была, жил у нас в деревне старик, Чалым звали. Много раз в тюрьме сидел. Эдакой грибок сморщенный. Печь топил тем, што где-нибудь стяшит. Так этот Чалый повесит днём свою шапку на тычину, а ночью идёт её воровать. И дня три спит сном праведника. То, говорит, меня как клопы кусают, спать не могу.

– Выправь речь свою, Евдокия Григорьевна.

– Не в обиду будет сказано, прости меня, старуху глупую. Случилось мне видеть, как Орешка ваш в доме у Кислицыных обыск творил. Трезвому бы надо, его мотаает, кричит, что опоздал... Чего брать, чего? Уж сто раз до закладного камня... Не в обиду, Василий Павлович.

– Я не обижаюсь, своя ноша... Бабка тебя заждалась, на сенокос собирается бежать.

– Отбегали... Давно было, в школе училась, не помню в какой и книжке вычитала: человеком движет голод, холод и надежда. Голод да холод наше поколение хорошо усвоило. Надежда... туман широк и прижимист.

Не косил, рвал косой дикую траву Василий. Печальными глазами смотрела на косца Евдокия, боясь оглянуться на деревню. Сердце её, давно наполненное грустью, вроде радовалось, вроде плакало; ни слов, ни мыслей не было у неё, был некий смутный восторг перед многообразием отжитого,— давно ли, кажется, в этот час деревней шло стадо мычащих коров, за коровами шли овцы, кричали дети... одинокий глубокий вздох ушёл в пустую деревню.

Камень

Идёт липучий снег. Рыхлые, тяжелые водянистые капли устилают землю.

То, что этот снег долго не залежится, знают Егор Михайлович и Алексей Николаевич.

Тарахтит старенький колесный трактор. Стеклоочиститель усердно трудится, сгребая со стекла пухлые, молочные

густки. Чувство заброшенности, одичания вызывают у обоих мужиков многолетняя дурная трава, густо поработившая поля, исхлестанные ветрами голые деревья, деревня с обвалившимися крышами, поваленные столбы радиолинии, снег, что летучая мошкара, лезущая в кабину...

Сырость, слякоть. Солнце уже давно не тужится, солнце сделало длинный пас осени и ушло в дремотный отпуск.

Тесно в кабине. Пассажир Егор Михайлович сидит боком, стараясь дать возможность управления Алексею Николаевичу. Алексей Николаевич похож на пилота, ведущего машину при нулевой видимости. Сухое, жесткое лицо с немигающими глазами усиливает сходство. Высокий лоб лохматится дремучими седыми бровями. Алексей Николаевич не конфликтный товарищ, для него мнение жены (спокойной, как танк) важнее указа президента страны.

Они едут за мельничными камнями. С год, как бывший колхозный бригадир Егор Михайлович вынашивает идею поставить у входа в районный музей два мельничных камня. Станут любопытные граждане мимо проходить, и увидят чудо из чудес, станут гадать да головами качать: это надо же! Как это в диком камне, диаметром метр тридцать сантиметров, в поперечнике пятьдесят сантиметров, высверлить дыру диаметром пятнадцать сантиметров? «Во,— скажут, гордые за своих далёких предков,— а то некоторые грамотеи оттягивают презрительно губы: деревня! Вот тебе и дикая да тупая деревня! А хвати эдакую тяжесть весом килограммов шестьсот отесать, обровнять, потом, заготовка была во сколько раз больше? Чем, каким инструментом? А как погрузить? Как и откуда эти камни привезли? Музейным работникам подсказать, чтоб никакой информации не давали. Где была мельница, кто последний владелец — тайна. Пускай народ котелком своим обихаживает своё родословное древо: в нашем роду мельники были?»

Оба пенсионеры, оба инвалиды. У Алексея Николаевича сахарный диабет, у Егора Михайловича пошаливает сердце.

– Баба моя...– говорит Алексей Николаевич, скосив на пассажира глаза.

Егор Михайлович придвигает к нему тёмное, хотя и чисто выбритое лицо.

– Баба говорит, не от большого ума кинулись камни собирать.

Егор Михайлович обидчивый человек, он очень страдает, если его задумка не удалась, и, хотя его успокаивают, мол, по причинам от него не зависимым сорвалась затея, огорченно и недоуменно пожимает плечами, порой фыркает рассерженно, а иногда стучит согнутым пальцем по своему черепу: чего-то плохо сработали мои извилины.

Сейчас, услышав от Алексея Николаевича высказывание его жены, досадливо отодвинулся.

– Ещё бы, связался со мной!

Помолчали.

Егор Михайлович смотрел в мокрое окно: мир кутался в сырой белый саван.

– Там-то как, а? – неопределенно произнёс Алексей Николаевич и указательным пальцем правой руки показал в потолок кабины.

– Не дразнись! Чего надо каждый раз уколоть меня? – сердито сказал Егор Михайлович.

– Ну, зашипел опять ежом... Я, понимаешь... а как...– опять указательный палец полез вверх.– Потревожим, а?

– Кого?

– Хозяина. Хозяина камней этих.

– Далёко тебя кинуло... Под угол, слышал, камни да жернова класть нельзя, всю жизнь извертят, а тут... будут у музея стоять... Чего тут худого?.. У Шуры Совы, скажут, под углами жернова лежат, так потому и парня зарезали в драке, и девка утонула, и матку парализовало...

Мельника Терентия Россохина раскулачили в тридцатом. Пошвыряли второпях, как воры, сказывали очевидцы, контуженные винными парами партийные товарищи кой-какого добра на дровни, вывели связанными из дому хозяина и хозяйку, усадили, рыдающих, на другие дровни

кинули тулуп, велели: «Живо прыгайте, кулачонки!» плачущим семерым детишкам, и повезли всех в лютый мороз на Печору. Нынче на месте Терехиной мельницы вымахали высокие осины. В начале семидесятых годов остатки мельницы разломали большими тракторами – проводилось осушение наволоков. Но слань, рубленную одним топором, даже трактора не могли выдрать!

В дороге, в раздумье, легко уйти в себя, оборвать разговор, и ехать, ехать, не замечая времени, и возобновить его на том же самом месте.

– Чего тут худого? – продолжает мысль Егор Михайлович. – Наоборот!

– Не знаю.

Трудно дались им эти камни. Сначала трактором вытащили на сухое место – Алексей Николаевич не раз прощупал ногами путь: как да «усядусь, кто меня вытащит?»; раза два напомнил Егору Михайловичу, что трактор ему «по рублику, по копеечке, по бутылочке водочки» достался, «не сверху в подвал свалился» – когда колхозную технику разворовывали и пропивали, ему по паям начислили в колхозной конторе «хрен целых ноль десятых», а его жену, работала тогда дояркой, «премировали» десятью тоннами навоза и месячным телянком. Выкопали ямки под колеса прицепа, – всё ниже подъём, и длинным тросом, не раз меняя положение трактора, затащили. Ещё и указательный палец правой руки Алексея Николаевича порвали ржавым, найденным лет пять назад в лесу тросом с лебёдки трелёвочного трактора. Пришлось оторвать полоску тельняшки и перебинтовать в полевых условиях.

Перепотели оба. Алексей Николаевич съел горбушку черного хлеба: с сахарным диабетом не шутят! Егор Михайлович проглотил две таблетки.

Волок от Терехиной мельницы до дому – десять километров. Тихонько едут обратно, часто оглядываются: тут ли камни, не сползли ли по скользкому днищу?

Оттирает Егор Михайлович шапкой лицо, тяжело дышит.

– Я всё равно, понимаешь...– забинтованный указательный палец Алексея Николаевича тычется в потолок кабины.– Не спокойно на душе. Сидеть бы сейчас у ящика... тут ещё баба стружку снимает...

– Звоню директору музея, так и так, а она: «Увы, нет денег. Художник принёс картины, наваливает, возьмите бесплатно, двадцать четыре картины! – оплатите только стоимость рам,– да, оплатим, когда в бюджете будут деньги».

Даже приехать и посмотреть камни – денег нет! Смех на ниточке. Иконы, самовары, братыни, полотенца, красна, Господи-и! Всё вычистили проходимцы, а для музея, для детишек, для будущего!.. Вот что мы за люди? Какую силу сердца сваял наш век, какую силу погубил! У нас вот тут,– Егор Михайлович стучит пальцем по своему темечку,– пустота космическая!

– На днях по ящику болтали: на смену серой власти придёт чёрная. Негры, что ли? Или китайцы?

– У нас своих негров до выгребу – Москва захлебнулась!

Привезли камни домой.

День идёт, другой топчется, топчутся и Егор Михайлович с Алексеем Николаевичем возле камней.

– Может, в интернет выложить, мол, камни продаём, а? Запросить так тысячи три на топливо? Велю внучонку, он на это дело смышлёный,– предлагает Егор Михайлович.

– Кабы колокол литой тонн под десять, тогда бы американцы или евреи залебезили, а то камни какие-то,– говорит Алексей Николаевич.– Баба моя говорит...– вздыхает.– Говорит, дураки вы старые. Вас жизнь ничему не научила. Страну разворовали, а вы камням рады.

– Это верно,– смеётся Егор Михайлович.– Скажи бабе, что нам чужой земли не надо пяди, но и своей клочка не отдадим!

– Ага, нас с тобой спросят, кому отдавать,– хмыкает Алексей Николаевич.– Ты где свою землю застолбить

собираешься, в Арктике? Там, по ящику, чушь несут, нефть для всего мира качать будем.

– Не-е, на своём кладбище.

Неделя минула – три раза по мобильнику заседал на директора музея Егор Михайлович, грозился самому главе района пожаловаться на бездействие.

– Да поймите вы: погрузить – надо нанимать машину, привезти, сгрузить, установить! Где, где мне взять деньги? Вы не поверите, у нас в музее даже туалета нет. Придут школьники на экскурсию, мы заранее ведро ставим, – отбивалась женщина.

– Вам камни надо? – горячился Егор Михайлович.

– Боже мой! Да как не надо?! Может быть, камни – последнее, что есть от нашей малой родины! Но как, как, вы подскажите... А вы привезти не можете?

– Дожили! При красной власти весь райком партии эти камни как бурлаки на Волге тащить бы вышел, а теперь!.. Куда, куда мы на своей развалюхе сунемся? Нам за наш трактор такой штраф выпишут – мама, не горюй! Под Курском с поля боя мой отец танки обгоревшие вытаскивал тягачом, лучше смотрелись. А на чём везти, на воде?

Четвертый раз номер на мобильнике набрал, ну, думает, посолою всех чиновников крепким матом и шабаш, больше не потревожу, постоял, повздыхал, и опустил мобильник в карман.

Воздух набух туманом. Туман шевелился, двигался по земле сизым сумраком, густел и жался к реке.

Ударил мороз, крепкий мороз.

Сошлись подельники, одетые по зимней форме в шубы, валенки, шапки.

– О-о-о! – сказал Алексей Николаевич, пряча лицо своё в воротник шубы.

– Поджигает, Николаич! Ну, как житуха? – спрашивает Егор Михайлович.

– Живу пока, на похороны деньги коплю. Под утро, понимаешь, грудь заложило... и вчера мяло-корёжило. Баба говорит: от камня. Дух Терентия, – забинтованный палец

указывает в свинцовое небо, – смотрит... у бабы на языке мозоль выросла: нельзя трогать то, что не тобой положено!

– Они сговорились что ли, бабы-то? – раздул ноздри Егор Михайлович. – И моя в ту же дуду.

– Бабы народ чувствительный. Бабы,– говорит и оглядывается,– они как ведьмы... тут,– трясёт пальцем над камнем,– все слёзы Терентия, и жены, и детишек в себя вобрали эти каменюги.

Ладонь к камню приложил.

– Студеный камень. Понятное дело...

Думал да думал про слёзы, боль, тоску и обиду, лишения, про многое думал, что вынесла семья Терентия Россохина Егор Михайлович, и вот однажды под утро, как и Алексею Николаевичу, стало ему неудобно. Лежит на кровати, жена у печки хлопочет, и явственно видит он сидящего на снегу босого старика, одетого во всякое рваньё, и усмехается ему старик удивительно доброй и ласковой улыбкой, и с трудом, тихо говорит:

– Отдай мне моё.

И так трогательно проста была просьба, и такое человеческое величие было в том, что слышал Егор Михайлович! Есть ли на свете слова, могущие заменить душевный стон? Нет таких слов, и быть не должно!

– Это... это что мне отдать... как тебя по имени-батюшке, прости, запомятовал? – спрашивает, весь наполняясь страхом.

– Тятю не тревожь. Терёха я, мельник.

Того же дня повезли Егор Михайлович с Алексеем Николаевичем камни обратно. Топлива мало, потому в долг под запись выпросили у продавца тысячу рублей. Заказали такси. Часу не прошло, три канистры по десять литров стоят возле колеса трактора. Нарочно Егор Михайлович баню натопил, воды нагрел,– старенького железного коня беречь надо.

Обратная дорога всегда легче.

– Баба утром икону умывала,– говорит Алексей Николаевич.

– Неужели у вас иконы настоящие сохранились? – удивляется Егор Михайлович.

– Какое, в церкви купила. Разве в том сила, настоящая она или нет? Сила, понимаешь... в левой руке финиковая ветка, а в правой – копьё с белой хоругвью, а на хоругви червлёный крест. Я по ящику про Михаила смотрел, он правильно зовётся Архистратигом всех сил небесных. Вот сила иконы, понимаешь, как бы доходчиво сказать...

– А чего бабу икону мыть бросило?

– Чего, чего... в смирении жить надо.

– А то мы с тобой жеребцы необъезженные! – фыркает Егор Михайлович. – Кто ещё смирнее нас живёт, исправных налогоплательщиков, послушных избирателей? Тьфу! Слушать тебя не хочу!

С телеги выгружали бережнее, чем грузили.

И положили камень на камень, чтоб издали видеть. В самые осины сгрузили, для чего четыре дерева свалили пилой, да трактором оттащили прочь.

Из берега бьёт родник. Будто отвернули кран у земного самовара, и льётся, льётся кипятком тугой струёй, только подставляй чашки. Вымыл в той воде руки Егор Михайлович, умылся, оттирает лицо шапкой. А напарник Алексей Николаевич гладит шершавой своей рукой верхний, мохом поросший камень.

– Промахнулись, с кем не бывает... Нет-нет, не корысти ради, по дурости, понимаешь... то в жар кинет, то в холод...– из горла его шла бессвязная, убедительная речь, что потревожили они спящий дух не со зла.

– Михалыч! Ты не поверишь!.. Иди, пощупай, ей-богу, камень тёплый!

Сели в кабину, переглянулись и достали лекарство: один – кусок черного хлеба, другой – таблетки.

Алексей Николаевич приглаживает седые брови.

– Слава Богу: избавились. Я, понимаешь, давно бы один свёз, да, думаю, обидишься...– облегченно говорит Алексей Николаевич. – Баба всю плешь переела, и там, – опять указательный палец тычется в небо, – там спокой-

нее... Я вот своим худым умом так раскидываю: тут, над этим местом, дух мельника и всей родни его завис. Я по ящику насмотрелся, как мумии египетские вскрывали, как на всех кладоискателей небесная кара пала...

Тут звонит директор музея:

– Говорила с одним богатым бизнесменом, возьмёт ваши камни.

– Это тот, у которого бассейн с крокодилом под окнами, который скачки на страусах устраивает и машинами торгует? – Егор Михайлович подмигивает Алексею Николаевичу: мы в курсах, кто в районе главный буржуй.

– Да, да! А – очень большой человек! Даст вам две тысячи рублей.

Это «а – очень» выдало тайный восторг директорши.

Егор Михайлович со злостью ткнул пальцем на мобильнике кнопку.

– И нас бы продала, зараза!

Снова трещит мобильник.

– Не горячись, не горячись, поговори, она баба подневольная, – совестит Алексей Николаевич.

С минуту трещал мобильник, а Егор Михайлович в себя приходил.

– Тут такая неувязка... прицеп понадобился, стали разгружать, мороз сегодня под двадцать пять, камень о камень шмякнулся, и всё, на куски! Вы уж извините, по-беспокоили вас.

– Жаль, жаль... А может, оно и к лучшему.

Правятся домой Алексей Николаевич с Егором Михайловичем. Едут низом, вдоль наволоков. Сверху смотрят на них пустые глазницы окон брошенной, догнивающей деревни.

– Терёхин дом, сказывают, от конюшни вторым стоял, не помнишь? – спрашивает Алексей Николаевич.

– Мы с тобой за одной партиой сидели, если ты не помнишь, откуда я помню?

Смеются: шишок тебе под носок, страусятник! Чтобы ты и подобная тебе беспардонная публика *на наши камни* мочились?!..

Белые деревья в брошенной деревне, одна лишь ель торжествует большим и ярким зелёным пятном. Воздух шуршит под колёсами трактора.

Ночью красная, уродливо отрезанная шербатым серпом луна, вся напрягаясь гневом, торчала в небе. А само небо отверстое было обсыпано звездами, будто крупной солью. И медленно, почти осознанно двигались по вечному волоку от Терёхиной мельницы, соль вжимая в твердь, два легких, белесых облачка. Куда? Туда, где вдумчивый рассвет высветит поутру новый день.

По «ящику» четыре канала одновременно шприцевали запакованных в кресла и диваны жертв развлекательной «динамической нагрузки»; это было и страшно, и захватывающе, и совершенно непричастно – из Москвы вырывалась банда с награбленными миллиардами, в Америке горел целый город, на японский берег высаживались саламандры, в Антарктиде бурили скважину и закладывали ядерный заряд. Уже давно обыватель не чувствует чужой боли, притерпелся.

«Мир не собака, сойдёт с ума – на цепь не посадишь.– Мысли у Алексея Николаевича сегодня ясные.– Не дал мне Бог таланту, а кабы дал, нарисовал бы я адскую мельницу, жернова, плотину, и бежит вместо воды в реке кровь людская, и стоит сверху нечистый в своём мерзком камзоле и потешается, довольный...– Скосил глаза на спящую по соседству в кресле жену: фу, хорошо хоть вслух не произнёс такое! Привстал, на икону в углу посмотрел и сел обратно.– Кабы талант... нарисовал бы я мальчонку с удочкой на берегу реки у Терёхиной мельницы, а небо над мальчонкой чистое и глубокое, и солнце... много солнца! За какую же горошку закатилось ты, солнце моего детства?...»

* * *

Где нивы щедрые трудами наполняли
года и дни, и радость через край,
и пахари к молитве припадали,
прося по осени обильный урожай,—

Там лес растет в пугливости, в смятенье,—
Пристанище тоски в родной юдоли,
угробленная жизнь, бывшее упоенье.
Кому теперь мечтать о радости и воле?

У сытой власти курс на города,
зачем старухи с колющейся грустью?
Зачем той власти долговая «борода»?
Деревня тихо вымрет в захолустье.

Весна придет, ей ничего не жаль.
Пусты потуги солнечного лета.
Горит закат. Преображения даль
венчает облако поджаристого цвета.

Земля не родит земледельца боле;
и зыбки нет, и даже нет креста.
Щемит душа, и в золотистом поле
Хочу узреть идущего Христа...

В пустых домах полночный гул забвенья,—
приют скорбящих, зябнущих теней.
Как тяжело мне слушать чье-то пенье
из палой тьмы, от закладных камней.

Когда-то жизнь надеждами взрывалась,
Дома рубились, пели топоры!
И лозунги бодрящие зывали:
«Давай, давай! Давай стране, орлы!»

Отдали всё. Взамен – одни реформы
и обещания в «светлом завтра» жить.
Фуфайка, сапоги, талон «для корма»,
Да стопку горькую под новый год испить.

Я не прощаюсь, – кепку вверх кидаю
в летящий купол, что тоске открыт.
Как будто жизнь навеки покидая,
бреду деревней и пою навзрыд.

Пою про жнейку, свадьбу, сенокос,
и слышу деда глас ответной дрожью:
«Смягчит тебе дорогу на погост
защитник Спас. Он утром ходит рожью».





Галина Ленц

Ленц Галина Тимофеевна родилась в дер. Першинской Тарногского района Вологодской области. После окончания Пермского госуниверситета работала в Уральском госуниверситете как археолог, затем преподавала в Пермском педуниверситете археологию и раннюю историю славян. В 2016 году Г.Т. Ленц вернулась на родину в дер. Першинскую, где они с мужем восстанавливают родовой дом.

«ВКУС НЕРАСТРАЧЕННОГО СЛОВА...»

Родной язык

Высокое косноязычье,
Мне не доступное пока,
Я обрету, познав величье
Родного языка.

Поняв его седую древность,
Поняв значенье строгих мер,
Его волшебную напевность
И поэтический размер.

Я красотой его глагола
Упыюсь. И буду смаковать
Вкус нерастраченного слова,
И об утратах горевать.

Постигну образность понятий
И смыслы, тёмные пока,

Ты стоишь и стоишь,
 только Богу и веришь –
Что любовь и осознанность
 вселятся в них.

А пока ни с одним
 ты не встретился взглядом,
С человеком в плену
 площадной толкотни.
Не до неба ему,
 только близкое надо.
В суете и борьбе
 он живёт свои дни.

Но ты Господу веришь!
 Дождёшься, быть может,
Взглядов многих, однажды
 благодарных тебе.
А пока ты стоишь
 и иначе не можешь –
Ангел скорбный,
 покорный избранной судьбе.

Благовещение

Благовещение... Благодсть разлита
В свете дня. Ощущенье чудес...
В Благовещение тайна сокрыта
Сочетанья земли и небес.

Светлый ангел предвестником чуда
Пред Марию юной предстал –
На земле человеку так трудно
На небесный взойти пьедестал.

Но Мария смиренно внимала
Гавриилу, посланцу Творца.
Поклонившись, она прошептала:
«Пусть свершится по воле Отца!»

И хоть сердце стонало и ныло,
Предвкушая гоненья и стыд,
Предвкушая, что выпадет Сыну
Столько тяжких и мелких обид!

Претерпеть доведётся ей в жизни
Сколько боли душевной без вин...
Но Мария склонилась пониже
И промолвила твердо: «Аминь!»

Гавриил попрощался с любовью
С Девой, тело отдавшей... Кому?
И незнанию её с тихой болью
Изумился, и: «Быть посему!» –

Он сказал, воспарив в Божью Вечность,
А Мария осталась в миру.
Крест взвалила на детские плечи
И пошла, чуть дрожа на ветру.

* * *

Прощаю, прощаю, прощаю,
Прощаю себя и других.
И радостным вздохом встречаю
Чреду происшествий благих.

И жизни приветствую ясность,
Божественную простоту...
И понимаю прекрасно
Совместной любви красоту,

Совместной любви сотворенье,
Совместной работы азарт...
В совместном пути просветленья
Не будет дороги назад.

А будет лишь радость открытий
Себя, и тебя, нас двоих.
Чреды благодатных событий,
Творений твоих и моих.

* * *

Огонь любви, огонь желаний
Неопалимой Купиной
Двоих согреет, не поранив,
Наполнив музыкой святой.

И в том огне неопалимом
Горим и молим лишь о том:
Пусть бы любовь неутомимо
Дарила нас своим огнём!





Елена Сквородина

Сквородина Елена Дмитриевна увлечена написанием малой прозы. Очерки, эссе, новеллы, стихотворения в прозе помогают автору разобраться во внутренних проблемах, в оценке прошлого и настоящего, установить гармонию с собой и миром. Е. Д. Сквородина публиковалась в районной газете, в альманахе «Родные просторы».

* * *

П

ежально дни мои проходят,
И сердцу больно от греха...
Лишь увядание находят
Мои усталые глаза.

Любовь была печальна тоже,
Её давно терзает плен.
Как нестерпимо думать, Боже,
Что всё живое тронет тлен.

Сегодня листья увядают,
Отправит осень их в полёт...
Меня ведь счастье не узнает
И равнодушно отойдёт.

И буду я молить у Бога,
Чтобы он выправил судьбу,
Чтоб указал он мне дорогу,
Которой к храму я пойду.



Галина Истомина

Истомина Галина Кузьминична родилась в пос. Вошар Тарногского района Вологодской области. После окончания восьми классов поступила в медицинское училище в Архангельске. Вся жизнь Г. Истоминой связана с медициной. Стихотворения сочиняет с детства. В последнее время пишет лирические стихи.

* * *

Ж

Женщина милая,
Тайно любимая,
Как я скучаю и жду!
Встречи нечастые,
На людях опасные,
Но мимо тебя не пройду.

Ты – наваждение,
От быта спасение,
С тобой становлюсь молодым.
К тебе прикоснусь я,
Тебе улыбнусь я –
Растают печали, как дым.

Женщина милая,
Сердцем хранимая,
Знаю, что любишь меня.
С тобой помечтаем,
Что будет – не знаем,
Но радостно, что ты моя!

* * *

Пришла любовь нежданно,
Пришла среди зимы.
Увиделись нечаянно –
Пропали сразу мы.

Кругом зима морозная –
У нас любовь цветёт,
Запретная, серьёзная,
Пожаром сердце жжёт.

И мы вдруг стали юными,
Забыли возраст свой –
Гитарой семиструнную
Любовь звала с собой.

Хотелось невозможного:
Нам снова жизнь начать,
И с песней придорожную
Рассветы вновь встречать.





Любовь Пешкова

Пешкова Любовь Васильевна родилась в 1958 году в дер. Никоновской Тарногского района Вологодской области. Училась в Озерецкой восьмилетней школе, затем в Сокольском педучилище, заочно в ЧГПУ в Череповце. Работала в детском саду воспитателем, заведующей, была сотрудником Тарногского музея традиционной народной культуры. Первые стихи Л.В. Пешковой были опубликованы в районной газете. Позднее стихи стали накладываться

на музыку. В настоящее время Л.В. Пешкова поёт на клиросе в храме села Тарногский Городок. Считает, что дорога к Богу – самая верная из дорог.

* * *



е нам решать: что можно, что нельзя.

Давно известно это свыше.

Пусть под ногами скользкая тропа,

Не бойся, коль ведет тебя Всевышний!

Не бойся одиночества и лжи,

Не дай прорваться суетным мечтаньям.

Ты знаешь, свой напев у тишины...

Он открывает двери к высшим тайнам.

* * *

Болят душа за всех живущих,

За тех, кто к Богу не пришёл,

Кто для души своей мятущей

Покой желанный не нашёл.

Болит душа о том, что страсти
Кипят, и в этом мятеже
Гуляют беды и несчастья,
Готовя трудный путь душе.

Болит душа, но лишь надежда
На милость Божью уменьшает боль.
И Богородицы лик светлый
Зовет и манит за собой...



Тамара Лесукова

Лесукова Тамара Алексеевна родилась в Верхнем Спасе Тарногского района Вологодской области. Окончила Великоустюгское педучилище, череповецкий пединститут. Вся трудовая жизнь Т. А. Лесуковой связана со школами родного района. Её стихи часто появляются на страницах районной газеты. Поэтические подборки опубликованы в изданиях альманаха «Тарногские просторы». Т. А. Лесукова – участница районных литературных конкурсов «Пою тебя, мой край родной». Автор текстов ряда песен. В настоящее время работает в Воскресной школе при Храме Святителя Николая.



* * *

З

а что нас миловать?
Постов не блюдем мы
И в церковь не ходим...
Непросто мы к Богу
Дорогу находим.

Прижмут нас несчастья,
Нужда и болезни.
И спросим себя мы,
А что нам полезно?

Отпустит нас бремя –
Грешить продолжаем,
Чужие грехи,
Не свои, мы считаем.

Смеемся над ними
Порой без опаски.
Боимся своих лишь
Грехов мы огласки.

Два деда

Победный май. И помню я
Картинку старины:
Сидят два деда за столом,
Пришедшие с войны.
Сидят два деда за столом,
Бутылку разопьют,
И разговор немирный свой
С досадой поведут:
«– Вот я Гражданскую прошел,
С фашистом воевал,
И до Японии дошел,
Позора я не знал.
А ты – предатель, в плен попал
И в батраках служил.
А что полезное стране
Ты лично совершил?
И поделом тебе, мой сват,
Досталось в лагерях.
Не сдался б в плен –
И грудь твоя
Была бы в орденах».
«– И как тебе мне доказать:
В том нет моей вины,
И много боли и потерь,
И лиц у той войны.
На поле брани средь других,
Снарядом оглушён...
И путь дальнейший за меня
Другими предрешён. –
И замолчит, и сплюнет зло,–
– Кому как на войне везло».
И до сих пор не знаем мы
Победе той цены.
Мы не были на той войне.
Мы позже рождены.



Евграф Бакшеев

Бакшеев Евграф Федорович (1914–2014) родился в дер. Коротковской Илезского сельсовета Тарногского района Вологодской области. С 14 лет работал на заготовке леса. Затем выучился на тракториста и работал в Тарногской МТС. После армии находился на военной службе, был политруком дивизиона, инструктором политотдела, трудился на строительстве Северопечерской железной дороги. Награжден боевыми и юбилейными медалями за доблесть и отвагу. Уволился Е. Ф. Бакшеев со

службы по сокращению штатов, трудился заготовителем кожсырья и пушнины, затем в лесной охране в гослесхозе и межколхозном лесхозе. Свои стихи начал писать в 90 лет. Первый сборник Е. Ф. Бакшеева «Бортвинка» увидел свет к 95-летию автора. Также стихи печатались в «Кокшеньге» и двух коллективных сборниках «Тарногские просторы». Евграф Федорович Бакшеев любил жизнь, а жизнь любила его: он всегда был бодр и весел, спокоен и выдержан, с ним было интересно общаться, никогда не обижался, никогда не отказывал в помощи, любил животных. У него было много увлечений: рыбалка, охота, пчеловодство, отлично играл в шахматы, всегда интересовался политикой, стихи писал, и у него всегда всё получалось.

* * *

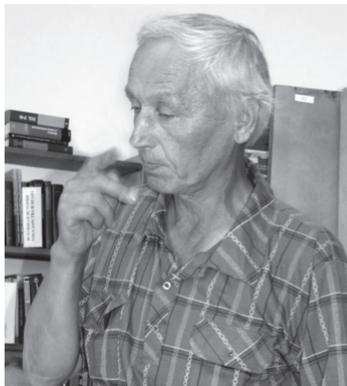
В

жизни был испытан я не раз,
Надо мной не раз гудело небо.
Если надо было, я подчас
Обходился без воды и хлеба.

Не искал проторенных путей.
Миражами душу не тревожил.
Как бы я не жил, а без людей
Я б девяносто лет не прожил!

Владимир Горынцев

Горынцев Владимир Степанович (1954–2014) родился в дер. Николаевская Тарногского района. Военную службу проходил в пограничных войсках. Свою трудовую деятельность Владимир Горынцев связал с сельским хозяйством. Плодотворно работал над стихами, живо откликаясь на самые разнообразные темы и события. В 2016 году был выпущен сборник стихотворений В. С. Горынцева «Судьба у каждого своя».



* * *

В горле комок застыл,
Сердце от боли сжалось.
Я уже всё простил,
Но... чувство вины осталось.

Мне это всё зачем?
Поздно просить прощенья.
Только одна из тем
Требует освещенья.

Требует день и ночь,
Как сборщик уплаты дани,
И не прогонишь прочь
Божье моё наказание.

* * *

Гордиться людьми и краем
Все мы с детства желаем.
И, даст Бог, в благодеяния
Выльются эти желания.

Не славлю Спасскую башню
И кресло премьер-министра:
Я славлю хлебную пашню
И пашущего тракториста,

Мало сидевшего дома,
От дум о земле – агронома,
В буднях своих неяркую
Труженицу-доярку,

Телятниц, работниц, крестьянок,
Встающих до зорьки рано.
И всю их святую работу
Аж до седьмого пота.

Мне трудно в словах своих
Высказать
Всё то, что пришлось
Всем выстрадать...

Кто трудится, тот уважаем!
И так же гордится краем,
Где дед у сохи родился,
И внук его пригодился.

В северной нашей Кокшеньге
Люди ценней, а не деньги.
Наша святая деревня –
Опора Руси издревле!

* * *

Я люблюсь красотой Природы...
Пью с листочков капельки росы
И, встречая у реки восходы,
Замираю от такой красы.
Мне по сердцу плотные туманы
И ночные трели соловья...
Забываю грубый скрип дивана.
Кучка веток – ложе для меня.
Купол неба голубой и чистый,
Как волшебный сказочный наряд,
И Меркурий ярким аметистом
С переливом привлекает взгляд.
Катит воды вешняя Кокшеньга,
Подмывая ивы на пути...
Краше места не купить за деньги
И дороже тоже не найти.

* * *

Поём о тарногской земле,
О красоте речных излучин,
О запахах родных полей,
Считая край свой самым лучшим!
И где ещё найдёшь милей
Боры сосновые и рощи,
Поля с мышиною вознёй
Зимой под плотной снежной толщей.
А где услышишь столько птиц!
И соловьёв весенних трели!
Морозов треск, метелей свист
И звуки солнечной капли...





Андрей Пешков

Пешков Андрей Михайлович родился в 1937 году в дер. Горка Тарногского района Вологодской области. После окончания семилетки учился в школе ФЗО в гор. Красавино, затем служил в армии. По возвращении А. М. Пешков работал в Тарногском леспромхозе и гортопе. Затем уехал в Ростовскую область осваивать донские степи и остался там на всю жизнь. Работал художником-оформителем, стоя-

лом, корреспондентом газеты. После выхода на пенсию серьезно занялся резьбой по дереву, изготовлением мебели в домашних условиях. Творческие способности А. М. Пешкова находят выход в живописных картинах, поэтических работах.

Пусть говорят...



Пусть говорят, что стих мой прост
И не звучит, как праздный гост.
Хвалиться права не имею,
Стихи пишу я, как умею...
Свой стиль отныне не нарушу,
В стихи я вкладываю душу.
Сказать открыто – не стыжусь,
Что простотой стиха горжусь!
Писать иначе не умею,
Чем проще слово – тем ценнее.
Мой стих открытый, он прямой,
И, видит Бог, он только мой!

* * *

Для себя мерилом
выбираю совесть,
чтобы не замаливать в старости грехи.
Был бы я писатель,
родилась бы повесть
о деревне, а в итоге –
родились стихи!

Жизнью не заласкан,
В «господа» не вышел,
Хоть с косой и плугом довелось дружить.
Домик деревенский
Под тесовой крышей
Памятью из детства продолжает жить!

Что-то не случилось,
Что-то не успелось,
Стоит ли сегодня обо всём тужить?
Песня, что задумал,
До конца не спелась –
Умирать мне рано, значит, буду жить!

В волосах запуталась
Снежная пороша,
На душе тоскливо, а на сердце холод.
Не такой уж, видно,
Парень я хороший,
Раз деревню променял на город!

* * *

Предъявлю именную визитку,
И в былое пойду напрямиком.
Отворю в своё детство калитку,
Пробегусь по росе босиком.

Я припомню с нуждою соседство,
Вспомню трудные те времена:
И войной опалённое детство,
И погодков моих имена.

И знакомую к школе дорожку,
Что познания тропой нарекли,
И с колхозного поля картошку,
Что, прогуливая школу, пекли.

По ночам соловьи заливались,
Будто верили в счастье двоих.
Ну, а мы в одноклассниц влюблялись,
Но в семью выбирали других...

Я деревню сменил на станицу,
В той деревне остались друзья...
Словно выпустив в небо синицу,
Не сумел я поймать журавля.





Надежда Юрова

Юрова Надежда Михайловна родилась в Тарногском районе Вологодской области. После школы училась в Вологодском областном культурно-просветучилище, работала в районной библиотеке села Тарногский Городок. Окончила Ленинградский государственный институт культуры им. Н.К. Крупской. С 1994 по 2017 год – корреспондент районной газеты «Кокшеньга». В течение девяти лет возглавляла литературное объединение «Родники». Пишет

стихи, рассказы, очерки. Ее творчество знакомо читателям по публикациям в районных и областных газетах. Н.М. Юрова – член Союза журналистов России.

НИТОЧКА С ИГОЛОЧКОЙ

Почти каждую ночь мне снится один и тот же сон. Чистая просторная комната в солнечных зайчиках на пестрых домотканых половиках, открытое окно, ветер заигрывает белыми тюлевыми занавесками, вышитые полотенца украшают строгие портреты на стене, вязаная крахмальная скатерть на столе с резными ножками касается бахромой пола.

Я с огромным розовым бантом на голове, в новом штапельном платьице сижу на мягком лоскутном одеяле посреди кубиков, мячиков и машинок.

Открывается дверь и в комнату заходит мальчик-крепыш с голубыми глазами и белесой челкой. «Валенька, познакомься – это Слава, – улыбается бабушка Глафира, – играйте дружно, а я пойду на кухню». Сны – такая удивительная вещь, они сохраняют мельчайшие детали: аромат ржаных караваев, только что вынутых из русской печи, тиканье ходиков, кружение блестящей юлы.

Вот один за другим кубики вырастают в высокую стену.

Славка упорно строит дома, но до полного совершенства всегда кубиков не хватает. Славка – первый человек в моей жизни, чье лицо запомнилось.

Место моего рождения – заполярный город Мурманск. Там прошли первые четыре года раннего детства. Я практически ничего не помню из тех лет: ни комнаты, в которой жила наша семья, ни отца, ни солнца, сияющего летом круглосуточно. Разве что осталось в памяти прикосновение пронизывающего сырого ветра, выбивавшего слезы из глаз, и длинные белые больничные коридоры.

Я родилась недоношенной и слабой, с врожденным пороком сердца, росла туго, много болела и очень утомила родителей. Пожилой врач посоветовал маме: «Если хотите, чтобы ваша дочь поправилась, смените климатический пояс. Лучше всего для здоровья ребенка подойдет средняя полоса».

Мама решила на переезд в Вологодскую область, а папа, провожая на поезд, пообещал приехать через год, когда закончится контракт, да так и не сдержал свое слово.

Мама сняла комнатку в доме пожилой вдовы. Бабушка Глафира нянчила меня, хилую и болезненную, три года, и я прикипела к ней, как к родной.

Слава приходился «Гафие», так я ее называла, внучатым племянником. Моложе меня на два года, но не мельче. С рождения отличался отменным аппетитом, богатырским здоровьем и исправно ходил в садик. К бабушке его приводили по воскресеньям. Выходных я ждала как свет солнышка.

Играли со Славкой целый день, не спорили, не делили игрушки, не обижались, он соглашался исполнять придуманные мной роли. Когда за Славой приходила мама, и они собирались домой, я хныкала.

Первые годы учебы дались мне трудно: пошла восьми лет, в пятом классе перенесла серьезную операцию на сердце и осталась на второй год.

Так со Славой оказались в одном классе. Дети – жестокий народ. Робкой и болезненной второгоднице, не способной бегать и поднимать тяжести, в новом, очень хулиганском классе предстояло перенести немало колкостей, насмешек и тумачков. Думала: прыгнуть с обрыва в реку или спрятаться на чердаке, лишь бы не ходить в школу. Быть единственным ребенком – большое наказание, за тебя не заступится старший брат, и значит, любой балбес может отвесить подзатыльник.

Однако уже в конце первой учебной недели спокойный увалень Слава, не дравшийся ни с кем и никогда, отвесил такую затрещину пацану, дернувшему меня за ранец, что тот перелетел через парту.

Какое это счастье узнать, что тебя защитят! Про диагнозы думать забыла и духом воспрянула. Учеба в новом классе оказалась не так уж дурна: пока учитель спрашивал других ребят у доски, я глазела на Славу, выучивала каждый урок как можно усерднее, и отвечала лучше, чтобы произвести на него впечатление. К концу первого полугодия стала отличницей по всем предметам, кроме физкультуры. Физкультура мне не давалась. Зато у Славы с физкультурой и спортом все шло превосходно. И из года в год лучше. Он ходил на секции в спортивную школу и подавал большие надежды, от природы ему досталась недюжинная физическая сила, и то, что старшеклассникам удавалось с трудом, Слава делал играючи: тягал гири, метал диск, плавал, бегал на лыжах. Другие, чтобы добиться подобных результатов, тратили на тренировки годы, Славке стоило только попробовать, и все получалось отменно.

Вместе со школьной командой он постоянно участвовал то в одних, то в других областных соревнованиях и всегда успешно. Тренировки и поездки изрядно подкосили успеваемость, в дневнике появились двоечки.

Тренер припугнул: «Не подтянешься в учебе – исключу из команды».

«Надо вместе делать домашние задания», – решила я. Из меня получался толковый репетитор, хотя, сказать по

правде, чаще Славка просто списывал. За месяц вышел в «хорошисты», спортивные результаты с каждым днем становились все лучше.

Слава тянулся за мной, а я за Славой. Несмотря на запреты врачей, занялась спортивной ходьбой, начала обливаться холодной водой. И пусть рекорды мне и не снились, но на серебряный значок ГТО все-таки сдала.

Какое превосходное время – юность, верится в счастливое будущее.

Слава мечтал стать военным, и колесить по Советскому Союзу, а я – рядом с ним. Все в нем казалось безупречным и идеальным: речь, фигура, походка, цвет кожи, взгляд...

В 10 классе Слава успешно выступил на республиканских соревнованиях, получил очередной юношеский разряд и предложение о переходе в областную команду. В родной школе Славу встречали как настоящего героя: торжественная линейка, речи, поздравления, девчонки восторженные толпой, и какие девчонки, одна другой краше. Да как за таким перспективным парнем не бегать: высокий, статный, мускулистый, лицо загорелое, волосы густые, глаза синие с искринкой, улыбка белозубая, и весь такой, как будто с плаката шагнул. За стенами школы друзья и старшие товарищи руку жмут, выпить на брудершафт предлагают.

Взрослые люди справиться не могут с медными трубами, а где юноше удержаться. Забурлила Славина жизнь, как чайник на керогазе, то тренировку пропустит, то на уроки проспит, то с дискотеки домой вернуться забудет. Обидно все это показалось, решила с ним больше не разговаривать. Бабушка Глафира только смеётся над моими обидами:

«Глупая, это же хорошо, если человек смолоду перебеситса, раньше хвост прижмет, ловчей к житью будет. Никуда он от тебя не денетса...».

«Как же не денетса, – возмущаюсь я, – вон, к нему взрослые теткы клеятса. Такое прощать нельзя! Я для него столько делала!»

«Ты не для него, для себя делала. За каждым стоящим мужиком мудрая жена стоит обязательно. Друг без друга никак нельзя, вы как ниточка с иголочкой. Двоем-то жизнь ладную сошьете. Без него ты пропадешь, и он без тебя. У него – сила, у тебя ум. Поговори ласково, образумь. Он всегда по-твоему делает, а не услышит сейчас, потерпи немного, все образуется».

Хорошо бабушка поучала, да я худо слушала. Шагу навстречу не сделала, понять не попыталась, руки помощи не протянула. Из-за нарушения спортивного режима в областную команду Славу не взяли.

Экзамены за среднюю школу едва не завалил. А еще в тот год вышло строгое постановление, по которому всех выпускников средних школ бросили на подъем сельского хозяйства. Славу вместе с двумя одноклассниками распределили в соседний колхоз трактористом.

Мы, две отличницы, получили направление в Молочный институт на отделение агрономии. Сижу на лекциях, преподавателя слушаю вполуха, а сама все по сторонам Славкино лицо выискиваю. И до чего дошла, начало казаться, что его в толпе вижу. Решила, приеду на зимние каникулы и помирюсь с ним обязательно, любой ценой.

Приехала я как раз вовремя, на завтра у Славы свадьба, женится на молодой фельдшернице, беременность 27 недель. Так это известие меня поразило, что даже остолбене-ла. Вот говорят, худые вести не лежат на месте, а мне никто не написал, не позвонил. Хотя, чтобы это изменило?

Бабушка Глафира поучает:

«Что стоишь, как соленой столб! Иди, и заberi что твое...»

«Как же я пойду, все осудят...– плачу.– Да и поздно уже».

«Не сейчас поздно, потом будет поздно. Иди, всю жизнь жалеть будешь. Ты только за порог переступи, он сам за тобой выйдет. Вам друг без друга не житье – привязаны навечно».

«Как же, бабушка, не житье? – возражаю, – он же выбрал другую, и я себе другого найду, проживу как-нибудь».

Не знала по молодости, что надо жить не как-нибудь, а как следует, и за свое держаться зубом и ногтем. А гордость да обида – плохие советчики.

Не послушалась бабушку, уехала, и следующим летом на практике выскочила замуж за вдовца. Пожалела. Две девочки росли слабенькие, неприкаянные, очень меня маленькую напомнили, захотелось их обогреть.

Минутный порыв обернулся тяжелым хомутом. Вдобавок к болезненным деточкам достался неласковый муж, парализованный свекор и полоумная свекровь. Одно счастье, что не у всех одновременно обострение приключалось, тянулось долго и нудно, десятилетия.

Славкина жизнь тоже не клеилась. От спорта отошел, учебу дальше не продолжил. С женой зашла коса на камень. Очень уж крикливая уродилась, а зря, ей это только во вред. Из Славки, ежели спокойно говорить, можно веревки вить. А она как заорет, как начнет скалкой махать, так и синяк схлопочет. Потом еще поганей, уехала к отцу своего ребенка в город. И зачем она, беременная от другого, придумала за молодого парня замуж идти? На красоту его позарилась или побоялась матерью-одиночкой остаться? Вместе они прожили два года.

...Назло бывшей Славка немедленно женился на симпатичной учительнице. Ох, как я рассердилась, узнав об этом! Перебила в доме все цветочные горшки... Вечером позвонила мама и сказала, что Славка перевернулся на тракторе, получил сотрясение мозга, сломал ключицу и два ребра. Хотелось немедленно бросить все, ехать и выхаживать больного...

Даже вещи начала в сумку кидать, да опомнилась: рядом с ним жена. Впрочем, и эта жена задержалась не надолго. Учительнице на смену пришла местная почтальонка. Дурную весть я узнала в тот момент, когда развешивала на улице белье, в сердцах оборвала все веревки... Назавтра мне сообщили, что Славка чистил печную трубу в бане, свалился с крыши, сломал руку и вывихнул плечо.

Стала замечать, стоит мне разгневаться на Славку, так сразу же с ним случаются неприятности, травмы, урон. За что ему, Господи! Он ни в чем не виноват. Это я слишком много думала о себе и оставила его без опоры в жизни. Бабушка была права, мы привязаны друг к другу невидимыми, прочными нитями. Вместе – мы были сильными, порознь – ущербными. Ни мне, ни ему Бог не дал своих детей, воспитываем чужих.

Каждое утро, просыпаясь, я желаю Славе доброго дня, а вечером – спокойной ночи. Славка снится мне каждую ночь. Тот, маленький. Вот он входит в солнечную комнату, вот подходит ко мне и протягивает конфету...

Я верю, что этот сон оберегает его от бед.





Мария Бурцева

Бурцева Мария Петровна родилась в 1937 году в дер. Конец Тарногского района Вологодской области в крестьянской семье. Отец в первые дни войны ушел на фронт и не вернулся, пропал без вести осенью 1941 года. Мария Петровна выросла в атмосфере простой крестьянской жизни, впитывала в себя красоту и напевность народного языка. Основой культуры того времени было устное народное творчество: много пелось песен в праздники и будни, рассказывали сказки, пре-

дания и разные бывальщины. Стихи М.П. Бурцевой публиковались в районной и областной газетах. О них с одобрением говорили известные вологодские поэты А. Романов, С. Викулов, О. Фокина. Времени для творчества у Марии Павловны появилось больше, когда она стала заведующей сельским клубом. Проводились многолюдные и интересные вечера художественной самодеятельности, праздничные концерты. По семейным обстоятельствам Марии Петровне пришлось переехать в село Климовское Череповецкого района, где она работала в совхозе до выхода на пенсию. Душой же Мария Петровна до сих пор остается преданной Тарногской сторонке. Стихи для неё не только отрада и утешение души, но и защита от ударов судьбы, которых на ее долю выпало немало.

* * *



отелось жить светло и просто,
Любовь и радость пополам.
Хотя бы лет до девяноста,
А там Господь управит Сам.

Чтоб нипочём – жара ли, вьюга.
Всю жизнь свою перелистать,
Припав к плечу родного друга,
Печалей, горестей не знать.



Денис Сковородин

Сковородин Денис Сергеевич родился в 1997 году. По окончании Тарногской средней школы поступил на исторический факультет Вологодского государственного университета. Сейчас студент третьего курса. Денис интересуется географией, историей, литературой, политикой. Любит поэзию В.В. Маяковского, И. Северянина, прозу И.А. Гончарова.

Закат

Аиловый закат над полесьем разлит,
Сиянием нежным мир Божий облит.
В такую минуту открыта душа,
Небесные звоны гудят не спеша.

Беспечен покой задремавшей земли,
Дневные заботы под вечер ушли.
И лучше оставить до завтра дела,
Чтоб в сердце гармония тихо жила.

Природа заботливо людям дала
Минутку безмолвия, каплю добра.
– Спасибо! – скажу, мирозданье, тебе,
Спасибо всему, что живёт на земле.





Павел Ступников

Ступников Павел – учащийся восьмого класса Тарногской средней школы. Живет в дер. Хом Тарногского района Вологодской области. Первое стихотворение юный автор написал в седьмом классе.

* * *



Урез что я прошел, чтобы здесь оказаться!
Почему же опять я остался один?
Я себя не нашёл, но не смог потеряться,
И вернуться назад уже нет моих сил.

И сижу я один в одинокой квартире,
И смотрю я в окно: там волшебный закат.
Я в бетонной коробке пытаюсь осилить
Всё, что злобно меня погружает во мрак.

И ищу я ответы на вопросы всей жизни,
И не знаю, что будет в той дороге со мной?
Пригожусь ли я милой и любимой отчизне,
Или так же, как все, не вернусь я домой?

Пусть же путь мой окажется добрым и смелым,
Не боюсь за свободу и волю сгореть!
Но я буду стремиться быть умелым и зрелым,
Чтобы жить и бороться, чтобы песню пропеть!

Звезда

Горит закат.
Кончается денёк.
Все звери выстроились в ряд,
Чтоб посмотреть на огонёк.

Секунда, две, и ночь настала.
Заката больше нет.
И вдруг звезда с небес упала,
Оставив яркий свет.





Сергей Попов

Попов Сергей Александрович родился в 1960 году в дер. Кузьминская Тарногского района Вологодской области. После средней школы окончил Великоустюгский автотранспортный техникум. Служил в армии, затем работал механиком в Тарногском автоотряде Вологодской автоколонны. Избирался директором МУП «Тарногское АТП», на этом посту проработал пятнадцать лет. Заочно окончил Вологодский технический университет.

Был главным специалистом по ЖКХ в Тарногском сельском поселении. В настоящее время С.А. Попов является заместителем директора по производству ООО «Тарнога-ЖилКомсервис».

Вот уехали дочери...

В

от уехали дочери, в сердце вкралась тоска,
Зимним днём укороченным, – поострее клинка,
В выходной, утром ранчиком, пока зреет рассвет,
Посижу за стаканчиком: были девки – и нет...

Прошли дни – куралесица, утром спят –
в ночь бодрей,
Не гремит больше лестница, стук не слышно дверей,
Только Ванька, украдкою, отрок наш восьми лет,
Завладел шоколадкою, благо девок-то нет.

Вы учитесь, вы молоды, среди друзей и подруг,
Путь Наташке до Вологды, Сашке в Санкт-Петербург,
Вновь семестры и сессии, хорошо, есть прогресс,
Вместо писем в конверты, – в телефон эсэмэс.

Знать, судьбой уготовано, провожать, снова ждать,
Жизнь – тетрадь не линована, где поставит печать?
Темнота, хоть глаз выколи, за окном снег метёт,
Лето вновь на каникулы дочек нам привезёт...

Компьютерная наука

Для компьютерной науки
Прикупили ноутбук мы,
Чтоб с народом тет-а-тет,
Взяли, вышли в интернет.

«Петька, в Word тебя поселим! –
А я не гордый, хоть в Exele...
Ладно, сильно-то не пышкай,
Лучше вон работай «мышкой».

Не смотри туманным взором,
Продвигай строку курсором,
Щёлкни кнопкой там два раза,
Да не в лоб мне, вот зараза!

Щас копировать заставлю,
Не сумеешь – дам по «файлу».
Что копаешься в «корзине»,
Где бельё? Какой там Зины?

Дома Зинку проверь ты,
Куда лезешь в порносайты!
Денег ни гроша в кармане,
Лучше спал бы на диване,

И зря «мышку» не мусоль,
Сказано ж: «Введи пароль».
Ящик надо сделать новый,
Электронный, не почтовый,

Письмо сбросим мы моментом,
Хоть и Трампу, президенту.
Он живёт от нас не близко,
Жаль, не знаем мы английский.

Там вот день «прокуковали»,
Очень многое узнали,
Были мы не в речке в тине,—
Во всемирной «паутине».





Владимир Кириллов

Кириллов Владимир Евгеньевич родился в гор. Перми, где получил два высших образования как учитель и режиссер. Работал в школе учителем технологии. Был руководителем городского театра самодеятельной песни. С 2016 г. В.Е. Кириллов проживает в дер. Першинской Тарногского района Вологодской области.

* * *



в зимовке светло,
И блины на столе.
А в зимовке тепло –
Пролежал бы сто лет!
И гитара зовет,
И гитара звенит,
И мечта подпоет,
Улетая в зенит...

Зимнею и солнечною радостью
Сквозь окошко лавочки согреты...
Под горою одеял со сладостью
Разогрелась милая, как летом.
Ночью спать до света не хотелось,
Всё мечталось и читалось всё, и пелось...

А в полях тишина,
Сосны все в седине.
И снегов глубина,
И трава спит на дне...
И еще до весны

далеко-далеко.
Снятся теплые сны,
И на сердце легко...

Спи, любимая и светлая моя,
Как трава под снегом спит зимой.
Летом ждут тебя горячие моря,
Южный жар ветров, песчаный зной.
Пусть тебе приснится солнечный дельфин,
И он тоже будет в море не один!..

* * *

В дремучем веке тоже люди жили.
Мы на уроках учим в школе до сих пор:
В пещере древней археологи отрыли
Копьё, колун, кувалду и топор.

И наши деды тоже печь топили,
Валили лес, даря полям простор.
В избе и в хлеве всюду мирно жили
Коса, колун, кувалда и топор.

Мы в интернете ползать зачастили.
И там, казалось, разрешили спор –
В музей на полку вместе поместили
Косу, колун, кувалду и топор.

И вдруг жене приданое вручили –
Хозяйство, где упал забор!
И руки, вспомнив, снова запросили
Косу, колун, кувалду и топор.

Я вспомнил: с дедом мы лужок косили,
Косу на пятку ставить он учил.
Мой род во мне собрал былые силы,
И от него я знанья получил.

Мы возродить хотим свою деревню,
Разрухе, лени снова дать отпор.
Вернуть поможет нам порядок древний –
Коса, колун, кувалда и топор!

Вы лишних слов сейчас не говорите,
Не затевайте здесь излишний спор!
Вы лучше с благодарностью возьмите
Косу, колун, кувалду и топор!





Нина Ступникова

Ступникова (Шабанова) Нина Евлампиевна родилась в дер. Олискино Тарногского района Вологодской области. Нина Евлампиевна, получив медицинское образование, начала свой трудовой путь в районной больнице акушеркой. Вместе с мужем они вырастили и воспитали двух сыновей и дочь. Всем детям дали высшее образование. Более тридцати лет Нина Евлампиевна посвятила воспитанию детей, была заведующей детским садом и воспитателем группы раннего возраста.

Выйдя на заслуженный отдых, она продолжает помогать своим детям растить и воспитывать восьмерых внуков и внучек, пишет для них рассказы и сказки.

ВАСИЛЁК

Когда-то давным-давно здесь было поле. А называлось это поле Гаревицы. Должно быть, название поля идёт ещё с той поры, когда наши предки вырубали – выжигали себе площадь под жилища, освобождали от дремучих непроходимых лесов. Гарев – это, наверное, гореть. А вицы в старину так называли ветки деревьев.

И вот, сколько себя помнил, жил на этом поле Василёк. Каждый раз просыпаясь весной, он был счастлив и весел, потому что каждую весну это поле засеивали семенами льна. А лён для Василька был самым верным и надёжным другом.

Как обычно, проснувшись весной Василёк и посеянный лён начинали наперегонки расти, тянуться к солнцу, свету. Рано утром умывались серебряной росой. Ближе к полудню наслаждались молочной теплотой солнечных

лучей. Часто летом купались под мелкими струями дождя. Легко встряхнув капельки дождя, снова радовались тёплому солнышку. Так каждый раз проходило лето.

Становилось прохладнее и дождливее. Приближалась осень. На поле люди приводили большие и шумные машины. Василёк всегда боялся этих машин. Он старался как можно ниже пригнуться к земле, чтоб не обидели его эти машины. Люди и машины, выполнив свою работу, уходили.

Становилось всё холоднее. Василёк свёртывал свои листочки и укладывал на землю, готовя себе мягкую постель. Приближалась зима. Всё кругом покрыло пушистым лёгким снегом. Василёк засыпал до весны. Так прошло много зим и лет.

А вот однажды весной, проснувшись, Василёк стал ждать своих друзей. Дни сменялись неделями, а поле всё не засевали льном. Василёк стал потихоньку расти, тянуться к солнцу. Ему мешали какие-то растения с широкими и узкими листьями, закрывая путь к свету.

Василёк из последних сил расправил листочки. Свои голубые глазки цветок подставил лучам солнца. Ему было очень грустно и одиноко на этом непаханом поле. Он мечтал снова встретить своих друзей.

Была уже середина лета. Рядом с полем, на лесной поляне, дети собирали землянику. Самая маленькая девочка наблюдала за яркой бабочкой.

Вот бабочка присела на красивый цветок с голубыми глазками. Бабочка порхнула своими яркими крылышками и улетела. А девочка всё смотрела на красивый Василёк. Потихоньку девочка взяла в руку цветок и осторожно понесла его. Василёк настолько был счастлив и благодарен маленькой девочке, что свою головку положил ей на плечо.

Девочка принесла цветок домой. Налила воды в большую вазу и поставила туда цветок. Василёк был переполнен счастьем. Он увидел много света. Почувствовал тепло солнечных лучей.

Постояв в вазе несколько дней, Василёк попал в гербарий девочки. Там было очень много красивых цветов. Они все сразу захотели познакомиться с голубоглазым Васильком.

Снова наступила осень. Маленькая девочка пошла в школу. Учительница, увидев красивый гербарий, домик для сухих цветов, очень похвалила девочку. Так Василёк остался жить в гербарии маленькой девочки.

ЧАЙКИН ДОМ

В тот год чайки прилетели очень рано. Как обычно в северных районах области весна пришла с опозданием. Подарив весне несколько тёплых дней, зима решила вернуться сюда снова. Река почти полностью затянулась льдом.

Хотя он и не толст, но птица пробить его не в состоянии. Да и все подтаявшие озёрки подёрнулись льдом со снегом. А небеса словно решили высыпать все запасы снега, накопленного годами. На улице завывал колючий северный ветер вперемешку с сырой снежной кашей. Чайки растворились в белой массе снега. Только между порывами сильного северного ветра слышны были громкие отчаянные крики птиц. Они кружились над высокими и кудрявыми с наклонившимися от снега ветками берёз. На берёзах в своих гнездах обосновались грачи.

А под закрылинами крыш домов от непогоды спрятались чайки. Пара чаек совсем выбилась из сил и приземлилась в середине деревни на крышу старинного высокого дома. Почувствовав, что их что-то спасает от непогоды, птицы решили остаться там. А спасала их от порывов сильного ветра печная труба, выведенная хозяевами на крышу дома. Спрятавшись за печной трубой и прижавшись друг к другу, «переговариваясь», чайки переждали непогоду.

Выглянув, тёплое солнышко быстро навело везде порядок. Льда на речке и озерах как не бывало. Обрадовавшись солнцу и теплу, чайки плавали у берега реки, играя и купаясь. К вечеру птицы вернулись на крышу дома, но уже со строительным материалом: ветками и прутиками. Они ловко и аккуратно в первый день сделали крепкую основу гнезда.

За несколько дней птицы построили большое добротное гнездо высотой почти в половину печной трубы. Заподозрив неладное на крыше, пожилая хозяйка дома вышла посмотреть. Увидев на крыше большое гнездо и двух чаек, хозяйка обомлела. В северных деревнях считалось, что если чайки гнездятся на домах, значит, быть беде...

Вскоре, встав на высокую, приставленную к крыше дома лестницу, молодой мужчина быстро справился с гнездом, сбросил его на землю. Птицы пытались помешать, низко пикируя над ним. Били его крыльями по голове, но их дом оказался на земле.

Как только показались первые лучи солнца, птицы снова принялись за работу. На сей раз гнездо построили ещё быстрее, так как они использовали ветки своего первого гнезда. Всего строить гнездо чайкам пришлось три раза.

В третий раз они с таким упорством, быстротой и криками занялись строить себе дом, что люди не посмели его больше нарушить. Хозяйка решила – будь что будет. Чайки успокоились, вели себя очень тихо, так благодарили они людей за свой разрешённый дом.

Но к ним пришла другая беда, уже к их потомству, в виде чёрно-белого кота-забияки. Кот заметил толкотню на крыше, когда ещё строилось первое гнездо. Тогда у него дела были поважней, он ухаживал за всеми соседскими кошками. Если появлялся на горизонте какой-то иной кошачий кавалер, тут же завязывалась драка.

Пестрый кот обычно выходил всегда победителем. Хотя у него самого был заплывшим глаз, разодранный в драке. Припадал при ходьбе на заднюю лапу, укушенную

кавалером-соперником. Ещё и ухо одно было разодрано. Да и шерсть на котовой спине могла выглядеть более густой, без выдранных клочков. Забравшись на край крыши, кот наблюдал за чайками.

Они поочерёдно покидали своё гнездо. Своим тонким слухом кот уловил первый писк в гнезде чаек. У него от возбуждения аж встала шерсть дыбом, и глаза зажглись недобрым зелёным огнём. Припадая и волоча укушенную заднюю лапу, кот решил приблизиться к гнезду чаек. А птицы были готовы защищать своё потомство до последнего пёрышка. Одна из птиц, сделав круг над котом, вдруг сильно долбанула клювом ему в голову.

Не ожидавший такого нападения, кот кубарем покатился с высоченной крыши, издавая страшные нечленораздельные звуки. Но он настолько был ловок, что всё равно приземлился на свои лапы и этим спас себя от сильнейшего удара о землю. Бормоча себе в усы и пошатываясь, кот отправился под крыльцо дома. Сердобольная пожилая хозяйка поставила мисочку у ступеньки крыльца и иногда плескала ему молочка. А кот два-три месяца не вспоминал свой дом, напрочь забыв про свои прямые обязанности сторожить мышей и прочую живность. Вот хозяева и взяли другого, молодого котёнка. А старому коту дверь решили больше не открывать. Между тем потомство у чаек быстро подрастало.

Чайчата уже сидели подолгу на краю огромного гнезда, расправляя свои большие крылья, как бы опробуя ветер на вкус. Вот опять и наступил тот долгожданный день. Целая стая огромных белокрыло-белоснежных птиц, сделав прощальный круг над деревней, поднялась высоко в небо. Только чёрно-белый кот, лёжа на ступеньке крыльца, загнул голову вверх и недовольно муркнул.





Вера Едемская

Едемская Вера Павловна родилась в дер. Веригино Тарногского района Вологодской области. После окончания одиннадцати классов поступила в Костромское медицинское училище, успешно закончила его с красным дипломом, получив профессию зубного врача. После учебы вернулась в родные края, где работает до сих пор в Тарногской районной больнице. Была участницей районного конкурса «Женщина года», а также в числе призеров районного конкурса «Пою тебя, мой

край родной». Награждена почетными грамотами отдела культуры. В 2016 году силами БУК «Тарногской МЦФС» был выпущен в свет сборник В.П. Едемской «Мои мысли на кончиках пальцев».

Моя осень

М

оя осень, как рыжий котёнок,
То свернётся пушистым клубком,
А потом, потянувшись спросонок,
Замурлычет о чём-то своем.
То помчится, листвою играя,
Всё сметая легко на пути,
И глазами, как солнцем, сверкая,
Виновато мяукнет: «Прости».
То, задумавшись, сядет к окошку,
На дорожки любуясь дождя,
То ко мне принесет на ладошку
Кисть рябины под цвет янтаря.
И о чем-то, наверно, мечтает,
Наблюдая за синью небес,
И укрывшись от всех, убегает
В полный звуков и таинства лес.
Этот мир хрупок, нежен и тонок,

Всё понять и постичь нелегко,
Моя осень, как рыжий котёнок,
Что лакает, урча, молоко.

* * *

Вновь небо плачет за меня
И слёзы горькие роняет.
Так, очищая краски дня,
Меня оно оберегает
От лишней боли и тоски,
И от решений, мне ненужных.
Потоки облачной реки,
Как паруса надежд воздушных.
Слегка размытый горизонт,
Душевных ран моих спасенье.
Пусть плачет небо, к чёрту зонт!
Полет... Свобода... Жизнь... Прощенье...

Страшно...

Закрой глаза на миг.
Замри.
Теперь открой.
Все так же солнце светит,
Плывут куда-то облака,
Кусты тревожит вольный ветер.
И гомон птиц среди ветвей,
Земля застыла в предвкушенье снега.
И тянет холодом с пустых полей,
И звуки чьих-то голосов и смеха.
Теперь представь,
Что нет меня.
Не страшно?
А мне вот очень страшно,
Когда представляю мир, в котором нет тебя...

Метель

Зима плетёт ветрами кружева,
И серебра для нитей не жалеет,
Лишь снегирей пушистая канва
На полотне узорчатом алеет.

Легли снежинки, как к петле петля,
Коклюшки вьюги всё перемешали,
Единым стали небо и земля
Под пеленой метельной белой шали.

Встряхнув сугробы выше к облакам,
Пройдет крючком игривая позёмка,
И к редким звездам, словно огонькам,
Морозной пылью тянется каёмка.

* * *

Какое счастье быть любимой,
Самой любовь свою дарить,
Кому-то быть необходимой
И для кого-то просто жить.
Приятно знать, что ты бесценна
Тому, с кем важен каждый миг.
А ты душой с ним откровенна,
И голос сердца нежен, тих...





Эльвира Некрасова

Некрасова Эльвира Арсеньевна родилась в 1947 году в дер. Кузнецовской Тарногского района Вологодской области. После школы училась в Великоустюгском педучилище по специальности учитель начальных классов. Увлекалась спортом как в школе, так и в педучилище. После окончания училища получила распределение в родную школу преподавателем физической культуры. Затем работала в Тарногском РК ВЛКСМ заведующей отделом учащейся молодежи и пионеров. Также

работала учителем музыки в начальных классах. В 2006 году Э. А. Некрасова вышла на заслуженный отдых. На протяжении сорокалетнего трудового стажа вела общественную работу, была участницей ансамблей «Околица», «Наша традиция», «Россияночка». Первые стихи автора увидели свет в 2007 году, публиковались в сборниках «Облако детства», частично в «Тарногских просторах». Э. А. Некрасова состоит в литературном объединении «Родники». Принимает участие в литературно-музыкальных конкурсах «Пою тебя, мой край родной».

«ДУША ТАК ПРОСИТСЯ В ПОЛЕТ...»

Весна



ще ночами стынут ветки,
Ещё сугробы прячутся в лесах,
А вешние, стремительные ветры
Уже летят у солнца в парусах.
И сердце бьётся радостней и резче,
Любовь, как дар, с небес к тебе сойдёт.
Она сама тебе назначит встречу,
Увидит – и торжественно замрёт.

* * *

Снова счастлива безмерно,
Сумасшедшая, постой.
Угодишь ведь ты, наверно,
Прямо в омут головой.
Что мне сплетни-пересуды,
Даже мама нипочем!
Приезжай скорей, любимый,
Прислонись ко мне плечом.
Сердце – разум, разум – сердце,
Пламень борется со льдом.
Побеждает безрассудство,
Умной буду я потом.

Метель в лесу

С утра на небе были тучи,
Их ветер в клочья разорвал.
Взорвал, но вдруг собрал и вспучил,
На землю бросил снежный вал.

Под завывание метели
И под разбойный ветра свист
Там резко вздрагивают ели
И опускают ветви вниз.

Там зябко ёжатся березы
От той неожиданной кутерьмы –
Ведь это первые угрозы
Пришедшей матушки-зимы.

Там затаились звери, птицы
И все, нахохлившись, сидят.
Там даже шустрые синицы
И не поют, и не кричат.

Там снег кружится меж деревьев
И засыпает все кругом.
И вот уже похож валежник
На эскимоса снежный дом.

И пусть бушует непогода,
И засыпает всё вокруг.
Ведь обновляется природа,
Свой очертив волшебный круг!

* * *

Когда черемуха цветет,
И ветки в белой пене утопают,
Душа так просится в полет,
А сердце в томной неге тает.
И чувства, спящие зимой,
Вдруг станут тоньше и острее.
И кажется, что радуясь со мной,
Весь мир становится добрее.





Светлана Сухарева

Сухарева Светлана Петровна родилась в 1941 году в Карелии. «Война уже началась, – вспоминает С. П. Сухарева, – и нас с мамой эвакуировали на родину отца. В Вологодскую область, в Тарногский район, в Верхний Спас. Дедушка на лошади нас встретил в Тотьме. Декабрь, морозы, а мне было тогда три месяца отроду. Так что Тарногскую землю я считаю своей родиной. Здесь прошло мое детство, здесь окончила школу. В 1959 году поступила в

ЛГПИ им. А. И. Герцена, на историко-филологический факультет. В 1964 году после окончания института поехала на работу в Якутию. Сначала – Вилюйск, потом – Заполярье, Верхоянье. Работала учителем русского языка и литературы в поселке Батагай, получила почетное звание «Заслуженный учитель РСФСР». 1992 год – юг, Ставрополье, Буденовск. В 1995 году пережила первый захват города бандитами Басаева. В 1996 году вернулась на родину, в Тарногу. Работала в школе учителем. Стихи писать начала еще в школе, в институте. Публиковалась в тарногской районной газете «Кокшеньга». В прозе воспоминания о детстве – первый серьезный опыт С. П. Сухаревой.

ВРЕМЯ СОБИРАТЬ

(Деревня моего детства)

*Светлой памяти
моих родных посвящается*

Дорога в Верхний Спас на «Жигулях» вполне комфортна: какой-никакой, асфальт. Я вглядываюсь в окрестности и ничего не узнаю. Да и неудивительно. Лучше не считать, сколько лет я не была в этих местах, таких родных для меня. Здесь я выросла. Около трёх месяцев мне было, когда мы с мамой появи-

лись на родине отца. Мы были «эвакуированные», дед нас встречал на лошади в Тотьме в декабре 1941-го года, а выехали из Карелии в октябре.

Но это отдельный рассказ из воспоминаний мамы, как мы добирались до Спаса... А сейчас мы, три двоюродные сестры, едем на могилы бабушки и дедушки, которые похоронены на уже закрытом сельском кладбище. Сегодня Троица, настрой души какой-то благостно-виноватый: долго же я собиралась это сделать, хотя годы подгоняют уже в обратную сторону – в память далёкого детства. И хочется поклониться родным могилам. Возможно, на уровне подсознания, или чего-то свыше, таким образом восстанавливаются ранее прервавшиеся связи с предками. Душа просит...

Июнь такой свежий и сочный месяц. Такая нежная зелень, каждая травинка тянется к солнцу, синеют хрупкие колокольчики, маленькими солнышками желтеют в траве колтышки. А берёзки, белоствольные, стройные, гибкие, действительно кудрявятся буйной зеленью молодых листьев. Раннее летнее разнотравье...

Лесная дорога петляет в сторону от основной. Всё гуще становится лес и подлесок. Лениво шелестит листва, тёмно зеленеют ели. Уже пешком спускаемся вниз, где ещё гуще зелень, сырой воздух, ноги мягко пружинят в бархатной зелени мха. Столько вокруг зелёного цвета, цвета жизни... Вот оно, старое сельское кладбище. Среди этого буйства жизни в вечном покое застыли кресты и могилы. Здесь уже не хоронят официально, но кое-где видны и не очень старые захоронения, рядом с родственниками. Серые деревянные кресты, железные... Нет современных новоделов, только кресты. Всё по-христиански. Около старой ели, поседевшей, косматой, заросшей мхом, безмянная могила с крестом, который грубо вырублен из целого дерева. Омытый дождями, задубевший под ветрами и морозами, возвышается он над всеми могилами. Почему-то думается, что под ним покоится чья-то мятущаяся, неугомонная и своенравная русская душа. Может быть,

он сам, этот кто-то, в свое время и заготовил себе этот крест. И так бывало. А потом его нужно было пронести, возможно, по бездорожью на могилу, исполняя волю покойного. Это мог быть и чей-то обет. Этот удивительный крест даже не кажется безымянным.

Вот и могилы наших родных: дедушки, бабушки и тёти Ульяны (бабушкиной сестры). Место сырое, и могилки все затянуты изумрудным мхом. Он мягкий на ощупь, но нетронутость его создаёт ощущение забытости... Виновато и осторожно открываем дверцу ограды. Мысленно прошу прощения за позднее возвращение к ним, за скупую и редкую память. То немного, что мы можем сделать, это помянуть, оживить зелень могилкок цветами, покрасить оградку. Что мы и делаем старательно и молчаливо... Вспоминаем те далёкие годы. Детская память избирательна. Она отторгает самые печальные и страшные воспоминания, но старые чёрно-белые фотографии возвращают нас в то, только кажется, что забытое время.

Дед и бабушка прожили по тем временам долгую жизнь: по 73 года. А родились они (трудно представить!) в 19-м веке, в 1881 году, но даты рождения, к сожалению, мы не знаем.

Первая умерла бабушка, Татьяна Михайловна Сухарева, 21 октября 1953 года. Инсульт. Пролежала без сознания около недели. Осень. Непроездная грязь дорог. Мой отец был на учёбе в Рязани и приехать не смог. А дядя Вася из Ленинграда добирался до деревни почти целую неделю, чтобы проститься с матерью и похоронить её.

Чёрно-белая, скорее, чёрно-серая маленькая фотография, где около гроба бабушки склонили голову родные. Горестные лица, скудость, даже нищета в одежде, и человечность сопереживания. Маленькая, горькая тётя Зоя, повязанная большим клетчатым платком, в фуфайке, склонилась к матери. Дядя Вася в городском пальто вышашается над всеми. К изголовью бабушки склонился дедушка в безысходном горе.

Порвалась нить их жизни. В руках он мнёт треух, и плачет, плачет его единственный глаз. Жить ему осталось тоже немного. После смерти бабушки тётя Зоя забрала деда жить к себе, но каждое утро он уходил в свой осиротевший дом, куда гнала тоска по бабушке.

С её смертью он потерял смысл жизни. Дедушка Василий Иванович ненадолго её пережил. Он умер 8 марта 1954 года в страшных мучениях. У него была гангрена ноги. Саня, моя двоюродная сестра, вспоминает, как кричал от невыносимой боли наш терпеливый дедушка, притянув к беззубому рту колесо больной ноги. И вместе с ним плакала, причитая, тётя Зоя: «Ой, тятя, за что тебе выпали такие муки...» Так умирал наш добрейший дедушка. Даже в гробу не могли распрямить ногу, застывшую от боли. Так и похоронили. Почти такая же чёрно-серая фотография его похорон. Тот же фон, та же безысходность горя, те же скорбные лица и униформа того времени – фуфайка, чёрная, серая... низко повязанные бесцветные, безликие платки. Навсегда успокоился наш дедушка... Прощаемся, веря, что снова вернемся через год. Хорошо бы, не загадывая...

Хочется увидеть и родную деревню. Едем. Душа сжалась от напряжённого ожидания, от волнения и даже страха. Что я там увижу? Что почувствую, что узнаю? Хотя, по рассказам сестёр, я уже знала, с чем я встречусь, но всё же, всё же... Всё кругом незнакомо. Вот и первые дома нашей родной деревни Карповской-Пасыновской...

А вдруг пахнёт таким знакомым, вкусным духом подворья: дымком топящихся бань, парящим теплом свежего навоза, пирогами из русской печи... Но это всё, оказывается, из далёкого, далёкого детства. И ничего такого нет и в помине. Разноликие дома. Некоторые добротные, крепкие, хозяйские, другие живут абы как. И обуглившиеся от времени, полуразвалившиеся и местами уже рухнувшие, брошенные старинные дома. Они, как обломки той деревни из далёкого детства, которая была полна звуков, запахов, ребячьих голосов, суматошного кудатанья

куриц, колодезного скрипа. Мне кажется, что они хранят и запахи той деревенской жизни.

Я не идеализирую деревню моего детства. Слишком мала была да и бывала здесь лишь летом. Я знаю из рассказов моих сестёр о нищенском колхозном выживании после войны, о голоде, непосильном труде и несправии. Из бесхитростных, обрывистых, к случаю, их воспоминаний складывается картина бедной, мало радостной жизни.

Но я, кажется, навсегда пропитана этим неповторимым духом деревни, он тревожит мою душу, требует выхода хотя бы в этих строчках. Этот ни с чем не сравнимый запах прогретой земли, напоённой солнцем, это запах коровы, устало несущей тяжёлое вымя, пыль от проходящего стада, тоже тёплая и пахнет молоком, цветами. А самое главное, — доброта, которую я постоянно чувствовала. Она была неотделима от той деревенской жизни.

И поэтому растерянно мечется сердце от этой пустой тишины, разрозненности домов, отсутствия всякой деревенской живности. Всё же в одном из домов залаяла собака. Хотелось написать «забрехала», но это для неё обидно: она-то, верно, несёт свою древнюю службу.

Улица сплошь заросла одуванчиками. Жёлтые цветы, сочная зелень листьев... Так и хочется воскликнуть: «Какая красота!» Какое счастье видеть это цветение земли, держать в руках сочный стебель и наблюдать за деловой пчелой. Но радости не чувствую. Мне уже видятся облетающие белые шарики парашютиков и длинные отжившие будылья стеблей, печально сникшие среди пожелтой осенней травы...

Мои сёстры как экскурсоводы на этой пустынной улице детства. Что-то узнаваемо, что-то неузнаваемо, а что-то исчезло совсем. Вспоминаем, кто где жил; Рая с Саней издали смотрят на бывший родительский дом. Представляю тоску в их душах, но... уже ничего не исправишь, и в прошлое возвращает только память. Вот и первый человек идёт нам навстречу. Пожилая женщина, в куртке, резиновых сапогах, с разноцветным пакетом в руках, но голова

повязана платком низко, по-деревенски, кончиками вниз. Подслеповато взглядываясь, поздоровавшись, пыталась угадать, кто же мы. «Нет, не могу узнать кто. Дак чьи вы будете-то?» Узнав, обрадовано заговорила.

«Вот ведь, сразу-то и не признаешь. Я вот в Шабаниху ходила, в магазин сельповский. Хлеба купила, чаю да конфет с печеньем. Чай пошли ко мне пить»,— гостеприимно пригласила она.

Саня и Рая завели с ней разговор о деревне, кто живёт и кто ещё жив...

– Да вот в трёх домах ещё живут старухи. А остальные пустые, никто не живёт. Огороды? Весной приедут из Тарноги молодые, вспашут трактором, посадят, там, картошку, капусту и до осени. Может, раза два за лето приедут, посмотрят и всё. У всех машины теперь. А дома что? Без людей ведь они быстро рушатся. Скотина? Да какая ныне скотина. Правда, молодяшка, что по верхней линии живёт, поросят ещё заводит. Есть которые и крепко живут. Бизнесом занимаются.— Наша собеседница старательно выговорила чуждое слово.— А коровушек-то давно нет. В Шабанихе была одна и ту в прошлом году порешили. Старикам уж тяжело за коровой ходить, а молодым неохота. А травы-то нонече сколь. Не прежние времена. А неохота...— Вот так нерадостно закончился наш разговор.

Потом мы всё-таки пошли к пустырю, где стоял когда-то дедушкин дом. Родовое гнездо, так сказать. Вот старая черёмуха. Она, кажется, из той жизни. Память услужливо помогала восстановить те далёкие годы, перенести в счастливые мгновения деревенского детства...

Правда, оно было совсем коротким, и тем пронзительнее эти воспоминания. Холодок ожидания: когда же, наконец, поедем. Ура! Папа сказал, что завтра пойдёт попутка. Куда нынешним ГАИ и ГИБДД до правил перевозок в то время. Тогда это было почти счастье найти попутную машину, уговорить шофёра, чтобы он разрешил устроиться где-нибудь в уголке гружёной доверху машины. А потом,

вцепившись в какие-то верёвки и узлы, трястись несколько часов по рытвинам, ямам, наполненным зеленоватой водой или жидкой глиной. Мотор натужно гудел, пытаюсь вытащить машину из липкой вязущей грязи, а моё сердчишко от страха тоже ухало куда-то вниз. Конечно же, рядом был папа, но все равно было страшно.

А потом, усталые, мы просили шофёра остановиться около склада и шли по своей деревенской улице к дедушке. Это уже был другой мир, ни на что не похожий. Улица тоже кое-где в дождливую погоду была изрезана тележными колеями, но уже зарастает какой-то вьющейся травкой, одуванчиками, подорожником. Усталые ноги прохладой ласкает зелень тропинки, вечерний воздух остро пахнет свежими шлепками коровьего навоза, из чьего-то двора слышно короткое мычание, звон подойника. Все уже убрались со скотиной. Нас не ждали сегодня. Тем неожиданнее радость и больше суеты. Бабушка наливает мне большую кружку парного молока и отрезает кусок пирога. Ничего вкуснее я тогда не едала. Дед суетливо принес маленькие стаканчики, отец достал бутылку водки – за встречу. У папы расслабленно-доброе лицо – дома, дедушка счастливо моргает своим единственным глазом и задирает вверх бородёнку. Бабушка собирает какую-то еду. Дедушка наливает: «Ну, со встречей, Пётр!» Это он первый раз так торжественно, а потом перешёл на подомашнему любовное «Петруха». После дружно задымили у окна, и началась бесконечная беседа. Бабушка, видя, что я уже осоловела и засыпаю, обнимает меня: «Пошлико, ягодка, спать», – и уводит меня в горницу. Горница для гостей, поэтому в ней нежилой свежий воздух, на полу половики, стол с деревянными стульями, по сторонам две деревянные скрипучие кровати. Я ложусь на одну из них, на туго набитую соломой, ещё не обмятую перину, покрытую чистым рядном, бабушка закрывает меня тяжёлым ватным одеялом и – всё. Меня обволакивает хлебный дух соломенной перины, и я мгновенно засыпаю.

Утром я просыпаюсь от солнца. Оно залило своим светом всю горницу, пляшет по половикам, рассыпалось бликами по окнам и длинной полосой тянется на мою подушку. Вот он, счастливый день!..

Я оглядываю горницу: кажется, ничего не изменилось. Всё, как и в прошлый раз. Стена около кровати оклеена газетами военных лет. Чёрная типографская краска, кое-где вкраплены красные заголовки или плакаты (уже не помню). Сначала я их просто рассматривала, а когда научилась читать, то перечитывала и сводки с фронта, и про героические подвиги. Но герои, совершив подвиг, почти всегда погибали. Мне их было так жалко, что я придумывала счастливый конец, а смерть вычёркивала, старательно замазывала фиолетовым карандашом.

Северные деревенские дома высокие, особенно перёд, летняя изба. И много окон, которые опоясывают весь дом. Вековая мудрость человека и природы гармоничны: за короткое лето надо всему существу впитать жизненную благодать солнца на долгую морозную зиму. Вот и играет солнышко в окнах, зайчиками пляшет по черёмухе, чтобы скорей наливались, набирались сладости ещё зелёные ягоды.

За дверью кути (так бабушка называет кухню) слышны голоса папы, дедушки и ещё чей-то бубнящий голос. Бабушка гремит ухватом. Потихоньку выхожу к ней. «Выспалась, ягодка? На-ко вон, молочка выпей». Наливает из глиняной кринки. Их у бабушки много – целый ряд на полке намыт и прожарен в печке. Ещё не совсем протопилась русская печь. Щурясь от жара, заглядываю в глубину.

Угли уже загребены в одну сторону, под дно печки, как я понимаю, – заметено чистым петушиным крылом, приготовлено для пирогов, точнее, ярушников. Так назывался каждодневный хлеб. А пироги пекли только в праздники из пшеничной муки, если она была, или приберегли. В то несытое время ярушники пекли из ржаной муки собственного ручного помола, чего-нибудь добавляли для количества.

Хлеб был тёмный, тяжёлый, но и этому были рады. Всё же, когда мы приезжали, бабушка старалась кормить нас хлебом из муки. Лишь однажды, я запомнила, у нас был хлеб с кукшей. Наверное, мы подъели запасы муки, и бабушка добавила в тесто сухие, растёртые в порошок головки клевера. Хлеб был коричневый, а на разломе порой торчали и травинки. Но с молоком шло вполне, тем более что другого не было. Это, вероятно, был самый голодный год. Но многие, как я сейчас понимаю, жили гораздо хуже. Как тяжело жилось тёте Зое, оставшейся с тремя ребятишками: муж и отец их погиб на фронте. Так, как она работала в колхозе за палочки-трудодни летом почти круглые сутки, это нельзя называть работой. Она «ломила» и в колхозе, и дома всю мужскую и женскую работу, оставляя ребятишек. Я помню летнюю страду белых ночей нашего северного края. Колхозники ловили каждый погожий денёк. И тёти Зои всё нет и нет. Застав скотину, Санко, Санька и Райка прибегают к бабушке.

Молча садятся на лавку, но не к столу, а около стола. Располагаются по старшинству: черноволосый смуглый (в отца) Санко – Александр, Санька – Александра, и Рая – моя ровесница. Да и все мы по возрасту недалеко друг от друга ушли. Сидят смирно, несмело поджав под лавку худенькие грязные ножонки. Дед дотошно расспрашивает, что дома да как. Есть не просят, хотя ясно, что голодные. Бабушка гремит в кути. Дедушка не выдерживает и сердито бросает: «Накорми робят». Вся троица дружно передвигается к столу. Бабушка несёт миску супа (штей), ложки, по куску хлеба, молока. Дружно отстучали ложки, и жить сразу стало веселей. Зазвенели детские голоса, завозились на лавке. А дед сел к открытому окну, вытащил из кармана выдавший виды кисет с табаком, из-за божницы достал листок мелко нарезанной газеты, свернул самокрутку. Потом из другого мешочка извлек кресало и стал добывать огонь. Закурив и закашлявшись, он с ласковой добротой единственного глаза смотрел на внучат...

Вот и тётя Зоя пришла. Маленькая, худенькая, скуластенькая, загорелая, с выцветшими волосами. Подол длинного сарафана приподнят спереди, видны худые босые ноги. В волосах и на плечах старой рубахи запутались зелёные травинки: по дороге ещё по кустам нажала ношу травы для своей коровы. Тяжело опустилась на лавку. Девчонки облепили с обеих сторон. Глядя светлые волосёнки, она робко говорит: «Мама, дай чего-нибудь поить». Бабушка, тяжело вздохнув, кормит почти раздавленную непосильным трудом дочь. И сказать нечего: вся жалость вылита в миску супа, кусок хлеба и кружку молока.

Немного передохнув, тётя Зоя, Санко, Санька и Райка пошли домой. А дедушка, смоля ядрёную самокрутку, долго смотрел им вслед, пока не затихли звонкие голоса. По траве уже полз туман, обещая хороший день и тот же непосильный для женских и подростковых плеч труд от восхода до захода солнца. А куда денешься... Ведь с войны вернулись не покалеченными в деревню лишь два мужика.

...Выглядываю из кути в избу. У окна сидели дедушка, папа и Лыко. Это высокий, прямой старик в холщовой рубахе и портах. Он не работал в колхозе, жил одиноко, все дни проводил на реке, ловил рыбу, а потом продавал или менял на еду. Этот благообразный старик с длинной седой бородой, идя огородами с реки, всегда заходил к дедушке. Они дружно закуривали, и долго был слышен его протяжный тенорок, уже потускневший от старости. Почему его так звали? – Не знаю.

...Папа мой тоже заядлый рыбак. Он уже с утра наловил рыбы, на столе в миске лежали, свесив хвосты, крупные рыбины. Увидев меня, Лыко благодушно сказал: «И Светланью привёз к деду с бабкой. Дело, дело», – одобрительно кивнул он. Тогда имя «Светлана» для деревни было редким, поэтому пожилые люди называли меня чаще всего «Светланья». Наверное, так созвучнее с деревенскими именами.

Хлопнули ворота. Забежала тётя Зоя. Торопливо обняла брата, так же торопливо спрашивая: «Как живёте?»

Как Мария?» За ней потихоньку подтянулись Санко, Саня и Рая. Мама всегда старалась послать им какие-либо немудрящие подарочки, что-нибудь сладкое.

Бабушка поставила самовар, принесла горячие пироги-поливашки, дедушка щипчиками мелко наколол сахар. Получился почти праздник. А вечером папа ушёл на большую дорогу ловить попутку, чтобы уехать домой. Вот и кончился первый день. Бабушка ложится спать со мной в горнице на другую кровать, а дедушка в избе на лежанку у печки. Бабушка садится в одной рубахе на кровать, снимает платок, борушку, долго расчёсывает длинные волосы и, зевнув, крестит рот, шёпотом читает молитву, крестит меня, ещё раз крестится и ложится. Господи, благовослови...

Утром просыпаюсь, когда в избе уже никого нет. Дедушка что-то рубит топором, бабушка тоже там, наверное. Двор уже полон упругой стружки, так щекочуще-свежо пахнувшей. Дедушка наш мастеровой. Он делает любую столярную работу: грабли, косовища, правит косы, ремонтирует телеги, в сторонке лежат заготовки для дровней. Всё может наш дедушка. Я сгребаю в кучку стружку, подкидывая вверх, в кружочек складываю круглые деревянные лепёшечки. А дед выкручивает их, снова и снова делая заготовки для граблей.

Тут же бродят куры, порхаясь и что-то выклёвывая. За углом истошно заголосила курица. «Ну-ко, Света, погляди, яйцо вроде снесла».

Я бегу за угол, засовываю руки за сруб и выкатываю несколько яиц. «Дедушка, их тут много!» – «Ну, вот. Вишь, где пряталась. А бабушка и найти не могла», – добродушно отзывается он.

На меже мелькает белый платок бабушки с охапкой травы за спиной. По кустам жала траву для коровы. Услышав голоса, подходит к огороду тётя Анфиса. «Светланушка приехала! Хорошо у бабушки-то. Ангелину-то чего не привезли? Мала ещё, конечно. Приходи, Светонька, ко мне», – приветливо говорила она.

Я любила ходить в её маленький домик. Он притягивал своей необычностью, как и хозяйка. Тётя Анфиса была единоличницей с вытекающими из этого последствиями. Я сейчас даже представить не могу, как жила эта худая старуха с добрыми и грустными глазами, сколько я помню, всегда ходившая в одном и том же тёмном платке и сарафане. Ей выделили полоску земли, которой она жила.

Ей нельзя было рубить дрова в колхозном лесу, ей не давали лошадь, чтобы привезти дров. И вся её избушка была обставлена жердями и жёрдочками, которые она собирала везде. Это дрова на зиму. Тёмные сени и изба увешаны пучками разной пахучей травы.

Тётя Фиса живёт лесом: собирает грибы, ягоды, травы. Что-то сдаёт в аптеку, заготконтору, заготавливает на зиму для себя. Тем и выживает. Но больше всего мне нравится в самой избе, низенькой, с осевшими углами, потемневшей от времени, но оклеенной картинками из дореволюционного журнала «Нива». В тусклом свете низенького окошечка, на закопчённых временем стенах яркими красками играли пришельцы из другого мира. Это были нарядные барышни с горделивой осанкой и нежным румянцем, бравые военные и пожилые господа, батальные сцены и господские усадьбы с ухоженными парками... А вечерами, в полумраке чадающей лампы, лица как будто обретали реальность: кажется, появлялся таинственный блеск глаз, глубже становились тени.

В этой нищей избёнке параллельно жил другой мир, другая жизнь. Что они здесь делали? Откуда взялись? Скрашивали скучную на радость жизнь одинокой старухи или были изгнанниками своего мира? Это сейчас я спрашиваю себя. А тогда меня просто привораживала эта чужая загадочная красота. Бабушка почему-то не любила, когда я ходила к тётке Анфисе. А меня тянуло туда. И никто мне тогда не говорил, что она нам дальняя родственница.

Сейчас уже не у кого узнать. Судьба её типично-трагична, как и судьбы многих одиноких людей, пришедших

в этот мир и сгинувших в нём. Сначала начала проваливаться и протекать крыша. А кто поможет нищей старухе-единоличнице? Потом провалилась печь. В холодные зимы она приходила греться на печь к дедушке. Я представляю полузанесённый снегом домишко с осевшей крышей, торчащие жерди и убродную тропинку в снегу к дедушкиной зимовке.

Около большой печи сидит тётя Анфиса и дремлет. Она похожа на оцепеневшую серую старую птицу. Потом её определили всё-таки в дом престарелых, где она скоро умерла. Одним словом, сгинула.

За дорогой, ближе к оврагу, наискосок от нашего дома, тоже оседающий под бременем лет, дом тётки Орины. Муж Орины и наш дедушка – братья, поэтому мои ранние детские воспоминания связаны с этим домом. Помню, что моя тётя Кланыя, папина сестра, и Оринина Кланыя, молоденькие девушки, были подружки. И в свободную минутку бегали друг к другу. Наша тётя Кланыя, невысокая веснушчатая, русоволосая, была говорливая и быстрая. В руках всё горело, вихрем носилась по дому, и на работе ловкая.

Рассказывали, что зимой, укутав меня, неслась через сугробы к тётке Клане. Там они говорили о своём, о девичьем, а мной занимались её братья Вася и Раша. Вася был старший, светловолосый, светлолицый и спокойный. Он обычно садил меня на лавку или подоконник и что-то рассказывал, строил. Одним словом, спокойные игры. А Раша был совсем другим. Этот круглолицый мальчишка с весёлыми, хитрющими глазами постоянно дразнил, дёргал, строил всякие козни, играл в прятки, носился по дому. Однажды он прятался, дурашливо кукарекая в разных местах. Я в полном восторге бегала, искала петуха: «Илина, Илина (с «р») были проблемы ещё) петух-то «кукареку!» и – свалилась прямо во двор к корове в навозную кучу. Потом был рёв, отмывали меня всем домом и сушили на печке. Иначе бы от бабушки всем попало. Вот такие у нас были двоюродные дядья. Когда лет через

пятьдесят я встретила с Рашей на похоронах своего двоюродного брата Саши, то мне показалось, что по сути своей он совсем не изменился: такой же круглолицый хитрован, только морщинок стало больше, хорошо бы, если только от улыбок. Следующая встреча состоялась уже на кладбище...

Дедушкин дом стоял почти на окраине деревни. Справа поля, а прямо, как мне тогда казалось, был глубокий и длинный овраг. С нашей стороны он был сравнительно пологим, но с другой стороны он круто лез вверх, кое-где даже были вырублены ступеньки.

А наверху как будто прилепилась деревня Шабаниха, сверкая стёклами тёмных домишек. Снизу они казались какими-то несуразными гнёздами. Овраг, который соединял и разделял обе деревни, звучно назывался Пердуньей. Там была контора, туда изредка приезжала кинопередвижка. Тогда бабушка давала нам по пятаку, и мы ползли на эту верхотуру уже в сумерках. Народу набивалась полная изба.

Не у каждого был заветный пятак, но ребятишки правдами и неправдами просачивались в избу под ногами взрослых, заползали под лавки. Ну что там было видно между ног! Порой, устроившись под лавкой, засыпали и сладко спали до конца сеанса. Но в кино были! Киномеханик заправлял большую бобину с фильмом, а парни по очереди крутили ручку аппарата. И по выдававшему виды экрану то мчался с шашкой Чапаев, то показывали не-взаправдашнюю, весёлую и певучую колхозную жизнь, то хроники войны.

И тогда изба замирала: вдруг среди дыма, залпов, куда-то бегущих, кричащих и падающих солдат мелькнёт родное лицо, не вернувшееся с войны, а его всё ждут, ждут... Иногда кто-нибудь истошно кричал: «Прокрутите назад!» Плёнку прокручивали, но угрюмое молчание убивало этот робкий лучик надежды. Иногда крутили трофейные фильмы. На чёрно-белом экране двигалась, развёртывалась какая-то ненастоящая, чаще всего нарядная жизнь, чужие лица улыбались, говорили, что-то делали...

А настоящая жизнь была в этой избе: в ядрёном махорочном духе, крепком запахе рабочего пота и усталости, которой позволила расслабиться эта чужая жизнь. Ну а обратно возвращались в полной темноте на «всех точках», как придётся, вполне оправдывая название оврага. Всё же меток на прозвища русский народ.

Но в жаркие июльские дни больше всего манила внутренность оврага, где таинственно бормотал прерывистый ручеёк, томилась на солнце кусты малины и смородины, а на склонах жарко пахло зреющей земляникой. Бабушка давала нам по кружке или баночке, и мы ползали по склону, собирая сладкую душистую ягоду.

Особенно хороши были ягоды на меже в траве: крупные, сладкие, на высоких стебельках, их и называли «колокольцами». Ближе к реке овраг становился более пологим, всё гуще становились кусты, и как-то неуютно и страшновато стало в сырой прохладе оврага.

Карабкаюсь вверх и, перевернув баночку, слегка трясу её, чтобы ягод казалось больше (вот такая детская хитрость). А потом, уставшие от жаркого солнца, шли в прохладу избы. Бабушка доставала из погреба кринку холодного молока, наливала в миску, насыпала душистых ягод, отрезала хлеба и... Что может быть вкуснее!

А на дворе всё засыпано стружкой, сухой, смолистой, упругой. Это дедушка готовит к сенокосу новые грабли, ремонтирует старые, старательно оглаживает косовища. Июль выдался жаркий, погожий, сенокосный. Даже на закате, кажется, солнце не уходило за горизонт, а растеклось жарким маревом.

Вот снова оживает деревня, приходят с работы, перекликаются между собой бабы, устало мыкают коровы, коротко блеют овцы.

Бабушкина Чайка тоже заходит во двор, тяжело неся полное вымя. Не отходит от матери телёнок, обмахиваясь хвостиком и обнюхивая стружку. Сбившись в серую кучку, забегают овцы. Чайка по-хозяйски идёт к хлеву и ждёт, когда бабушка откроет его тёмную прохладу. «Кормилица

наша пришла, ягодка ты наша»,– приговаривает она, неся полную бадью поила.

Одобрительно мыкнув, Чайка припадает к питью. Я подхожу к серой кучке и глажу овец. Запускаю пальцы в плотную жёсткую шерсть и чувствую, как мелко дрожит шкурка, а копытца нервно топчут землю. «Ну что вы, глупые, я вас не обижу, не бойтесь»,– приговариваю я, глядя по тёплой шёрстке. Бабушка приносит им тоже питьё, и они всё такой же кучкой, толкаясь, вваливаются в хлев. Чайка уже нетерпеливо ждёт бабушку, кося на неё лиловым глазом, подбирая травинки в кормушке.

«Иду, иду, моя ягодка, устала вся. Эко жарница-то какая»,– приговаривает она, ласково обмывая вымя. Корова понимающе шумно вздыхает. И вот первые струйки молока звенькают о стенки подойника, бабушка всё тихонько что-то приговаривает.

Но, услышав, что я к ним зашла, Чайка тут же настожила и перестала давать молоко. Пришлось выйти. Только бабушка пользуется её доверием. Вскоре она вышла с полным подойником, а белая шапка пены тихонько шипела и оседала.

Бабушка процеживает молоко и разливает по кринкам. Мне наливает тоже кружку парного. Бабушкино хозяйство всё обихожено: Чайка уже легла, лениво жуёт жвачку, телёночек, вытянув тонкие ноги, уткнулся матери головой в бок и спит; в закутке ещё топчутся овцы; на насесте дремлют куры; хрюкнул, вероятно, во сне поросёнок.

А к дедушке, после того как обрядились дома, забежали то одна, то другая бабы: то в грабли зуб вставить, то косу отбить, то новые грабли половчее выбрать... Да мало ли какую мастеровую работу сделать. Дед никогда не отказывал. Пришла тётя Зоя. Простоволосая, босоногая, усталая... «Тятя, отбей мне косу. Завтра косить надо». А сама, ожидая, засыпает. И «завтра» уже наступило, поднимаясь росным туманом над дорогой.

Сенокосная страда. Это и праздник труда. Действительно, «летом день год кормит». В эти дни деревня

пустеет. Все на сенокосе от мала до велика. Исада (заливные луга) расцвела яркими сарафанами баб. Некоторые даже к сенокосу шили новые ситцевые сарафаны, чтобы пофорсить. Дедушка сделал нам, девчонкам, небольшие грабельки, и мы тоже идём на сенокос. Тётя Зоя с другими бабами ранёшенько по росе ушла косить. Когда мы приехали, они уже заканчивали.

Несколько баб в белых платках и рубахах, в разноцветных сарафанах, ровным полукругом шли по покосу. При дружном взмахе косы блестели на солнце, скошенная трава бесшумно ложилась под ноги. Иногда они останавливались, доставали лопатки и правили косы.

Металлический звук нарушил утреннюю тишину. Потом опять дружные взмахи, блеск кос, шорох срезанной травы. Эти синхронные взмахи, свежая тишина утра, женские фигуры среди зелёного моря завораживали гармонией человеческого труда и природы...

А мы будем ворошить черенками грабель скошенную траву, переворачивать, чтобы скорее высохла, потом сгребать в небольшие копёшки, готовые к стогованию. Над лугом разносятся звонкие ребячьи голоса, белеют бабы платки, споро мелькают грабли, оставляя за собой ровные валки травы. Весело работать вместе со всеми, прямо пахнет завядшей травой, травинки щекочут и покалывают вспотевшее тело. Солнце, кажется, жарит немилосердно, всё тяжелее становятся грабли, а голова сама поворачивается к тенистым кустам и неторопливо журчащей речушке. Чей-то голос звонко кричит: «Обед!» И мы, побросав тут же грабли, несёмся в прохладу кустов и речки. Но не тут-то было. Матери строго запрещают соваться в холодную воду (речка-то родниковая), пока не остынем. А пока можно только умыться и помочить ноги.

В тени кустов отдыхают косцы. После обеда им предстоит стоговать сено. Здесь же под кустами лежит нехитрая еда: молоко в бутылках стоит у берега в воде, пучки зелёного лука, огурец свежий, может, у кого яйцо варёное,

хлеб, да и всё, пожалуй. Но зато едят все сообща, подкармливая, в первую очередь, ребятишек.

К детям в деревне особое отношение. Они рано начинают работать, выполняя посильный, а порой и непосильный труд. Матери жалели, конечно, этих недокормленных, худосочных детей, росших в войну и в послевоенное голодное время. А что делать? Отцы погибли на фронте, а каждая заработанная ими палочка-трудодень – маленькая надежда, что не умрут зимой от голода. Так что они рано узнали, почём кусок хлеба и почём фунт лиха. Так жила и наша тётя Зоя.

После обеда бежим купаться. Находим песчаное мелководье, сбрасываем платишки и, дрожа и повизгивая, потихоньку входим в студёную воду. Мальчишки за кустами подкарауливали. Как только мы окунулись, они выскакивали из кустов и начинали нас нещадно обливать водой. Визг и смех согревал в холодной воде, тело притерпелось, что даже вылезать не хотелось. Но уже кричали: «Робята! Вылезайте! Эвон тучи заходили!»

На горячем воздухе зубы начали отбивать дробь, губы посинели, а кожа стала гусиной. Зато куда девалась усталая лень, бегом побежали за граблями. Парни запрягали лошадей в конные грабли, чтобы волочить сено с дальних углов. И правда, из-за леса поднималась туча. Она медленно ворочалась, шевелилась, собираясь в кучу, далеко погромыхивало. Бегом начали сгребать высохшее сено. Мужики и парни вбивали колья для зарода и копны, а потом на трёхпалых вилах стали носить сено, сначала утапывая основание, а потом поднимаясь всё выше. Не каждый может правильно уложить сено в копну, чтобы она была плотной, ровной, не кособокой. А наша тётя Зоя умела. И вот она стоит уже на середине копны с граблями в руках. Парни, высоко поднимая вилы, подают ей целые копёшки сена. Она расправляет его граблями, утапывает ногами, крутится вокруг жерди.

Поднялся верховой ветер, сухие травинки летали в воздухе. Туча угрожающе ворчала, проблескивали молнии,

порывы ветра гнули к земле кусты, пытались вырвать из рук парней вилы с пластами сена. А они в азарте этой борьбы со стихией, наперекор ей, облепленные сеном, несли его на копну, где подхватывала ношу тётя Зоя, приминала ногами, удерживала граблями.

Ветер раздувал колоколом сарафан, травинки носились вокруг неё, а она принимала всё новые и новые ноши. Разгорячённые этой борьбой парни почти бегом несли последние пласты сухого сена с одной мыслью: успеть до дождя. И они успели. Молния, трескучий разряд грома и дождь. Спустили с копны промокшую тётю Зою и обессиленно легли на землю, подставив горячие лица под благодатные струи. Гроза задела нас одним боком, но с сильными порывами ветра, режущими струями дождя. Он умыл нас и окружающую природу, напоил воздух озоном. Хорошо!..

Домой возвращались усталые, но довольные. Сложив на телеги грабли, тесно прижавшись спинами друг к другу, весело перебирали прошедший день, беспечно хохотали. И вдруг кто-то сильным, свободным голосом завел: «Ягодинка в Красной Армии, дак в армии и пусть. Я, молоденькая девушка, из армии дождусь». Ей ответил другой голос: «Проводила дорогого до вагона синего. Мои годы позволяют дожидаться милого...». Девичьи страдания протяжно и звонко плыли над сенокосами, над стелющимся по кустам туманом и таяли в широком закате... А дома, в постели, плыли перед глазами валки сена, почему-то хотелось пить, умыть лицо холодной водой. И полное удовлетворение проведённым днём. Последней проплыла мысль: ещё хочу на сенокос.

На неделе бабушка начала собираться в Спас за керосином. А это значит и посещение магазина, и бабушкиных знакомых, и её сестер Ульяны и Феоктисты на Борке. Для нас это был выход в свет, так как там были сельсовет, школа, магазин, МТС.

По такому случаю мы одевали лучшие платья, туфли. Бабушка тоже надела другой сарафан, борушку, белый

платок и сапоги. Принесла плетёную корзинку с большой бутылью для керосина. Из горницы – в узелочке деньги, цветную зобенечку для покупок. Собирались долго и основательно. Дорога тоже неблизкая: километра три в гору да ещё и по жаре. Шли, конечно, босиком по горячей пыльной дороге, оставляя за собой фонтанчики пыли.

Бабушка шла с батожком. Но церковь, которая возвышалась над Спасом, всё никак не приближалась. Вокруг тянулись поля, вдалеке зеленели перелески, справа остался Борок. Показались первые дома. Спас не похож на нашу деревню. Многие дома построены по-другому. Между домами проложены деревянные мосточки; от МТС доносился металлический ляг; по улице изредка проходили озабоченные люди.

Конечно, первым делом мы пошли в магазин. Прохлада магазина дышала самыми разнообразными запахами. Это был какой-то мануфактурный запах, из угла пахло кожей от хомутов и какой-то упряжи, мылом, и всё это поглощалось хлебным духом. На полках безлико стояли какие-то стаканы, кружки, кое-какая обувь, керосиновые лампы без стёкол, пара рулонов бесцветного ситца...

И тут же был фанерный ящик с «подушечками». На прилавке стояли железные весы с чашечками, горой сложены буханки недавно испечённого хлеба. Продавщица взвесила бабушке буханку магазинного хлеба с румяным довеском, потом в кулёчек «подушечек», а дедушке достала несколько пачек махорки. Мы, почти не дыша, наблюдали, как священнодействует продавщица, как покачиваются чашечки весов. Потом она пошла наливать нам керосин. Бабушка, развязав узелок платка, долго отсчитывала деньги. Вот и все наши покупки.

Перекрестившись на купол церкви, бабушка разделила нам с сестрой горбушку, наделила липкими «подушечками», и, вполне удовлетворённые этим походом, мы отправились домой.

Солнце жарило вовсю, горячий песок обжигал ноги, страшно хотелось пить. Поэтому заход к тётке Ульяне был

спасением от жары и жажды. Вкусная колодезная вода, потом чай с пряником, который можно было долго грызть, и конфетой были достойным завершением этого дня.

Не так уж много радостей было в нашем детстве, да и игрушки были самые простые: тряпичные самодельные куклы и лоскутки к ним, разноцветные стёклышки и фантики от конфет. Через тщательно протёртые красные, синие, зелёные разных оттенков осколки, мы видели окружающий мир в волшебных красках, хотя он и ограничивался лишь маленьким стёклышком.

А конфетные фантики? Они дарили нам мир путешествий и красоты. Мне кажется, мы даже не задумывались о вкусе этих конфет, потому что никогда не пробовали. Тщательно разгладив, вглядывались в яркие рисунки, порой непонятные надписи, названия городов, откуда они чудесным образом появились. Это было настоящее богатство, предмет долгого рассматривания и обмена.

Куда только не уносила фантазия из этого вороха разноцветных бумажек. Саня уже ходила с матерью на работу, хотя дедушка сердился и выговаривал тёте Зое: «Рано девку робить водить. Мала ишшо». «Да я ведь её, тятя, не неволю, сама просится», – оправдывалась она. «И правда, – вспоминает Саня, – всё лучше, чем дома. Поработаешь, похвалят тебя бабы, кто калачик даст, кто пирожка – вот и сыта. Жалели».

А мы с Раей играли во дворе рядом с дедушкой. Перебирали и менялись фантиками, строили для кукол домики из брусочков, вставляя вместо окон разноцветные стёклышки. Порой спорили. Всё бывало. Приходила бабушка из огорода, садилась устало в тенёчек, говорила: «Дак что, дедко, и поисть бы надо, эвон где уж солнце. Анфиса сказывала, что в болотине черницы много наспело, надо бы сходить»...

На следующий день с тётёй Анфисой идём за ягодами. На головах платки, а на ногах старая обутка, заскоружные чарки (самодельная обувь из невыделанной кожи), на бабушке лапти (ступни), в руках зобенечки и туесок под

ягоды. Узенькая тропка вилась по ржаному полю. Нынче рожь удалась. Местами она была чуть ли не выше меня, тяжёлые колосья щекотали и царапали кожу, пахло сухим хлебным духом и нагретой землёй, синели кое-где васильки, вилась повилика, мышиный горошек.

Мы с Раей на ходу сорвали по колоску, растёрли в ладошках. Зёрнышки были крупненькие, тёплые и мягкие, на вкус сладковатые, хлебные. Скоро начнётся жатва. А там и осень. Уже мелькали её первые приметы. То жёлтый листик промелькнет в уже жёсткой листве, да и облака плыли холодноватые, с синевой. Но на болотине было душно, влажно; неутомимо звенели комары; мухи готовы были облепить всю, лезли в глаза, в нос, в рот.

Зато крупные, налитые ягоды, как синеглазки, заманчиво выглядывали из-под зелёных листиков. Они наполняли рот сладким густым соком. Отмахиваясь от надоедливых кровососов, мы старались побыстрее собирать ягоды, ревниво заглядывая в туески друг другу.

А когда мы набрали их вровень с краями, бабушка дала по ломтю пирога, который мы ели, заедая горстями ягод. Это было удивительно вкусно: кусочки хлеба, пропитанные соком только что сорванной ягоды. Уже взрослой я попыталась вспомнить эти вкусовые ощущения, но... Нет, не повторяется то, что было в детстве. А дома мы наперебой угощали дедушку ягодой из своих туесков:

- У меня, дедушко, первой!
- И у меня, и у меня...

Дедушка, улыбаясь в бороду, заскорюзлыми пальцами щепотью брал ягоды то у Раи, то у меня: «Добро, унучки, больно добро насобирали». А бабушка, улыбаясь, молча смотрела на нас...

Потом мы ещё ходили за ягодами. Ели их и с молоком, и в пирогах, и просто так. На печи томились и сохли ягоды на зиму. Это были наши витамины. Вот и черёмуха скоро созреет, нальются сладким, вязущим соком чёрные блестящие ягоды. Мы ждали нетерпеливо, когда можно будет забраться на неё и собирать их. Может быть, старая

черёмуха помнит детские руки, которые бережно и благодарно срывали её плоды, такие сочные и терпкие...

А память снова меня переносит в дедушкин дом. Простая деревенская изба, широкие лавки по стенам, большая русская печь с лежанкой и полатями, на которых спал дед, скрипучая деревянная кровать бабушки – вот и всё, пожалуй. Да, ещё в переднем углу стоял большой деревянный стол, а над ним небольшой иконостас.

Встав на лавку, я разглядывала строгие лики икон. Две из них были в ризах, под стеклом, а третья... Мои руки до сих пор её помнят. Это, наверное, была икона старого письма: толстая, немного выгнутая доска, и на ней тёмный лик Богородицы, написанный красками прямо по дереву. Прикоснувшись, я чувствовала кончиками пальцев каждый мазок, и от неё исходило тепло. Мне хотелось с тех пор к ней прикасаться. И когда в избе никого не было, я брала её в руки, вглядываясь в таинственное лицо. Где она сейчас, та спасительная икона, – не знаю...

Но – помню. Ещё интересное место – поветь. Этот широкий настил соединял летнюю и зимнюю избы. А под ним было бабушкино хозяйство, вся её живность. Так что зимой можно было не выходить на мороз, а спуститься по ступенькам прямо в хлев.

Присев на корточки, можно наблюдать за коровой, овцами. Ещё там были ручные жернова. Два тяжёлых круглых камня, соединённые штырём, с ручкой на верхнем камне. С трудом, двумя руками проворачиваю жернов. Он хранит запах зерна, хлебной пыли.

Осенью дедушка снова будет молотить зерно с участка около дома на крупу, на муку. Вот и цеп, которым обмолачивают зерно, висит на стене. Это вот безмен. А пока деревянный ларь под муку, в который я тоже заглядываю, пуст, да и вряд ли он наполнится: не те времена, и семья уже не та. Старики живут одни. Лишь старшая дочь, тётя Зоя, живёт здесь же, недалеко.

А вот и небольшая горенка. Воздух в ней какой-то стылый, неподвижный. В ней сложены старые ненужные

вещи. И маленький сундучок. В нём лежат письма с фронта. Серые треугольники с лиловыми треугольными печатями полевой почты.

Мне, конечно, хотелось их прочитать, но не могла я тогда разобрать эти второпях написанные фиолетовым карандашом коротенькие письма. Все три сына бабушки и бабушки были на войне.

Старший, мой отец, прошёл две войны: Финскую и Отечественную. Он вернулся в 1944-м году. Я была совсем маленькая, но, кажется, я это помню. Мама взяла меня на руки: «Света, наш папа вернулся». Залитая солнцем изба, и человек в военной форме, к которому я сразу доверчиво потянулась. Он увидел меня в первый раз, не считая моей девятимесячной фотографии, которая прошла с ним всю войну.

А запомнилось мне блюдечко с сахарным песком на столе. Наверное, потому, что до этого я никогда его не пробовала. Вот такой хрестоматийный образ: блюдечко с голубой каёмочкой.

Средний сын Ваня погиб в 1943-м году в Калужской области. Было ему только девятнадцать лет, и не осталось даже его фотографии. Для нас он навсегда остался просто Ваней. Младший, дядя Вася, был взят в армию в конце войны. Он был лётчиком, повоевать ему пришлось совсем немного. Сначала он был военным лётчиком, потом гражданским, а потом учителем истории. Такова судьба сыновей бабушки.

Подрастали сыновья не вернувшихся с войны отцов и брались за мужскую работу, начинали невеститься дочери, которых они оставили в пелёнках, а то и вовсе не видели, поседели их когда-то молодые жёны. И только их мужья и отцы навсегда остались в памяти молодыми. Такова война. Но память не смирялась с этим. В тайниках души всё равно теплилась надежда: а вдруг? У матерей – всю жизнь.

В деревне одна страда сменяла другую. Кончился сенокос – надо готовить поля под озимые. Ребятишки

возили навоз на поля. Им помогали запрягать лошадей в телеги, потому что слабые детские руки ещё не могли справиться с тяжёлым хомутом, оглоблями. Я каждый день бегала с ребятами на конюшню, с замиранием сердца ждала: а вдруг сегодня будет свободная лошадь и её бригадир отдаст мне?..

Однажды сбылось, и мне доверили возить навоз. Это так здорово – держать в руках вожжи, а большая, наверное, самая тихая лошадь покорно шла за мной. Я ласково гладила её шелковистую морду, она тёплыми мягкими губами осторожно брала с ладошки хлебный кусочек. Вся она такая теплая. Цапкой-цапкой с тремя зубьями я сгребала навоз с телеги на поле в небольшие кучки, потом садилась на передок пустой повозки и быстро ехала на конюшню.

Мне хотелось сделать как можно больше поездок, я так старалась. Мне всё нравилось: и сама работа, и доверенная лошадь, и тёплый запах навоза, и грачи, вороны, котрые важно ходили по вспаханной земле.

А потом на распряжённых лошадях мы ехали на водопой. Дорога спускалась вниз к реке. Без сёдел, вцепившись ещё слабыми ручонками в холку и уздечку, оседлав ногами широкий круп лошади, я изо всех сил пыталась сохранить равновесие, потихоньку съезжая под её живот. Но всё же сумела удержаться, а на обратной дороге и выпрямиться. Это удивительное чувство восторга победы. Но можно представить, какой кавалерийской походкой шла домой...

Всю зиму я мечтала о лете, о лошадях: как сяду на тёплый круп лошади, как обниму её большую тёплую голову, как она неожиданно фыркнет и замотает головой, не желая одевать уздечку. А я ей дам специально припасенный кусочек хлеба.

Только всё так и осталось мечтой, которая таяла, таяла и растаяла: один за другим ушли в мир иной бабушка и дедушка.

Но появилась новая мечта. Я хотела быть агрономом, выращивать яблоневые сады. Тоже не сбылось. Но запаха свежеспаханной земли, блестящей на срезе плуга, пряный аромат скошенной травы, деревенская улица... забываемы...

Однажды, запыхавшись, прибежала Рая.

– Там, в Сафоновской, мужики качулю (качели) делают! Побежали смотреть!

– Бабушка, можно пойдём?

Получив согласие, мы помчались туда. Молодые мужики очищали от коры длинные тонкие деревья (хлысты), крепко-накрепко скрепляли верх. Всё делалось на совесть. Кроме нас крутилось ещё много ребятшек.

– А ну, робята, подсобляйте! Будете первыми на качуле качаться, – тужась, говорили мужики. Мы и рады стараться, бестолково толкаясь около них. Но предвкушение праздника радовало нас. Он будет 19 августа, назывался этот день Преображение Господне.

Это религиозный праздник нашей деревни, который праздновался испокон веков. Так что дело святое, наверное, по крови он передавался из поколения в поколение. И вековая крестьянская мудрость в этом была: необходим был людям передых в каждодневном изнурительном труде, возможность хоть немного расслабиться, а потом окунуться в уборку урожая. Никакая бдительность райкома, никакие запреты не могли сломить крестьянское упорство. Лишь дождик мог смягчить это жёсткое противостояние.

У нас в доме тоже готовились. Дедушка в кадучке поставил ржаной солод на пиво, бабушка потихоньку собирала сметану, мутовкой взбивала её в масло. Убирались в избе, божница украшалась шитым цветами, петухами полотенцем. У дедушки на печке уже готово было сусло. Он давал нам его пробовать.

Хлебный густой, сладковатый напиток. Очень вкусный. Потом добавлял шишечки хмеля, и пиво на печи начинало зреть. По избе плыл горьковатый хмельной дух, предвкушение праздника. Тётя Зоя шила девочкам

по вечерам-ночам новые платья. Всё шилось руками. Не успевали. Тётя Зоя приходила к бабушке, и они шили вдвоём. А чтобы шов был плотнее, передними зубами покусывали его, делали ровнее. Редко-редко у кого была швейная машинка, наверное, у настоящих портних.

Вся деревня готовилась к празднику. И пиво варили почти в каждом доме, и что-нибудь вкусное приберегали к этому дню. Праздничный стол в наших северных деревнях довольно традиционен. Обязательны пироги с разной начинкой, но всё же главным был на столе «рыбник». А какие у бабушки были пресновики! Они были с толчёной картошкой, крупой, с румяной пенкой, пропитанные маслом. Даже названия таких пирогов нынче нет. Обязательны на столе были курники, начинкой которых была пшеничная рассыпчатая промасленная каша, драчёны, мучники, хворостки... Обязательно на столе был суп из солонины, а в завершение обеда был кисель пшеничный или ржаной. Да много чего вкусного было за столом. К этому дню и приберегали.

Бабушка в этот день долго молилась, наряжались все в лучшую одежду. Как сейчас вижу бабушку в праздничном наряде: белая рубаха с широкими рукавами, с собранным воротом, с прошвами; темно-зелёный гарусный сарафан с прошвой по низу подола, под грудь повязывался цветной шерстяной пояс, а поверх сарафана надевала нарядный фартук тоже с прошвой.

На голову она одевала борушку с золотым шитьём, а сверху красивый платок. В этом наряде бабушка выглядела красиво и статно. Дед тоже принаряжался: другая светлая рубаха, штаны, а главное – яловые сапоги, щедро смазанные дёгтем. Тётя Зоя забегала нарядная. В атласном ярком сарафане, в кофте в талию с оборочкой, на плечах цветастый полушалок, а на ногах ботиночки, высокие, со шнуровкой и на небольших каблучках.

И сразу преобразилась наша тётя Зоя! Молодая, стройная, с добрым улыбочивым лицом – хоть куда. Она тоже сегодня ждёт гостей. А гости, как говорится, из всех во-

лостей. Сейчас праздник в нашей деревне, поэтому к нам приходят родня, знакомые из других деревень. Дедушка наливает братыню пенистого тёмного пива. Братыня медная ребристая начищенная, и она светилась солнечными бликами.

Братыня... Название говорит само за себя. В нём всё: братство, вера, доверие, единение. Старинное крепкое слово. Дедушка разливает пенистый напиток. Не знаю, может быть, детская память укрепила во мне эту уверенность, но вкуснее пива я больше не пробовала. У него был такой густой вкус, хлебный аромат со сладостью и горчинкой. И обязательная братыня, из которой его наливали.

Дед разрезал рыбник из свежей речной рыбы. Начинать с рыбника – это своеобразный ритуал. Рыбак тоже свой уже подросток – Саша. Перед гостями вкуснейшие пироги, яичница, суп и другие блюда. На подносе гостям подаётся в небольших рюмках из толстого стекла на ножках водка и стаканы с пивом. Водки никогда не было много. Во-первых, водка стоила денег (а у колхозников какие деньги?), во-вторых, главным напитком тогда в деревне было пиво. И рюмку эту никогда не пили всю сразу. Мне кажется, что та давняя деревенская культура застолья заслуживает уважения.

Деревня постепенно разгуливается. То в одном, то в другом доме сыплет переборами гармошка, колокольчиками вызванивает тальянка. Вспыхивает и срывается частушка. Наш папа, когда приезжал на праздник, тоже брал в руки тальянку и играл протяжные «спасские» страдания. Широкие и длинные меха, красиво изгибаясь, выговаривали мелодию.

Он был своим за этим столом, среди гостей, в родной деревне. Так же хорошо было здесь и моей маме, совсем девчонкой приехавшей в войну в ещё незнакомую семью, где её приняли как родную. Её знали во всех деревнях, так как всю войну проработала секретарём сельсовета.

Высокая, стройная, лёгкая, с гладко причёсанными тёмными волосами, её все звали Марией, близкие Марусей,

уважительно – Марией Петровной. Вот так вологодская земля стала нашей маме навсегда родной... А мы с девчонками бежали в Сафоновскую на качалю. Здесь собирались молодые девки и парни. Нарядные, весёлые, возбуждённые, они чувствовали свою молодость, кровь играла румянцем. Самые смелые из девчат садились на качели.

Парни, жарко распахнув ворота рубах, брались за гладкие колья. В основном качали по два человека. Здесь тоже требовалось умение и ловкость. Сначала слегка раскачивали руками, потом брали колья и легонько с двух сторон одновременно начинали качать. Сноровка заключалась в том, чтобы колья с силой, но легко скользили по верёвке, чтобы она только подрагивала.

Всё чаще мелькали колья, напряжённо натягивалась верёвка, всё выше взлетала девчонка. Казалось, вот-вот она попросит пощады: «Хватит!» Но нет, молчит. Тогда ещё два парня берутся за колья, уже четверо качают. Чаще вздрагивает верёвка, ещё выше взлетает девчонка: того и гляди, что перекинут. Все с замиранием следят за этим поединком. Наконец мы слышим: «Хватит!» Парни враз бросают колья, закуривают. А она ещё некоторое время плавно летает над толпой. Толпа вновь оживает. Устанавливается очередь качаться. Парни, грубовато подшучивая, подсаживают девок на высокое сидение. Одни уходят, другие приходят. До самого вечера толпится у качели подгулявший народ. Появляется и гармонь. Поёт она просто так, от широты хмельной души, которой кажется всё по плечу. Встречаются, расходятся, знакомятся, шутят, хохочут, о чём-то беседуют. Что-то даже детское есть в расслабленности мужиков, зажатых обычно работой...

А мы по-прежнему стайкой толкаемся около, с завистью смотрим на счастливых. Кто-то из женатых мужиков заметил это и сказал: «Ну, робята, давай подходи по одному, покачаем».

Пока подсаживали на высокое сидение, сердце куда-то ухнуло. Изо всех сил вцепилась в верёвку, почти не дыша. Мужики осторожно кольями трогают верёвку,

раскачивают всё выше. Я плавно взмываю вверх, земля и люди остаются внизу, ветерок движения охватывает со всех сторон, но сердце уже на месте и полное восторга. Ещё чуть выше, уже нет страха, а лишь ощущение полёта. А вокруг небо, бесконечное и прекрасное...

Гуляние к вечеру стихает. Лишь молодёжь с гармошками, с частушками, весело перекликаясь, собиралась в конторе вечеровать.

А вечер был теплый, тихий; звонко перекликались девчата, перешучивались с ними парни, совсем ещё молоденькие, но выпитое пиво прибавляло смелости и куража. Мы тоже прибежали посмотреть, забились в уголок, чтобы всё было видно.

А видно было, что пока парни кучкуются с одной стороны, девчата с другой. Освободили место гармонисту, он растянул меха и выдал такой перебор, рассыпался такой удалью, что усидеть было невозможно. Тут же две самые смелые выскочили на середину и, держась за концы наброшенных на плечи цветастых полушалков, выдали первую частушку: «Веселее запевайте, девки-спасовляночки, под заметочку попали всё из-за гуляночки...»

Дробь каблуков звучала как вызов. Тут же выскочили два парня, смело обняли девок за талию, и первая «парочка» пустилась в пляс. Дробно стучали каблуки, вихрем закручивало юбки. Частушки сменяли одна другую: «Дроля серенькие глазки, больше так не делайте. Завлекли дак и любите, за другой не бегайте!» Парни отвечали им: «Расставались, ругались, сошлись – оба ревим. Больше разу не расстанемся и людям не велим!»

Каждый переход в пляске сопровождался частушкой. Не дождавшись конца, выскочили ещё две пары. Это уже «восьмёрочка», пары плясали крест-накрест, дробно, задорно стучали каблуки, парни выделявали такие лихие коленца, частушки не кончались. Гармонисты меняли друг друга. «Не милёночек играет, да похоже на его. Видно, тот парнёк молоденький учился у него». Атмосфера сгушалась, воздух, кажется, пропитан такой отчаянной

любовью, что фитили трёх керосиновых ламп трепетно дрожали. Парочки меняли друг друга.

А мы, сжавшись, сидели в углу, выпитывая этот праздник. В эти минуты я больше всего на свете хотела вот так плясать «Парочку», петь частушки, играть в «ручечку» и с замирающим сердцем ждать, когда выберут меня. Так хотелось побыстрее вырасти.

Устали и гармонисты, устали плясуны. Парочки, одна за другой, исчезали в проёме двери. Их подхватывала ночная тишина, лёгкие шаги гасли на узких тропинках, фигуры таяли в росном тумане. Иногда неожиданно вспыхивал короткий смешок. И снова тишина. Мы, зябко ёжась, тоже разбегались по домам.

Осень проступала в грибных росах, краснеющих гроздьях рябин, готовых к жатве полях. Завтра новый трудовой день. Лишь бы погода не подвела. А я поеду домой с папой, или на попутке отправят. Скоро в школу.

Вот таким было моё деревенское детство. Совсем короткое. Но в моей душе хранится уголок памяти, который наполнен добродушием, теплотой и любовью. И это всё из деревни, от людей, встречу с которыми подарила мне жизнь. Это навсегда.



Виталий Ламов

Ламов Виталий Ювинальевич родился в 1955 году в пос. Ёлга Тарногского района Вологодской области. После школы служил в войсках ПВО страны. По окончании службы работал лесохозяйственным рабочим, потом техником-лесоводом, имея под началом лесничество. Окончил лесхозтехникум в Ленинградской области, трудился в лесхозе лесничим. В настоящее время В.Ю. Ламов находится на пенсии. Публиковался в коллективном сборнике «В начале было слово». Лауреат Межрайонной премии им. Н.В. Груздевой «Твоё имя». Член Союза писателей-краеведов.



ТАКИЕ РАЗНЫЕ РАДОСТИ

Лесные зарисовки

Философия любви

Жодили мы по лесу, точнее, по его опушкам. Спутниками моими были «бог полей» – агроном и тракторный начальник. Напала на них нужда «срезать» тут и там выступавшие углами, клиньями и лентами «форпосты» леса. Шагали, считали, мерили. Не спешили. Теплынь и без комаров; зелень кругом силу набирает, без вина кружит голову черёмуха. А птички-то что вытворяют! Сознаюсь и сам, что трудно сыскать лучшую лесную пору, нежели конец мая. Разве что охотничья осень...

Нет конца восторгам у моих сотоварищей. Прямо хоть сейчас готовы податься в лесные робинзоны... Забыли они или плохо знают, что есть лес комариный и жаркий; есть с холодным, «мокрым» дождём, переходящим в слякоть.

Есть еще снежный и морозный, а есть и буйный лес, шумный и трескучий. Опасный. «Сыростно, мерзостно, пакостно»,— говорили в старину. Может в лесу быть знойно, оводно и потно; может быть студено, мерзло, зябко...

О таком лесе спутники мои не думают. Они лесную тропу торят в хорошие погоды. В отличие от меня: я-то лес люблю всякий. Но нет ли и во мне хвастовства, дилетантской любви к природе? Ведь после любых лесных лишений я тоже возвращаюсь в тепло и уют людского мира...

Исход лета

Прошло время, когда всё кругом тянулось к солнцу. Больше, выше, крупнее, зеленее... Пришла пора умиротворённого относительного покоя. Стихли птичьи песенки. Люди и звери жируют на ягодах да грибах. Тепло и сытно всем. Хорошо пройтись в августовский денёк по берегу лесной речки, высматривать в кувшинковых заводях уток. Щипать по пути рубиновые ягоды лесной смородины. Хорошо прилечь в луговую отаву, подставить лицо ещё не скупым, но уже не жгучим лучам светила. Напитанная солнцем земля сродни доброй печке-лежанке. Высоко-высоко редкими белоснежными ладьями плывут куда-то облака по голубому океану лета. Тяжёлыми и тёмными опустятся они потом к земле, наколются на пики елей на слудах и прольются на мир холодной моросью. Но это уже другая страница бытия.

Ласковый ветерок пропитан ароматом уложенного в копны сена. Аккуратные островерхие копёшки там и сям расставлены на приречных лугах. Которые-то из них твои. От этого на душе радостно и покойно.

Да, лето созрело: вон уже на некоторых берёзках листочки зажелтели... Так у пожившего человека отчего-то появляются седые волоски. Вначале редкие и незаметные, как эти листочки... А осознать не успеешь, как в жизнь

ворвётся осень. Как быстра ты, река Времени!.. Чувствует ли предосенний лес грядущие перемены? Иногда кажется, ему тоже не всё равно. Грустинка так и остаётся где-то в сердечном закоулке. Только впереди ещё многие часы этого чистого дня, и так много ждёт тебя речных излучин...

Контакт

Когда не бываешь в лесу неделю-две, при встрече он кажется каким-то затаённым, скрытным, незнакомым. Ходишь и час, и другой, прежде чем между тобой и лесом перебрасывается мостик. Не знаю, что чувствует лес. У тебя же наступает покой и благодать. Ты как будто среди родни: свой среди своих, равный среди равных. Ты растворён в лесу, лес растворён в твоём сердце.

Это откровение было написано в некотором прошлом. А только что встретились слова Митрополита Антония Сурожского.

«Мы обманываемся, когда думаем, что общаемся друг с другом через слово. Если между нами нет глубины молчания, слова почти ничего не передают. Понимание происходит на том уровне, где два человека встречаются глубинно именно в молчании, за пределами всякого словесного выражения».

Да, большой и близкий друг-лес, этот живой организм, не требует лишних словесов. Мы понимали друг друга «глубинно именно в молчании». Охотники и лесники, как никто другой, знакомы с этим пониманием. Лес – их мечта, доля и судьба.

Повезло!

Изумруд озимого поля. Зелень яркая, сочная и нежная. Окоём леса в разноцветном осеннем убранстве. Строгость тёмно-зелёных ельников озарена чисто-жёлтым берёзовым

светом. Такой краской – цвета головок ковтышков* – молодницы красили свои праздничные сарафаны. Жаркими прошвами** пламенеют осины и рябины. Синеватые пики дальних елей подпирают начинающее блекнуть небо. Оно теперь, как голубые глаза у честных людей в пожилом возрасте. Не яркое уже солнце обдаёт сдержанным теплом земное чудо-рай.

На своё счастье я оказался рядом с этим благолепием. Не рядом, нет! В нём!

То было в другом времени. Не в своём будто. Краски жизни изменились. Не поблекли. Цвета проявились всё больше серые, бурые. Чёрные краски. Суровые! Деревенская «фуфайковая» жизнь, в своей нынешней скромной палитре цветов, ещё течёт кое-где. Вяло и судорожно дышит.

Рябчики! Скромны они в своём оперении... Обитель птиц – ельники – темны и колючи... Но как чисты их песни! Осенние.

Рябчики

По мягкому мху-ковру вплотную наскочил на птиц. Как подброшенный вверх горох из раскрытой ладони, прыснул выводок рябчиков на сосны с задорным треском молодых крыльев! В таких случаях с сердцем охотника что-то происходит. Оно, наверное, ненадолго умирает...

Смертельная игра

Долго играл с рябчиком в прятки. Водил я, а рябчик прятался. Почему-то птица не пыталась таиться на деревьях, а убегала по земле и там же пряталась. Её головка

* Ковтышки – купальницы европейские; цветут в начале лета.

** Прошва – цветная вставка в одежде.

с бодро поднятым хохолком время от времени мелькала среди елового подростка. Не успевая вскинуть ствол, я бежал туда с прытью семилетнего мальчишки. Никак не хотелось оставаться вечным водящим. Наконец, петушок потерялся окончательно, и я сдался, повернул к дороге. Рябчик выиграл, но и я ничего не потерял, коли помню этот случай.

Праздник

Был праздник. Нет, он не был отмечен на календарях «красным». Это был ни религиозный, ни юбилейный, ни семейный праздник, но это был Большой день. Долгожданный.

Чтобы ничего не пропустить в предстоящем торжестве, из дома вышел рано. Принарядился, конечно, надев подходящий случаю костюмчик, но подарка не взял. Он «хозяину» был просто не нужен, а гости, зачастую, сами бывали одарены его щедротами. Шёл не торопясь, любуюсь округой, изредка салютую из прихваченной «хлопушки». Настроение-то праздничное!

Встретили гостя приветливо. Вообще-то меня здесь хорошо знали, я был частым посетителем. Усадили в кресло, обитое зелёным «бархатом», с причудливо изогнутыми подлокотниками. Я сидел, вытянув ноги к камельку, и любовался «развешанными» картинами. Это были пейзажи Великого Мастера, которому в пору расцвета своих талантов наверняка завидовали Левитан и Шишкин и пытались подражать Ему в своих полотнах. Органично вписывались в антураж оружие и висящая дичь.

Просторные «хоромы» «хозяина» не тяготили своим объёмом и не подавляли великолепием. Наоборот, здесь было уютно и душевно, откуда-то ненавязчиво лилась негромкая музыка. Будучи занятым музыкантом, всё равно было бы, наверное, трудноато определить композитора этого шедевра. Тут слышались и шёпот осинки, и

бегущие струи лесного ручья, и поскрипывание дерева... Иногда звучали протяжный крик канюка – «пи-и-ить, пи-и-ить», жизнерадостный стрекот кузнечика и печально-прощальный голос куличка, задержавшегося с отлётом. В украшенные «витражами» своды «помещения» щедро лилось августовское солнце, но лёгкие дуновения воздуха слегка колыхали раздёрнутые зелёные гардины и приятно остужали разгорячённые ходьбой щёки. Работающий «кондиционер» был чудом: от создаваемого им ветерка пахло букетом растений чуть ли не из всей ботаники.

Потом был пир, услада желудка. Я ел с деревянных шампуров горячие ломтики шпика, причудливо размежёванные кольцами лука, помидоров и грибов-подберезовиков. Закусывал хрустящим огурчиком. С ленцой тянулся за черникой или брусникой и запивал всё это божественным напитком – чаем со смородиной. Спиртного «хозяин» не уважал. Правду сказать, голова кружилась и без того...

Я отдал должное застолью, а потом засобирился домой. Деликатный «хозяин» ни малейшим намёком не дал понять, что пора, мол, гостю и честь знать. Напротив, он готов был оставить меня ночевать. Но дома ждали, и с глубоким сожалением пришлось попрощаться. Правда, я не сказал «прощай», а просто «до свидания», до скорой встречи.

Возвращался я с «подаренной» дичью. За неё, за чудесно проведённый день, за праздник, в груди теснилась благодарность «хозяину», коим выступал Лес. Это был день открытия летне-осеннего сезона охоты, праздник охотничьей души.

Утонул в снегу

Днём шёл снег. Ночью – снег. Новым днём опять кижя*. По рыхлому снегу со свежими силами забрёл далеко. Когда они заметно убыли, лесную дорогу сплошь

* Кижя – толстый слой снега после обильного снегопада.

перекрыли снежные арки. Кругом снег: белые стены, потолки... Тяжёлые лыжи увязли в снегу. Снег намёрз на штаны, куртку; снег на шапке, за воротником и в стволах... Утонул в снегу!

Такие разные радости

Что радует в лесу, на охоте?.. Многое. Перечислить невозможно. Конечно, это радость встречи с лесом. Зашёл в него, и ты уже другой, будто больше и не принадлежишь никому.

А вот ещё одна радость. Это – огонёк желанной деревни, мелькнувший сквозь поредевший до заборного штакетника ельник, через наволок, через поле. Кто тащился однажды к дому тёмной промозглой позднетью*, держался одной лишь силой духа, тот поймёт эту радость.

Бредет охотник

Бредёт охотник, «убитый» целым днём этой треклятой охоты. Забрала она вместе с лесом все желания, «испила до дна» всю силушку и удаль. Скажи кто, что в стороне заяц к кусту привязан, а там глухарь сидит в клетке, – ни за что не свернёт, не соблазнится. Нет на это никакой мочи! Не идёт он, а плетётся с одной мыслью: «Только бы выбраться из леса, развязаться с этой охотой... Да чтоб ещё раз!..»

Но тут дежурное охотничье ухо ловит далёкий голос собачки. «Что такое? Только что «чистила шпоры»**... И когда успела отстать?»

* Позднеть – позднее время.

** Чистить шпоры – идти вплотную сзади; наступать на пятки (лыжи).

В жар бросает встрепенувшегося охотника. Голова вскинута, спина разогнута, в руках какая-то ладная лёгкая штукавина. Да не она ли секунду назад оттягивала плечо пудовым железным грузом? А ноги уже всё быстрее и быстрее несут пружинистое тело на азартный собачий призыв. Бежит охотник в обратную от дома сторону. Несётся в лес. В ночь. В неизвестность.

Когда всё закончится: дичь оказалась слишком сторожкой, или ёлка чересчур густой, либо собачка просто облаялась, тогда и наступает... Пожалуй, не будем думать, что именно наступает, – про это лучше не вспоминать...

Шутка лесорубов, или реквием тайге

Когда весь лес превращён в сплошную вырубку, ориентироваться на ней не проще, чем в густом древостое. Разве что по дальней-дальней призрачной опушке или по клочкам недорубов. В одном месте творцами рукотворного ландшафта, лесорубами, поставлен «маяк». Умелые руки оператора современного «цирюльника» – валочной машины – вырвали из земли огромное дерево, перевернули и вонзили его обломанной вершиной в податливую болотистую почву. Снизу ствол у этого «памятника» тонкий, а кверху неестественно толстеет. Венчает его не крона, а шляпа раскидистых корней. Издали бросается в глаза этот «зонтик», когда приходишь на вырубку за брусникой. Остаётся только не терять его из виду, чтобы без труда и компаса справить обратную дорогу.

Велика мощь человека, но не слишком ли часто используется она не по назначению, скоропалительно, то и преступно? Шутя перевёрнутое и закопанное наоборот дерево – символ этой мощи. Оно же – символ человеческой глупости. Не хотелось, чтобы этот союз правил бал в наших отношениях с природой.

Лесные перемены

Ельники, сосняки и опять ельники... Казалось, им нет конца, и жизнь их вечна. Своей бескрайностью лес порождал чувство устойчивости, надёжности, незыблемости жизни. Редко-редко еловую сумрачность на метр-два раздвигали просеки и визиры, и опять часами можно идти под хвойной крышей, тщётно рыскать взглядом по сомкнутым стволам в поисках хоть какого-то просвета.

Да, не думали, не гадали... Нет теперь тёмных ельников, нет бронзовых боров. Есть неохватная ширь и простор. Вырубочный. Весной шокируют на залитых водой делянках крики чаек, куликов да кряканье уток. Радуйся, душа! Нет, не радуется... Тоскует она по узости просек, куньим маликам* по ним, крику чёрной желны**, нечастой встрече в зимнюю стынь с деловитой стайкой птах-северянок, облепивших хвойную вершину.

Одно утешает: лес не уничтожен навечно. Тайга не умерла. Она просто низведена до детства.

Преломление

Почему бы сегодня не поговорить, например, о красках природы, – кто нам помешает?.. Весна красна, лето красное, осень золотая... Казалось, непреложные, опозитивированные истины. Но, бывает, всё видится по-другому.

Весна, скорее, серая, неряшливая, с космами ветоши прошлогодних трав, словно непричёсанная и заспанная длинноволосая девица. Лето... Оно зелёное и разноцветное. Может, «оранжевое». Золотое, если бы не овод. Трудовое!

* Малик – здесь: вчерашние следы куницы; обычно маликами называют след зайца, ведущий к лёжке.

** Желна – самый крупный (с ворону) дятел.

Осень, пожалуй, бурая, если запомнить обилие красок в кратковременный листопад. Осень тягучая, унылая из-за дождей и грязи и по-охотничьи радостная, желанная. Осень тоскливая, ржавая и осень-обнова, радующая первыми порошами. Белоснежная зима... Нет, она чёрная из-за своей полугодовой продолжительности и из-за обильных сугробов. Торговлю с Африкой этим снегом наладить бы! Темна зима и печальна с её короткими деньками, снежным однообразием и скукой. Иногда не помогают ни лыжи, ни книги, ни телевизор, ни водка... Укоротить бы её на месячишко! В таковы цвета случаются быть окрашены времена года, когда наступает преломление настроения, душевного настроя.

В жизни не всё однозначно с красками. Привычка зрения, как любая привычка, бывает вынуждена ломаться. Природа чудна на внезапные превращения, и хочется вспомнить два проявления её цветов.

Красное.

Вынырнул из-под хвойных лап на солнечную полянку, словно из полусумрака сеней попал в горницу-светёлку. Трава на поляне обильно окроплена красным, — земляника! С чувством радостного удовлетворения опустил на колени за лесным деликатесом.

Вечером заглянул на картофельный участок. Видел утром, как сосед сосредоточенно бродит по рядкам с баночкой в руках. Беспокойство оказалось не напрасным. В глазах опять зарябило от красного, но теперь уже от личинок колорадского жука. Совсем недавно с восхищением оглядывал вкуснейшие красные бусинки ягод, а теперь перед глазами такого же цвета картофельные вредители, которые не нужны ни птицам, ни каким-то насекомым. Нет на них врагов-пожирателей.

В душе какое-то раздвоение. Глаза привыкли к ягодам и с той же настойчивостью «липнут» к красно-оранжевым мягкотелым личинкам на листьях картофельной ботвы. Но вместо радости — брезгливость, взамен удовлетворе-

ния, – беспокойство за урожай. Ах, как тесно всё переплетено в нашем мире.

Белое.

Весна, конец мая, «черемуховые холода». Через «кущи» помидорной рассады на подоконнике, через одинарные рамы – зимние убранные пылиться на потолок, – взгляд вырывается на огородный простор. Нетерпеливые «дудки» и пырей вымахали на межах уже на четверть. Их сочные зелёные побеги облепил мокрый снег, что примерз комочками к макушкам травяных стеблей, да так и остался. Не так много и порхнуло с неба белого. На голой земле снежок быстренько исчез. А на траве, что повыше, задержался. Получились какие-то фантазмагорические белые цветы: как живые, но не долговечные; красивые, но чужеродные.

Вскоре ноги привели в ельник. В нём было непривычно светло от множества маленьких белых цветочков. Цвела кислица. Нет, это был не щавель, который мы прозываем кислицей. Белыми пятилепестковыми цветочками пестрел ковёр из простенькой травки – кислицы обыкновенной.

Цветёт она с конца весны до начала лета. Кстати сказать, белые лепестки цветков состоят из совершенно... прозрачных и бесцветных клеток, как тот же снег из кристалликов льда, но между клетками есть небольшие воздушные пространства, которые отражают свет и создают впечатление, что лепестки белые. Иными словами, белая краска у растений достигается без какого-либо специального красящего вещества. Обман зрения, иллюзия. В народе называют ещё кислицу «заячьей капустой». И у человека нежные листочки «тают» на языке!..

Будем радоваться-любоваться всеми цветами радуги, из которых, собственно, состоит жизнь. Будем ласкать взор красотой, не гнести сердце чёрным, не преломляться к тёмному. Хотя... хотя на чёрном не так заметна грязь.

Раздвоение

Лесной наукой придумано много мероприятий, чтобы ускорить рост деревьев в толщину и высоту, получить больше древесины. Например, рубки ухода. Не заходя далеко в лес, т.е. не вдаваясь в лесоводческие дебри терминов, скажем только: первыми этапами таких рубок являются осветление и прочистки. Это уход за молодняками. В подросших насаждениях виды рубок ухода уже несут на себе груз получения дохода в виде заготовленной древесины и значительные изменения лесной среды. Понятие «рубки ухода» с печально-скандальным оттенком переименовано остряками в «рубки дохода».

В бытность лесной работы приходилось и осветлять, и прочищать. Приятно было осознавать, что своими руками формируешь, по сути, создаёшь новый лес. Для потомков! Особенно отзывчивы на осветление и прочистки молоденькие сосняки, лет этак в 5–10–15. Любо посмотреть на эти леса через такое же время: чистые, на глаз заметно выстрелившие в росте.

Но... какие-то рафинированные, лесопарковые эти насаждения. Нет в ухоженных лесах дремучести, потаённости. Нет самобытности, тайны, сказки. Чисто, но однообразно и... скучно.

О вечном

«Человек живёт один раз, поэтому надо брать от жизни всё!» Увы, в ходу эта поговорка и на словах, и в делах. Всё брать и брать, а что же можешь дать?!

Дерево тоже живёт для себя, но даёт нам кислород, дом, топливо, пищу, красоту и бесконечно много другого. Деревья служат людям и всему живому. Звери, птицы, рыбы, травы служат нам. Для чего же есть мы? Для чего люди? Неужели человеческая цель заключается только в потреблении?!.. «Мы не боги» и вынуждены пользоваться

природными дарами. «Боги не мы», и поэтому не должны изменять природу, тем более неуёмно, бездумно и безобразно её расхищать.

Визитка в будущее

По вечно ухабистой грунтовке тряслись от деревни до райцентра в автобусе, вяло переговаривались с попутчиком. Когда через дорогу шагнули бетонные опоры ЛЭП, мой сосед оживился:

– А ведь я эту линию строил...

Этот возглас ревниво заставил копнутья в своей жизни. Вначале испугался даже: не принимал участия ни в каких больших стройках. Ну, охотник! Так ведь иные душегубом прозывают. Ну, лесник! Так ведь орудовал топором и пилой. Любитель природы!.. А что останется потомкам от твоей любви к лесу, птице, зверю? Запомнят ли эту любовь люди будущего? Дом и дети, по известной поговорке, есть... Тут же охватило радостное облегчение. Деревья! Ведь их посажено тысячи тысяч! (Обычная норма у лесоводов – высаживать до четырёх тысяч ёлочек или сосенок на один гектар). Заикнулся об этом попутчику, и тот понимающе кивнул головой.

Угол зрения

Возле самой просеки несколько берёз растут рюмкой из одного корня. Их стволы равны в толщине и высоте. Красиво растут-поживают, глаз лесного путника радуют.

– Красавицы-ровняшки, девушки-близняшки, берёзки-сестрицы, светлую радость излучают ваши «лица!» – восхитился бы поэт.

– Деловые стволы порослевого происхождения, – сухо и лаконично отметил бы лесничий.

– Полвоза дров на одном месте! – воскликнул бы крестьянин-дровосек.

А мне подумалось:

– Какая хорошая присада* для косачей!

В тот день я смотрел на берёзы глазами охотника.

Вехи памяти

Много памятных мест в родном лесу. Ещё бы! Клубок лесной тропы размотался на десятки лет. На целую жизнь! Хорошо знакомы многие деревья, такие одинаковые для постороннего скучающего взгляда. На самом деле – куда как разные!

Глухари крепко привязаны к определённым кормовым соснам. Помнится: некогда, в юности, пытались с дружкой скрасть петуха, который изо дня в день кормился хвоей на непримечательной сосне. Ничем не выдающемся дереве. Щипал. С утра и под вечер. Мёдом она была намазана, что ли?.. Сейчас, когда прохожу мимо, всегда гляну на это дерево, вспомню того глухаря, первые наши безуспешно-безутешные попытки подкрасться к желанной могучей птице, и сразу становится теплее за пазухой. С левой стороны.

Немало растёт-выживает в лесу глухариних сосен с ошипанными кронами. Одна птица за зиму потребляет более центнера приторных, вяжущих иголок. Случайные люди не обратят на эти деревья внимания. Они приметны только зоркому, всё замечающему глазу охотника. Много лесных чертежей отложилось в голове и сердце. Любимые глухарями сосны – ещё одни вехи памяти.

* Присада – дерево или деревья, на которые обычно присаживаются тетерева (косачи) для кормёжки берёзовыми почками. На эти же берёзы вывешивают чучела или профили (плоские фигуры, повторяющие очертание тетерева) для подманивания птиц.

Эстафета жизни

Меня всегда поражает сочно-зелёная щетина молодой еловой поросли на останках своих «бабушек» и «прабабушек»... Росла себе ель да матерела, растила шишки и сеяла семена. Множество поколений зверушек и пташек разных прокормила ель за сотни лет, спасла от холода и голода. Но налетел однажды роковой вихрь и сломал подопревшую лесину, и бросил её на землю. Ватным одеялом на полз на дерево мох. С живых елей с приходом весеннего тепла продолжали планировать крошечные крылатые семена. Те семена жизни, которые лесные жители не долушили, не доклевали и сами уронили на пол.

Они, конечно, попадали и на моховые бугорки, под которыми некогда крепкая, сравнимая с бронзой древесина превратилась в лесное удобрение – гумус. Легковесным семечкам удавалось «утонуть» в моховом покрове и соприкоснуться с древесной трухой... И тогда «выстреливало» к солнцу «младое племя». Буйное, озорное, дерзкое, словно воспитанники детского дома. «Республика ШКИД»! На останках своих сородичей древесная жизнь снова брала старт. Но в этих плотных, один к одному, сеянцах можно усмотреть некую предрешённость. Из-за своей скученности многие засохнут. Останется одна ёлка, которая сумеет подняться в верхний полог леса и заглянуть за горизонт. Таков уж природы закон.

Бывает, лесная жизнь создаёт подобную «икебану» на пнях – естественных обломышах или созданных топором и пилой человека. Кору на пнях обдерёт медведь в поисках личинок короедов, а следом их укроет мягкими шапками мох. И если стоят неподалёку взрослые ели, то пни будут исполнять роль «горшочков» для десятков нежных ёлочек. Вначале с палец-мизинец, с ладонь, с четверть высотой. Потом им будет на пне тесно...

Любая смерть обескураживает и печалит. А вот эта еловая, да не только она, любая древесная молодь, как

азартное проявление жизни, невольно заряжает оптимизмом, гонит скорбные мысли... И приходит желание обогнуть ещё один лесной квартал.

А вы не замечали, как быстра в росте, высока и густа бывает трава на могилах человеческих?!..

Деревья и люди

Думаешь о деревьях, сравниваешь с людьми. Смотришь на иное дерево и дивишься его живучести. Вдоль всего ствола идёт трещина. Теперь она уже затянулась, но рубец от раны хорошо заметен издали. То ли зимняя стужа приложилась и расколола с ружейным треском дерево, то ли летняя гроза метнула в него молнию.

Внизу, чуть ниже человеческого роста, ещё одна рана. Как слезами, заплыла она смолой. Это охотник стесал кору, чтоб звонче был удар топора по стволу. Белку выпугивал, а может, и за куницей охотился.

И что-то в последнее время зачастил к дереву дятел – красная шапочка. Не за шишками прилетает «лесной доктор», а обследует своим клювом-стамеской ствол дерева. Ясно, что тут не всё ладно: под корой завелись точильщики. И, кто знает, – не ползёт ли уже по сердцевине ствола из земли да из-под корней скрытная гниль? Тут бы спросить того охотника, что стучал обушком по стволу: звонкий был звук аль глухой? Если как по пустой бочке, то дерево приговорено.

Говорят, деревья неживые, да вот только болезни и раны у них, как у людей, и часто не дано им прожить свой срок. Деревья живут, болеют и умирают, как люди. Может, и страдают.

Думаешь о людях, сравниваешь с деревьями. Особенно поражают своей жизнестойкостью старики. Вспоминаются свои меты. Хотя бы на левой руке. Всё ещё виден на тыльной стороне ладони старый-престарый, длинный и узенький шрамчик. Он от перочинного ножа: не велика

была травмочка, но запомнилась. Посторонний человек не заметит, но ты-то хорошо помнишь эту отметину как раз на самом суставе указательного пальца. Она от той поры, когда до приобретения «Дианы» и «Барклая, а тем более «УПС»* было ещё далеко. Тогда шило скользнуло с плотно сидящего в гнезде гильзы капсюля и проткнуло палец насквозь.

Поперёк того же пальца «красуются» два поперечных рубчика. Что поуже – от косы, черенок которой при заточке бруском-лопаткой (у нас править косу называют налопатить) проскочил назад. Впившийся в палец блестящий тонкий металл навсегда приучил упираться косовище прочно-напрочно в землю.

Что пошире – от топора. Ещё в школьные годы в руки попала книга-сокровище: «Спутник промыслового охотника». Обазартило юного охотника описание разных ловушек, поставушек, слопцов и пастей. Ушёл в жаркую июньскую пору подальше в лес ладить свой путик, рубить кулёмки на куницу и плашки на белку. Особенно наглое и напористое в начале лета комарьё сыграло не последнюю роль в получении этой травмы.

– А вот здесь мне медведь ладонь прокусил, – показываешь иногда руку друзьям-товарищам. Не верят, на голову смотрят. Думают, наверное: «Почему это он при скальпе остался?»

Это всё внешние меточки жизненных событий. А что скажет врач – белая шапочка, когда послушает да «подолбит» своим молоточком? Не вынесет ли свой приговор?

Плоть человеческая довольно нежна и беззащитна перед ранами и болезнями. Но живёт иной человек наперекор всему: могуч и стоек, как секвойя; крепок и кряжист, словно дуб; силой и надёжностью сравним с кондовой сосной. Люди пытаются жить и крепиться, как деревья.

* «УПС», «Диана», «Барклай» – приборы для снаряжения патронов.

Поцелуй вечерней зари

Она была одной из первых в моей библиотеке – эта небольшая книжка лирических охотничьих новелл. Вышла в свет, когда я сам – почитатель таких вещей – переживал высшую степень восторженности и восхищения от встреч с лесной жизнью. Сборник назывался соответственно: «Розовые берёзки». С тех пор в воображении постоянной занозой сидело сомнение. Как сумел автор «окрасить» белоснежные свечки стволов в розовое? Какими глазами посмотрел этот цвет в берёзах? Вот эти строчки: «Не всегда берёзки белыми бывают. Пришлось как-то мне отсиживаться от дождя под лохматой ёлкой у нарядной берёзовой рощицы. Весенняя влага, тёплая и обильная, хлынула на деревья и, как девушки розовеют от ласковых слов любимого, порозовели берёзьи стволы от ласк весеннего дождя».

Приходилось, правда, наблюдать, как трепещущая на ветру берестинка-скалочка светится розовым на солнце. Но увидеть большее не мог не один десяток лет. А ведь не дальтоник!

Сидел как-то весенним вечером на лавке. За книгой. Впечатления от «проглоченного» сборника охотничьих рассказов теснились в душе, как вода в бочке под потоком талой воды с крыши, как пчёлы в роевне, как муравьи на своём холме-жилище в летний солнечный день... Много, через край. Взору захотелось воли, простора. Глянул в окно на лес, что взметнулся ввысь на ближних угорях: всего-то пути до него – поле да наволок с ручейком-веретейкой. Глянул и обомлел: лесные угоры играли... розовым цветом.

Зимой лес был седым от кухты. Потом деревья стряхнули снег под напором набирающего силу апрельского тепла. Тёмно-зелёный ельник оставался пребывать в постоянном хмуром созерцании, а вкрапления берёзовых вершин едва выделялись на ёлках своей сизовой серостью. Их почки ещё спали.

Вроде бы, так обстояло всегда: от осени до весны, с утра до вечера. Но теперь берёзовые кроны были розо-

вами! Нет, они не пламенели, не пылали кострами, как сентябрьские осины с рябинами, ничего в них не было от красочного и пышного осеннего убранства. Они скромно светились розовыми полувалками.

Сразу припомнились и прочитанные «розовые берёзки»... Правда, мои берёзы зацвели и заиграли, впитав малиновую сочность заката. А ведь сколько было таких закатов раньше! Но не сподобился заметить этого прощального привета дня – закатного поцелуя. Да, розовеют берёзы! Для кого-то «от ласк весеннего дождя»; для меня – от поцелуя вечерней зари.

Глаза могут не различать цветов. Главное – не была бы «дальтонином» душа. В тот вечер она распахнулась, и я увидел, наконец-то, свои розовые берёзки.

Легенда о Красном становье

Просторы Тарногского района на протяжении десятков вёрст украшает своими омутами и перекатами, заливыными лугами и крутыми склонами (слудами) река Уфтюга с чередой деревенок вблизи её берегов, словно бусинки нанизанных на эту ниточку жизни. Люди широко использовали возможности реки в прошлом. Это и лесосплав, и мельницы, и, разумеется, сенокосы. Луга (наволоки) по берегам реки выкашивались до самых верховий в глухих, нежилых местах. От последней деревни Першина сенокосные угодья отстояли вверх по течению на 15–20 немереных вёрст. Все приметные места в памяти старожилков имеют свои прозвания.

Одно из угодий в верховьях Уфтюги называется Красное становье*, что можно понимать как стоянка на

* Становье – становье, становище (по В.И. Далю) – стан, табор, стоянка, стойбище, место временного приюта, привала, дневки, ночлега обоза, путников, промышленников (охотников – В.Л.); одинокая изба, хутор, заимка, или нарочно срубленная избёнка, крытый сруб, либо землянка для приюта и др.

красивом (баском) месте. С этим удалённым от жилья местом (косцы в сенокосную пору там же и жили в избушке) связана своя быль. Обитали некогда в тех местах беглые люди, подвизались добычей на трактах. Это дороги на Тотьму и Верховажье, на Кокшеньгу и Сухону... На люди выезжали пировать в деревню Цибунинская в двухэтажный дом зажиточного, видимо, хозяина. Такая из поколения в поколение передавалась молва. Можно предположить, что это были остатки пугачёвских отрядов, скрывавшихся на Северах после подавления восстания. Известно, что для искоренения разбоя привлекались солдаты. Разумеется, существует поверье о спрятанном кладе, на который неким образом указывает выбитая на речном валуне стрела. До недавнего времени ещё были здесь заметны выкопанные в красноглинистой слуде ступеньки. Куда-то ведущие ступеньки от Красного становья, уголья привольного и баского...

В каждом уголке, любой местности имеются свои предания и тайны. Память к своей родине – надежда на жизнь и любовь, красная нить нашего бытия.





Михаил Карачёв

Карачёв Михаил Иванович родился в 1953 году в пос. Лаптуг Вологодской области. Окончил Вологодский пединститут. Печатался в коллективных поэтических сборниках, литературных журналах. Автор книг стихов «Птицы издалёка», «На окраине дали далёкой», изданных в Москве и Вологде. Член Союза писателей России. «Тонкость и даже мягкость словестного рисунка неожиданно сочетаются с энергичной широтой и масштабностью восприятия мира», – так определил особенность творческого почерка вологодского поэта выдающийся критик и литературовед В. В. Кожин, первым признавший дар поэта.

тик и литературовед В. В. Кожин, первым признавший дар поэта.

ЭТО ЗЫБКОЕ ВРЕМЯ ЗЕМНОЕ...

* * *



Зачем я жду сердечной укоризны,
Вернувшись в юность, в дальнее село,
Где жизнь прошла, как ожиданье жизни.
Здесь сверстники состарились давно.

Где этот зов живой сердечной воли,
Влекущий в даль, в мерцающий поток!
И почему виденьем чистой боли
Не исчезает матери платок?

Ещё чуть-чуть – сожнётся поколенье,
Спрессуется как бессловесный прах!
Так почему не ужасом, не тленьем, –
Я откликаюсь радостью на страх!

* * *

Не то, что в жизни счастьем слыло,
Что в жизни вешней прорвалось,
Не то для сердца счастьем было,
Душе ночной отозвалось.

Тугою нитью нежной боли
Прочней завяжет свой удел
Тот, кто взыскуя дальней воли,
Почует времени предел.

Так на ветру, в заглохшем поле,
Ещё не сломленный, высок,
Совсем один в чужой неволе
Ржаной тоскует колосок.

* * *

Это хрупкое время не право,
Как ледок на осенней реке,
Что вмерзает в прибрежные травы
И хрустально звенит в ивняке.

Не удержат усталые травы
На остывшем родном берегу,—
Водяною холодною лавой
Унесёт в ледяную шугу...

Первый снег налетает неожиданно
На лесную забытую глушь,
И душа отзывается давним
Ожиданьем безжалостных стуж.

День смеркается. Путник уверенно
Топчет грязь на дороге лесной

И выходит к родимому берегу,
К деревушке за тёмной рекой.

В смоляной леденеющей лодке,
Что по тросу стальному скользит,
Он стоит, опьяневший без водки
И во мглу ледяную глядит.

Над стремниной тягучей, глубокой
Трос качается, лодка скрипит,
И по сердцу скользит одиноко
Одинокость прибрежных раки.

А в лесной затаённой округе
Над забытым жильём, над рекой
Вырастает спящая вьюга,
Оглушая высокой тоской.

И забвенья беспмятный холод
На безудержной тёмной волне
Рвёт и треплет слабеющий повод
В ненадежном скрипящем челне.

Отчего же восторженным стоном
Вырывается вздох из груди
И, сливаясь с окрестностью, тонет,
Оклика в кромешной дали!

* * *

Отпусти меня, жизнь, по течению вверх.
Я забуду всё, я забуду всех.

Отпусти меня домой в утро раннее
На родное крыльцо, в даль туманную.

Отпусти меня домой как мальчика маленького,
Дай заплакать, обнять мою маменьку.

Удержи меня жизнь на родном крыльце,
Майским ветром согрей слезу на лице.

Детский сладкий страх накануне дня
Овладеет мной, далеко маня...

Ода Лаптюгу

Здравствуй, Лаптюг, родной лесопункт,
Ненадёжный хранитель наследства!
Не сберечь тебе родственных пут
Послевоенного детства.

Всё ты отдал родимой стране
Трудового во имя салюта.
Ничего не оставил себе
Кроме бедного в жизни приюта.

Твои дети ушли в города,
Старикам умирать недалече.
И жильё не согреть в холода
Остывающей каменной печи.

Все побиты в округе леса
Молевого весеннего сплава.
Растворилась как дым в небесах
Трудовая победная слава.

Сколько выпито в мае вина!
Сколько плясок в кирзовой обуви!
Не забудь же, родная страна,—
Эта жизнь сожжена на распутье!

И в забвении жизни без слёз,
Под ночным полыхающим небом,
Как архангел, гудит лесовоз
И уносится в вечную небыль.

Так сияй же, небесный чертог,
Оглашайся для памятной славы
Русской пляской кирзовых сапог
На забытых просторах державы!

* * *

Это зыбкое время земное
Не удержит меня на земле.
Всё прощается. Тает родное.
Стынут печи в забытом жильё.

Кличет лебеди в небе глубоком,
Снег весенний восторгом объят!
По утрам глухари за болотом
О любви безнадежной скрипят.

Что мне надо? Поленьев беремя,
И остывшую печь растопить.
Ждать, как звезды в полночное время
Будут в потные окна светить.

И ночные душевные силы
Всё обнимут в сиянии ночном.
И засохшие старые ивы
Зашумят за холодным окном.

* * *

Утихнет сердечная смута.
Тревожный расступится воздух.
В застывшую эту минуту
Далёкий даруется отдых.

Недолгое это мгновенье
Догонят отставшие годы,
И дом в позабытом селенье
Наполнится снова народом.

И плачут знакомые лица
И голоса над столами,
И законная птица
На свет ударяет крылами!..

Но это недолго продлится,
И в хаосе зреет восстанье:
Неведомой силой томится
Грядущее ожиданье.

Так юное сердце томится
Безмерностью тающей жизни
И в чуждые дали стремится,
Родные забыв укоризны.

Так буря несёт с чернозёмом
Иссохшее старое семя
И рвёт, и терзает, не внемля,
Мечтаньям о мире зелёном.

Мерцает бессмертная сила
В туманах небесного света,
Но кровь холодеет по жилам,
Живого не слыша привета.

И снова сердечным тиранством
Срывает родимые звенья
И в согнутом, мутном пространстве
Гудит и терзает забвенья!

* * *

Помнишь – усталые травы
Никли к литым сапогам,
А у речной переправы
Волны ласкались к ногам.

Помнишь ли – первые льдины
Плавно несло по реке.
Край лесовой, нелюдимый
Весь отдавался тоске.

Скудость предзимнего света
И неотчетливый страх.
Крикнешь – не слышно ответа
В мёрзлых туманных лесах.

Надо успеть к перекрёстку,
К шуму на том берегу,
И на попутной трёхоске
Ехать и ехать во мглу,

К дому за дальним болотом,
Там, где за тусклым окном
После домашней работы
Молится мать перед сном.

Скоро морозы – как праздник!
Мёрзнет дорожная грязь,
Но в колее непролазной
Глохнет машина. Вылазь!

Дальше пешком... Серебристый
Воздух с высоких равнин!
Небо открылось! За мгlistой
Далью мерцающей, близкой,
В доме под крышей земlistой
Жизнь и забвенье равны.

* * *

Старый тополь первый встретил,
Расшумелся мне в ответ.
Ты узнал меня, приветил
Через тридцать с лишним лет.

Это старое селенье
С белым храмом у реки
Бережёт мои волненья
Давней радостной тоски.

В этом времени забытом
Я один ещё живу
В мире радостном, сокрытом,
Безответном наяву...

Незнакомые мне дети
Молча смотрят на меня.
Был и я на белом свете
Неразумное дитя.

И не знал пути-дороги,
И не ведал ничего
Кроме маминой тревоги,
Кроме счастья своего.

Жизнь разветится в безмерный
Мир беззлобно и легко.

Только тополь вспомнит верный
Всех, ушедших далеко.

Старый тополь, грустью вечной
Для чего мне сердце мнёшь
И листвой своей беспечной
В невозможное зовёшь!

* * *

Усни, тревожное сознание,
Не снитесь тягостные сны.
Все сожаленья, воспоминанья
В ночной туман угнетены.

Разбудит солнечное утро
Восторгом листьев молодых.
Всё, что в душе томилось мутно,
Растает в радостях простых.

Всё возвращается отныне.
Сияет солнце в потолок!
В старинном доме, в мезонине,
Окно выходит на восток.

А за окном поля родные
Ещё полны мерцаньем рос!
И папа с мамой молодые
Идут на дальний сенокос.

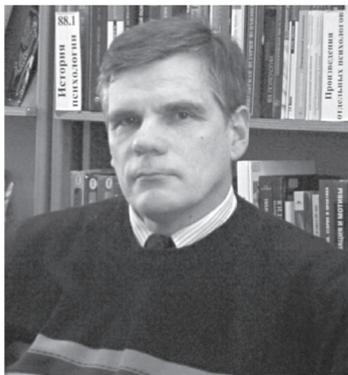
И я веселый и ушастый,
Машинкой стрижен наголо,
Бегу вослед, давясь от счастья,
Пока не скрылись далеко.

...И только эхом перекатным
Даль возвращает: мама... мам...
Как выдох жизни безвозвратный
Клубится тающий туман.

Туман сияющий сгорает,
И даль распахнута в поля!
И жизнь моя живая тает,
Живая тает жизнь моя.

2018





Николай Устюжанин

Устюжанин Николай – прозаик, член Союза писателей России с 1999 года. Его произведения выходили в журналах «Вологодский ЛАД», «Родная Кубань», «Бийский вестник», альманахе «Каменная птица папоротья» и других изданиях. Живёт в Вологде.

КОРОТКИЕ РАССКАЗЫ

Нам, гагарам...

17 ноября 1982 года капитан Гагара, командир батареи ПВО учебной части под Харьковом, проснулся рано: позавчера страна простилась с Генеральным секретарем Леонидом Ильичом Брежневым, а сегодня надо было заменить его большой портрет над аркой у входа в батарею.

Вооружившись складной лестницей, Гагара, – широкий грек со смоляными волосами, темными глазами и трубным голосом, – снял фото почившего генсека, отдал его солдату, а на освободившееся место деловито повесил рамку с изображением нового Генерального – Юрия Владимировича Андропова.

«Нам, гагарам, недоступно наслаждение битвой жизни...», – напевал он себе под нос, но так громко, что в самых дальних углах казармы можно было услышать его бас.

9 февраля 1984 года Андропов умер. Спустя неделю Гагара, мрачный и взъерошенный, – то ли от слухов, то

ли от недосыпа, молча, но с видимым раздражением прикрепил на насиженное место портрет полумертвого Константина Устиновича Черненко, немного успокоился, проверив издали свою работу, и угрожающе просипел: «Нам, гагарам, недоступно наслажденье...»

10 марта 1985 года умер Черненко. Через три дня Гагара, уже ставший майором, возмущенно стуча сапогами по деревянному полу, приволок лестницу, снял портрет, грохоча на всю казарму: «Вот ведь, мать, какое дело, к нам, гагарам, прилетело!..» и взял из рук прапорщика завернутый в серую бумагу прямоугольник. «Сейчас Горбачева повесит!» – шептались солдаты, но промахнулись: майор раскрыл «новинку» – это была всем знакомая фотография Владимира Ильича Ленина. Энергичное движение рук – и вождь мирового пролетариата устремил строгий взор в сторону умывальной комнаты.

«Ну, все!» – Гагара с облегчением выдохнул воздух, складывая лестницу и, беря ее под мышку, протрубил: «Больше сюда лезть не придется – этот точно не умрет, всем ясно?! Будет висеть здесь вечно!» – И, подхватив из рук помощника перевернутое лицо покойного секретаря, бодро зашагал к выходу:

– Нам, гагарам...

Шурик

На окраине нашей части стоял одноэтажный домик из белого кирпича. Его окна были зарешечены, а входная железная дверь закрывалась на два замка. Мы еще не знали, что это пункт военной цензуры – были заняты другим: ходили в наряды, борясь со сном и голодом, заучивали параграфы устава, занимались физподготовкой и знакомились с техникой. Первые месяцы службы – самые изматывающие.

Совсем редкими были минуты отдыха – нам позволялось сидеть в Ленинской комнате, на стенах которой

висели патриотические плакаты и лики вождей, а в красном углу, – красном потому, что он был занавешен красной материей, – стоял белый бюст главного вождя. Здесь мы, сидя за столами, сочиняли письма.

Самым большим любителем сочинительства был Шурик, – солдат неизвестной национальности, нескладный альбинос в рыжих конопушках. На самом деле, его звали Василий Шуряк, но прозвище вытеснило его подлинное имя. Да и как иначе: Шурик был посмешищем и тоской батареи. За что он ни брался – все валилось из его длинных крючковатых рук: картошку чистить он не умел, тарелки мыть – тоже, а к оружию его не подпускали после первого же караула – Шурик, не проснувшись, во время тревоги выскочил навстречу дежурному майору не с автоматом, а с лопатой в руке. О строевой подготовке и говорить нечего – на наши занятия приходили смотреть, как на цирковое представление. Солировал, конечно же, Шурик.

С восьми до девяти часов вечера (до программы «Время») нам предоставлялся так называемый «личный час», но не всегда – иногда начальство усаживало солдат на табуретки и проводило политические занятия прямо в коридоре.

Во время одного из таких политзанятий и произошло событие, о котором еще долго говорили в части.

К нам пожаловал сам замполит, полковник Фантик, – его фамилия была причудливой и редкой даже для Украины.

Фантик был толст, самодоволен и медлителен. Его губы, похожие на галушки, презрительно сжимались, а черные бегающие глазки невозможно было поймать взглядом.

Полковник прокашлялся, вытащил из-за пазухи лист бумаги и учительским тоном произнес:

– Некоторые из вас не до конца представляют, что такое воинская служба. И потому позволяют себе...

Тут Фантик споткнулся, задумался, пожевал губами и продолжил:

– Неуставные письма.

Батарейные остриженные головы насторожились и перестали раскачиваться.

– Рядовой Шуряк, встаньте!

Шурик резко поднялся, с шумом опрокинув табуретку. Полковник, поморщившись, не глядя на него, развернул листок:

– Вот что пишет рядовой Шуряк своей маме...

По рядам пронесся легкий шелест.

– Здравствуй, мамо! Все у меня хорошо, добрая моя! Я тебе уже говорил, что служим мы в страшно секретной части – учимся сбивать самолеты, вертолеты и прочие... неразборчиво... Я уже получил первый классный разряд!

Табуретки заскрипели от ерзанья: значок первого разряда был только у старшего сержанта Молотилко – он, приподнявшись и выпучив глаза, хотел что-то сказать Шурику, но, глянув на полковника, передумал и опустился на свое место.

– После учений меня благодарил генерал Карелин – сказал, что таким снайпером часть может гордиться. Еще бы! Я сбил несколько мишеней с первого выстрела!

Солдаты не выдержали и загоготали. Полковник Фантик нахмурился, но не остановился:

– Скажу тебе по секрету, мамо: мы уже были в Афганистане, – ездили на месяц, – и там я сразу уничтожил несколько самолетов. Наверное, мне дадут орден.

Батарея хохотала уже в полный голос: солдаты, откинувшись в стороны, давились от смеха: «Во дает!» Даже капитан Гагара вытирал слезы – у моджахедов самолеты не летали даже в сладких снах полевых командиров.

– А вообще меня здесь здесь любят!

Кто-то упал с табурета. На Шурика больно было смотреть – он, криво опустив голову, вздрагивал плечами. Ноги его дрожали.

– В столовой мне дают три порции масла – говорят, что такому богатырю не жалко.

В казарме гремело настоящее веселье: солдаты падали друг другу на руки, сержанты ржали, а капитан Гагара даже стал чихать от смеха.

– Пока кончаю письмо. Целую, мамо!

Фантик свернул листок в трубочку и, угрожая Шурику и нам, запищал фальцетом:

– Вы у меня не смеяться, а плакать будете! Развели тут... неразборчиво... мутотень.

Полковник повернулся и в сопровождении пунцового капитана Гагары отбыл из казармы. Вслед за его тяжелыми шагами удалялось куда-то вдаль и затухающее, уже тревожное, многоголосье.

Через неделю Шурик был отправлен в Афганистан.

Выбор

Мой наивный интернационализм слетел в советской армии быстро, как сухой лист. Солдаты сразу разбрелись по национальным квартирам: гордецы-прибалты сторонились всех, горцы общались с земляками старшего призыва и тут же попадали под их защиту, грузины пристраивали друг друга в каптеры, даже узбеки прильнули к столовой, одни русские служили по уставу.

С местными – то ли украинцами, то ли русскими – мы сталкивались редко, хотя украинские упитанные прапорщики даже на службе отличились скопидомством и своеобразной рачительностью: тянули в хаты все, что плохо или хорошо лежало.

Во время редких увольнительных в разговорах с аборигенами выяснилось, что национальный вопрос тлеет даже здесь, в местности, населенной преимущественно русскими: сюда время от времени высаживался десант из самостийников в вышиванках. Они кричали что-то о незаленной, цитировали Тараса Шевченко, но на них смотрели как на экзотику. Впрочем, и в Богодухове украинская общинность потаенно складывалась и заявляла о себе.

Но по-настоящему с «жовто-блакитными» я столкнулся уже в Киеве и под Борисполем – своей подлостью и ожесточенной ненавистью к русским они удивляли даже гортанных «детей гор». Вести, приходившие из разных военных частей, где заправляли, как мне объяснили, самые настоящие бандеровцы, были ужасны: первогодки там стрелялись, вешались, в лучшем случае просто убегали.

В Киев я прибыл уже «черпаком», но и на втором году службы мне приходилось лезть в драку – «москалей» они за людей не считали.

В бориспольских лесах взаимная ненависть вспыхнула с новой силой: бандеровцы унижали не только солдат, они избили и молодого лейтенанта-«пиджака», чем-то им не угодившего.

Вскоре меня, как и всех, отслуживших полтора года после института, направили на офицерские курсы в Кривой Рог. Между прочим, курсанты там, в большинстве своем, оказались русскими.

Через полтора месяца на плацу стоял огромный «квадрат» из парадных, но видавших виды солдатских мундиров с сержантскими нашивками на погонах – «звездочки» нам могли светить сразу только на сверхсрочной.

Толстопузый и лысый полковник, раздобревший на легкой службе начальника курсов, тяжело переступал с ноги на ногу напротив нетерпеливых «дембелей». Почувствовав, что в строе назревает нецензурщина, он замер, потом выпрямился и гаркнул:

– Товарищи будущие офицеры! У каждого из вас есть прекрасная возможность стать кадровыми военными. Кто согласится остаться на сверхсрочную службу, получит офицерские погоны, должность и жилье. Помедлив, он скомандовал:

– Кто желает служить на земле Советской Украины, шаг вперед!

«Квадрат» не шелохнулся. Полковник стал ждать, но из строя так никто и не вышел.

Тогда, в июне 1984-го, мы свой выбор сделали.

«Я буду век ему верна...»

Уже третье столетие подряд школяры, вслед за учителями, восхищаются поступком Татьяны Лариной: «Но я другому отдана; я буду век ему верна».

Зря восхищаются!

Во-первых: «Я вас люблю, к чему лукавить?» – любит она все-таки Онегина, а не мужа.

Во-вторых, «минута злая» для бедного генерала обернется годами и десятилетиями так называемого «семейного счастья», – можно обмануть кого угодно, но не сердце, «сыграть любовь» нельзя.

И в-третьих, с возрастом приходит понимание, что любящую женщину ничто не остановит – ни совесть, ни брачные узы, ни государственные границы, ни – страшно сказать – даже религия. Потому что истинной верой для женщины может быть только любовь...

Не знаю, почему я обратил внимание именно на нее, – оттого ли, что облик ее показался близким, или из-за того, что душа моя была готова к этому знакомству – теперь уже и не вспомнить.

Что-то притягательное было в ней, на вид сверстнице, двадцатилетней девушке, стоящей в коричневой дубленке у железнодорожной кассы прямо передо мной. Ее рыжеватые волосы, длиной чуть ниже пояса, пахли полевыми цветами, хотя на дворе стояла зима. Когда она поворачивалась в профиль, я успевал заметить и еле видный пушок над слегка накрашенными губами, и внимательный взгляд чуть зеленоватых глаз, и волнительный завиток ее прически возле крохотного, совсем детского, ушка.

Она была почти одного со мной роста, под тонкой шубой была укрыта девичья фигурка, а узкие сапожки обещали когда-нибудь раскрыть и показать ее ровные пленительные ноги.

Мы оказались в одном купе плацкартного вагона, – места находились на противоположных верхних полках, – но

до отхода ко сну уселись внизу, тем более что и ехали мы в одном направлении, правда, в разные соседние города.

Собственно, знакомство наше состоялось еще на вокзале, когда я предложил поднести ее длинную сумку, и она откликнулась, — как будто ждала от меня этой любезности.

Мы сидели друг против друга и радостно беседовали обо всем и ни о чем, и не замечали ни соседей, — семейную пару бесцветного вида, ни темнеющего пейзажа за окном, — мы были поглощены только собой и никак не могли наговориться.

Я ехал в свою первую командировку, моя спутница — в гости, но все это не имело почти никакого значения, мы были упоены даже не разговором, а блеском счастливых глаз, улыбками, и еще каким-то необыкновенным доверием, абсолютной открытостью, — всем тем, что называется узнаванием.

Мы как будто знали друг друга в раннем детстве, только встретились сейчас, когда юность предъявила нам свои властные права.

Все, о чем говорила она, было мне дорого; я чувствовал, что и мои слова отзываются в ней теплым и радостным откликом.

Во мне проснулись сразу все таланты: я читал наизусть стихи, рассказывал таинственные истории, даже тихо пел, наклонившись к ее трогательному ушку... она восхищалась мной — ей незачем было лукавить.

Мы даже не заметили, как соединились наши руки — так естественно и уютно это произошло.

В вагоне почти все уже спали, а мы не замечали никого вокруг — сомлевшие супруги покашливанием пытались разбудить нас сначала намеками, а потом обратились на прямую.

Я расстилал ее постель, а она стояла сбоку в проходе, покачиваясь, взявшись за поручень, и я видел, что ей приятна моя забота.

Через несколько минут мы молчали, встретившись взглядами уже на верхних полках, и держали друг друга за ладони – больше нам ничего не было нужно...

Ранним утром, одновременно проснувшись, мы продолжили разговор полупшепотом, стремясь как можно быстрее сказать все самое важное. Тут и выяснилось, что ехала она не просто в гости, а к своему жениху и его родителям.

Я, как интеллигент, конечно же, восхитился его и ее выбором, пожелал ей счастья, на что она ответила с тихой грустью: «Теперь я не уверена, что он – тот человек, который мне нужен».

Я принялся горячо разубеждать ее, – не только из-за мужской солидарности, но и по инерции, – она не могла совершить худого поступка, слишком были хороши и она сама, и ее душа, ставшая мне близкой, и вдруг сразу такой далекой... Она слушала меня, кивая головой, но глаза ее были печальны.

Перрон моего города уже показался в окне, я стал прощаться, но девушка схватила мои руки и никак не хотела их отпускать – она смотрела мне в лицо таким взглядом, о котором, как сейчас понимаю, можно было только мечтать. В нем было все: и просьба, и досада на мою уклончивость, и бесконечная нежность, и радость, и страх, и еще многое, недоступное моему юношескому рассудку.

Я все-таки попрощался, еще раз пожелав ей счастья – она еле видимым движением подалась ко мне всем телом, но когда я стал отдаляться, сникла, потухла, словно сказав самой себе прощальное «нет»...

Я шел рядом с вокзалом, среди звуков гремящих вагонов, ехидно посвистывающих локомотивов, ругающихся в динамиках диспетчеров, и считал себя настоящим джентльменом, пропустившим даму перед собой. Я был горд, хотя сердце почему-то ныло в груди, – горд тем, что не разрушил чужое счастье, соединил невесту и ее счастливого будущего мужа.

Теперь я так не думаю.

Мимо стройных колонн

Есть в моей душе воспоминание, которое возвращается всякий раз, когда я проезжаю мимо небольшого вокзала с белыми колоннами и бюстом адмирала Лазарева, – вокзала, в котором нам так и не суждено было встретиться...

Тридцать лет назад я был молод и ухаживал сразу за тремя девицами, две из которых были ко мне неравнодушны, но и только, а вот третья...

Она принимала ухаживания с какой-то странной пренебрежительностью, из-за которой все во мне протестовало, но я, не показывая виду, продолжал ходить за ней, как по пятам.

Ее лицо с огромными коричневыми глазами, темными бровями и румяными щечками было похоже на расписной анфас матрешки, но фигура казалась совсем не игрушечной, а живой, телесной и томительной. Изумительные линии ножек переходили в тонкую талию с такими нежными округлыми холмиками выше, что глазам было больно от одного только взгляда на них. Но более всего меня волновала ее стопа – крошечная, легкая и беззащитная, в отличие от своей хозяйки, иногда выпускавшей коготки.

Мы бродили по городскому парку с высокими березами и липами и молчали – все уже было сказано самой молодостью, весной и той затаенной надеждой, о которой написаны тысячи стихов.

Иногда нас тянуло к речной набережной, почти у самого края которой оканчивалась лестница, восходящая к старинному храму. Так и казалось, что мы сейчас взойдем по ней к аналою, словно жених и невеста, нарядные, взволнованные, счастливые... Может быть, не только мне мерещилась эта фантастическая картина?

Порой мы оказывались в здании краеведческого музея, где любили смотреть на икону восхитительной красоты... Сразу несколько святых ходили по кругу возле затемненного гроба, и было в этом хороводе что-то совсем не страшное, а наоборот, радостное и светлое.

– Какие одухотворенные лики! – восторгалась она и медленно шла дальше мимо разложенных на столах черных и цветных досок, каждая из которых могла стать венчальной.

Нас почему-то не смущала недоговоренность в отношениях, но мне, при всей юношеской пылкости, невозможными казались движения навстречу – такой непрístupной она была со мной.

Однажды я напросился в ее квартиру, и она приняла гостя радушно и просто, но мне почему-то стало неловко, и эта неловкость вдруг взбудрила меня.

– Вы всегда такой наедине? – спрашивала она, насмешливо, но тонко улыбаясь, глядя на мою проснувшуюся вдруг неестественную развязность.

– Всегда, – лгал я, и тут же верил в свою ложь.

– Говорят, вы собираетесь жениться на... Она назвала имя одной из моих безнадежных пассий.

– Что вы, это просто сплетни, даже не думаю об этом! – с жаром возмущался я.

Моя странная собеседница снова молчала, и было в этом молчании что-то стыдное и, опять же, недоговоренное.

– Что вы будете делать летом? – спрашивал я ее без надежды.

– Уеду в отпуск в Лазаревское. Бываю там каждый год, люблю это место, – отвечала она, и лицо ее светилось радостью.

– Тогда я найду вас там.

Ответа не последовало, лишь чуть склоненная голова говорила то ли о сомнении, то ли о согласии...

Я уехал от нее и был уверен, что все делаю правильно, но в чужом и враждебном городе мне стало вдруг так плохо, одиноко, горько и почти смертельно, что я затосковал о ней всем сердцем.

Я вспомнил розовое утро в дальнем заброшенном монастыре, где мы в полной тишине рассматривали резной

иконостас с деревянными скульптурами. Великой застывшей молитвой был этот иконостас, над которым местные мастера трудились всю жизнь. Взлетевший от каменного пола до самого купола, он был похож на огромную сплетенную свечу, уходящую в небо.

– Есть в нем что-то нечеловеческое, божественное, вы чувствуете это? – спрашивала она шепотом и одновременно вопросительным взглядом.

– Да, – откликнулся я, с восторгом глядя и на творение рук человеческих, и на блеск ее темных, но теплых глаз. – Верили же люди!

Я шел за ней и смотрел, как осторожно и неслышно она ступает на пол в гулком храме, и не мог налюбоваться ее фигурой, вырезанной рукой творца, познавшего тайну совершенства...

...Я забросал ее письмами, переполненными нежными чувствами, восторгами и болью, но не получил ответа ни на одно из них.

Я звонил ей, но она бросала трубку.

И теперь не могу без тяжелой грусти смотреть на этот вокзал, когда проезжаю мимо стройных колонн, золотистого Лазарева в мундире с эполетами на высоком постаменте, и с клумбами возле него.

Я был молод...

Венчание

Москва всегда была шумливой, взъерошенной, уставшей от приезжих. «Базар-вокзал», что с нее взять... В середине 90-х московский базар раздулся, как флюс. К каждой станции метро прилипли торговые ряды из палаток с сомнительными продуктами. Народ был беден, и поэтому «отоваривался» здесь.

Но была и другая, благодатная сторона в тогдашних бедствиях – неофиты потянулись в церковь.

Я ходил в храм Михаила Архангела на юго-западе столицы. В один из дней, зайдя в него и почти сразу услышав возглас: «Отче наш!..», я удивленно посмотрел на циферблат – службу почему-то перенесли на час раньше.

В церкви было тесно и как-то неуютно: сквозь толпу прихожан протискивались репортеры с камерами, было много незнакомых лиц, жующих жвачку и тихо переговаривающихся по дорогим и редким тогда сотовым телефонам, – все они были одеты в темные пальто из тонкого сукна.

Служба закончилась. Толстый седобородый отец Ярослав вышел на амвон и объявил:

– Братья и сестры! Прошу вас освободить храм, нам надо подготовиться к венчанию.

Верующие послушно вышли, некоторые остались стоять у входа, предвкушая зрелище. Я собрался было уйти, как вдруг громкое покашливание из репродукторов заставило меня замереть: у входа на храмовую территорию возле машины с усилителями сверкали на солнце два белых «линкольна», стоял автобус, два грузовика, карета «скорой», а все вокруг было перекрыто ограждениями, возле которых дежурили милиционеры.

Зеваки зашевелились:

– Слышали, Жириновский будет венчаться?

– Сын?

– Нет, он сам.

– Для полного счастья ему еще нужно совершить обряд обрезания! – едко заметил мужчина, похожий на былинного богатыря.

Динамики неестественно радостным голосом завопили:

– К нам приехал, к нам приехал Владимир Вольфович, дорогой!

То ли цыганский, то ли народный хор торжественно запел, приплясывая на открытой платформе грузовика.

Толпа ахнула: на тройке белых коней ворвались в проезд Владимир Вольфович в «жириновке» и его свита.

«Жених» стал разбрасывать купюры, мальчишки, отталкивая друг друга, бросились их подбирать.

– Мало, мало! – усмехался тусовочный голос ведущего. – Еще!

Вверх полетели монеты, зеваки не выдержали и стали их ловить, размахивая ладонями с растопыренными пальцами.

Из «линкольна» вышла странная пара: пожилой иностранец в бабочке, ведущий под руку высохшую спутницу.

– Это Ле Пэн! – шушукались соседи.

Наконец, ворота распахнулись, и тройка, подъехав к нам под переливчатое дребезжание колоколов, остановилась у входа в храм. Жириновский, подхватив руку жены в длинной снежной перчатке и самодовольно поджав тонкие губы, последовал внутрь. Белая ажурная шляпка Галины Жириновской заколыхалась – «новобрачных» чуть не смяли фото- и телерепортеры.

Церковные двери закрылись. Толпа любопытствующих подхватила меня и понесла к боковому входу с широкой стеклянной рамой. Напирали со всех сторон. Была слышна английская речь: зазевавшиеся американские журналисты тщетно поднимали на руках свои видеокамеры – наши оказались выше ростом.

Вдруг в мою спину кто-то стал отчаянно и грубо толкаться:

– Я депутат Государственной Думы Митрофанов! Требую меня пропустить, вот удостоверение!

Диабетического вида мужчина в очках, на возмущенном лице которого ходуном ходили большие черные брови, не смог добиться своего – толпа равнодушно и одновременно презрительно стояла, почти не шевелясь.

Я увидел сквозь стекло, как возле иконостаса бегали старушки в служебных халатах, вениками отгоняя от икон обнаглевших операторов, установивших свои лестницы прямо на амвоне, – они пытались направить аппараты на «молодых», повернувшись спиной к алтарю.

Старушки были неумолимы – лесенки пришлось сложить.

Венчание началось. Батюшка Ярослав водил чету вокруг аналая, потом над ними стали держать венцы:

– Венчается раб Божий Владимир и раба Божия Галина!

Прильнувшие к окнам комментировали:

– Вон, короны уже надели.

– Жалеет, наверное, что не царские!

Мне, наконец, удалось выбраться из людской массы. Я пошел в сторону метро и слышал, как взревел хор:

– Многая лета!

Еще через минуту заиграла мелодия из песни «Серебряные свадьбы», и на ее фоне ведущий стал перечислять:

– Получены поздравления от всех женщин: от Франции до Японии!

– Только что пришло поздравление от министра обороны Павла Грачева.

– От всех поздравления, от всего мира!

– Владимир Вольфович благодарит Русскую православную церковь, ее священство, за ритуал.

– Слово имеет олимпийская чемпионка по гимнастике...

И снова звучал хор, потом стали петь акафисты, продолжался колокольный звон.

На лужайке между храмом и переходом метро выгуливали собачек две девушки-модницы, по возрасту школьницы. Одна вела на поводке пуделя, другая – таксу:

– Ты не знаешь, чего это там, у церкви делается?

– Да это Жириновского отпевают!..

Карбонат

Вот уж не думал, что когда-нибудь окажусь на Рублевке! И не где-нибудь, а на самом настоящем съезде... Коммунистической партии Российской Федерации.

Тогда, в начале нулевых, компартия учредила что-то вроде союза патриотических сил, стремясь собрать в единый кулак всех патриотов – дело, как учит история, благородное, но абсолютно неосуществимое: сколько у нас людей, столько и партий.

Пригласили меня – то ли в качестве вологодского гостя, то ли наблюдателя; в общем, в статусе празднотающего.

Возле станции метро гостей поджидал «Мерседес», – автобус с тонированными стеклами, который и повез нас в самый дорогой поселок элиты, Жуковку. По пути я с изумлением разглядывал частные трех-, пяти- и даже девятиэтажные (!) дворцы, стремящиеся хоть как-то приподняться над высотным забором, чем-то напоминающим Кремлевскую стену. У ворот олигархических владений дежурили охранники в черных костюмах, обязательных белых рубашках и галстуках – они изнывали на солнце-пеке, но стойко переносили «тяготы и лишения» своей холуйской службы.

Жуковка оказалась неожиданно скромной снаружи, словно путана у входа в «Метрополь», а вот внутри...

Я сразу понял, что такое богатство вижу в первый и в последний раз... Гостиница в центре поселка походила на американский круизный лайнер – в ней было *всё*, и *всё* это было построено и оборудовано по высшему разряду. Если паркет – то из самых ценных пород дерева, инкрустированный с удивительным изяществом; если блистающие двери – то такой красоты, что даже урод в них смотрелся бы душкой; если картины на стенах – то подлинники итальянских мастеров; если сады – то висящие, парящие и благоухающие немислимыми запахами; если девушки обслуги – то такой внешности, от которой таяла душа.

До начала мероприятия оставался час. За это время я почти потерял дар речи, способность здраво мыслить и внятно смотреть. Единственное, что во мне еще сохранялось – это чувство голода. Ведомый желанием, я отыскал на первом этаже буфет, больше похожий на дворцовую

палату. За стойками в свете ламп переливались высокоградусные бутылки всех марок, за стеклами витрин манили живописно разложенные деликатесы.

Я выбрал из неизвестных и знакомых названий самый тонкий бутерброд с карбонатом и заказал к нему чашечку кофе. На ценник даже не посмотрел – в кармане лежали заработанные за целый месяц деньги, а заодно и обратный билет. Через мгновение с зарплатой мне пришлось расстаться...

Я давился карбонатом, сидя за столиком, и лихорадочно соображал, пытаясь вспомнить, в какие эмпиреи упорхнул мой рассудок.

Звонок вернул к действительности – надо было идти в конференц-зал. Там, сидя в кресле с краю, я стал разглядывать делегатов.

В президиуме разместились три Геннадия: вождь Зюганов, спикер Селезнев, – они приехали на черных «Ауди» в милицейском сопровождении; «красный» предприниматель Семигин, а также Сажи Умалатова, стойкая защитница СССР.

В зале я тоже искал знакомые лица, и нашел: это были актеры Елена Драпеко, бессмертная Лиза Бричкина, и Иван Рыжов, «дед всяя Руси».

Заседание началось. Выступления, указанные в программе, шли чередом, все – по теме, но ораторов тянуло совершенно в разные стороны: один призывал уничтожить олигархов, другой – их приручить, третий клеймил церковь, четвертый хвастался знакомством с Патриархом, пятая укоряла мужчин... не помню за что, но правильно – нечего увлекаться бесполезными разговорами.

В антракте... ой, извините, в перерыве, коммунисты, сочувствующие и все остальные тонкими струйками просочились в ресторан.

Ах, что это был за ресторан! Светлый, яркий, зеркальный, музыкальный, – за роялем играл Шопена лауреат международных конкурсов, наверное, для поддержания

аппетита. А какие лакомства нам предлагались! Половину из них я видел впервые.

Официантки, приглашенные, вероятно, прямо с конкурса красоты, вручили нам папки с меню. Я, по скромности, заказал борщ, мои случайные спутники оказались бойчее – аромат их блюд словами было не передать, только междометиями.

Вволю загрузившись съестным, мы вышли в фойе, и тут...

Лучше бы я не видел этого изобилия: на белоснежных длинных столах, стоящих вдоль стен, была выставлена бесплатная снедь и горячительное всех типов и расцветок: армянские, греческие и французские коньячные бутылки; бокалы с шампанским, винами и водкой; фрукты, сладости и бутерброды всех видов: черная икра, красная, балык, осетрина, сервелат...

Карбонат!..

Настроение резко испортилось. Еле досидев до конца, я выскочил на свежий воздух, где на парковке тихо мурлыкал автобус. Через час я очутился в том же самом месте, откуда и начиналось незабываемое путешествие – у перехода в метро.

На память у меня остался выданный всем участникам съезда небольшой синий пластиковый портфель с блокнотом и ручкой внутри – подарок от Геннадия Андреевича Зюганова.

И на том спасибо.

Судьба

Областная делегация подъехала к зданию Российской государственной библиотеки. Наш автобус еле-еле протиснулся в её ворота с Воздвиженки, едва не задев возмущенно гудящие иномарки, и остановился во двореке с клумбой, присыпанной тонким пухом оттепельного снега.

Мы впервые оказались в чреве «Ленинки», запутанной в своих коридорах до такой степени, что гостей пришлось чуть ли не за руку вести по лестницам среди стеллажей, заполненных чёрными и коричневыми книгами. Деревянные перила лестниц, старинный паркет и зелёные ковры, приглушавшие звуки шагов, словно перенесли нас во времена основательной и богатой сталинской архитектуры. Усилили это впечатление и розовые с серыми прожилками мраморные колонны, подпиравшие высокий потолок конференц-зала.

И этот запах, неповторимый библиотечный запах!.. Кто побывал здесь хотя бы раз, навсегда запомнит дух, исходящий от многомиллионных страниц прошедших эпох.

Библиотеки чем-то похожи на кладбища... Металлические полки с надписями «Политпросвещение», «Марксизм-Ленинизм», «Политэкономия», вроде бы, подтверждали эту мысль, но... не торопись, бранный человек: кто знает, может, пригодятся ещё эти кладовые.

До события, повсеместно называемого презентацией, оставалось целых три часа, и нас отправили в столовую, несколько не изменившуюся с того дня, когда я в первый раз открыл массивные двери главной в своей жизни библиотеки. Тридцать лет назад я так же боялся поскользнуться на уходящих в подвал ступенях, отполированных ногами учёных мужей, так же стоял в очереди, выбирая еду подешевле... И столики те же, и подносы, и нетерпеливая женщина-кассир по-прежнему грозно сидит на своём непреходящем возвышении.

На втором этаже каталогов уже нет, но неизменные читальные залы с деревянными стульями ждут теперь уже редких посетителей...

Кажется, ещё вчера я искал твою причёску в главном читальном зале... Как сейчас вижу: светлые волосы, озорной взгляд из-под ресниц, девичья открытость будущему счастью... Как же я хотел рассказать всё о твоей душе, бесценной которой тогда для меня не было ничего! Когда

ты, воздушная и нежная, вставала из-за стола и, прижав к маленькой груди стопку книг, шла в коротком голубом платье по длинному ковру, всё моё существо таяло...

Мы бродили по зимним столичным улицам, о чём-то бесконечно говорили, а я тайком любовался тобой. Однажды ты явилась в библиотеку в новой белоснежной дублёрке, похожей на те, в которых ходят снегурочки, и я с невольной ревностью заметил, какими взглядами провожают тебя юноши и мужчины...

Помню холодный московский вечер... Мы спаслись от мороза в метро «Кропоткинская», и ты, прислонясь спиной к колонне, ждала, как сейчас понимаю, поцелуя, играя глазами и мысленно вопрошая: «Ну, что же ты?..»

Я так и не решился поцеловать тебя тогда, так и не смог переступить через восхищение и преклонение пред тобой. И сейчас, в глубине времени, бесконечно жалею об этом.

Никакие знания не перевесят опыт жизни, никакие успехи не заменят того мига, когда золотые искорки вспыхивают в глазах той самой единственной, всем сердцем желанной и неуловимой...

Прости за это, судьба. Поступи я тогда по-иному, жизнь повернула бы в другую сторону. А может, всё повторилось бы так, как задумано не нами, а *Тем*, кто ведает будущим... Всё равно, прости.

Хотя забыть тот небесный зал, и то видение в голубом платье я не смогу даже за пределом, после которого наступит вечность.





Александр Цыганов

Цыганов Александр Александрович родился в 1955 году в Вологодской области в дер. Блиново, недалеко от Ферапонтова, в местах, о которых Н.М. Рубцов сказал: «...что-то Божье в земной красоте». После окончания Ферапонтовской средней школы учился в автотоклубе, трудился в совхозе «Родина» слесарем, рабочим. Служил в ракетных войсках стратегического назначения. Окончил филологический факультет Вологодского педагогического института. Александр

Цыганов – автор ряда прозаических книг, вышедших в региональных и центральных издательствах страны, в т. ч. в Северо-Западном книжном издательстве, «Молодой гвардии». Лауреат литературных премий МВД СССР и МВД РФ, Государственной премии Вологодской области по литературе, Международной премии «Филантроп». Член Союза писателей СССР и России с 1989 года. Живет в Вологде.

КАРТОШКА

*...Там на картошке с хлебом
Я вырос такой большой.*

Николай Рубцов

Домой мне удалось вырваться как раз к уборке картошки. Вдвоем отцу с матерью было уже тяжело пластаться на огороде, а садили они с прежним расчетом, как в лучшие дни, когда за домашним столом вместе со мной хороводились еще двое братьев, Игорь и Николай, двойняшки-«боевики», служившие сейчас срочную на чужой стороне...

Было раннее утро, когда мы, позавтракав, вышли к нашему огороду. Я всю жизнь не перестаю изумляться родительскому истовому трудолюбию!

Сразу же возле дома сарайка из добротных, аккуратно подобранных плах, под дрова – их доверху. В летнее и раннеосеннее время отец расшибает обшивку сруба через плаху, чтобы дрова там не застоялись-не залежались, не подгнили, чтобы ветерок оставил в них первозданную свежесть и крепость, тепло.

Слева еще две сарайки: под сено первая, а другая – хлев для коровы Мурашки, нетелки Красавки и пяти ухаженных, точно после химической завивки, овечек.

И все это – сколочено-сделано на славу, надежно и ладно. Ни щелочки лишней, ни гвоздя ненужного. Заглянешь в сеник – дух захватывает, в сено опрокинешься, а вверху, на поперечине, веники, как птицы, висят. Глубже вздохнешь – зубы сведет от запаха лугового, духмяного...

Огурцы уже собраны с парника, и я отыскиваю один, завалившийся среди блекнувших глянцевиных листьев, и ем, как яблоко. Во рту – свежесть мяты, и поднимается вдрог, невесть отчего, чудесное настроение.

Высокие листья чеснока макушками связаны в шалашики, а горох уже повял окончательно и развешен, как бусы, на ольховые палки.

За картофельными грядками – яма для картошки. На сухом бугре и с крышей, точно у финских построек. Две ступеньки в земле, а перед входом в яму, куда подлезает с полным ведром – деревянный настильчик. Внутрь вполз на четвереньках: вокруг такой же деревянный пол, чтоб рассыпать картошечку, провеивать ее, а уж в самой яме – квадрате два на два – три отсека, тем же материалом вымощены: в одном – стоять, в другом на зиму картошка, и в последнем – на семена.

Когда урожай убран полностью, в «стоячий» отсек ссыпается та же деловая продукция. А мелкая и с дырками, порченная, собирается в отдельное ведро и относится в хлев, в дворике которого сколочен сусек для скотины. Все рассчитано и продумано с величайшей экономией. Ничего лишнего.

Мы с отцом закуриваем по первой перед трудом праведным, а мать уже начинает, наклоняется над боровком, ей не терпится. Лопата по самый черенок податливо входит в грядку, отваливается куст: тяжело и мягко...

Чувствуя неожиданное радостное волнение, я подскакиваю к матери. Хватаю куст и встряхиваю: бело-желтые клубни весело срываются на землю и наперегонки скатываются в боровок.

– Не-ет, ты погляди-ко, – смеется отец и с удовольствием потирает руки. – Чисто поросята!

Он забирает у матери лопату и становится во главе грядки: это его законное место, как за столом – напротив окна; табуретка под столешницу задвинута старая, с щербинами, но отец дорожит ею, перевез еще из старой деревни, Кленова, где прошли его детство и молодые годы.

Так и работаем: отец копает, а мы с матерью отбираем. За огородами – поляна, по которой легко разбежались несколько голенастых рыжих сосен с кучерявыми зелеными верхушками. Над ними красным пятном – солнышко, светит ясно и негрейко. Небо – синь синью, ни облачка легкого. На душе никаких заботушек, голова на редкость светлая...

Время не замечается, а все тело давно налилось крепкой и уверенной силой, дышится полной грудью.

...Отец копает, мы собираем, затем я хватаю полные ведра и разношу их по назначению. Мельком поглядываю по сторонам: мои односельчане тоже не теряют времени даром – то в одном, то в другом огороде копошатся, не разгибаясь, на грядках; кое-где домовито курится дымок...

– Тихая моя родина! Ивы, река, соловьи... – вполголоса шепчу я, торопясь с пустыми ведрами обратно; как же верно сказано: родина лечит! Душу твою, думы успокаивает, чтоб потом они, обновленные, стали чище и выше! И так ни к месту пришло: не знаю, когда и как уйду из жизни, но что с памятью о родных и родине, – убежден. Но сейчас об этом ни к чему. Всею свой срок.

Отец тем временем распалил костерок, подбросил сушняка, и бесенятами заплясали язычки огня...

Мать, аккуратно расчистив в пожоге место, высыпает грудку картошки, накрывает ее ведром, теперь можно не беспокоиться – не подгорит-не сгорит; притихший было огонь вновь облегченно и весело затрещал. А мать раскладывает на разостланной клеенке огурцы, помидоры, грибы, хлеб. Отец соорудил из досок скамейку, и мы садимся обедать.

Картошка горяча и необыкновенно вкусна! Хрустим огурцами, под рукой краснущие помидоры, свежего копчения рыба и соленые грибы в стеклянной литровой банке...

И тут мать как-то непонятно встряхнула головой и резко обернулась: открыв отводок, к нам торопливо шла почтальонша тетя Вера с разбухшей брезентовой сумкой.

– Господи-господи-господи...– заклинанием забормотала мать, возвышаясь над нами.– Уж не с робятами ли чего-о-о-о?..

У отца, снизу уставившегося на лицо ее, немо повело рот. Я молчал.

– Вера-матушка,– протянула руку мать,– чего это? Чего ты идешь-то?..

Тетя Вера остановилась, оглядела нас – и вдруг все поняла, заголосила:

– Да что ты, Ольга, что ты-ы-ы-ы! – замахала руками.– Чего тебе в ум-то взбрело-о-о?.. Да ведь вам письмо от робят-то, письмо-о-о-о!.. Что ты, что ты! Это я уж сосудски: дай, думаю, занесу, обрадую! А вы-то, матушки мои, воно что!..– Тетя Вера нервно достала приготовленный конверт, торопливо протянула... Мать обеими руками сжала письмо в комок и через мгновение, словно очнувшись, бережно расправила. Прочитала – и засмеялась, заплакала:

– Скоро, милые, домой обещаются, ой-ой-ой, да и медалями-то, пишут, обоих-то наградили, слава тебе, господи-и-и... живы-здоровы!..– Неловко села на лавку, скло-

нила голову набок, вглядываясь в строки письма.– Гляди чего... Пишут: поди-ко, картошку уже убираете; до чего, мол, мама, картошки-то охота, сил нет, так бы до отвала и наелись...– Мать только теперь посмотрела на нас с отцом, протянула письмо.– Да ты садись, девка,– пригласила тетю Веру.– Заодно и перехватишь с нами, а то все на ногах да на ногах...

– И то верно,– тетя Вера не стала дожидаться дополнительного приглашения и взяла картофелину, перекатывая ее из руки в руку.– Ты погляди-ко: ведь обоих медалями начальство наградило, надо ж такое!..– подивилась она братьям: – Вот чего наши-то ребята делают!

Мы с отцом молча прочли письмо, затем закурили...

– Ольга,– чуть осевшим голосом окликнул отец.– Помнишь-нет Олешу-то Шольского?

– Но,– не сразу откликнулась мать, подсовывая тете Вере банку с грибами.– А чего?

– А он картошки всю жизнь не едывал,– усмехнулся отец: – «Не еда это,– говорил,– а одно... недоразумение».

– Недоразумение...– сощурилась мать.– Да мы – сколько себя помним – живем на картошке. Стар и млад на ней выросли. Без картошки – стойно без рук: хоть стой, хоть падай. И силушки не прибудет, онемееет. Да тут и говорить-то об этом – только воду в ступе толочь!.. А Олеша-то, грех худым словом покойника вспоминать, сам с гулькин нос и прожил-то. А все отчего – картошки не едал!.. Вот что я скажу.

– Ну, ты уж тут загнула,– с сомнением возразил отец.– У него, сказывают, рак был...

– Да только и кот-то у него не чище был,– вспомнив что-то, встрепенулась и тетя Вера,– помидоры все у соседей таскал. Надо же такому удуматься: кот – и помидоры ворует! Правда, после хозяина-то тоже куда-то сгинул, как в камский мох провалился: ни слуху, ни духу...

– Ага, ну ладно,– поднялся со скамейки отец, видя, что тетя Вера закончила есть.– Докопаем – да и добро, хоть душа на спокойе.

Тетя Вера, поблагодарив, ушла доразнашивать почту, а мы занялись своими делами.

Погода – как капризная женщина: не знаешь, в какую минуту и что от нее ожидать. Как-то враз потемнело кругом, и подул резкими порывами холодный хлесткий ветер...

– Ой, да и работы-то с боровок осталось, – с сожалением глянув в темнеющее небо, проронила мать и, как заклинание, заторила, обращаясь к крепнувшему сиверку: – Ві-ихорь, ві-ихорь, жена твоя не онуча: не надо ветру, не надо ветру!..

Но все же где-то на небесах не удержалось и прорвалось, и закрапал, усиливаясь и усиливаясь, дождь. Копать вскоре стало невозможно, но у нас уже все было закончено, успели.

Картошка выкопана. Матери на сегодня осталось еще подоить Мурашку да накормить животину, и сейчас мы с отцом будем носить пойло во двор, а потом всем скопом поставим самовар и обязательно просидим за чаем до полуночи, будем вслух читать и перечитывать письмо от братьев-«боевиков» и еще о многом таком проговорим, чего наболело на сердце... Нам всегда есть о чем поговорить.

Мы подходим к нашему дому и моем сапоги в корыте со светлой дождевой водой. Затем у порога дружно вытираем ноги, и мать, прежде чем войти в дом, поворачивается к нам и, весело потрянув головой, – куда только и усталость делась! – неожиданно задорно поет:

*Эх, картошечка, картошечка,
Какая тебе честь!
Если б не было картошечки,
Чего бы стали есть?*

– Молодец, мать, – крутнул головой отец, – тогда пироги станем печь – с начинкой! – И добавил, засмеявшись: – Из картошки!

НОЧЬЮ МЕСЯЦ ПЁК

Памяти мамы

Летней полночью она вдруг пробудилась от непонятного и яркого, как днем, света, казалось, заполнившего всю избу от самого подполья и до верхушки крыши. С трудом поднялась с кровати и, держась за деревянную переборку, добралась до передней комнаты к окошку.

Даже сквозь тюлевую, пообтрепанную от времени занавеску ее едва не оттолкнуло этим световым пучком, точно захотевшим проникнуть в самую человеческую душу. Но, несмотря на преклонный возраст, она по-прежнему была не из робкого десятка и, торопливо перекрестясь, взгляделась через шторку в это диковинное ослепляющее свечение.

Прямиком издалека, от самого Иткольского, над всем бескрайним лесом все равно что вживую пекло, — настолько беспощадно светило там от зависшего в темени месяца, выглядевшего каким-то болезненно зримым и совсем желтым, насквозь прозрачным.

Причем вел себя месяц странно: постоянно двигаясь то влево, то вправо, он внезапно срывался вперед, играя светом, и вновь также стремительно возвращался на свое неприкаянное место.

«Месяц-то как разошелся, — опახнуло ее, когда она вернулась обратно на еще купленную покойным мужем кровать. — Вовсю пекёт: может, холодно будет».

И сразу неведомым образом ее унесло туда, в пору самого настоящего лютого холода, когда еще с тремя малолетними сыновьями-погодками им зачастую доводилось даже полуодетыми спасаться зимними вечерами на морозных задворках собственного дома от вечно пребывающего во хмелю хозяина, способного запросто отправить любую человеческую душу на вечный покой.

Может, потому самый младший как-то настолько крепко простудился, что вскоре незаметно и истаял, а остальные

ребятки, лишь встали на свои ноги, сразу покинули эти края; и больше о них не было ни слуху, ни духу, даже об отцовской кончине ничего не ведают.

И только мать в родимой до последнего травяного проулка Славянке продолжала неустанно охранять для них свой дом, теперь оставшийся единственно жилым в этой когда-то большой и веселой деревне.

Между тем, сейчас который день вовсю парило: воздух в избе был пугающе тяжел, не давая толком раздышаться, и в этом мареве всё кругом чудилось сырым и неясным, зыбким. Но даже это не сравнилось бы с той тяжестью, что опять в который раз и обрушилась на нее, накрывая удушающим пологом прошедшего, но никогда незабываемого...

В ту пору она здесь же, в спальне, лишь на полу, на старых фуфайках, решительно закрыла своих спящих крошек от взмахнувшего над ними топором своего незабвенного хозяина; и с той минуты, внезапно став белее белого снега, ее цыганисто-вьющиеся волосы навсегда сделались длинными неряшливыми нитями, не сразу промываемые даже речной проточной водой.

«Окстись с Богом»,— только и сказала она тогда, так посмотрев ему прямо в глаза, что он, хвативший смертельного лиха еще в армейском прошлом и накрепко, до беспамятства друживший с горькой, опустил губительное железо и, наверное, впервые для себя отшагнул назад.

Но уже давно, не первый год, это самое железо, правда, изрядно поржавевшее, и пребывает неизменным спутником у ее одинокого изголовья: нынче, куда ни ткнись, везде не до покоя,— повсюду случаются лихие люди, не то время хлынуло.

В этих некогда светоносных краях, теперь без разбора зарастающих бурьяном и непобедимо-дикой крапивой, больше уже никогда не разыграет на всю округу знаменитая кирилловская трехрядка, всё кругом пошло на ветер.

И незамедлительно, будто в подтверждение этого, из привычного вневременного состояния ее чутко вернул

обратно сюда какой-то сторожкий и одновременно отчетливо-зааконный звук, и это уже было не забудьём, а самой обычной явью. Сейчас там, на избных задворках, что-то безотрывно и осторожно копошилось: может, кто-то чужой, в самом деле, задумал сотворить что-нибудь неладное с ее жилищем?

А тогда с какой стати не один раз кряду еще недавно приносила сюда нелегкая чужих мужиков с какими-то бумагами, пока она, не осерчав, и собралась, было, начальству пожаловаться?.. И ныне, вновь поднявшись с кровати, ей пришлось нашарить в изголовье ту самую поржавевшую, когда-то разрушительную железягу. После чего медленно, шаг за шагом, она двинулась по избе, к выходу на крылечко, не выпуская из рук расхлябанного, отполированного годами топорщица.

А зааконно-серебристое свечение уже успокоено, с лунным равнодушием разлилось на всё окружающем, безрадостно показывая скудное комнатное убранство во все безликим и тусклым, безжизненным.

Даже случайный отсвет, знобковато скользнувший с улицы в прихожую, где она разнимала литой ржавый крючок с запираемых на ночь дверей, только мимолетно, ровно нехотя коснулся седой негнущейся женщины в исподнем и с широко расставленными, немигающими глазами.

Зато крупная, лопаткой, завертка в крытом тесном крыльце отмыкалась запросто и свободно, выказывая взору летнюю улицу,— глухую и пыльную, давно безлюдную.

Здесь, на воле, во всеохватной темени слегка шелестели березовые листья в палисаднике, а еле угадываемая деревенская дорога была, как всегда, на все стороны тиха и пустынна.

Привычно, для отпугивания всякого лиха, она сначала обстукала обухом передний угол избы и шагнула, было, к отводу с покосившимся штакетником, туда, к задворкам дома, но неволью замерла на месте.

Перед глазами разом, едва не въяве, и встала эта самая улица, кажется, еще вчера со всей округи заполненная гостями, от души гулявшими от одного края и до другого, век не забудется. Веселее выборов, даже самих «майских» праздников, отмечалось лишь главное деревенское торжество – «Девятая», – девятая пятница после Пасхи.

И до самого утра, до первых заполосных петухов гуляющий люд старательно обмахивался пьянящими, сводившими с ума своим запахом густыми ветками сирени, тогда еще дружно разросшимися до самого князька их дома, по-хозяйски расположившегося посерединке деревни.

В бледно-серой крепдешиновой юбке и ситцевой, во всю расшитой голубыми листочками кофте, и она неожиданно для самой себя в одночасье вылетела на перепляс с закадычными подружками, поначалу долго не решаясь.

Но только дошло до дела – и в новых, из парусины, синеньких туфлях, гордо вскинувшись и всплеснув руками, она лихо пошла дробить возле своего цветущего огорода по вытопанной добела тропке.

В теперешнюю пору один лишь Святой Дух и остался тут, а по их дороге с двумя десятками нежилых домов заедет сюда в горку разве что продуктовая автолавка, да еще раз в неделю сельсоветская «помогалка» покажется: наскоро подсобить немощной женщине по ее немудреному хозяйству. И она, беззвучно шепча родные, спасительные для всякого крещеного слова, открыла заскрипевший отводок и в обход, шагками направилась на задворки, хотя с той стороны, похоже, подозрительное копошение к этому времени подзатихло, уже не слышалось.

И при дневном свете было бы нелегко двигаться этим огородом: недолго оступиться, либо вовсе растянуться, моргнуть не успеешь.

Захваченный в полон вездесущим сорняком и, в полный рост, розовыми кустами иван-чая, он был наподобие ловушки из-за прожорливо вылезших из-под земли многочисленных корней, что повсюду расплзлись заматеревшими, длинными щупальцами.

Но она, держась самой стены, обшивки дома, опять же неторопливо обошла громоздкую в темени избу и оказалась у хлева на задворках, откуда тотчас обдало ее легкой свежестью, с пустых деревенских полей нанесло.

А еще под горушкой, в самой низине их огорода, одинешенько притулилась баня, кособокая и никому не нужная, отрезанная от большой дороги полусгнившим забором из ольхового и березового колья.

Бог знает, когда и каким ветром были занесены сюда, на задворки дома, летучие семена вишни, рябины и черемухи с яблонями, но нынче они волшебным образом превратились в небольшой, сказочно живой сад, не только радуя глаз, но и надежно закрывая дом от любой непогоды.

А рядом, в тесную к самой стене, присоединилась еще ладно выструганная широкая лавка: еле успел хозяин до своего ухода управиться, даже кустик красной калины подсадил, долго возился.

И потом, до последнего дня, его самого отчего-то не удержиимо тянуло в это нелюдное покойное место, где из знаемой лишь им молчаливой жизни всё одно что насквозь была хорошенько видна вся их округа. И особенно – тот край Пятницкого кладбищенского заворота, где с незапамятных пор покоился по его образу и подобию самый младший, единственно любимый сын, что, не успев толком порадоваться на белом свете, в одноразку и свернулся на его руках, навсегда уже вынув отцовскую душу.

А обнесенная сверху и с боков тёсаными досками, эта лавка была еще уютно обита войлоком и заботливо обустроена для подголовья диванной спинкой, лучшего места для отдыха и не найти.

«А как у нас дювья-то стало, – даже с какой-то забытой радостью подумалось ей тогда. – Ведь стойно в раю: только бы жить да жить».

И именно с этой вольной райской стороны она однажды в многолетней давности и увидала будущего суженого, разве такое забудется?.. После своей демобилизации он

сразу и появился у них на гулянке, подпало как раз к девятой пятнице после Пасхи.

Из-за реки, со своих неблизких иткольских краев, как в той знаменитой песне, он тоже в защитной гимнастерке и «спустился с горочки»: невысокий и ловкий, в фартовых хромовых сапогах и лихо заломленной военной фуражке на черноволосой голове. А когда еще с шутками и прибаутками очутился с переплясом в их круге, так взглянув на нее, разом вспыхнувшую в своей ситцевой расшитой кофте, что подружки и сами быстренько уступили место этой не по-деревенски баской паре.

С того самого дня для нее больше не было никого дороже: этому лучшему на свете улыбчивому иткольскому парню она отдала на всю жизнь весь жар своего молодого и верного девичьего сердца.

В это время сюда к ней, на окрайку дома, заглянула с другого боку неугомонно-прозрачная луна и, наскоро облив все вокруг холодным светом, вдруг наткнулась на подготовленный костерок: в двух шагах от остановившейся хозяйки был, такой и немудрено с ходу прозевать в темени.

Оставалось только поднести огонь к умело собранному стожку из нажористого сушняка да прочего дворового мусора, и тогда уже в два счета было бы тут одно пустое место. Все говорило о том, что кому-то совсем уже невмоготу понадобилось нынче нарушить это жилище, сравнять его с землей.

Придя в себя от увиденного, она мертвой хваткой сжала надежное длинное топорщице и, осмотревшись, изо всех сил прислушалась к любому маломальскому шороху. Но долгая, не нарушаемая даже птичьим посвистом тишина этой зыбкой летней ночи подтвердила, что если кто-то и был в их заулке, то успел быстро и незаметно раствориться в неизвестном направлении, вспугнутый бесстрашной хранительницей дома.

И тогда она, потихоньку отдышавшись, решила, что никуда больше отсюда не денется: несмотря ни на что,

будет обязательно находиться в своем огороде хоть до утра, до самого рассвета, сколько понадобится.

И, продолжая все так же нашептывать спасительные, столь нужные каждому крещеному слова, она решительно села на хозяйскую лавку, держа крепко-накрепко, как солдат оружие, свое поржавевшее железо на длинном и тяжелом топориче.

В последнее время и без того уже больно много развелось желающих за чужой счет поживиться – не свое к рукам прибрать; так, сама того не ведая, она, может, и насовсем сумела в этот день отвести неминуемую беду от их осиротевшей Славянки.

А на недосыгаемой высоте загадочно спящего в этот предрассветный час мироздания, не иначе, как ей в помощь, на смену уже бойко не пёкшей луне, внезапно светло и ясно распахнулось бездонное небесное покрывало. И торжественно запереливалось на всю округу серебристо вспыхивающими праздничными иголками.

И где-то далеко внизу, в самой благодатной глубине этого неповторимо-светящегося мира, на одной маленькой и вгустую переполненной земле, отныне увиделся ослепительный уголочек и для одинокой женщины в белом одеянии, что с ангельской жертвенностью была готова беззаветно стеречь свой кров от каких бы то ни было несчастий столько дней и ночей, насколько жизненных сил ей было отмерено свыше.

ЕРПЫЛЬ

Памяти моей бабушки Кати

Он пришел сюда каленым зимним полднем под большое вьюжное завывание. Кругом было бесприютно-стыло и мёрзло, пусто отсвечивали дорожные наледи под промороженным огрызком небесного светила, красновато вжатого к самой земле низким и глухим небом.

А всеохватные снежные космы, в свою очередь, как на привязи, серебристо-прозрачными извивами плавали под крышами задубелых деревенских домов, поддерживаемые трубно гудящим заунывным ветровеем.

И где-то головокружительно высоко, из космической мрачной теми, словно в какое-то наказание, изредка вбрасывало к нам сюда немеряными гулками ударами, кем-то вгонявшим в самое нутро земной тверди всё, находящееся под суровой небесной опекой.

Но, перекрывая этот вселенский разгул, совсем уже неведомо из какой и где уживаемой бездны нет-нет да пронзало оловянное пространство надмирным и сиротским плачем незримого малютки, вековечно и одиноко страдающего по обычному, никогда неизбывному участию, нашему теплу.

И вот посреди такого неистовства, поперек середки этой жизни, он долго вглядывался то в одну, то в другую беспросветную сторону, стараясь угадать – определить нахождение того самого фонарного столба с самодельным алюминиевым абажуром, всегда брякотавшим, – с утра и до вечера задиристо настукивающим от любого неказистого ветерка.

И на новенькую сосновую верхотуру которого он еще с мальчишеским бесстрашием единственный из всех и взбирался тогда на проволочных ненадежных креплениях, вообразив себя монтажником-высотником. И откуда, осветив насовсем, однажды ему открылся вдруг во всей красе, казалось, весь мир, – недосыгаемо-небесный и одновременно ублажаемый, с нескончаемым лучистым днем.

Но, кажется, что его нынче окружило, не с той стороны вывело куда надо: рядом с его детской абажурной памятью всегда бок о бок – надежно и защищено – как впаянный, стоял еще вросший в землю родовой бабкин дом, с места не стронешь. А теперь вместо этого перед глазами, залепляемыми снегом, лишь несдвигаемой юлой крутило что-то белесо-неосязаемое, стремительное, как

будто нарочно не давая хода туда, куда его так неудержимо тянуло.

Только он вскоре хоть неуверенно, но опознал свое безлюдное местопребывание и, пригибаясь, двинулся насквозь продуваемой улицей, краем павловского огорода с его горбатым, алебастрово отполированным сугробом, и, держась малозаметной заячьей тропы, в сторону самого Пятницкого озера.

А оттуда, из-под голой горушки, безнаказанной ракетной стеной взмывали в вышину свистяще-снеговые густые потоки, либо уже замерзавшие на лету, а может, и на раз поглощаемые кем-то невидимо-яростным, заполонившим все на этом лобном деревенском юру, точно на последнем жизненном круге.

Неужели вправду было, что когда-то одним летним вечером ему довелось идти отсюда с ночного костра, в ту пору еще скликавшего со всей округи позубоскалить на пару-другую часов устосавшуюся – за день до одури наработавшуюся молодежку, – знаем ли теперь кому-нибудь это время?..

Тогда еще в густом соловьином воздухе тусклые искры пожара светлячками перемигивались у озера, а в береговых сырых кустах без устали кричала какая-то ночная птица – может, потерявшись, либо вовсе накликкая кому-то неминуемую беду?.. Но близ его широкого плеча на провожаемой тропинке была та самая приезжая ферапонтовская гостья в голубенькой кофточке, рядом с которой он, известный всей округе своей зимогористой непоседливостью, сразу стал настолько другим, что не только не осмелился на нее взглянуть, даже не в силах был связать двух самых обычных слов...

А она, отчего-то зябко кутаясь в свою душистую кофточку, всю дорогу как-то виновато молчала, думая о своем, ровно никого не было рядом. Но потом тихонько, точь-в-точь говоря себе самой, то ли напела, то ли просто нашентала еле угадываемое слухом: «А ты всё спрашиваешь меня: люблю ли тебя?..»

Неизвестно, к кому относились тем, уже навсегда забываемым вечером произнесенные наподобие молитвы слова: то была их первая и последняя встреча. Наутро она неожиданно исчезла обратно в свои городские края, даже ни с кем не попрощавшись. И до сих дней необъяснимо, какая тайна заставила тогда раз и навсегда умчаться отсюда эту совсем странную, говорившую саму с собой городскую гостью?..

Но зато его самого, в поисках лучшей доли жившего в северном проморожено-шахтерском месте, с тех пор еще настырней и безудержней манило сюда в слабой надежде, хотя бы однажды встретиться взглядом с той, не приснившейся ему молчаливой спутницей на соловьиной тропинке их далекой и не обратной юности.

С годами это чувство стало глуше и реже напоминать об удивительной жизни в бабкинском доме, заменившем родительский, и какого еще нигде не бывало и больше никогда не будет. Хотя сам он уже давно, немало времени не переступал его порог, незаметно выросши из вчерашнего зеленого юнца в разворотистого представителя сегодняшнего дня с натуралистичным, почти немигающим взглядом. И, не дотянув с целым десятком лет до христового возраста, умудрился с головой окунуться в иные, одному ему знаемые радости, отвернувшие его принудительно надолго даже от мысли о спасительной дороге к самому светлomu на свете уголку.

Только одно он всегда знал твердо: если допустить, что случись в этой жизни невозможное, и небеса сами собой разверзнутся, следом еще земля уйдет из-под ног, а всё окружающее и вовсе валом провалится в преисподнюю, — кто высшую волю переволит?.. Но и тогда — успеет ли он чудодейственным образом оказаться в здешнем краю, — в любое время дня и ночи на дощатом кухонном столе его обязательно будут ждать прикрытые газетой воздушные умопомрачительные тоболки, — пышные ноздреватые пироги, в добавку с горячим душистым чаем, настоящим

на лесных травах его вечно родной и улыбочивой, всё понимающей бабкой...

А крытая простым тесом бабкина изба, на самом деле, через какие-то сотни шагов словно бы его дожидалась, внезапно возникнув у самой дороги, хоть рукой дотрагивайся. Вплотную, едва не по самые окна занесенная подсинено-обледенелым крошевом, стояла она, только и выказав на всегдашнюю особицу высокое крутое крыльцо с покосившимися сосновыми перилами.

Гологоловый, укрывшийся от неистовавшей круговерти под капюшонистым воротником новомодно-красной куртки, он поначалу даже не поверил глазам, неожиданно обнаружив, что ее входные двери были как бы показательно, внахлест перекрыты парой длинных березовых палок, а на медной дверной ручке висья висел, — основательно пристроился амбарный черный замок.

Из нутра линиялых и стылых оконных рам, фигурно облепленных мерзло неживыми узорами, веяло леденящей пустотой, а сами они чудились привнесенными из какой-то одинокой и страшной, уже непоправимой сказки, отныне чудовищно обратившейся в непредсказуемую жуткую действительность. И только теперь все увиденное сошлось — окончательно стало в нем той самой правдой, от какой никому и никогда не удастся и в землю уйти, и на небо взлезть, никуда больше не деться.

А между тем, столетняя стынь, вытягивая живую душу на волю, настолько недвижимо сковала его самого, будто уже единично определяя те последние уготованные минуты, что означены любому и каждому лишь по особой разнарядке свыше. В это время, едва не задев, мимо него еще не пускаемо и пронеслось подобием шаровой молнии нечто снежно-непонятое, адски ухнувшее внутри вьюжно-го, спрессовано-злого клубка, и скрылось в конце улицы.

А разве когда-то не от того самого заулка дядиного дома с резным забором было выбегано бессчётно раз этой тропкой на купанье к знойному берегу для тогдашней ребятни еще самого синего на свете их Пятницкого озера?..

И видел ли в другом разе кто-нибудь из его ровни это самое место нынешним, – безнадежно заснеженным, от края до края сравнявшимся с мутным невидимым горизонтом, с неизменной беспощадностью и завершающим во время оное всякие земные пути?

И откуда тогда не в шутя, а взаболъ взялось на ум, что наглухо закрешенные входные бабкины двери являются отныне определением последней человеческой дороги на этом свете? А если перед ней, и без того вечно страдавшей глазами, скажем, однажды просто взяли и распахнулись двери дядькиного дома с этим резным забором, – ведь без веры любая жизнь мертва.

Сколько помнится, всю дорогу ее, несговорчивую, и так постоянно зазывали к своим да нашим перебраться, чем у себя в одиночку маяться: всего-то было через две избы в этом ряду перейти. А по-другому не могло бы стать: даже ему, бабкиному гостю, разве тоже не были, как родному, всегда рады?..

Кажется, ничего с той поры не изменилось в этом доме: также в щелевато продуваемом коридоре поплёскивающе мерцали на настенной полке стеклянные банки, и резко отдавало слежалостью от старой конской упряжи, приткнувшейся возле рукодельного громоздкого шкафа. И, торопливо шагнув коридорным затхлым входом, он, безотчетно запнувшись, затем без стука отворил тяжелую филенчатую дверину.

А хозяева все равно что не отходили от своего порога: стояли друг подле друга в полутемной прихожей и, молча глядя на вошедшего, спокойно ждали, когда тот заговорит, – какое-то слово скажет. Но первой не выдержала хозяйка: тетка уже хорошенько состарилась и, перевитая в поясище полушалком, была неповоротливо низка, подслеповато шурясь широким добрым лицом в изведенных глубоких морщинах.

– Ой, ты, батюшко рожоный, – угадываемо повглядевшись, нараспев завыводила она, покачивая головой. – Да откуда Господь-то тебя в наши края сподобил, ведь кругом белого света не видать!..

– Вышло так: по пути было, – простуженно-хриплым голосом неопределенно отозвался гость, неотрывно глядя перед собой. – Надо, чтоб сразу сюда и обратно было, – невразумительно повторил он, продолжая напряжённо-выжидательно, не моргая, смотреть на дверной проем в большую комнату.

Но сам хозяин – дядька оказался еще скор на ногу, уже всюю шурудил: без лишних слов вызволил из русской печки утрешнее варево, а на кухонном столе рядом с горкой хлеба в цветастой тарелке появился и внушительно-граненый стакан с пакетным, свежесваренным чаем. Сквозь оконную застиранную занавеску блекло пробивало уличным светом, по-домашнему отражаясь на электрически блестящем самоварчике с дутыми боками и уютно выказывая гнутый стул с желтой полированной спинкой.

– Соловья баснями не кормят, – по сохранившейся крикливой привычке еще с работы на скотном дворе, ершисто громко вразумил дядька на кухонном кутке подоспевшую хозяйку. И в том же голосистом духе без всякого передыха уже досталось самому гостю, отчего-то оставшемуся на месте: – Прошу к нашему шалашу: в ногах правды нет!

Но он сразу осекся, недоуменно повернувшись к хозяйке, только что руками по привычке не развел. Хоть все глаза прогляди, но спервоначалу не признавался на свету в этом смуглом бровастом парне в рубашке с оторванной пуговицей тот, знаемый с детских лет их сегодняшний гость, впригибку шагнувший на крохотную кухню с подкапывающим в углу умывальником.

Вдобавок еще у него на руке между указательным и средним пальцем было изображено – нашлось место пяты заметно выколотым фиолетовым точкам, угадываемо означающим пребывание в местах не столь отдаленных: кому-то еще у нас нынче по-другому думается? А от виска к щеке у него ломано скользнул – оказался и свежий шрам, невольно подталкивающий любого к безрадостной уважительности при виде коротковолосого обладателя этой буйной головушки на крепко развернутых плечах.

– Было дело,– понимающе усмехнулся он, перехватив невольный взгляд домашних, а потом с неосторожной размашистостью оказался на гнущем, угрожающе скрипящем стуле и для чего-то еще раздельно выговорил: – Было дело под Полтавой.– После уже медленно, неторопливо обглядев тесное кухонное пространство, он даже с каким-то негромким удивлением, немногословно заключил: – Надо же, правда, как тогда всё осталось.– И, словно удостоверясь в правоте сказанного, вновь осмотрелся кругом, но уже наскоро, с цепким запоминанием.

И вдруг его взгляд, казалось, остекленел, сделался совсем безжизненно-отрешенным. Среди старых выцветших карточек, давно прикрепленных по всей стене, с самого края была заботливо вставлена еще одна: с простенькой деревянной рамки, светло улыбаясь из какой-то другой солнечной жизни, на него в пестрой летней кофте смотрела во все глаза его навеки молодая бабка в своем любимом, ловко повязанном ситцевом платке.

Но он все одно еще, не веря, обернулся – вскинулся сгоряча в сторону жилой комнаты: там, рядом с хозяйской половиной, помнится, всегда соседствовал домашний закуток, ожидаемо представлявшийся местом заслуженного бабкиного отдыха, лучшего бы не придумать. А хозяйка, лишь вздохнув, поправила на столе клеенку с выстывшей едой, понимающе покивала:

– Который год, батюшко, на иткольском кладбище лежит: наш век не велик, бабки города не строятся.– И, помолчав, тихо досказала.– В Крещение, горемычная, и преставилась у нас здесь: хоть не намучилась, и то, слава Богу...

– Хотя бы дома тогда оглядеться,– после этого выдал из себя заметно побледневший гость и, не приоткнувшись к угощению, лишь наскоро сделал несколько чайных глотков, все еще ищуще оглядываясь по сторонам. А после, выпрямившись во весь рост, он размашисто шагнул опять в прихожую и уже оттуда в наспех накинutoй

капюшонистой куртке решенно-просительно договорил: – Мне бы там всё увидеть надо.

– Что и есть, да не про нашу честь, – скороговористо отмахнулся молчавший до этого дядька, едва поспевая за ним следом. – Больше ноги нашей там не бывать: давно продано, и чужим людям отдано, – говорливо сверлил он своего безмолвного слушателя еще зорко глядящими глазами-буравчиками из-под лохмато-треугольных стоячих бровей.

Но его обычная разгонистость была прервана теткой, успевшей позади беззвучно, одними губами отчитать того за лишнюю языкастость, пока она следом семенила за вовсе сменившимся с лица и лишь кивком головы протившимся гостем.

А напоследок еще входная дверь, настезь распахнутая от неудержимо-ветрового выхлеста, пружинисто захлопнулась с обратной припечаткой, оставив ее, простоволовую, на вьюжном крыльце в одной домашней безрукавке. И тогда, захлебываясь от сносящей с ног непогоды, боясь, что не доскажется самое нужное, она захваталась из последних сил за рукав ухнувшего – ступившего в снеговину путника:

– Не небо ли с землей смешалось, Господи, – задыхалась тетка, не успевая как следует выговорить. – Батюшко, ведь ждала она тебя, слышишь, – качала она головой с путающимися на гудящем ветре седыми длинными волосами. – До последнего дня, рожонный мой, одного тебя звала...

Только ее слова, летуче подхваченные вовсю разошедшимся уличным бесчинством, думалось, уже окончательно поглотили и остальное кругом, а заодно еще, походя, смахнули поземкой и остатные следы недавнего гостя, будто растворившегося за пилеными зубцами их огорода.

А для него, закалившегося в знаменитом шахтерском поселке с названием, что у металла серебристо-белого цвета, не тускневшего на воздухе, разве могло еще быть какое-то препятствие на пути к самому дороговому и

невозвратному, чуемому им в последнее время, как во сне, так и наяву.

И ему, вскоре безоглядно оказавшемуся за деревней на дороге в сторону последнего бабкиного упокоения, где только ангелы ходят рядом с невидимыми людьми, не могло уже быть важным, почему это ветер, небось, почище самого демона и бьет сегодня в лицо, а вчера он дул в спину.

Кровь из носу, но ему нужно было хоть по воздуху, да преодолеть это невзъемное ныне трехверстное расстояние от озерного берега и до останков иткольской кладбищенской часовни, прямо к неприметному родимому бугорку, где ночь и звезды, птицы и травы, насекомые и деревья,— это все соседи и друзья, постоянные спутники и собеседники, и где уже никому не следует искать пони-мания.

Но где у вечного молитвенного креста можно просто броситься в ноги, в искренней надежде услышать готов-ной душой чье-то тихое прощение, милосердно дарующее дивно-благодатный покой, пусть даже на один сердечный стук, хоть ненадолго.

Неизвестно, как случилось дальше с его неприкаянной душой, но после этого никто уже не видал его в этих кра-ях: может, человеку вовсе обрыдло — не захотелось больше показываться во враз и ставшем для него навсегда чужим месте. Только одному лишь его ангелу-хранителю было ведомо, что загнанный в пятый угол ерпыль,— так здесь издавна прозывали любую непоседливую натуру, потому и сунулся сюда, что больше уже нигде и никогда его так не любили на всем свете.

6 июня 2015 – 19 декабря 2018

СЛУЧАЙНЫЕ ЭТЮДЫ

Родина

Летним июньским вечером, когда чуткая тишина приглушает все звуки, добреет душа. Ты сидишь на теплом бревне у Вологды-реки, и после дальней дороги в одиночестве смотришь на горящие в красном закате купола Софии... Мимо тебя, счастливые, проходят Соборной горкой парень в белоснежной рубашке и девушка в легком, как дыхание ребенка, платьице.

Сейчас в стороне твоего сенокосного детства, также незабываемо дивно, на всю округу светится родной Ферапонтовский монастырь, а у дальнего речного водопоя вечерне замерли темно-фиолетовые кони с былинными гривами... Как давно мне не приходилось быть в своих местах, возле той самой солнечной заводи, где через звенящую кузнечиками нашу тропинку ждет не дожидется одинокая баня, под прокопченным потолком которой всегда мощно и приятно шумит сухим жаром, а душе становится покойно и отрадно, как в детстве.

Смешное милое детство! Мне никогда уже больше не возвратиться в твою сказку, но память печально и томительно зовет за собой, и я покорно и радостно отдаюсь ей... Детство мое! Ты помнишься мне одним ослепительным ярким днем, в малиновом мареве которого плывет наш старый дом. А подле него загорода, где неизменно волнующе пахнет свежей рыбой упругая, как береста, желто-звонкая стружка. В жарком воздухе гудит зноем, золотые потоки испарений тают в вышине, изменяя горизонт волнистыми гибкими линиями. И среди густой травы-муравы ходулисто щеперится на веселой горюшке наша кормилица Красотка и глупо-глупо пялится на меня, босоногого, сквозь первозданную кипень черемухи...

А в хрустально-недостижимом куполе бездонного неба трепыхается крохотный зеленый самолетик – неотвязная

мечта безгрешных моих снов: схватить эту странную игрушку, обязательно сунуть ее в карман штанов, и чтоб она там, как добрый ручной зверек, ласково шебуршала, будто делясь своим сокровенным с единственным и верным другом... Мое травяное бесконечное детство! Во веки веков будешь ты в моем сердце человеческом, потому что великой памятью первой любви, вечной девочки в синем июне, дало мне – милосердно и бескорыстно – удивительные силы жить и помогать другим.

А сегодняшняя светлая ночь приносит с собой успокаивающую прохладу вперемежку с медвяно-густым, тягучим запахом липы, и опять с такой же необъяснимой силой манит куда-то холодным светом серебристо-чеканная луна. Ты слушаешь тайную жизнь прибрежных ив, темных и молчаливых, и отчего-то робко-радостно ждётся появления оттуда сказочной золотоволосой девушки с загадочными глазами...

Но вот ты уже идешь улицами своего города, теперь такими тихими и уютными, бережно прикрытыми туманно-прозрачным покоем, что будто сама душа просто, чуть слышным шепотом и произносит: «Здравствуйте, родные мои».

Земляки

Я возвращался домой. Добрался до райцентра и, узнав на автостанции, что рейсовый автобус ушел, а следующий будет не скоро, отправился за город ловить попутку. День был жаркий, в воздухе парило. То и дело с тяжелым гудом проходили красные КамАЗы, груженные гравием, пронеслись легковушки.

Я уже устал голосовать, когда из-за поворота шоссе показался ярко-синий автобус, украшенный гирляндами цветных шариков. К удивлению, автобус остановился передо мной сам, словно по чьей-то невидимой команде.

Водитель, молодой парень в шелковой рубашке с распахнутым воротом, захлопнул за мной дверцу и крикнул, весело оглянувшись на салон:

– Ну что, свадьба, двинули?

Ему ответили дружным гвалтом. Водитель чему-то засмеялся, маленький автобус набрал скорость и, казалось, полетел по черной асфальтовой ленте.

*Вот кто-то с горочки спустился,
Наверно, милый мой идет,—*

вывел женский задорный голос. И тотчас в автобусе голосисто подхватили:

*На нем защитна гимнастерка,
Она с ума меня сведет...*

А русоволосая молодайка-запевала вела дальше:

*На нем погоны золотые
И яркий орден на груди-и...*

– Далеко? – взглянул на меня веселый водитель.

– В Глебовское, – улыбнулся я.

– По пути, значит! Доставим в сохранности!

Мотор вдруг зачастил, зачихал, и автобус, подрулив к обочине, остановился. Водитель, немного покопавшись в движке, тыльной стороной руки поправил волосы и похозяйски объявил:

– Перекур!

Со смехом и разговорами праздничная толпа вылезла наружу и сошла с бровки на луговину.

Здесь, после только что прошедшего мелкого дождя, всюду блестели капли, а чуть дальше, возле опушки зеленоющего леса, нежарким светом горел иван-чай; и откуда-то сверху, слева, весело скатилось солнышко.

В голубом и чистом небе свадебным венцом восхищала радуга. Одной стороной она опускалась за лес, в наши сказочные задумчивые озера, а другой – туда, где ждала гостей невеста. Среди нежных лент радуги не было только белой, как будто чья-то незримая добрая рука сняла и подарила ее невесте...

...А вскоре все уже едут, отчего-то вдруг призадумавшиеся; и в этом неожиданном молчании чей-то негромкий, удивительно-родной голос произносит:

– Господи... как хорошо-то!..

После дороги

Свободно вплетаясь в мою одинокую послебанную дрему, вокруг неожиданно сгустился воздух: явственно ощущалось его бережно-бархатистое, невесомое прикосновение, точь-в-точь живое, как само дыхание... С усилием разомкнув глаза, я на миг заставил себя поверить в происходящее как в самый обыкновенный сон, но нет – все было в яви, – я еще не заснул. И тогда без страха я вверился тому, что находилось вне описания, именуемого реальностью, – и принятого всюду называться *видением*: воочию диво совершалось... Словно неведомая крылатая сила подхватила меня в мгновение ока, – и я легко, незаметно вознесся, без удивления и испуга увидев себя напоследок – после дальней дороги – на стареньком продавленном диванчике в пустом углу родной деревенской избы.

Далее, незримый и свободный, я просторно поднялся в недоступную высь и, ступая, чуть-чуть перебирая босыми ногами, оказался в куполообразном бездонно-белом строении: на сверкающих нестерпимым блеском стенах, солнечно, во всю благодать встречало лучистое изображение кого-то мне незнакомого, но в то же время до щемящей, неземной боли дивно близкого...

Позади распахнуто возвышались высоченные ворота, над которыми с всеохватной бездонностью зодиакально мерцало, космически возносясь, величественное расположение небесных светил, – земное предвидение разных времен и народов... А я, оглядевшись в лазурной неподвижности храма, обнаружил, что рядом есть еще чело-век, – и тут вдруг мое сердце пискнуло всей своей болью, я моментально осознал, что этот осиянный медовым светом

мальчик, был не кто иной, как мой не рожденный сын. До сих пор это было для меня непостижимо и, видно, уже никогда ни взять в толк, как парой анальгиновых таблеток, однажды рекомендованных будущей матери при болях недалекой поселковой медичкой, можно одним махом, навсегда разрушить всё лучшее, что только может быть в нашей жизни?..

А теперь, в этом чудодейственном мире, мне даже было дано с невыразимой радостью слышать его, моего прекрасного сына: лицо ангела с подвижным, молодым выражением, мягкий голос, ясная речь, лишь мною ощущаемая, и хрупкое, грациозное тело; должному в свой срок явиться, ему, моему сыну, были уготованы страдания за прошлое и настоящее, а еще за то, что предназначалось в будущем, потому как всё, творимое на свете, ведается не нашим умом, а Божьим судом...

И уже исчез, неведомо растворившись, мой сын, оставив мне чувство великого покоя, ибо ощущался теперь в душе целиком – единой частью меня; но было далее то, что просто заставило вовсе замереть, – стоял я на густом, неподвижном облачке... На таких же, снизу подсвеченных таинственным закатным сиянием, тоже стояли и точно внутрь себя смотрели старцы седые, белые, как лунь, а века, мимо них струившиеся пылинками искрящимися, оказывались бессильными – не в состоянии были вывести их из этого мудрого, непостижимого для человека велико-тайного созерцания Вселенной...

Но здесь я обратно подумал о доме, и мне было тотчас позволено увидеть себя со стороны на том же старом угловатом топчане, и, понимая, что в любое время я смогу быть там, в своем сиротском одиночестве, – снова я предстал в соборном творении неземном, а может, и вовсе не возвращался оттуда, только это уже было мне неведомо. Потому что дальнейшее – не при нас писано: передний стоящий, подняв вдруг тихо свою большую белую голову, с такой молниеносной неприметностью глянул на меня исподлобья, что сразу стало ясней некуда, кто именно

определяет всех тех, с кого в означенное время, когда надо будет, обязательно и совсем не в последнюю очередь спросится... Следом, склоняясь к фресковой, словно замелованной стене, он коснулся прислоненного посоха, изнутри сиявшего мощным, приглушенно-золотым светом, и опустил его в стену, разверзнув ее: невероятной силы звериный рев вселенского холода ворвался снизу – от земли – оттуда, где пока еще мы все были...

«Холодно нынче на земле», – молвило – отразилось глазом вселенским от неземной высоты Храма. И, осознавая – для чего все это было, глянул и я вниз... Точно бы собранные воедино на гигантской длани, двигались там люди – мельтешащие, безгласые, туда-сюда снующие без остановки со своими, как будто скрытыми ото всего на свете вечными делами и личными тайнами, и ни за что, никогда не желающие понять единого – главного: не только всё, творимое нашими руками и воображением, а и всякое дыхание земное денно и ночью видится – зрится нетленно из дивного Храма Творца...



Содержание

| | |
|--|-----|
| Красота нашего края. Вступительное слово Главы Тарногского района С.М. Гусева | 3 |
| Застава русского духа (<i>Вместо предисловия</i>) Виктор Бараков | 5 |
| Александр Силинский Город Кокшенгский. Как отбирали хлеб. Около кола золотая трава. <i>Очерки.</i> Поселенец. <i>Рассказ.</i> «Может, счастье еще впереди?..». <i>Стихи</i> | 8 |
| Станислав Мишнев ВЕЩАЯ МОЯ ПЕЧАЛЬ. <i>Рассказы.</i> «Где нивы щедрые трудами наполняли...». <i>Стихотворение</i> | 71 |
| Галина Ленц «Вкус нерастраченного слова...». <i>Стихи</i> | 309 |
| Елена Сковородина. «Печально дни мои проходят...». <i>Стихотворение</i> | 314 |
| Галина Истомина «Женщина милая...». <i>Стихи</i> | 315 |
| Любовь Пешкова «Не нам решать: что можно...». <i>Стихи</i> | 317 |
| Тамара Лесукова «За что нас миловать?». <i>Стихи</i> | 319 |
| Евграф Бакшеев «В жизни был испытан я не раз...». <i>Стихотворение</i> | 321 |
| Владимир Горынцев «В горле комок застыл...». <i>Стихи</i> | 322 |
| Андрей Пешков «Пусть говорят...». <i>Стихи</i> | 325 |
| Надежда Юрова Ниточка с иголочкой. <i>Рассказ</i> | 328 |
| Мария Бурцева «Хотелось жить светло и просто...». <i>Стихотворение</i> | 335 |
| Денис Сковородин Закат. <i>Стихотворение</i> | 336 |
| Павел Ступников «Через что я прошел...». <i>Стихи</i> | 337 |
| Сергей Попов «Вот уехали дочери...». <i>Стихи</i> | 339 |
| Владимир Кириллов «А в зимовке светло...». <i>Стихи</i> | 342 |
| Нина Ступникова Василёк. Чайкин дом. <i>Рассказы</i> | 345 |
| Вера Едемская «Моя осень». <i>Стихи</i> | 350 |
| Эльвира Некрасова «Душа так просится в полет...». <i>Стихи</i> | 353 |
| Светлана Сухарева Время собирать. (Деревня моего детства). <i>Очерк</i> | 356 |
| Виталий Ламов Такие разные радости. (<i>Лесные зарисовки</i>). <i>Очерки</i> | 387 |
| <u>Наши гости. XXI век</u> | |
| Михаил Карачёв «Это зыбкое время земное...». <i>Стихи</i> | 407 |
| Николай Устюжанин Короткие рассказы | 417 |
| Александр Цыганов Рассказы | 437 |

*Издание подготовлено к печати
при поддержке
Главы Тарногского муниципального района
С. М. Гусева*

Литературно-художественное издание

КРАСНОЕ СТАНОВЬЕ

*Сборник произведений
тарногских авторов*

Редактор-составитель
А. А. Цыганов

Корректор
Г. В. Егорова

Дизайн обложки
Р. О. Протопопов

Фото на обложке: «Малаховский Бор» –
сосновый бор в центре Тарногского Городка

12+

Подписано в печать 00.00.2019. Формат 84×108/32.
Бумага офсетная. Усл. печ. л. .
Тираж . Заказ .

ООО ПФ «Полиграф-Периодика».
160001, г. Вологда, ул. Челюскинцев, 3.
Тел. 8 (8172) 72-61-75. E-mail: price@pfpoligrafist.com

